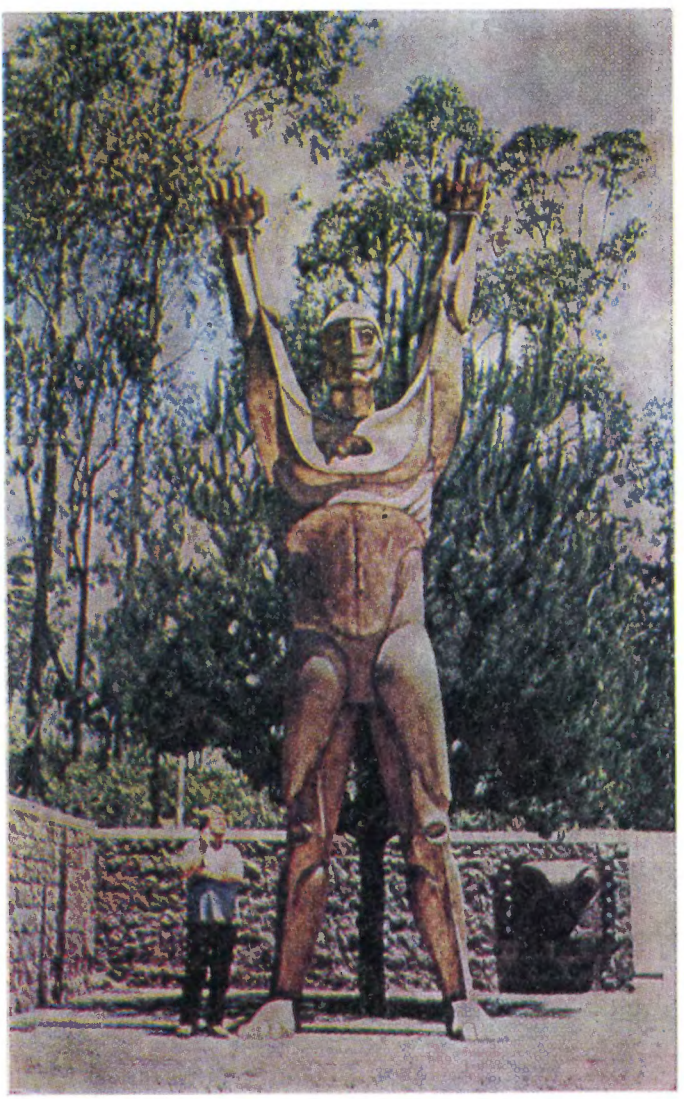
ISSN 0130 – 6545

5. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Руки нежности

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Освальдо Гуаясамин у монумента вождю эквадорских индейцев Руминьауи
Улица и рука

Цветные иллюстрации номера —
работы эквадорского художника
Освальдо Гуаясамина

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

май

5

1988

Содержание

ФЭЙ УЭЛДОН — «Поларис» *(Повесть. Вступление Н. Коневой. Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 3

МАРК ШАГАЛ — Стихи *(Перевод с идиш Льва Беринского)* 34

СЛАВОМИР МРОЖЕК — Произведения разных лет *(Вступление А. Ермонского. Переводы с польского В. Чепайтиса, М. Павловой и В. Бурича, В. Климовского, К. Старосельской)* 41

Из поэзии КНДР

ЛИ СЕНЬР, ПЕН ХОНЕН, КУ ХИЧЕР, ЛИ ДЕНСЕБ, ТЕН МУНХЯН *(Перевод с корейского В. Летучего)* 98

Э. Л. ДОКТОРОУ — Жизнь поэтов *(Повесть. Перевод с английского В. Воронина)* 103

В. С. КХАНДЕКАР — Король Яяти *(Вступление и перевод с хинди М. Салганик)* 146

Публицистика

ДЮЛА ФЕКЕТЕ — Ограбление будущего *(Размышления о новой форме эксплуатации. Перевод с венгерского Ю. Гусева)* 188

ВЛАДИМИР ЗОТОВ — Китай: десять лет по пути обновления 205

Критика

Сопоставляя точки зрения

КЭРОЛ и ДЖОН ГАРРАРД — Торжество традиций *(Американская литература факта и русская художественная литература. Авторизованный перевод с английского И. Дорониной)* 220

Л. ТЕРАКОПЯН — От монологов к диалогу 230

Антирубрика

Польская сатира военных лет *(Перевод с польского Вадима Климовского)* 236

ДЖОРДЖ С. КАУФМАН — Спокойная тревога *(Перевод с английского Юлии Рейдель)* 239

Наша почта

Из ответов на анкету «ИЛ». Отклики на диалог «Возвращение к Человеку» Д. С. Лихачева и Н. Г. Самвеляна 242

Из месяца в месяц 248

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1988

ФЭЙ УЭЛДОН

«Поларис»

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

Впервые побывав в СССР в 1984 году на встрече советских и английских писателей, Фэй Уэлдон в ходе дискуссии заметила, что ее соотечественницы все активнее утверждают свою роль в создании духовной культуры нации и «едва ли не доминируют на литературной арене Великобритании». В словах Ф. Уэлдон, быть может, и присутствует некоторое преувеличение, но нельзя не согласиться с тем, что в британской литературе возникло новое явление — интересная и значительная «женская», или, по определению зарубежной критики, «феминистская проза», опирающаяся, кстати, на мощную национальную традицию «женского письма», творчество Мэри Шелли, Дж. Остин, сестер Бронте, Дж. Элиот, В. Вулф...

Расцвет этой прозы был связан с подъемом феминистского движения, которое в свою очередь включилось в леворадикальное общедемократическое движение 60-х годов. В ту пору женское движение имело и свои издержки: многие писательницы принялись пропагандировать нигилистические нравственные концепции, идеи «половой свободы» и «сексуального раскрепощения». Наиболее экстремистски настроенные представительницы феминизма видели путь к свободе в создании особого мира, без мужчин. Позднее, в конце 70-х годов, отчетливо проявились болезненные последствия нигилизма: создательницы женской прозы обнаружили в жизни своих современниц нарастающую девальвацию нравственных представлений, исчезновение подлинного чувства любви, невозможность для многих женщин счастья материнства, гнетущий стандарт потребительского бытия.

Для лучших образцов сегодняшней женской прозы, к числу которых относятся и книги Ф. Уэлдон, характерны глубокие и искренние раздумья об «уделе человеческом», и вместе с тем ни один из аспектов жизни «слабого пола» не остается без внимания: воспитание детей, досуг, распределение нагрузки в семье, сфера интимных отношений, которую, кстати сказать, она исследует в разных книгах с разной степенью откровенности.

В последнее время диапазон уэлдоновской прозы расширился. По всей видимости, это обусловлено изменениями в самом женском движении. И в жизни, и в литературе поубавилось число поборниц крайнего феминизма, отстаивающих идеи абсолютной свободы, в том числе от семьи, от радости материнства. Значительно возросла роль женщин в антивоенном движении. Проблемы войны и мира начинают все активнее изучаться современной женской прозой. С этой точки зрения повесть, представляемая советскому читателю, весьма показательна. Озабоченность судьбой человеческой цивилизации в ядерный век прозвучала и в выступлении Ф. Уэлдон на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» зимой 1987 года в Москве.

Тем не менее к какой бы проблеме — глобальной или камерной — Ф. Уэлдон ни обращалась в своих романах, рассказах, пьесах, она никогда не бывает ни угнетающе серьезна и уныло назидательна, пусть и повествуя об опасных «играх» воен-

© 1985 by Fay Weldon

ных, ни упрощенно буднична, описывая единичную женскую судьбу. Ее творчество отличает сбалансированность насмешливой ироничности и лиризма, трезвой наблюдательности и романтической эмоциональности, остроты социального видения и психологизма — всего того, что и составляет живую диалектику литературы.

Н. КОНЕВА

Пса звали Томпсоном без задней мысли — просто потому, что так его величал племянник Тимми, десятилетний мальчишка. Простое, почтенное имя. Томпсона, спаниеля бело-коричневой масти, сильного красавца с длинной шелковистой шерстью, вечно переполняли какие-то непонятные страсти.

— И не пытайся высказать любовь,— перевирая Блейка, прочла Мег, неотрывно глядя Томпсону в глаза,— любовь словами высказать нельзя.

Томпсон вперился в нее взглядом и, казалось, плакал. И первой опустила глаза Мег.

Томпсон любил Тимми, как человек любит человека, а Тимми любил Томпсона, как человек любит собаку. В этом, заключила Мег, и была причина Томпсоновой тоски.

— Да он совершенно счастлив,— возразил Тимми вопреки очевидным фактам.— Все собаки так глядят на своих хозяев. Ничего страшного в этом нет.

Тимми и Мег штукатурили и красили дом, свой первый супружеский дом в горах над военно-морской базой, где служил Тимми,— там холодное Северное море омывает берега Западной Шотландии, там размещаются «Поларисы». Молодые супруги работали белой краской — никаких затей, суровая красота, фон — вот что нравилось им обоим. Служба безопасности настояла, чтобы они поставили телефон, иначе молодые обошлись бы без телефона. Они нуждались только друг в друге. Телефон появился в доме раньше всего прочего, даже раньше электрического провода, подсоединившего их к всемирному потоку энергии.

Теперь Тимми и Мег чинили, штукатурили, обновляли то, что разрушило время. Приходили косматые шотландские овцы и глазели на них сквозь пустые проемы в каменных стенах, где когда-то были окна и скоро появятся снова. При виде овец Томпсон испуганно вздрагивал.

— Глупый зверь,— усмехнулся Тимми,— он их боится. Привык к южным овцам.

Тем не менее он полагал, что Мег — ее тоже переселили с юга на север — проявит мужество.

Мег и Тимми молили бога, чтобы не было дождей, пока они не залатают крышу; бог внял их мольбе и послал долгое, засушливое лето, пропахшее вереском. Они пилили доски, забивали гвозди, гнули трубы и предавались любви, когда возникало желание, что случалось довольно часто. Внизу, на базе, другие офицерские жены, навещая друг друга в уютных домиках, оклеенных зелеными и розовыми обоями, судачили: Мег, конечно, сошла с ума, но время ее излечит, как излечило каждую из нас. Время, опыт и долгая, тоскливая зима. Вот Тимми уйдет в плавание, она перебедует одну-две холодные зимы и спустится вниз, на базу: здесь как-никак ей обеспечено общество, кофе и моральная поддержка.

— Никогда я не уподоблюсь им,— не преминула сказать мужу Мег.— Я из другого теста и к тому же вышла замуж за тебя, а не за военно-морской флот.

— Когда я уйду в море, с тобой останется Томпсон,— последовал ответ.

— Ох уж этот Томпсон! — подосадовала Мег.— Скребется, носится по дому как оглашенный. Сплошные чувства, разума — ничуть.

— Он по натуре резвый,— заметил Тимми,— ничего не поделаешь.

— Я бы скорей взялась присматривать за дефективным ребенком, чем за собакой,— сказала Мег,— даже не задумалась бы. По крайней мере знаешь, чего ждать.

— Сомневаюсь.— Любящее и веселое лицо Тимми сразу сделалось холодным и строгим, но лишь на мгновение, а потом снова смягчилось улыбкой.

Тимми, ее милый, родной Тимми! С чего это вдруг она его испугалась? Он красив мужественной красотой героев — широкоплечий, высокий, белокурый и голубоглазый; он сделал ее, Мег, жившую с постоянным чувством вины перед людьми за то, что она не такая, как все, хозяйкой своей судьбы. Он дал ей представление о совершенстве. Он женился на ней. Одно Мег в нем не нравилось — борода. Как судить о его чувствах, если не видишь рта? Может, он только с виду добрый и покладистый, а в душе злой и черствый?

Борода Тимми и Томпсон! Что ж, можно смириться и с тем, и с другим.

У Мег были любовники более темпераментные, искусные и — если на то пошло — возбуждавшие ее сильнее Тимми, но ни с одним из них она не чувствовала себя счастливой. Мег пыталась объяснить Тимми, что он перевел ее в какое-то иное состояние. Своей любовью он превратил ее в существо из другого, лучшего мира, призналась она как-то утром, когда они вставляли стекла в оконные рамы.

— Наверное, и Томпсон родом из твоего другого, лучшего мира,— сказал Тимми — в шутку, конечно: он всегда чувствовал себя неловко, когда Мег заводила разговор об интимных переживаниях, но ей вздумалось обидеться, и она не разговаривала с ним добрых шесть часов, с грохотом переставляла вещи и хлопала дверьми в их хрупком доме, по которому гуляло гулкое эхо; но потом он уронил молоток себе на ногу, чем очень насмешил Мег, и она его простила. Ее гнев был излишней роскошью, оба понимали это и считали, что могут позволить себе такую роскошь. Кратковременные размолвки по вине Мег происходили от избытка чувств.

Они лежали, обнявшись, возле дома в золотых отблесках заката, падавших от старых стен.

— «Солнце да не зайдет во гневе вашем» [1],— молвил Тимми.

Порой общеизвестные истины, услышанные от мужа, потрясали Мег: он словно заново открывал ей смысл того, что обычно в одно ухо влетало, в другое вылетало. Дело, вероятно, в том, что у меня больше житейского опыта, решила она. Тимми проводил под водой шесть месяцев из двенадцати, с тех пор как стал курсантом. К тому же он учился сначала в закрытой частной школе для мальчиков, а потом — в морском колледже и общался с узким кругом людей; Мег училась в художественной школе и жила в постоянном разладе с собой: сказались воспитание матери, с которой у нее никогда не было душевной близости, и безотцовщина. Тимми был щедр, смотрел на вещи просто, радовался жизни, делал что хотел, ни о чем не беспокоясь. Мег всегда была неспокойна душой и прижимиста, тут уж она ничего не могла с собой поделать. Она и корку заплесневелую выбрасывала, только когда рядом была птица, готовая ее склевать, а Тимми ничего не стоило, прибирая со стола, выплеснуть остатки молока в

[1] Библия. Послание к Ефесянам, 4, 26. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

раковину, если она была ближе, чем холодильник. Мег приходилось копить, а Тимми сорил деньгами. Но все это было не столь важно: несходство характеров сгладилось. Любовь не позволила взять верх ни его расточительности, ни ее скаредности.

Томпсон спал под кроватью, и любовные утехи молодых вызывали у него ревность и жгучий интерес. Он носился по комнате и лизал им ноги.

— Собаке не место в спальне,— сказала Мег.

— Любишь меня, полюби и мою собаку,— ответил Тимми, и Мег поняла, что давно ждала от него этих слов. И раз он их произнес, решила примириться с Томпсоном, третьим членом их семьи, занявшим свое законное место под супружеским ложем. Во время одной из еженедельных поездок в гарнизонный магазин на базе она купила порошок от блох для Томпсона. И особую щетку — расчесывать бороду — для Тимми.

Осенью наступал черед Тимми нести службу на «Поларисе». Три месяца под водой, три месяца в отпуске — график соблюдался довольно точно с небольшими отклонениями в ту или другую сторону. Служба безопасности требовала, чтобы тут была некоторая неопределенность. Но Мег все не верилось, что пора разлуки придет.

Тимми замечал вскользь:

— Ты должна получить водительские права до осени, Мег,— или:— Мне хотя бы кухню отделать до ухода.

И Мег недоумевала: о чем он говорит? Отец Мег умер, когда ей было шесть лет. За год до его смерти все вокруг знали, что он обречен, но разве может такое понять ребенок?

По просьбе Тимми она прочла книгу об уходе за собаками, и он сказал:

— Раньше, когда я уходил в море, Томпсона забирал брат, но теперь у меня есть ты, и я оставлю его на тебя.

Но вот пришел сентябрь, а с ним — первый холодный, сырой день; они затопили камины и сами удивились, что крыша не течет и ветер не гуляет по дому. Телефон зазвонил в шесть утра, Мег, едва очнувшись ото сна, услышала, как Тимми отвечает: «Есть, сэр!» — и подумала, что все это ей снится, но живого тепла рядом не ощущалось, и она увидела, как Тимми, худой, голый, вытаскивает из-под кровати чемодан. Потом он надел форменную голубую рубашку, носки, и Мег заметила,— или это ей показалось? — что Тимми вложил пистолет в портупею, накинутую поверх рубашки, а потом натянул шерстяную фуфайку. Можно ли вообразить себе что-нибудь отвратительней этой страшной черной штуки — пистолета? Конечно нет! И вдруг ей показалось, что Тимми похож на механического солдатика из детской настольной игры — того, бородатого. Такие же дерганые движения. Мег закрыла глаза. Тимми наклонился и поцеловал ее.

— Не уходи! — закричала она в панике.— Не уходи!

— Но кто-то должен,— сказал он.

— Что должен — землю взорвать?

— Нет, дорогая моя,— терпеливо сказал Тимми,— спасти землю от ядерной смерти. Если тебе хотелось порассуждать на эту тему, у тебя было целых четыре месяца. Начинать разговор сейчас — нечестно, мне надо идти.

— Но ведь приказ сообщают заранее!

— Никогда — из соображений безопасности.

Лицо Тимми снова стало чеканно-строгим, но не угловатым, как у механического солдатика, а благородным и суровым, как на памят-

нике у входа на Военное кладбище, где стоят простые белые кресты — горькое напоминание живым о напрасно загубленных жизнях.

— Присматривай за Томпсоном! — наказал ей Тимми и вышел, оставив за дверью Томпсона и, конечно, ее, но Мег чувствовала, что на первом месте для него — Томпсон. Она глянула в окно; Тимми ехал на велосипеде, подскакивая на каменистой дороге, вниз, в окутанную туманом долину, и потом скрылся в белой пустоте большого мира.

Тимми оставил свой велосипед караульному. Тот поставил его возле нового восьмискоростного гоночного автомобиля матроса Дейли и обещал смазывать каждую неделю.

— Поторопитесь, сэр,— сказал офицер службы безопасности,— вас ждут. «Поларис» уходит в автономное плавание, только штурмана, говорят, и не хватает.

Подлодки с ядерными ракетами на борту перед тем, как выйти в море — а выходят они в разное время и в самых разных погодных условиях,— устраивают пробный прогрев двигателей, запуская их на полные обороты. Но чтобы весь берег не смог определить по внезапному грохоту, когда «Поларис» отправляется в дальний поход, двигатели время от времени работают вхолостую на полную мощность — для маскировки. Грохот, сотрясающий море и песчаный берег, где играют дети, может, что-то и значит, а может, и нет. Никто не хочет ломать над этим голову.

Англия имеет пять подлодок, оснащенных ядерными ракетами; они-то и составляют независимые британские ядерные средства устрашения. «Поларисы» располагаются на своей, английской, базе. Она нужна им точно так же, как людям собственная постель. «Поларисы» огромны, как киты. Спрятать их невозможно, поэтому они стараются брать неожиданностью. Теоретически каждый «Поларис» возвращается на базу месяца через три под покровом темноты — обычно в ранние предутренние часы. Первый экипаж тихо разъезжается по домам — на машинах или велосипедах. Второй экипаж по экстренному звонку тут же выскакивает из постелей и прибывает на борт, по возможности незаметно. Служба безопасности предпочла бы расселить всех моряков в казармах для вящего соблюдения военной тайны, но это не в ее власти. Нельзя беспредельно давить на подводников, иначе кто пойдет в подводники? На «Поларисах» должны служить нормальные люди, а житейская мудрость гласит: единственный способ не свихнуться (по крайней мере для мужчин) — это секс, секс, еще раз секс и множество детишек. Так что служба безопасности вынуждена мириться с женатыми; она, конечно, разместила бы всех на базе (раз уж нельзя в казармах), но не возражает, если кому-то из моряков вздумается поселиться с женой в горах, в развалившемся фермерском доме. Хлопот с ними больше, вот и все.

Вместо того чтоб поспешить на борт, Тимми попросил разрешения позвонить домой жене.

— Вы молодожен, сэр, если не ошибаюсь?— Офицер службы безопасности сам набрал номер. Он воспользовался кодом, обозначенным в особом списке. Зачем рисковать понапрасну? Услышав сигнал, он передал трубку Тимми.

— Мег, как ты?— спросил Тимми.

— Я в постели,— ответила Мег.— Томпсон со мной, а не внизу и лижет меня в лицо.

— Береги себя,— сказал Тимми,— и думай обо мне каждое утро в одиннадцать тридцать.

— Я все время буду думать о тебе.

— И все же в одиннадцать тридцать постарайся сконцентрировать на мне все мысли; на лодке в это время относительно спокойно, и я поймаю сигналы.

— А это разрешается?— не без горечи спросила Мег.— Разве телепатия не нарушение безопасности?

— Все зависит от того, как распорядиться полученной информацией,— совершенно серьезно ответил Тимми.

— Откуда ты звонишь?

— Из автомата неподалеку — я вижу пристань, вижу, как блестит море. А как наверху — прояснилось?

— Прояснилось.— Мег глянула в окно на ясный день, разливший свет по осенним горам, и почувствовала, как боль разлуки и злость стихают. И все же не сдержала раздражения:— По-моему, эта ваша игра в безопасность — ерунда.

— Не так уж много времени на нее уходит,— сказал Тимми. — И лучше не касаться этой темы.

— Мне наплевать, кто нас подслушивает,— заявила Мег.— Самый надежный способ притомить слухачей — заморочить их подробностями. Кстати, позвоню-ка я кузине — ее приятель, кажется, работает в русском посольстве — и поплачусь: мол, муж бросил меня одну и отбыл на боевое патрулирование.

— Дорогая моя,— вкрадчиво начал Тимми,— запомни две вещи: во-первых, мы не сразу выходим в море, некоторое время лежим на дне залива, а во-вторых,— ты сама в этом убедишься — по нашему телефону ты никому не сможешь позвонить — по крайней мере в ближайшее время. Все это — для нашего же блага. Ведь ты хочешь, чтобы я благополучно вернулся домой?

Его слова утихомирили Мег.

— Конечно,— молвила она наконец слабым голосом.— Мой милый, я люблю тебя и каждое утро в одиннадцать тридцать буду думать о тебе, и ты тоже меня вспоминай.

— Точнее — в одиннадцать двадцать восемь. Две минуты мысленно обращайся ко мне. Каждый день — поминальное воскресенье! [1] А теперь я должен идти. Может, мне и не стоило звонить домой. Но я ушел — как бы тебе сказать, будто я только моряк, а все человеческие переживания мне чужды, но я хочу, чтоб ты знала: человеческое начало всегда побеждает, и, дорогая...

— Да, да...

— Если Томпсон вдруг поймает кролика, обязательно дай ему таблетки от глистов. И от ленточных, и от аскарид: собаки набираются глистов во время охоты. Помнишь, в книге об этом пишут?

— Я позабочусь о Томпсоне,— серьезно заверила его Мег.

— Я люблю тебя,— сказал Тимми.— До встречи через три месяца. Ну, примерно через три месяца.— И он повесил трубку, а Мег задумалась: неужели он звонил лишь для того, чтобы напомнить ей про таблетки?

Тимми ступил на борт, спустился в чрево левиафана и прошел на центральный пост, где уже стояли капитан и старший помощник.

— Вот теперь можно начинать автономное плавание,— укоризненно заметил капитан.

Дальше упреков капитан в своей строгости не заходил. Он щадил чувства офицеров экипажа. Им предстояло долгое совместное пребывание под водой. У капитана была окладистая борода — черты лица за ней едва угадывались — и яркие-яркие голубые глаза. Он был человеком добродушным, но — даже по меркам подводников — эксцентричным.

---

[1] Ближайшее к 11 ноября (дню перемирия) воскресенье, когда в церквах служат панихиды по воинам, павшим во время первой и второй мировых войн.

— Виноват, Алек, сэр,— сказал Тимми.— Никогда раньше не являлся на борт последним,— добавил он в свое оправдание.

— Вы и не женились никогда раньше.— Капитан не уточнил, усугубляет это вину Тимми или, напротив, смягчает ее. Капитанам «Поларисов» приходится считаться с личной жизнью подчиненных. В конце концов они обязаны улавливать малейшие признаки нестабильности. Слишком многое ставится на карту.

Обратный отсчет времени начался, но тут явились матросы Персивал и Дейли с донесением: произошла осечка, о которой следует немедленно известить капитана.

— Некоторые овощи, по номенклатуре — экзотические, не доставлены на борт, сэр,— доложил Персивал.— Нет баклажанов, свежего красного перца, свежего имбиря.

Капитан обеспокоенно оглядел членов экипажа.

— Разумеется, сэр,— подхватил Дейли,— есть молотый перец и молотый имбирь — они всегда в наличии. Но я знаю, как вы охочи до свежего, сэр, и к тому же это не решает проблему баклажанов. Перец гвоздичный, сельдерей салатный, тыква уже на борту, тут все о'кей, но все-таки заказ не выполнен полностью.

— Молотый перец и свежий ничего общего не имеют!— вскричал капитан, крайне взволнованный этим сообщением.— Только идиоты полагают, что это одно и то же.

— Так точно, сэр,— отозвался Персивал.

— Так точно, сэр,— сказал Дейли.

— Дело в том, сэр,— начал Джим, старший помощник, выступая, по обыкновению, в роли миротворца,— что интенданты наконец додумались пополнить список экзотических овощей шампиньонами, но свежий имбирь и прочее — выше их понимания.

Капитан мрачно сверлил глазами Персивала и Дейли, словно они были во всем виноваты.

— Не успели в море выйти, я уж понял, что́ это будет за плавание,— жаловался Персивал Дейли.— В матросский камбуз зелени не дали — обойдетесь, мол, шницелями, бобами,— офицеры, видишь ли, затребовали ее к кисло-сладкой свинине под горячим соусом из красного перца или шут их знает к чему. Дело кончится бунтом, не говоря уж о язвах желудка.

Но этот разговор состоялся позднее, а сейчас капитану пришла в голову другая мысль.

— Как у нас с оливковым маслом?— громко спросил он, перекрывая шум разогревающихся двигателей.

— Осталось немного от первого экипажа, сэр. Две литровые бутылки.

— Мало,— сказал капитан и выключил двигатели.

Позвонили в службу безопасности, и примерно через час Зелда, жена Джима, подкатила к воротам базы с двумя корзинами свежей зелени, которую часовые тотчас подвергли осмотру. Поворошили имбирь, заглянули в корзину с перцем и кивнули: можно пронести.

— А это не алкоголь?— спросили часовые, откупорив пару пластмассовых канистр с зеленоватой жидкостью.

— Это оливковое масло,— раздраженно сказала Зелда капризным голосом офицерской жены.

На Зелдиной косынке красовались головы пони; у нее было длинное худощавое лицо и довольно крупные белые зубы. Зелде не раз приходилось вести такие разговоры, и она сразу предложила:

— Попробуйте на вкус.

Охранники сунули пальцы в жидкость, лизнули их и содрогнулись. Оливковое масло! Их жены все еще жарили на свином жире и заправляли салаты майонезом «Хайнц».

На подлодках «Поларис» — сухой закон. Держать алкоголь на борту запрещается. Всякая выпивка в рейсе — дисциплинарный проступок. Экипажу капитана Алекса все же разрешили захватить с собой немного столового вина при условии, что оно будет использоваться в кулинарных целях и никогда в чистом виде. При кипячении алкоголь уходит с паром, объяснили капитану. Можете добавить херес в суп для вкуса, но только в кипящий. Пропитывать хересом бисквиты не разрешается. Инструкции на этот счет очень строги.

Тимми сошел на берег, чтоб забрать зелень.

— Где Джим?— удивилась Зелда.— Почему послали тебя?

— Сама знаешь, каково ему,— смутился Тимми.

— Я знаю. Два раза в день попрощаться ему уже не под силу.

— Похоже на правду,— улыбнулся Тимми.

— Бог с ним!— сказала Зелда.— Придется попрощаться с тобой.— И она прильнула к его губам долгим и страстным поцелуем.

— Эй, эй!— с чувством неловкости произнес охранник.— Не забывайте, парню предстоит воздержание месяца на три.

— Я по старой дружбе,— беспечно отмахнулась Зелда, а Тимми покраснел и сконфузился.

— Прошу тебя, позаботься о Мег,— сказал Тимми.— И не по старой дружбе.

— Позабочусь, позабочусь,— пообещала Зелда.

— И еще, Зелда: не болтай лишнего. И проследи, чтоб она не оставляла Томпсона без присмотра.

— Ох уж этот чертов Томпсон,— Зелда нахмурилась.— Вечно лижет людям ноги в постели.

Тимми вернулся в подлодку. Задраили люки, и начался привычный грохот работающих двигателей. Наконец «Поларис» вышел в море. На полпути к зоне боевого патрулирования он погрузился и исчез из виду.

В дверь постучали. Мег, сидя на вымытом ровном полу, занималась йогой. Она была маленькая, сухощавая, с гладкими стриженными волосами, широким лбом, прямым носом и довольно тонкими губами. Мег всегда хотела жить в сельской местности. Она была художницей по тканям и жалела, что в свое время не занялась керамикой. Впрочем, в будущем она собиралась писать романы и выйти замуж за сельского ремесленника. Своих детей (Мег не сомневалась, что у нее будут дети) она намеревалась воспитывать без телевизора, желтых витаминных добавок и прочих достижений цивилизации. И вот теперь она замужем за человеком, которого почти не знает, и тем не менее предана ему душой и телом настолько, что для нее ровным счетом ничего не значат ни его профессия, ни политические взгляды, ни представления о добре и зле. Она мучается от разлуки с ним, и там, где было сердце, теперь комок боли.

Йога была частью программы самосовершенствования, и Мег принялась выполнять ее через десять минут после телефонного звонка Тимми, когда перестала плакать. За три месяца она достигнет физического совершенства, может быть выучит какой-нибудь язык и, конечно же, приведет в порядок дом. Она посвятит все свое время Тимми.

Мег подняла телефонную трубку и убедилась, что предсказание Тимми сбылось: телефон глухо молчал. Вероятно, в положенное время он оживет снова. Мег ничего не имела против; мысль о том, что за ней присматривают для ее же собственного блага, вселяла

уверенность. Будто к ней снова вернулось детство: родители на страже и не дадут натворить глупостей.

Позвонил почтальон. Мег открыла дверь, придерживая Томпсона за ошейник.

— Не бойтесь,— сказала она.— Он не кусается, только лает. С ног может сбить, но нечаянно, не по злобе.

— Это всегда приятно слышать.— Почтальон, старый шотландец, закатал штанину и показал бледную голень с синевато-багровыми шрамами. По его словам, это были следы собачьих укусов.— Если он вздумает добавить к этим шрамам новые, письма я вам сюда носить не стану, уж будьте уверены. Придется, однако, спускаться за ними на базу, в почтовое отделение. А это — заказное письмо, распишитесь вот здесь.

Почтальон был не прочь поболтать и стоял у двери, прислонившись к косяку, но порой переступал с ноги на ногу, опасливо поглядывая на Томпсона.

— Дверь запирайте покрепче,— посоветовал он.— Бродяги кругом шляются.

— Бродяги — здесь? Ни за что не поверю.

— Повсюду шляются,— подтвердил почтальон.— Безработных много, а тут Рождество на носу, мало ли что? Молодая женщина, муж в отлучке...

— Откуда вы знаете, что муж в отлучке?— встревожилась Мег.

— Еще бы мне не знать. Первый экипаж вернулся. А ваш муж — во втором, значит, ушел в море. Нетрудно догадаться.

— Это ведь военная тайна,— с досадой сказала Мег, но почтальон уже заинтересовался письмом, за которое Мег расписалась. Оно было в коричневом конверте.

— Счет?— полюбопытствовал почтальон, отправляясь вслед за ней на кухню.

— Не знаю,— пожала плечами Мег.— Оно адресовано мужу, а не мне.

— Придется вскрыть,— заметил почтальон.— Вы теперь — жена моряка. Ну, мне пора. На базе, поди, груда писем лежит. Не успеют мужья выйти в море, жены начинают строчить письма. Пройдет неделя, их пыл остынет. Я буду заглядывать по возможности. Уж больно далеко вы забрались, доложу я вам. Сели бы в машину да приехали на базу — поболтали бы с подружками за чашкой чая.

— Я и машину не вожу, и болтать не любительница,— резко ответила Мег.

Она захлопнула дверь за почтальоном, заперла ее на задвижку и пожалела о своей грубости. Без друзей не обойтись: автобусы ходят на базу лишь раз в неделю.

Внезапно подул холодный ветер, Мег надела вторую кофту и огляделась. Она вдруг сообразила, что зимой ей придется мерзнуть, и подивилась непрактичности Тимми и своей собственной: ведь знала про это его свойство и положилась на мужа в таком важном деле.

Залаял Томпсон. На сей раз явился молочник. Она открыла ему дверь. Мег и раньше подозревала, что здесь навряд ли оставляют бутылки с молоком на крыльце, как в городе, и оказалась права.

— Теперь у вас будет уходить меньше молока,— сказал молочник.

Он был еще старше почтальона и страдал одышкой. Похоже, служба безопасности и супружеское счастье оберегает: только старичье ходит по домам, когда мужья в море.

— Почему вы так думаете?

— Мужа дома нет. Раньше, до того как здесь устроили базу, мы хоть знали, на каком мы свете. А теперь что ни день — перемена.

Сегодня — три пинты, завтра — шесть. Все нынче пьют какао на ночь. Моряки любят какао.

— Любят? — холодно переспросила Мег.

— Стало быть, вы тут одна-одинешенька остались на целых три месяца. Вокруг — ни души, только овцы, однако. Жаль, что детишек не завели.

— Я меньше года замужем.

— А я бы на вашем месте все равно поторопился. Здесь все жены поскорей обзаводятся детишками. Я вот считаю,— продолжал он,— что работа у меня вроде благотворительной. Кто-то должен занимать разговорами одиноких женщин. А собака кусается?

Томпсон обнюхал колени молочника.

— Нет, только лает.

— А жаль. Тут настоящая острастка нужна. Бродяги кругом шастают. Вы хоть продуктами-то запаслись? Что станете делать, как снег выпадет? В снег я сюда не ходок, сами понимаете. Даже если б захотел, не дойду. Никто сюда снегоуборочную машину из-за вас не погонит.

Снег? Мег, как ни старалась, не могла себе представить этот пейзаж белым. Она ведь не бывала здесь зимой.

— Сама себя откопаю,— сказала она.

Мег выросла в городе — там снег был просто слякотью, а не заклятым врагом, как для сельских жителей.

Мег закрыла дверь за молочником, старым ворчуном, и поднялась наверх. Она села на кровать и забылась в эротических грезах, воспоминаниях о Тимми, и Томпсон осклабился, словно знал, о чем она думает, и сочувствовал ей. Вдруг ей показалось, что Тимми рядом. Мег глянула на часы. Одиннадцать тридцать. Морская каторга, подумала Мег. Тренькнул телефон. Подняв трубку, Мег уловила слабый сигнал.

— Привет,— сказала она тому, кто, несомненно, прослушивал линию.

И снова Мег почувствовала, что она не забыта: за ней наблюдают, эти люди с ней заодно, а треньканьем телефона они сообщают ей будто шепотом: «Он ушел в море, он в безопасности, с ним все в порядке. А ты будь начеку, жди, и в одно прекрасное утро в Новом году или еще раньше ты услышишь, как он, посвистывая, поднимается по промерзшей тропе; это мы позаботились, чтобы он вернулся домой, к тебе,— мы, слушающие!»

Что-то чувственное было в этом ощущении, будто она откинула голову на крепкую, надежную мужскую руку. Мег с улыбкой положила трубку на место.

«Поларис» лежал на дне залива и ждал приказа — куда, когда и каким курсом следовать. В штурманской рубке Тимми задумчиво склонился над навигационными картами.

— Что-нибудь не так, мистер Штурман? — осведомился капитан.— Нам бы не хотелось завершить плавание в Черном море.

Капитан шутил.

— Не говоря уж о реке Янцзы,— добавил Джим, черпавший свои знания о красном Китае из газет.

Служба безопасности хотела бы, чтобы моряки с «Поларисов» вообще не читали газет или, на худой конец, читали бы «Сан», издаваемую Рупертом Мердоком, но как тогда быть со свободой личности на Западе? Ее приходится уважать, иначе — за что мы боремся?

— Пусть это решают политики,— строго заметил капитан.— Но я рад, старший лейтенант, что вы шутите в начале рейса. Обычно

полмира обойдешь, пока вы соизволите улыбнуться. Что вас угнетает — море или суша?

— Пожалуй, суша, сэр,— ответил Джим.

Подводники сродни художникам, подумал капитан, сожалея, что задал этот вопрос. Они предпочли бы жить в одиночку, не связывая себя узами брака, чтоб ничто не мешало им спокойно мечтать, но и холостяцкая жизнь кажется им тоскливой. Они уходят в море, которое любят больше всего на свете, с чувством вины: слезы и рев детишек надрывают сердце. Но когда не о ком заботиться и потому не чувствуешь разницы между морем и сушей — это тоже невыносимо. На обычных подлодках — капитан это знал — лучше всего служится совсем молодым ребятам: родители любят сына, но всегда готовы к разлуке с ним. И все они наслаждаются жизнью в этом лучшем из миров с пряным, но не чересчур острым привкусом опасности. Увы! На «Поларисах» все иначе. Здесь опасность многократно усиливается. Разве можно доверить молодому человеку, да еще неженатому, будущее Москвы, Лондона, Сиднея, Пекина и других городов? Конечно нет! Молодые слишком подвластны эмоциям.

А на «Поларисах» каждый большой город взят на прицел, координаты известны. Ведь не ровен час (в будущее не заглянешь!) на прицел возьмут один из твоих собственных городов — из стратегических или даже миротворческих соображений. Принять решение в такой обстановке под силу лишь зрелому, твердому человеку.

Тимми глянул на карты и удивился, что они расплываются у него перед глазами. Хотелось продолжить разговор с Джимом о жизни моряка на суше и на море, но что-то удерживало, как это часто случалось в последнее время после интрижки с Зелдой. Выходит, невозможно переспать с женой лучшего друга и смотреть ему прямо в глаза, даже если ты наставил ему рога не из подлости и никому не разболтал об этом. Теперь, когда Тимми женился, он еще отчетливей представил себе, какой великой глупостью и предательством была эта интрижка. Он с радостью попросил бы прощения у Джима, но, конечно, не отважился. Как бы то ни было, факт оставался фактом: ему нравилась Зелда, и он видел, что Джим относился к ней свысока. Приличия ради мог бы притвориться в ее присутствии, что предпочитает жить на суше, а не в море.

Теперь, под водой, Тимми мечтал снова оказаться в постели с Мег и чтобы внизу лежал Томпсон. Может, карты расплываются перед глазами от слез? Он снял очки и вытер глаза.

— Бог ты мой! — воскликнул он.— Да это очки Мег!

Некоторое время все трое молчали.

— Привет, Янцзы, встречай гостей! — сказал Джим.

— Все в порядке, Алек, сэр,— обратился к капитану Тимми.— Не беспокойтесь, у меня, может, голова разболится, только и всего.

— Глядеть на мир ее глазами и знать — она твоими видит мир. Греза юной любви. Постарайтесь, чтоб это не повторилось! — строго заметил капитан и, желая разрядить обстановку, перевел разговор на более приятную тему: — Сколько у нас арахисового масла?

— Два галлона,— доложил Джим.

— Надеюсь, хватит,— прикинул капитан.— На многие индонезийские блюда уходит прорва арахисового масла. Они там пищу берут руками, потому и готовят погуще.

Наконец с базы пришел приказ. Капитан щелкнул переключателями, и приборная доска, соединенная с ядерным реактором, сердцем «Полариса», загорелась мягким светом; могучие двигатели, глотнув его энергии, взревели, и чуть заметная вибрация пронизала волны на далеком берегу, где играли дети, и какая-то песчинка передвинулась с места на место.

«Поларис» миновал Ирландский канал и вышел в Атлантику. В камбузе капитан толок тмин и кориандр с перцем, готовя соус к цыпленку. Джим чистил, резал кубиками и бланшировал белоснежные турнепсы, готовя их к быстрой заморозке. Они брали на борт свежие овощи, сами обрабатывали их и закладывали в мощный холодильник, не доверяя береговой службе такое тонкое дело. (На ядерной подлодке нет недостатка в энергии — масса света, масса горячей воды, масса свежего, хитроумно рециркулированного воздуха. Правда, матросы клялись, что на корабле воняет чесноком, как во французском поезде, везущем школьников на экскурсию, но офицеры горячо утверждали, что это поклеп.)

Капитан плеснул оливкового масла из пластмассовой канистры, привезенной Зелдой, в кувшинчик, а оттуда — на сковородку. Он намеревался слегка потомить горчичное семя в масле, потом полить им мелко натертую морковь, добавить туда лимонного сока, перца и соли — получился бы простой, но весьма аппетитный салат к цыпленку. Но масло брызгами разлеталось со сковородки.

— Не чистое оливковое масло,— пробурчал капитан. Он исследовал содержимое канистры и обнаружил под тонким слоем оливкового масла не что иное, как белое вино.

— Ваша жена совершила крайне необдуманный поступок,— отчитал Джима капитан.— Мы с вами и мистер Штурман — группа управления лодкой, а не какая-нибудь рок-группа.

Тем не менее он не вылил вино — напротив, водрузил канистру на шкаф: не дай бог опрокинут.

Во время обеда поступило сообщение, что в непосредственной близости от них действуют русские подводные лодки.

— А когда они бездействовали? — Капитан зевнул.

Все же, прихватив тарелки, офицеры отправились на центральный пост и там наблюдали за светящимися точками на экране радара, слушали сигналы, когда другие левиафаны приблизились, на миг замерли совсем рядом, а потом вполне дружелюбно проследовали дальше.

— Никак цыпленка учуяли? — предположил капитан.

— Навряд ли, сэр,— усомнился Джим: однажды, еще школьником, он побывал на экскурсии в Ленинграде, и его там закормили маринованной селедкой.

— Тогда что же эти русские делают целыми днями?

Капитан Алек и его офицеры уже не помнили, что сами делали, пока не овладели умиротворяющим кулинарным искусством и питались рублеными шницелями, как все прочие. Зато теперь их дни были исполнены высокого смысла и сознания достигнутой цели.

Прошло две недели. Томпсон и Мег заключили своего рода перемирие. Она пыталась выжить его из спальни, он норовил залезть на кровать; в конце концов оба согласились на ничью, и Томпсон вновь занял свое место под кроватью. Теперь, когда рядом не было Тимми, Мег стала замечать природу. Она наблюдала, как зима беспощадно укорачивает день, совсем как неумолимый лавочник, рано закрывающий лавку перед футбольным матчем. Бум, бум! Упали жалюзи, скрылось солнце, поднялся ветер, и жизнь, ворча, уползла под землю, остались лишь мрачные, резко очерченные горы. Даже слизняки повывелись в кухонном шкафу. Мег пожалела, что их больше нет. Жалеть об отвратительных скользких тварях, льнущих к сырым стенам в самых темных неожиданных местах,— возможно ли это? Мег пришлось признаться самой себе, что ей недостает слизняков лишь потому, что они живые существа, из животного, а не растительного мира, и у них есть какая-то неясная цель и неосознан-

ное желание, загоняющее их в самые недоступные и неуютные места, где не выживают даже растения. Они — Жизнь, посылающая своих гонцов в неживой мир.

Иногда Мег радовалась, что Тимми далеко от дома. Она бы пожаловалась по простоте душевной, что ей недостает слизняков, тут же залилась бы краской и почувствовала себя дурочкой под насмешливым взглядом Тимми. Какие-то думы надо таить в себе, в этом одно из наказаний человеческого бытия. Казалось бы, раз человек наделен даром речи, должно происходить общение между людьми, но его, конечно, нет. Горько, что она сожалела о слизняках. Уж лучше бы Томпсона пожалела. Страдания Томпсона усугублялись, когда он наблюдал людей за беседой: он полагал, что они обмениваются мыслями о чудесах Вселенной. Томпсон ошибался, но не знал об этом. Подлинные разговоры между Тимми и Мег, подлинное общение происходило в постели и без слов. Неудивительно, что Томпсон любил лежать под ней.

Зимой автобус в горы не ходил. Пассажиры в эту пору были редки. Мег отправилась в библиотеку на базу на велосипеде — полчаса туда и два часа обратно в гору — и попросила библиотекаршу найти для нее книгу о слизняках. В библиотеке был богатый выбор книг по вышиванию, вязанию, варке варенья, обивке мебели, самоучитель французского, «Первые шаги в философии», но никакой информации о слизняках.

— Попробуйте разложить ядовитые шарики в тех местах, где завелись слизняки,— посоветовала библиотекарша.— Слизняки их съедают и просто-напросто тают на глазах.

— Но это ужасно! — воскликнула Мег.

— Может быть, если думать о слизняках. Но думать о них не надо. Разложите шарики — и все.

Выйдя из библиотеки, Мег встретила Зелду. Та кинулась к ней с объятиями и пригласила на чашку кофе.

— Уж не подвинулась ли ты рассудком там, в горах, в полном одиночестве? Вид у тебя довольно странный,— верещала Зелда.

Мег была в джинсах и старой шерстяной фуфайке Тимми. В ней она чувствовала себя под его защитой. На Зелде были розовые джинсы, темно-розовый свитер, модный серый шерстяной шарф, повязанный, как шаль, и множество золотых браслетов и колец.

— В каком смысле странный?

— Взгляд чудной,— пояснила Зелда.— Как у беременной.

Мег задумалась.

— Хотела сегодня принять пилюлю,— припомнила она,— и вдруг вижу, еще четыре осталось, а я считала, что кончила курс.

Они вошли в уютный домик Зелды; из его окон открывался красивый вид. Томпсона пришлось оставить возле дома. Он выл, но Зелда была неумолима.

— Ты четыре раза забывала принять пилюли. Значит, хочешь ребенка. Это у тебя в подсознании.

— Не ребенка я хочу, а Тимми.

— И я не хочу ребенка, но он у меня будет,— сказала Зелда.— Сегодня утром удостоверилась. Подумать только, Джим узнает об этом лишь через два с половиной месяца — плюс-минус два дня, как распорядится безопасность.

— Ты же можешь сообщить ему новость по семейному телеграфу.

— Они передают только добрые вести. Плохие ждут моряков на берегу.

— Полагаю, ваши с Джимом представления о добрых вестях не всегда совпадают,— сказала Мег.

— Не всегда,— подтвердила Зелда.— Но в этом и заключается семейная жизнь.

Только не наша, у нас с Тимми все иначе, подумала Мег.

На часах было одиннадцать сорок пять. Мег пропустила мысленное свидание с Тимми. Все его мысли были обращены к ней, но Мег этого не заметила. Она думала о тающих слизняках.

Тем временем Томпсон обнаружил открытое окно в уборной, втиснулся туда, погнув при этом кронштейн, и влетел в гостиную. Он сразу бросился к Зелде.

— Почему — к тебе? — удивилась Мег.

— Потому что я хозяйка дома, а он пытается подольститься,— сухо объяснила Зелда.— Неужели нельзя оставить пса дома? — Изловчившись, она пнула Томпсона носком маленького золоченого ботинка, и Томпсон взвыл.

Мег сразу вспомнила, что должна его опекать, и заторопилась домой.

— Не так уж много я знаю о собаках,— сказала она, усаживаясь на велосипед,— но, может быть, Томпсон экстраординарно умный пес?

— Псих он экстраординарный,— отозвалась Зелда.

На следующий день Зелда позвонила Мег и пригласила к вечеру на обед, чтобы познакомить ее с Тони.

— Ты не можешь отказаться! — заявила Зелда.— Никаких приглашений на сегодня в твоем еженедельнике нет.

— У меня и еженедельника нет,— сказала Мег.

— Учту на будущее.

— А кто он, этот Тони?

— Запасной кавалер, дорогая. Здесь всегда кто-нибудь в резерве. Тони отвечает за связь с прессой. Жена у него — в Новой Зеландии, она почему-то всегда там обретается, а если ее случайно и занесет сюда, она его не понимает. Тони чинит пробки, выгуливает собак, и все мужья ему доверяют. Какая-то чересчур догадливая дама пустила слух, что Тони — «голубой», потому, мол, они и живут с женой врозь, но это, конечно, ерунда. Он очень славный, смешной и, может быть, вселит в тебя бодрость.

— Очень мило с твоей стороны, Зелда, только навряд ли я приеду.

— Но почему?

— Думаю, Тимми был бы недоволен.

— По-моему, подводники не такие уж оголтелые собственники, иначе они не бросали бы жен надолго одних.

Веский аргумент! Мег поискала отговорку, но так и не нашла.

— Пожалуй, ты права,— сказала она.— Большое спасибо за приглашение, Зелда. Приду с удовольствием.

На дне Индийского океана на «Поларисе» завтракали, обедали и ужинали в те же часы, что и дома. Обед в тот вечер состоял из национальных блюд разных стран. Джим приготовил пельмени по-итальянски — ему всегда удавались незатейливые блюда. Капитан — цыпленка по-персидски, фаршированного толчеными орехами и долго томившегося на медленном огне, а Тимми, лучший кондитер на «Поларисе», непревзойденный мастер по крему, испек француз-

ский tarte aux poires [1]. Тимми не переставлял стрелки часов, чтобы не пропустить время мысленного свидания с Мег в одиннадцать тридцать.

Когда Мег приехала к Зелде в тот вечер, ей пришлось прокладывать себе путь в шумной разгневанной толпе пацифисток с лозунгами и изображениями сломанных ядерных ракет, напоминавших сломанные фаллосы. Демонстрантки, месившие грязь возле базы, довольно спокойно пропустили Мег. Она была в куртке и джинсах, на велосипеде и легко сошла за свою.

— Ракеты — долой, ребята — домой!— скандировали пацифистки, и Мег сразу вспомнила два облика Тимми — задорное, цветущее мальчишечье лицо и отчужденную строгость — внутреннюю суть мужчины, порой проступавшую на нем; Мег задумалась: кого же из них она любит, и почти с испугом призналась себе — мужчину. Ей было весело с мальчишкой, она играла с ним в любовные игры, но сердце ее принадлежало мужчине, а с ним, разумеется, шутки плохи.

Она рассердилась на женщин у базы за то, что они этого не понимают. Впрочем, какие они женщины? Просто обозленные девчонки во взрослом обличье, которое сами же и ненавидят. Мег порадовалась, что захватила с собой платье и босоножки на каблуках. Собираясь в дорогу, она сунула их в сумку багажника, кляня снобизм Зелды, но теперь мысленно похвалила себя. Платье было из тонкой шерсти, темно-синее с вышитыми белыми цветами у ворота. Ее свадебный наряд.

— Ты почему такая сердитая?— спросила Зелда, когда Мег переодевалась.

— Что нужно этим кликушам?— вырвалось у Мег.

— Мира,— спокойно ответила Зелда.— Я всегда считала, что ты их поля ягода.

— Ошибаешься,— отрезала Мег.— Ничего общего у меня с ними нет. Пусть оставят нас с Тимми в покое. Он штурман. Он определяет курс корабля по звездам, вот и все.

— Под водой звезд не видно,— возразила Зелда.— Все гораздо сложней. Тимми умнее, чем ты полагаешь.

— Если морское начальство назначило его на «Поларис», это их дело, но он просто штурман,— стояла на своем Мег.— Штурманы были и будут всегда.

Тимми и впрямь представлялся ей одним из спутников Одиссея, ведущим свой корабль под звездным греческим небом между Сциллой и Харибдой. Мег познакомилась с Тимми на вечеринке.

— А чем вы занимаетесь?— полюбопытствовала она.

— Я штурман,— ответил Тимми.

Мег едва расслышала его слова. Она влюбилась в него без памяти с первого взгляда, вот и вся история. Как ребенок, побоялась дальнейших расспросов: а вдруг узнаешь больше, чем следует? Тогда придется делать то, что надо, а не то, что хочется. Так девчонка, собираясь в школу, старается не глядеть на туфли: ведь придется чистить, если они грязные.

— Дорогая моя!— Зелда налила себе и Мег довольно большие порции джина с тоником. Обед — салат с ветчиной и печеный картофель — был на столе. Впрочем, картофель пока стоял на передвижном столике с подогревом.— Дорогая моя, твой муж — в группе управления. Их трое на «Поларисе». Капитан, старший помощник и штурман. С небольшой помощью капитана наши мужья могут устроить конец света. Неужели он не говорил тебе об этом?

[1] Грушевый пирог *(франц.)*.

— Но они не захотят устроить конец света,— вымолвила наконец потрясенная Мег. Тимми никогда не вел с ней подобных разговоров.

— Ты ведь знаешь мужчин. Они обожают подчиняться приказам. И если с базы поступит приказ взорвать Москву, Ханой или Пекин, они так и сделают. Сядут, одновременно нажмут на кнопки — и пошло! Ракеты рванут, как запрограммировано. У мужчин, понимаешь, нет воображения. Миллион убитых, два миллиона — для них это всего лишь цифры. А женщин и детей принесут в жертву высшему благу. Ладно, все мы об этом знаем. А уж мне, дочери врача, известно больше, чем кому бы то ни было. Отец заботился о своих пациентах, о нас — никогда.

— Такого приказа не поступит,— сказала Мег.

— Пока не поступало.— Зелде было приятно выбить Мег из состояния «добродетельного самодовольства», и она с радостью добавила:— Но думаю, когда-нибудь такой приказ поступит. Если у тебя есть щипцы для колки орехов, ты рано или поздно начнешь ими пользоваться. Впрочем, ты знала обо всем, когда вышла замуж за Тимми, так что нечего жаловаться на свою судьбу. Когда я попадаю в толпу этих миротворцев, я прокладываю себе путь локтями и кричу: «Русские идут, русские идут!» Это распаляет их еще больше. Смешно, правда?

— Не очень,— сказала Мег.

— А по-моему, смешно. По крайней мере когда русские оставят от нас рожки да ножки — ведь Англия всего-навсего непотопляемый американский авианосец, авангард, наши с тобой мужья будут в полной безопасности. Они могут жить под водой вечно. Пусть это послужит нам утешением.

— Зелда, почему ты не с теми, у базы?

— Обуви подходящей нет.

Прозвенел звонок, явился Тони.

— Тони поднимет твой дух,— сказала Зелда.— Он тебе объяснит, что все мы в абсолютной безопасности; наши парни делают великое дело — спасают мир от самого себя и защищают британских женщин и детей, а те пацифистки у базы — благонамеренные простушки, сбитые с толку русскими.

Не в пример Тимми Тони отличался хрупким сложением. У него был орлиный нос и бездна обаяния. Он глянул Мег в глаза, будто в душу, и проникся к ней симпатией. Минуя плоть, заглянул в разум, воздал ему должное и как-то сразу успокоил Мег. Она вдруг поняла, что никогда не чувствовала себя так спокойно с Тимми, и удивилась — почему?

— Вижу, Зелда в дурном расположении духа,— сказал Тони.— Надеюсь, она не наводила на вас тоску? Пацифистки у базы вызывают всяческое сочувствие, но, впрочем, да, их сбили с толку: ядерное оружие — средство устрашения, оно предотвращает войну, а не разжигает; но я бы не взял на себя смелость утверждать, что они сбиты с толку русскими. Я не из тех, кто кричит: «Опасно, под кроватью красный!» Этим женщинам не откажешь в мужестве, разумности, независимости взглядов. У нас другая точка зрения, потому что нам известно больше, чем им. В нашем распоряжении больше фактов.

— Адмиралтейство и наняло тебя, чтобы ты вещал прописные истины,— сказала Зелда.— Кому хочешь зубы заговоришь. Лучше положи себе салату. Ты не находишь, что Мег очаровательна?

— Нахожу. Послушай, Зелда, а что, если я пойду на кухню и сооружу всем нам спагетти по-болонски? Не люблю салаты.

— Я все ждала, когда ты это скажешь. А где что лежит, ты и сам знаешь.

Тони поднялся, и Томпсон зарычал. Как странно, подумала Мег. Если Томпсон чем и грешен, так скорей настырной приветливостью, но уж никак не злостью.

После ужина Тони сказал, что отвезет Мег домой; велосипед можно закрепить на крыше машины.

— Я и сама спокойно доеду,— возразила Мег.

— Боже упаси, конечно нет,— сказал он.— Вас еще изнасилует какая-нибудь пацифистка. Век себе этого не прощу. Я глубоко порядочный человек, верно, Зелда? Ну подтверди, что я глубоко порядочен.

Зелда тотчас подтвердила. Мег поддалась на уговоры, радуясь в душе, что не придется долго пилить на велосипеде в гору, что в белой машине Тони ей будет тепло и уютно, и с невольной досадой подумала о благах, которые можно купить за деньги.

Они миновали палаточный городок, где пацифистки расположились на ночь.

— Всем приходится зарабатывать на жизнь,— грустно заметила Мег.— Совершенно безобидных занятий не существует. А что, если бы Тимми продавал оружие? Все же они и *на самом деле* вредные, эти пацифистки.

— Да, они живут за счет государства, их содержит несчастный налогоплательщик.

И Тони двулик, совсем как Тимми, подумала Мег. Стоит ему забыться, с него тут же слетает обычная всепрощающая любезность и обнаруживается нетерпимость и даже резкая неприязнь — к длинноволосым левакам, трескучим феминисткам, чокнутым противникам охоты и прочим инакомыслящим. Мег тоже испытывала к ним неприязнь, но совсем иного рода. Ей хотелось бы изменить образ мыслей этих людей, а не стереть их с лица земли. Неужели все мужчины такие? Притворяются цивилизованными, а в душе жаждут побыстрее решить все проблемы раз и навсегда? Что это — трагическая склонность к разрушению?

Ей привиделся мир после Армагеддона: ракеты летят из разорванных в клочья облаков над взбаламученными морями, горы, черные, отравленные радиацией,— словом, ночной кошмар. Подобные кошмары снились ей и до встречи с Тимми. Она думала, что они — символическое отражение ее внутреннего состояния, ее собственного страха перед внезапными страшными событиями. Такими, как смерть отца. Внезапный страшный конец света. Но если всем видится конец света, разве это не опасно? А вдруг предчувствие сбудется? Не лучше ли обратить мысли к доброму, чистому, вселяющему надежду? Признавая дьявола, ты сама создаешь его. Мег в это свято верила. Наверное, поэтому пацифистки вызывали у нее досаду: они приближали Армагеддон, а не предотвращали его. Наверное, она и вправду беременна. Но как можно родить ребенка в таком мире? И опять же — как можно не родить? Надо утверждать свою веру в будущее — утверждать, утверждать, утверждать.

Рука Тони покоилась у нее на колене. Мег и не заметила, когда она там оказалась. Приятная рука — теплая, понимающая, полная ожидания.

Мег мягко отстранила ее.

— Благодарю, Тони, но не надо этого. Я люблю Тимми.

— Разумеется,— весело согласился Тони.— Такой славной девочке и положено любить мужа.

Мег отнюдь не была уверена, что ей хочется казаться славной девочкой. А Тони уже предлагал ей полюбоваться красивым видом. Мег вдруг подумала, что Тимми никогда не предлагал ей полюбоваться чем-нибудь, разве что самим собой или своей работой.

Тони попросил разрешения зайти, но Мег ответила отказом, и Тони снова принял его с шутливой покорностью.

Он предложил свои услуги — любые, какие потребуются.

— Желательно — не безгрешные,— уточнил он.— Только позовите. Но если придется заняться чем-нибудь безгрешным ради удовольствия побыть рядом с вами, я согласен. Чиню пробки, навешиваю полки, кладу линолеум. Я прирожденный Мастер-От-Скуки-На-Все-Руки. Согласен даже выгуливать этого противного пса.

Они немного постояли на крылечке. Тони признался, что предпочитает общество женщин. С моряками он плохо сходится, потому что с ними не о чем разговаривать. Они делятся новостями, перебрасываются шутками, злословят, но умный разговор поддержать не умеют. И вот теперь он повстречал ее, Мег, и ей так просто от него не отделаться. Надо же ему с кем-то общаться.

— Общаться можно и с Зелдой.

Мег кликнула Томпсона, вошла в дом и заперла за собой дверь; она глянула на голые, шершавые, милые своей простотой стены, стол из сосновых досок и порадовалась, что осталась одна.

— Надеюсь, Зелда и Мег поладят,— сказал Джим, старший помощник.— Хорошо, если б они подружились. Боюсь, твоя Мег затоскует одна в горах.

Сами они в это время находились подо льдами Центральной Арктики — место, прямо скажем, весьма неуютное. Радиометристу оно никогда не нравилось, а матрос Хоскинс пролежал без сна всю условную ночь и думал, что будет, если они, находясь под ледовой горой, выпустят ракету. Хватит ли у нее мощи пробить лед, или же она, как в детских комиксах, повернет назад и уничтожит их самих?

— Мег не одна, с ней Томпсон,— сказал Тимми.

Он почувствовал, что Мег думает о нем. Она смеялась. Тимми посмотрел на часы. Одиннадцать тридцать по Гринвичу. Ночью ему снилось, как Мег гуляет с Томпсоном по лесам его детства.

Мег, конечно, гуляла с Томпсоном, но только по горам. С тех пор как Тимми ушел в море, Томпсон преодолел свой страх перед овцами; теперь ему *нравилось гонять их. На него действовал лишь* окрик или сердитый взгляд. Если Мег брала пса на поводок, он тянул ее за собой по бездорожью; Мег спотыкалась и тревожилась за свои лодыжки. Томпсона удавалось сдерживать лишь силой воли. Ей пришло в голову, что Тони куда послушней.

Не успела она подумать об этом, как Томпсон скрылся за гребнем горы, и хоть она звала его добрых пять минут, не возвращался. Поднялся холодный ветер, горы косились на нее враждебно. Она была чужая здесь. Мег решила оставить Томпсона — пусть сам отыщет дорогу домой. Он ближе к природе — прыгает, носится наперегонки с ледяным ветром, радуется жизни. Мег угнетало лишь то, что она в ответе за Томпсона, ведь он принадлежит Тимми. Сверху ей видны были гавань, доки, серое море, медленно движущиеся краны, маленькие, будто игрушечные; а в следующей горной склад-

ке — сама база с ее расчерченными, как по линейке, дорогами, красивыми домиками, высокой тонкой оградой из проволоки, а за ней какие-то темные бугры,— вероятно, лагерь пацифисток, где поставлены или разбиты — или как там это у них называется — палатки. Мег забралась слишком высоко, чтобы разглядеть детали.

Меня это не касается, думала она, пусть играют в свои игры и оставят меня в покое. Я хочу любить мужа, гулять с собакой и наслаждаться жизнью.

И Мег побежала вниз, домой.

В пять часов Томпсона еще не было, и почтальон, доставивший конверт со множеством красных полос, предостерег Мег:

— Фермер всадит пулю в вашего пса, однако. Он снова гоняет овец.

— Никого он не гоняет.

Красные полосы побудили ее вскрыть конверт; внутри лежало уведомление о том, что кредитная карточка Тимми аннулирована за неуплату долга. Мег узнала, что они задолжали компании 843,72 фунта стерлингов плюс 12,5 процентов с этой суммы. Тимми говорил, что карточкой можно пользоваться при покупке обоев, краски, паласов и прочего. Она брала ее с собой накануне, когда ездила на базу за бакалейными товарами, и отметила, что их общий с Тимми счет изрядно истощился. Очередной месячный заработок Тимми почему-то не был внесен в общий баланс.

Мег поежилась. Холод пробирал ее до костей. Она натянула на себя побольше шерстяных вещей, подбросила дров в камин, хоть дров оставалось на удивление мало, и то и дело открывала дверь, высматривая Томпсона,— конечно же, напрасно.

Стемнело. Томпсон не появлялся. Мег позвонила Тони и расплакалась.

— Сейчас приеду,— сказал он.

Томпсон явился одновременно с Тони. Пес радостно пыхтел у двери, ронял и снова хватал зубами дохлую крысу, очевидно ожидая похвалы за то, что он ее придушил.

— Надеюсь, он не гонялся за овцами,— сказал Тони.— В этих краях за такое дело могут и пристрелить.

Тони отнял у Томпсона крысу, велел Мег принести таблетку от глистов и затолкал ее в горло Томпсону. Потом он надоумил Мег написать в компанию и дал ей номер телефона офицера на базе, помогавшего женам моряков вести финансовые дела, когда их мужья уходили в плавание. Тони заявил, что подводники ничего не смыслят в денежных делах, да и вообще в хозяйстве.

— Вероятно, их разум подвержен приливам и отливам, как и мощные глубинные течения,— предположила Мег.— А жалкие суетные умишки их жен легковесны, как пена прибоя. Сплошные мелочи, никакой целостности.

— Не сгущайте краски,— ответил Тони.

Он сунул руку в отсек для сажи, заключил, что трубу надо прочистить, и пообещал прислать человека, который заодно установит зонт над дымовой трубой, чтоб при северном ветре дым не шел обратно.

Тони предложил Мег закинуть продукты с базы, чтоб она могла отсидеться дома в пургу, иначе начальству придется посылать за ней вертолет — а ей это вряд ли понравится. Ему бы тоже не понравилось. Вообще лично ему приятно, что кто-то пытается жить не-

зависимо, за пределами базы. Морское ведомство и без того слишком довлеет над людскими душами — не его это дело.

Тони собирался одолжить ей на время телевизор, но Мег отказалась — она не любит телевизор, но он настаивал: еще как полюбите, берите до Нового года, пока муж не вернется.

Тони сказал, что ничего не ждет взамен. Просто ему нравится приносить пользу людям. Он и сам одинок, уж поверьте. И она одинока. Так почему бы им не пообщаться какое-то время?

И он ушел, успокоив Мег, согрев ей душу и возбудив любопытство. Она пыталась вызвать в памяти лицо Тимми и не могла, будто само присутствие другого мужчины в доме, его пальто, брошенное на спинку стула, его хозяйственные заботы и дела как-то вытеснили и без того ускользающий образ Тимми.

— Знаете ли вы,— начал капитан (они уже снова вышли в Тихий океан, и коралловые рифы, несмотря на все их коварство, не казались им такими грозными, как вечные льды),— знаете ли вы, что нас, подводников с ядерных лодок, сейчас больше, чем голубых китов? В сто раз больше — одних только американцев, русских, китайцев. Подданных Великобритании, конечно, маловато. Наши пять подлодок обеспечивают дополнительное прикрытие крупнейшим европейским столицам — это капля вина, добавленная в лимонад ребенку, чтоб он почувствовал себя взрослым и перестал шуметь.

— Нам рассуждать не положено,— заявил Джим.— Наше дело — выполнить свой долг и погибнуть.

— Однако погибнем не мы, а другие,— возразил Тимми.— Погибнут, когда мы выполним свой долг.

На дне моря люди впадают в задумчивость. В иные дни не помогает и haute cuisine[1]. Матрос Хоскинс хорошо играл на гитаре, но помнил только антивоенные песни шестидесятых годов, а они настраивали всех на сентиментальный лад.

— С этим Томпсоном просто беда,— жаловалась Мег Тони.— Ведет себя так, будто я ему сестра, а не хозяйка. Он меня совсем не уважает.

— Зато я не веду себя так, будто ты моя сестра.— Тони лежал в постели с Мег, вернее, только что туда забрался — погреться, как он выразился. Печник, явившийся прочистить трубу, сказал, что она вот-вот обрушится и в камине нельзя разводить огонь до его, печника, прихода, а придет он завтра — с материалом; надо переделывать трубу.

Холод снова пробрал Мег до костей. Офицер с базы объяснил ей, что почти все месячное жалованье Тимми ушло на погашение кредита, выплату ссуд под закладную и прочих долгов. На текущие расходы почти ничего не осталось: вольно было ей транжирить деньги — покупала сливки, когда можно было обойтись неснятым молоком, посылала письма спешной почтой, оклеивала обоями фермерский дом, где вполне сошла бы и простая побелка. Он, разумеется, даст ей денег — аванс в счет следующего жалованья мужа. Морское ведомство полагает, что за женами нужен глаз да глаз — и не без основания. На жалованье морского офицера холостяк, пожалуй, разгуляется, а уж семейному особняки отделывать не по карману. Как теперь быть? Ну, если она решится продать дом и переехать на базу, она сама убедится, что здесь жизнь значительно дешевле.

[1] Высокое кулинарное искусство *(франц.)*.

Мег обещала офицеру обдумать его предложение. Тони вызвался расплатиться с компанией и сохранить это в тайне от Тимми. Мег согласилась. Она залезла в постель, ничуть не беспокоясь, последует за ней Тони или нет.

Тони последовал — с бутылкой шампанского и двумя бокалами.

— Видимо, три месяца отпуска ты провела в постели с Тимми.

— Не обязательно в постели,— сказала Мег.— Тогда было теплее, на воздухе куда приятнее, и если бы не Томпсон, самое хорошее место — под кухонным столом.

— Наверное, очень тяжело, когда все обрывается так внезапно.

— Конечно, тяжело,— резко ответила Мег.

Тони разделся донага. Мег легла в чем была — в шерстяных кофтах и белье (а настоящая зима еще не наступила!),— только джинсы сняла: в них в постели неудобно. Легла, чтоб согреться и успокоиться — только и всего.

— Пожалуйста, не изображай из себя посланца фирмы добрых услуг.— Мег стряхнула его вкрадчивую вопрошающую руку.— Сдается мне, ты подослан безопасностью, чтоб я по-прежнему чувствовала себя счастливой.

— Безопасность не думает о том, счастливы люди или нет. Ей нужно, чтобы они молчали.

— Что до жен, так это почти одно и то же.— Мег села и взяла предложенный им бокал шампанского.— Так ты и вправду не подослан безопасностью?— спросила она чуть смущенно, невольно поддаваясь его обаянию.

— Конечно нет. У тебя паранойя. Станут они так выкладываться ради обыкновенной жены обыкновенного штурмана.

— Должны же они чем-то заниматься,— упорствовала Мег.— К тому же Тимми не обыкновенный: он — треть группы управления лодкой, значит — одна пятнадцатая независимых британских ядерных средств устрашения.

— Он и на самом деле в группе управления? Кто тебе сказал?

— Зелда.

— Ах, Зелда... А знаешь, Зелда никогда бы не легла в постель с мужчиной, который носит теплое белье и нательную фуфайку.

— Тебе лучше знать.

Тони не возражал.

Он стянул с нее кофту и белье.

— С чего ты взял, что я стану спать с таким мужчиной? — осадила она его.— Ты сам забрался ко мне в постель. Я тебя не приглашала.

— Но и не вылезла, когда я в нее забрался. Мужчины мгновенно понимают такие тонкие намеки. А у тебя прелестные сосочки. Нежно-розовые. Намного красивей Зелдиных.

— Не шути, пожалуйста,—обиделась Мег. — Лучше подумай, как мне выжить в этом мире? Сможет Тимми уйти из флота, если он не хочет откладывать деньги?

— Дорогая моя, я совершенно серьезен, а Тимми не собирается бросать морскую службу.

— Нет, собирается.— Она прикрыла грудь простыней.

— Даже если это у него на уме, то не в подсознании. Подсознание — вот что важно.

Мег решила, что он прав, и рука ее разом обессилела, простыня упала. В этот миг за дверью послышались визг, царапанье, и ненадежная задвижка отскочила. В комнату ворвался Томпсон и залег под кроватью.

— Вовремя поспел,— сказал Мег.— А ну-ка, Тони, вылезай отсюда — пожалуйста.

— Почему? Он же бессловесный!

— Я лично в этом вовсе не уверена.

Тони вылез из постели и оделся, позабыв про галстук. Томпсон тотчас уволок его под кровать и изжевал, слегка отыгравшись за отнятую крысу.

Мег прониклась искренней симпатией к Томпсону: ведь он ее спас. Но потом пошли дожди, и земля вокруг дома, развороченная за долгие месяцы ремонта, превратилась в сплошное месиво. Томпсон не мог высидеть взаперти и пяти минут; выбегая, он уносил массу драгоценного тепла, а возвращаясь, затаскивал в дом комья грязи. По обыкновению, Томпсон несся сразу наверх, в спальню, и там отряхивался. Если Мег не выпускала его или не впускала, Томпсон отчаянно визжал и колотился в дверь, словно капризный ребенок, пока она не сдавалась. Мег штукатурила и оклеивала обоями кухню, и времени из-за Томпсона у нее ушло вдвое больше, чем она предполагала.

Приехали мать и отец Тимми — навестить Мег и выразить ей свое восхищение и сочувствие, они были самые милые и далекие из всех милых и далеких людей. Мег предложила им забрать Томпсона. Это предложение удивило и, не будь они так милы, шокировало бы их.

— Но ведь он ваш компаньон и защитник!

Он — хаос, вертелось на языке у Мег, он — безумие, он — стихийное бедствие. Он мне дорого обходится — семьдесят пять пенсов в день, он — грязнуля, но, что самое главное, он принадлежит Тимми. А Тимми — у Мег появилось неприятное чувство, будто они скинули с себя всю ответственность за сына,— Тимми скорей ваш, чем мой. В конце концов (она сознавала, что такие мысли — ребячество с ее стороны) это вы задумали Тимми.

Мег мило улыбнулась и принялась жарить на плите лепешки; плита — спасибо Тони! — уютно гудела, превосходно пекла и не доставляла никаких хлопот, если, конечно, Томпсон не подползал к ней слишком близко — тогда воздух наполнялся запахом паленой шерсти. Свекор со свекровью уехали, потрепав напоследок Томпсона по загривку.

Еще месяц — и Тимми вернется домой. Может быть, он будет дома к Рождеству!

— Держу пари, ты знаешь, когда возвращается второй экипаж, — сказала Мег Тони, повстречав его возле библиотеки.

Он посмеялся глазами и посоветовал ей обратиться к Зелде. С Зелдой Мег почти не виделась. Считала, что она во всем виновата: ведь Зелда по сути дела толкнула ее в постель к Тони (или, скорей, Тони в ее постель). И жалела Зелдиного мужа, Джима, милого, простого, улыбчивого. Жены должны блюсти себя: женская верность — что-то вроде талисмана, отводящего беду.

Пацифистки сняли лагерь и уехали, и Мег уверилась, что талисман действует. Когда пришел Тони — помочь ей выложить кафелем стену на кухне возле раковины — и провел рукой по нижней части ее джемпера, Мег влепила ему такую звонкую пощечину, что у него слезы выступили на глазах.

— Вот уж не ожидал подобной реакции,— посетовал он.— Ты, право, непредсказуема.

— Сплю неважно.

— Существует хорошее средство от бессонницы, ты его знаешь.

— Это не то, о чем ты думаешь. У меня что-то вроде цистита. Ночью то и дело вскакиваю.

— Ты беременна,— сделал вывод Тони. Он отвез ее на базу к врачу, и тот подтвердил диагноз.

— Жаль, что это не мой ребенок,— вздохнул Тони.— Обожаю младенцев. А сейчас я отбываю на юг. Пробуду там с месяц.

Мег позвонила Зелде и сообщила ей новость.

— Как ты думаешь, стоит обратиться к попечителю? — спросила она. — Может, он пошлет Тимми телеграмму?

— Какой смысл? Через несколько дней они вернутся. И твой Тимми будет в плохом настроении. Они всегда возвращаются злыми. В общем, я тебя предупредила.

Тимми ступил на землю, закачавшуюся у него под ногами, вдохнул свежий, холодный воздух и захмелел. Время будто остановилось с тех пор, как он ушел в море. У Тимми были две разные жизни. Одна — на суше, другая — под водой. Там, под водой, в вечном ожидании конца плавания, было безопаснее. Он вывел свой велосипед из-под навеса. С удовлетворением отметил, что он хорошо смазан. Зелда ждала Джима и сказала проезжавшему мимо Тимми: «Мег беременна», и он вскрикнул. Почему? От радости, удивления, потрясения? Или от полноты жизни, которую пробудил в нем чистый, холодный воздух? Он остановил велосипед возле винного магазина и купил шампанского. Когда он приехал домой, Мег еще спала, и он примостился возле нее, как Томпсон, почти обезумев от желания. Кстати, Томпсон, на его взгляд, растолстел. Мег, конечно, не смогла дать ему достаточной нагрузки.

— Шампанское в постели, — Мег вздохнула. — Непозволительная роскошь. Мы должны экономить деньги.

Ее замечание уязвило Тимми.

— Не подумай только,что я тебе не рада. — Уж лучше бы ей промолчать: слова прозвучали фальшиво.

Он взял ее так яростно и быстро, что близость скорей разъединила их, оставив на душе чувство неудовлетворенности.

— А ты растолстел,— бестактно заявила Мег.— И бледный.

— Вероятно, потому, что остальной мир слишком яркий.— Тимми отступал: ему хотелось лишь тишины и размеренного ритма своей другой, подводной жизни. Той, где капитан Джим и он сам.

— Чем вас там кормят, под водой? Консервированными бобами и солониной?

— Чем-то в этом роде.

— А я приготовила вкусную картофельную запеканку с мясом.— Мег помедлила. — Приложи-ка ухо к животу. Чувствуешь? Там идет своим чередом новая жизнь!

— Не чувствую никакой разницы, — сказал он — и напрасно, а потом добавил, пытаясь сгладить собственную бестактность: — Я рад, что ты позабыла принять пилюлю.

— Так сколько стоило шампанское? — Мег вернулась к старой теме мотовства. Ей уже хотелось, чтоб Тимми снова ушел в плавание.

— По-моему, ты могла бы отучить пса от привычки торчать в спальне,— сказал Тимми.— Он не пудель и не болонка какая-нибудь. Томпсон — охотничья собака.

— А я люблю, когда он сидит под кроватью,— призналась Мег.— Мне даже нравится, как он скребется и выискивает блох.

— Блох?— вскинулся Тимми.

— У всех собак есть блохи.

— Только не у тех, за которыми хорошо ухаживают.

Последовала невыносимая сцена. Мег срывалась на крик, не уступал ей и Тимми. Она заявила, что уедет домой, к матери, он — что снова уйдет в море. Она пригрозила, что сделает аборт, и он ответил: хорошо, я согласен. Когда оба выплеснули наружу свое возмущение и усталость, а Томпсон перестал шлепать по комнате, пыхтеть и уснул с засохшей капелькой слюны на подбородке, Тимми засмеялся.

— Жаль, что все так глупо получилось,— сказал он.

Они легли в постель и заснули — плотью единой, а когда проснулись, он снова взял ее, но на сей раз их близость была нежней, спокойнее, и они, казалось, уже могли продолжить семейную жизнь с того момента, где она чуть было не оборвалась. Впрочем, не совсем так. Тимми беспокоило, как много дров пожирает их плита «Рейберн», он утверждал, что всему виной труба: ее не следовало переделывать.

— А вьюшку надо держать закрытой,— сказал он.

— Тогда плита дымит,— сказала она.

— Ерунда,— ответил он.

— Мне лучше знать свою собственную плиту,— сказала она.

— Но ее устанавливал я,— заметил он.

— Значит, плохо устанавливал,— сказала она, и тут они оба рассмеялись, прекратили спор и поцеловались.— Зачем я тебя огорчала? — сожалела Мег.— Офицер с базы наказывал: «Берегите мужа от волнений и тревог — ради флота, ради страны, ради всего мира». Он только нас с тобой не помянул. Вот о чем я сейчас думаю. Видишь, я уже улыбаюсь. Хочешь, я буду всегда тебе улыбаться? — И она улыбалась — до последнего дня отпуска.

Но когда Тимми пробыл дома почти три месяца, Томпсон, обозленный тем, что его посадили на диету и гоняют до седьмого пота, вытащил из-под кровати галстук Тони и положил его перед носом хозяина, отжимавшегося на полу.

Пока Тимми недоуменно смотрел на галстук, зазвонил телефон. Тимми снял трубку, послушал и ответил: «Есть!»

— Это они?— спросила Мег.

— Да,— подтвердил Тимми, не сводя глаз с галстука.

Стоял конец марта. Зима выдалась мягкая, почти бесснежная. Тони никто не видел, но в разговоре его порой поминали недобрым словом: ведь это по его рекомендации явился печник и испортил трубу. Тимми пришлось ее чинить. Они провели Рождество с родителями Тимми, милыми, бесконечно далекими людьми, и встретили Новый год с далеко не безупречной матерью Мег. Мег была на седьмом месяце.

— Как попал сюда этот галстук?— спросил Тимми.

— Не знаю,— ответила она.— Он очень пыльный.

— Сколько он здесь провалялся? Месяцев шесть? Ты же принимала противозачаточные пилюли. Как можно забеременеть, если ты предохраняешься? Ты забеременела, когда я ушел в плавание, от человека, который носит зеленый галстук с красными звездами. О боже!

Мег засмеялась — от потрясения и неожиданности. Это было очень некстати.

— А теперь ты смеешься. Еще бы! Ведь ты распоряжаешься моим жалованьем, смешно, правда? Но мною ты распоряжаться не будешь!

Лицо у него сделалось холодным и жестким. Мег почувствовала, что и ее собственное становится холодным и жестким.

— Тебе галстук пришелся не по вкусу?— Она не снизошла до оправданий.

Тимми не отвечал. Он укладывал свои немногочисленные вещи. Пистолет висел в кобуре у него под рукой. Да он застрелит меня, подумала Мег, и ей даже отчасти захотелось, чтоб это случилось.

— С тех пор как я вернулся, все не так, как надо,— сказал он.— Все. Теперь я понимаю почему.

— Спроси у врача,— предложила она.— Он тебе все растолкует.

— Когда мне спрашивать? Я на три месяца ухожу в море, ухожу с этой мыслью!

Мег заплакала. Томпсон завыл. Тимми топнул ногой, хлопнул дверью и вышел.

— Но я беременна!— крикнула она ему вслед, обливаясь слезами.

— Жалуйся отцу ребенка, а не мне,— бросил он в ответ и уехал.

Мег ждала, что Тимми позвонит с базы, но он не позвонил. Она поднялась в горы и долго сидела там, глядя вниз, и наконец увидела, как «Поларис» выскользнул из своего укрытия и где-то посреди залива ушел под воду. Томпсон так сильно прижался костлявым подбородком к ее колену, что на следующий день она обнаружила на этом месте синяк. С тех пор как она забеременела, синяки появлялись у нее то здесь, то там.

—«Сладок свет,— процитировал капитан, стоявший у перископа,— и приятно для глаз видеть солнце» [1]. Видите бугорки у меня на веках, мистер Штурман? Говорят, холестериновые бляшки. Профессор рекомендует сократить потребление животных жиров. На сей раз вы явились первым, мистер Штурман. Как отпуск провели — хорошо?

— Плохо, сэр,— ответил Тимми.

Мег, чувствуя себя глубоко несчастной, отправилась к Зелде. Зелда дохаживала срок и была в прекрасном настроении. Новый музыкальный звонок разливался: «Плинг-плонг, плинг-плонг-плонг!»

— Лесные колокольчики!— торжествующе возвестила Зелда.— Джим решил, что они мне понравятся. Слышишь, как они вызванивают — вместе работай, вместе живи, вместе думай. А с тобой что случилось, Красноглазая? Впрочем, можешь не рассказывать. Ты поссорилась с Тимми, и он напоследок обидел тебя грубым словом.

— И не одним. Шлюха. Прелюбодейка. Не больше не меньше.

— И это перед трехмесячной разлукой! Ничего, не огорчайся. Обычный случай. Постепенно привыкнешь. Что же Джим сказал мне на этот раз? Вылетело из головы. Да это и не важно. Какую-то невообразимую гадость. Ах, вот, вспомнила! Меня приглашали помочь в библиотеке, тут Джим и ляпнул: пойдешь работать, усы еще больше отрастут. Статистика, видите ли, показывает, что у работающих женщин растут усы. Чем они там занимаются в своей подлодке — статистикой?

— Но, Зелда...— Мег ударилась в слезы.— Если... а если с Тимми что-нибудь случится, значит, это — последнее, что он мне сказал?

— Какая ты эгоистка,— укорила ее Зелда.— Ты бы лучше о нем подумала, а не о себе. И запомни: он позабудет то, что сказал. Мужчины всегда забывают. У них дырявая память на свои обиды, вот когда их обижают, они злопамятны. Ты сказала ему что-нибудь ужасное?

— Нет.

— Стало быть, в следующий раз скажешь. Мы с Джимом оскорбляем друг друга по очереди. Напряжение, понимаешь, дает о

[1] Екклесиаст, 11, 7.

себе знать. Уходят в море в плохом настроении, возвращаются в плохом, только где-то посередине получаешь передышку. Стоит игра свеч?

Прозвенели лесные колокольчики, и в прихожей появился Тони.
— Привет,— сказал он.— Давно не виделись.
— Привет,— ответили женщины, сразу повеселев.

Была поздняя весна. Холод и слякоть вопреки календарю затянулись до апреля. Несколько бледно-желтых нарциссов распустились в горах, но холодные, колючие ветры тут же выбелили их и разорвали в клочья, и если птицы распевали свои песни, слушать их было некому. Мег жила в фермерском доме и, поверив Зелде на слово, по-прежнему считала себя замужней женщиной. Искушало желание обрушить гнев на Тони, забросать его упреками, утопить в слезах, но дело было слишком серьезным, да и она не в том возрасте, когда устраивают сцены. Ради ребенка следовало сохранять спокойствие. Мег повезло: она легко переносила беременность.

Томпсон стал еще беспокойнее и самовольнее. Охотился на кроликов и возвращался домой перепачканный кровью, будто достиг возмужалости.

Во всем виноваты мужчины, думала Мег, со своими бомбами, ракетами, военными планами, теориями, противоборствующими правительствами; они притворяются, что решение проблемы в том, как бы половчее сбросить друг на друга бомбу; и всюду мужчины, мужчины, злые и сумасшедшие.

Если бы пацифистки не уехали, думала Мег, я пошла бы с ними. Раньше не могла: упивалась медовым месяцем, а теперь скандировала бы со всеми: «Ракеты — долой, ребята — домой!» Да, кричала бы от всей души.

В середине апреля произошла странная история. Утро занялось такое спокойное и ясное, что отпали все сомнения: зиме пришел конец. Мег поняла, что весна, скрытая ветреной зимней завесой, уже давно готовит свои сюрпризы. Деревья, еще вчера голые и черные, налились соком и подернулись зеленоватой дымкой свежей листвы. Там, где вчера была лишь бурая земля, проклюнулись пионы, потянулись к свету анютины глазки и первоцветы. Мег стояла на крылечке, подставив лицо теплым солнечным лучам, и думала о том, что скоро придет лето и все будет хорошо. Томпсон замер на дорожке и, наверное, думал о том же. Мег заметила, что чуть ли не на каждой ветке сидит птичка; скворцы разместились рядком на каменной ограде и повернули головы к теплу, к солнцу. Там, где ограда рухнула, притаился кролик, а позади него стояла овца и спокойно глядела на Мег. Кошка, которую Мег взяла на время у библиотекарши Аманды, чтобы сократить рост мышиного населения, прыгнула с дорожки на подоконник, и две птички испуганно вспорхнули, но тотчас вернулись на свои места. Казалось, все живое в мире наслаждается прекрасным днем, радуется, что тяжелая пора миновала и все теперь будет хорошо; радость была общая, и все понимали друг друга.

Томпсон первым нарушил непривычный покой. С заливистым лаем он бросился за кроликом. Овца рысью припустила прочь, птицы пронзительно закричали, срываясь с насиженных мест, и кошка метнулась вслед за ними в кусты. Закон жизни — убей или убьют тебя — утверждал себя вновь. Будто с общего согласия велась какая-то игра — по крайней мере в царстве животных.

Мег во всем винила Томпсона. Когда он вернулся из погони и запрыгал вокруг нее, пытаясь подольститься к хозяйке, Мег его уда-

рила и с криками гонялась за ним по дому. Потом ей стало стыдно за себя. Томпсон залез под софу и рычал, стоило ей подойти поближе, а когда Мег сунула под софу руку, желая помириться с ним, он ее цапнул.

Чуть позже зазвонил телефон. Местный фермер просил держать собаку под присмотром. Сказал, что он живет разведением овец, и если собака не уймется, ему придется ее пристрелить.

— Это не моя собака,— жалобно сказала Мег.— Ее завел муж, а мужа сейчас нет дома, он служит во флоте.— Мег надеялась смягчить сердце фермера.

— Да я все знаю,— ответил он,— знаю и то, что ты беременна. Сочувствую тебе, девонька. Но что нужно флоту здесь, на нашей земле? У вас свой мир, в нем и живите. Ваша собака — роскошь. А мои овцы меня кормят. Ваша собака — необученная охотничья собака. Ничего хуже не придумаешь. Такой собаке лучше умереть.

После этого разговора Мег держала Томпсона дома или выводила гулять на поводке, и в ее душе Томпсон и Тимми слились воедино — в единое бремя забот.

Под водой в Южно-Китайском море Джим спросил у Тимми:

— Что случилось, старик?

— Ничего не случилось.— Тимми удивился, что Джим заметил неладное; ему самому казалось, что он светел лицом и улыбчив, как погожий денек. Мрачные тучи собирались и кружились по краям его подсознания, но он разгонял их усилием воли. И тогда ему снова улыбалось голубое небо.

— Если ты переживаешь из-за интрижки с Зелдой, не беспокойся,— продолжал Джим.— Я об этом знаю. Случается и такое. Ведь теперь все кончилось. Зелда не хочет, чтобы я служил на флоте. Жена моряка не живет полной жизнью. Она имеет право на большее. Вот Зелда и мстит мне, а потом сама не рада. Я не виню тебя, старик, и ее тоже не виню.

Тимми сосчитал фразы, произнесенные Джимом. Девять. Прежде ему не доводилось слышать больше четырех кряду. Тимми был тронут значительностью этого происшествия и вдруг почувствовал, что с души у него свалилась тяжесть, о которой он сам не подозревал.

— Интересно, который час там, дома? — поинтересовался он.

Капитан глянул на циферблат.

— Одиннадцать тридцать. А в чем дело?

— У меня в это время свидание с Мег,— ответил Тимми.

— Телепатическое? — спросил капитан.— Русские только этим и занимаются. Пожалуй, и нам не стоит отставать.

Тимми напрягся, но не поймал ответного зова Мег и сразу почувствовал себя опустошенным и обиженным.

— Наверное, есть множество невинных причин, по которым мужской галстук вдруг оказывается под кроватью твоей жены,— сказал он, и капитан поддержал его:

— Разумеется.

— Я сам себя ругаю, сэр.

— Вот он — ключ ко всему на свете,— заметил капитан.— Выпьем за него.

— Я не ослышался, сэр?

— Жизнь прекрасна, и капля белого вина вреда не причинит.

Капитан достал с полки пластмассовую канистру Зелды.

— Но, сэр, на обед у нас boeuf au poivre[1] с зеленым перцем, а не

[1] Мясо с пряностями *(франц.)*.

с черным, как полагается по рецепту. Разве к мясу идет белое вино? — недоумевал Тимми.

— Безумные времена, безумные нравы.— Капитан откупорил канистру. Затем он уколол палец иголкой и капнул кровью в белое вино.— Пьем за всеобщее братство! — провозгласил капитан.— И за наши промахи.— Кровь почти не изменила цвет вина, и капитан подсыпал туда кошенили [1].— Пусть будет rosé [2],— решил он.— Компромисс — великое дело.

Акушерка постучала в дверь, вошла и увидела, что Мег сидит с мрачным видом на стуле, обвязавшись поводком, а Томпсон нехотя притулился рядом, раздраженный, с дикими глазами. Он залаял на гостью и потянулся к ней — приветствуя, а не отгоняя.

— Надо бы отпустить собаку,— сказала акушерка.

Мег отвязала поводок, и Томпсон бросился к гостье; но она не отступила, съежившись от страха, как большинство людей при встрече с шумным дружелюбным Томпсоном, а шагнула ему навстречу и потому удержалась на ногах. Постепенно Томпсон угомонился.

— Давно вы так сидите?

— Около часа,— сказала Мег.— Я знаю его повадки. Когда у него такие глаза, лучше не выпускать его из дому, а то он начнет гонять овец, и его пристрелят.

— Видимо, это был бы лучший выход из положения,— заметила акушерка.

— Тимми мне никогда не простит смерти Томпсона.— Мег заплакала. Она была уже на восьмом месяце. Потом она легла на кровать, и акушерка ощупала ей живот.

— Вы не явились в клинику, я и решила: загляну-ка к ней сама, проверю, все ли в порядке. Да, все в порядке.— Она обвела взглядом кухонные полки — есть ли продукты в доме? Продукты имелись, и все же ей было как-то не по себе.— Муженек в отлучке, надо думать,— сказала акушерка.— Ведь он из второго экипажа. И нам не положено спрашивать, когда он вернется, верно я говорю?

— Верно,— подтвердила Мег.— И все равно его не вызовешь, даже если б я лежала на смертном одре. Да он и сам не захочет, чтоб его вызвали. Ведь тогда он рискует пропустить конец света, а ему не хотелось бы лишить себя такого зрелища.

— Ваша мать может приехать и побыть с вами?

— Она не любит собак,— сказала Мег.— И Тимми она не любит, и весь военно-морской флот; она меня предупреждала, что ничего хорошего меня не ждет, а я ответила: «Позволь мне жить по-своему, мама». Если вдуматься, она и меня-то не любит.

— А родители мужа? В таком состоянии вам лучше одной не оставаться.

— Да я их едва знаю. А то, что узнала, мне не понравилось. Наверное, это взаимно.

— Неужели совсем некому отдать пса?

— Я взялась присматривать за ним и доведу дело до конца, даже если это будет стоить мне жизни.

— У вас ноги все в царапинах. Почему?

— Потому что я выгуливала Томпсона, а он поволок меня в кустарник.

— Отдайте его в собачий питомник.

— Тимми мне этого не простит. Скорей я сама уйду в питомник, а Томпсон займет всю кровать. До возвращения Тимми. А потом они устроятся там вдвоем и будут совершенно счастливы. Он женился

[1] Красная краска из тлей.

[2] Розовое *(франц.)*.

на мне лишь потому, что ему нужна была горничная для ухода за собакой.

— Знаете, позвоню-ка я доктору,— сказала акушерка.— Не могу оставить вас в таком возбужденном состоянии.

— Я не в возбужденном состоянии.— Мег залилась слезами.— Просто я хотела вас позабавить. Представляете — трое мальчишек держат пальцы на кнопках пуска ракет. Это же так смешно!

Акушерка заставила Мег принять успокоительную таблетку. Мег просила оставить несколько штук для Томпсона, но акушерка отказалась. Она обещала вернуться с врачом и велела Мег никуда не отлучаться.

Но через полчаса после ее ухода Мег не выдержала скулежа и злобного рычания Томпсона, взяла его на поводок и повела на прогулку. Какое-то время Томпсон вел себя спокойно, но потом стал все сильнее натягивать поводок, вырвал его из рук Мег — или она сама его упустила? — и погнался за кроликом. Мег стояла на уступе горы, поросшей папоротником, и смотрела вниз, на узкую долину и вход в старую штольню — от нее шел более крутой подъем, и на противоположном склоне паслись овцы. Мег видела, как маленький, едва различимый Томпсон скатился с горы; видела, как он заметался, потеряв след кролика в кустах, а потом взбежал на противоположный склон и замер, наблюдая за овцами.

— Я знала, что так и будет,— сказала вслух Мег.— Так и должно было случиться.

Стадо рассыпалось, когда в него ворвался Томпсон и, заливаясь лаем, принялся кусать овец; в следующий миг она увидела, что с вершины горы спускается человек с ружьем. Мег замахала руками, закричала и кинулась ему навстречу, но ружье поднялось, потом опустилось, из него вырвался клочок дыма, и Мег услышала щелчок; Томпсон будто взлетел, а потом медленно-медленно опустился на землю, и овцы веером развернулись по обе стороны от центра сцены, будто исполняя какой-то ритуальный танец. Мег, не в силах оторвать глаз от фермера, шла, не разбирая дороги; вдруг нога ее застряла в кроличьей норе, она упала и потеряла сознание. Очнувшись через несколько секунд, Мег ощутила сильную боль в боку и еще сильнее — в голове, но тут она была сама виновата: всем своим существом Мег излучала ненависть, гнев и страдание.

Фермер подкладывал ей под голову пальто. Мег сознавала, какой у нее сейчас злой и колючий взгляд, как кривятся в усмешке губы. Фермер закончил фразу, по здешнему обычаю, словом «однако», а потом лицо его исчезло, исчез и он сам; если бы Мег могла повернуть голову — тело ее пронзала страшная боль,— она бы увидела Томпсона. Выстрелом ему снесло часть черепа, под разорванным мясом проглядывало что-то белое — очевидно, кость, а серая масса, напоминавшая плохо упакованный сверток, была мозгом — вместилищем всех Томпсоновых волнений и тревог.

Мег была рада, что Томпсон мертв. Сейчас умрет ребенок, а потом и она сама. Ей хотелось, чтобы мир рухнул, и если бы она могла его разрушить, она бы это сделала. Нажала бы на кнопку и — конец. Прах, пепел и безмолвие. Мысль эта несла заряд такой ярости, что, казалось, взорвалась в голове — не резким щелчком, раздробившим череп Томпсона, а мощным обвалом в багровых сполохах, похоронившим под собой сознание.

Мег лежала в санитарной машине, над ней склонилась Зелда. Здесь же сидела и акушерка. Она вязала белый шарф с красными

полосами, вернее — пыталась вязать: дорога была тряской. Фельдшер, сопровождавший машину, внимательно изучал свои ногти.

— Что теперь Тимми скажет? — В голосе Зелды слышался упрек.— Бедный Томпсон!

— Заткнись, Зелда,— машинально пробормотала Мег.

— Приходит в себя? — встрепенулась акушерка.

— Грубит почем зря,— ответила Зелда.— Это одно и то же?

— Что со мной? — спросила Мег.

— Острая боль в брюшной полости без видимых причин,— объяснила акушерка.— С беременными такое бывает. Не беспокойтесь, сердце ребенка работает нормально, и ваше — тоже.

— Неужели все это мне приснилось? — спросила Мег.— Томпсон умер?

— Погиб,— подтвердила Зелда.— Что теперь Тимми скажет? Напрасно ты не отдала Томпсона в собачий питомник, Мег.

— Не донимайте бедную девоньку,— вмешалась акушерка.

— А ей это только на пользу,— отозвалась Зелда.— Я ее знаю как облупленную. Вон, гляньте, даже порозовела!

Мег заплакала, вспомнив Томпсона.

— Мне казалось, что я подорвала мир,— подала она наконец голос.— А он, слава богу, целехонек.

— В одиночку такое вряд ли осилишь, дорогуша,— сказала акушерка.

— А втроем — запросто. Играючи.

Акушерка не поняла, о чем речь, зато поняла Зелда.

— Ну, я бы не стала рассуждать о конце света перед младенцами, которым еще предстоит родиться на свет,— заявила она.— Насколько мне известно, их отцы охраняют наши берега и наше будущее, не говоря уж о том, что исправно платят за квартиру, и утверждать обратное можно лишь из природной склонности к отрицанию. «Женщины за бомбу!» — вот мой лозунг.

— Ты, видимо, часто общалась с Тони,— заметила Мег.

— Но очень надеюсь, что мой ребенок все же будет похож и на Джима,— сказала Зелда.— Вот так-то.

Мег до вечера пролежала в госпитале на базе, а потом ее отправили на санитарной машине домой. Ей все чудилось, что она краешком глаза видит Томпсона, но стоило ей обернуться и посмотреть в упор, никого на этом месте не оказывалось. Однако дух Томпсона витал по дому — на лестнице и под кроватью; все двери и оконные рамы хранили отметины его сильных когтей.

На следующее утро Мег поговорила с ним серьезно.

— Томпсон,— сказала она,— ты здесь и в то же время тебя здесь нет. Наверное, скоро ты совсем исчезнешь. Скажи, ты сам искал смерти? Хотел проучить меня? Я понимаю, что должна извлечь для себя урок, но если бы я знала какой! Каюсь — я принимала то, что имела, как должное, без всякой благодарности, и напрасно. Я думала, что у меня будет покорная, ласковая собачка; она позволит себя баловать и будет слушаться хозяйку — а взамен получила тебя. Я думала, что мой муж будет зримым воплощением моих собственных фантазий, а взамен получила Тимми. Неудивительно, что он дал мне отпор. Я всегда считала, что злы и несдержанны другие люди, а не я, но оказалось, что это не так. Я сама ничуть не лучше. Дело не в них, правда? Дело в нас самих.

Мег замолчала, и ей почудилось, будто она слышит, как терпеливо и шумно сопит Томпсон.

— Томпсон,— продолжала она,— пусть твой дух покинет этот дом; спустись на дно моря, куда уходят, откуда всплывают огромные

безмолвные корабли, и скажи своему хозяину, что я прошу у него прощения.

На «Поларис» поступило два сообщения. Одно — из службы семейных новостей. Капитан молча убрал их в папку.

— Я знаю, что это для меня, сэр. Что-нибудь с Мег? Она здорова?

— Совершенно здорова.

— Тогда что же, сэр? Томпсон?

— Так уж заведено, мой мальчик, что плохие вести сообщаются в последний день плавания. И поскольку с этим ничего не поделаешь...

Но Джим рассказал ему все.

— Томпсона пристрелил фермер: пес, видишь ли, гонял его овец.

Некоторое время Тимми молчал. Аромат цыпленка á l'ail, начиненного двадцатью головками чеснока и долго томившегося в крепком бульоне на медленном огне, заполнил весь камбуз, да пожалуй и всю лодку. Аромат действовал успокоительно.

— Бедная Мег,— первое, что сказал Тимми.— Бедная Мег, совсем одна, теперь даже пса нет с ней рядом. Но к родам я успею вернуться домой, и то хорошо.

— А я к Зелдиным не успею,— тихо порадовался Джим.— Да и что от меня толку при родах?

Кроме этого сообщения на лодку поступил приказ из оперативного отдела немедленно возвращаться на базу. Капитан передал приказ команде, а потом откупорил вторую канистру белого вина и снова добавил туда несколько капель крови за всеобщее братство и немного кошенили; они выпили, и Джим принялся разделывать цыпленка. Чеснок напоминал по вкусу и молодой турнепс, и хорошую картошку. Офицеры смаковали цыпленка и наслаждались «красным» вином. Часы показывали одиннадцать тридцать. (В этом плавании обед передвигался на все более ранние часы. Казалось, с каждой неделей, проведенной под водой, голод донимал их все быстрее.)

— «*Итак* иди,— сказал Проповедник,— ешь с веселием хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим»[1],— процитировал капитан.

Тимми в урочное время подумал о Мег и вдруг услышал собачий лай. Лай был такой явственный и громкий, что Тимми недоуменно огляделся — откуда он?

— Вы слышите собачий лай, сэр?

— Не слышу никакого лая,— ответил капитан.— И с какой стати мне его слышать? Мы под водой.

То ли приятное шипение банановых оладий с ромом на сковородке, то ли тонкий букет запретного вина, то ли дух бедного убиенного Томпсона тронул душу капитана, но как бы то ни было он вдруг сказал:

— А знаете, если бы поступил приказ нажать на кнопки, я бы не подчинился. Так вот разом все потерять?

■

[1] Екклесиаст, 9, 7.

МАРК ШАГАЛ

Перевод с идиш ЛЬВА БЕРИНСКОГО

Сад

Вечер. Сад,
Освещенный луною. И ты —
Сказка. Нежное прикосновенье
Резеды.

То ли меня поцелуешь,
То ли обнимешь меня,
То ли мне скажешь: «Уйди»,
Рукой отстраня?

Нежное прикосновенье Вселенной. Вечер
Входит влюбленный,
Весь в благоуханиях сада
И резеды.

Ангел над крышами

Ты помнишь ли меня, мой город,
мальчишку, ветром вздутый ворот.

Река, из памяти испей-ка
и вспомни въявь юнца того,
что на твоих сидел скамейках
и ждал призванья своего.

Там, где дома стоят кривые,
где склон кладбищенский встает,
где спит река — там золотые
деньки я грезил напролет.

А ночью — ангел светозарный
над крышей пламенел амбарной
и клялся мне, что до высот
мое он имя вознесет...

Наследство

Отец...
Он снова мне явился
во сне, собравшись в землю лечь.
Об избавлении молился,
о том, чтоб ношу скинуть с плеч...
Его убил холодный меч.

Ты ждал чудес, ты ждал и плакал,
тряс в синагоге бородой.
Авраам, Исаак и нежный Иаков
внимали сердца голос твой.

Не покладая рук разбитых
всю жизнь трудился ты —
затем,
чтоб нас вскормить, детей несытых,
среди пустых и бедных стен.

Твое наследство — ах как зыбко:
твой дух, которым я пропах,
твоя — в чертах моих — улыбка,
и сила — в двух моих руках...

* * *

Я расписал плафон и стены —
танцоры, скрипачи на сцене,
зеленый вол, шальной петух...

Я подарил Творенья Дух
вам,
мои братья бессловесные.

Теперь — туда, в края надзвездные,
где ночь светла, а не темна...

...И песни наши, вновь — чудесные,
услышат земли поднебесные
и стран небесных племена.

Вильненская синагога

Строенье старое и старенький квартал...
Лишь год назад я расписал там стены.
Теперь святейший занавес пропал,
Дым и зола летят, сгущая тени.

Где свитки древние, прозревшие судьбу?
Где семисвечья? Воздух песнопений,
надышанный десятком поколений? —
Он в небеса уходит, как в трубу.

С какою дрожью краски клал я эти,
зеленую — на орн-койдеш[1] ...Ах,
как трепетал, в восторге и слезах,
один... последний в тех стенах свидетель...

[1] Священный ковчег, в котором стоит в синагоге Писание. *(Прим. перев.)*

Лестница Иакова

Я по ми́ру хожу как в лесу —
на руках и ногах.
С дерева лист опадает,
во мне пробуждая страх.

Я рисую все это, объятое сном,
а потом
белый снег засыпает лес — картину мою,
пейзаж того света.
Там давно я
долгие годы стою.

И жду, что обнимет меня нездешнее чудо,
сердце согреет мое и прогонит страх.
Ты появись, я жду тебя — отовсюду.

И об руку, ах,
мы с тобой полетим, поднимаясь по лестнице Иакова.

Слезы мои

Слезы мои — это камни падают,
тают и в реку впадают,
и плывут как цветы по воде —
вот она, жизнь моя, Боже мой, Боже мой, для чего?

Вот она, жизнь моя. Я дышу.
Я жду Тебя.
Жду.
Ты со мной — но в какой
дали от меня, Боже мой, Боже мой, для чего?

Слова не слышу людского,
Перекрестья дорог и лесов.
Каждый свой день начинаю с улыбкой
в ожиданье Тебя, Боже мой, Боже мой, для чего?

День за днем я несу свой крест.
И пинают меня, и, за руку взявши, ведут.
И меркнет свет, и день превращается в ночь...
Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?

Родина

Молчишь, страна... Мне душу хочешь
своим молчаньем надорвать...
Какой молитвой — днем ли, ночью —
мне жар палящий мой унять
в груди?..
Коленопреклоненный...
С надеждой, тайной, сокровенной...

Я кровь свою, на знойных грезах
настоянную, тебе пошлю,
свое дыхание —
как слезы
текучее,
всю жизнь мою,—
и воздух, голубой и зыбкий,
вдруг покачнется в вышине,
а сам я
с тихою улыбкой
умру и лягу в тишине.

Ты на меня, страна, в обиде?
Но я открыт перед тобой —
бутыль в откупоренном виде,
сосуд с доступною водой.
Из года в год разлука крепла...
Но возвращусь я
дотемна,
и ты мою могилу пеплом
посыплешь, милая страна.

Брат

Помянут будь, мой брат Давид,
мой юный, изгнанный из жизни
без почестей, обрядов, тризны...

Бог весть где он сейчас лежит.

Сестры

Смеются сестры или плачут,
в дверях, бывало, став, поют
или, окно открыв, судачат,
выглядывают, счастья ждут...

Веселые игры

Играли, хоровод водили,
в царя играли, верных слуг,
меня, играя, проглотили —
и ах как весело вокруг!

Вечерняя молитва

Когда еще мне приведется
сойти к реке к далекой той?
Течет, в меня молитвой льется
покой над пропастью крутой...

Корабль

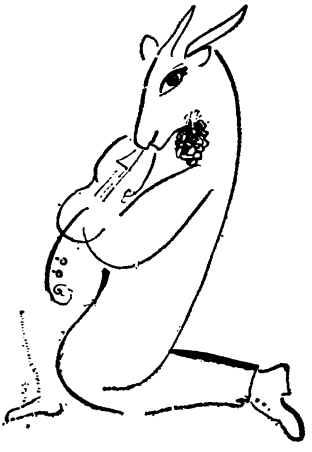
Две тыщи лет — срок моего изгнанья
и возвращенья долгого к Стране...
Давид! Как солнце — блеск его, сиянье,
стекающее в синем мирозданье
к простершему ладони ввысь — ко мне.

Пророки проплывают мимо. Светит
вдали, сверкая ликом, Моисей.
Космический, вселенский свет — как ветер
прошел, задев, как рябью, сеть лучей.

Из года в год, пока плясала нежить,
я жил, слезами сердце ослепя,
я ждал — две тыщи лет! — чтобы утешить
тобою сердце: увидать тебя.

По лестнице Иакова, бывало,
меня все выше ангел уводил
во сне, и песнопенье долетало —
погасших душ среди больших светил,
убитых душ, в чьем хоре отзовется
двух тысяч лет надежда, свет впотьмах...

И песня их была — во имя Солнца
и — сладостней, чем Моцарт или Бах.



Столько лет

Время от времени мне хотелось кого-то окликнуть,
воззвать к кому-то вдали.
Этот зов восходил из глубин души, зарождаясь на дне,
и невнятно слетал с моих губ —
молитвой о розах, о том, чтоб они среди прочих цветов расцвели
в час, когда ты явишься мне.

Я взывал. Я просил. Я прошу,
чтобы в третью, бессонную стражу
снова стала бы ночь — красотой,
повторяя собой
ночь далекую, давнюю, нашу.
Чтобы я, вовсе голову потеряв, не проснувшись, почти что нагой,
отправился за тобой.

Где ты?

Старый сон. Я очнулся от сна.
Помнишь: это было вчера,
я тебя целовал
и объятья твои были чад и дурман —
мы от дерева к дереву перепархивали с тобою, и я
все искал тебя.

Где ты?

Лето и осень,
зима и весна
торопят меня, подгоняют.

Куда?

В руках твоих свеж, не увял до сих пор
букет
из цветов моих юных дней,
он колышется, качается, ждет
нашей свадебной ночи — твоей и моей.

Мои руки пусты — пыль
покрывает их, пыль лет.
Я ищу тебя всюду, нигде тебя нет.

Где ты?

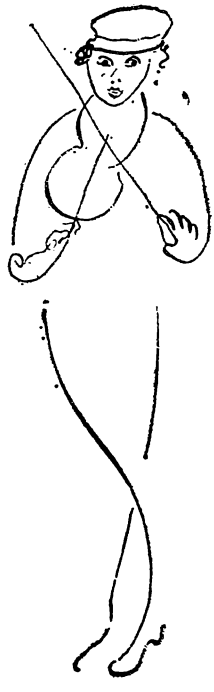
Всякий мой день, вспять обратясь —
к прожитой ночи торопится той
и гонит меня туда.

Куда?

Я и хочу, и я не хочу назад —
в никуда.

Крылья мои
складываются сами собой
и опять раскрываются, чтобы тебя подхватить
и вознести над дорогой моей — на пути к небесам.
И покуда мой длится полет —
тебя я ищу.

Где ты?



Я простираю руки.

Снова и снова в красках пытаюсь я
воплотить
этот мир, что так рано покинула ты.
Я верю: душа моя и губы мои
вознесут к твоим дальним высям
молитву,
мой зов.

Этот зов — нескончаемый сон, стекающий из картин
к подножью,
к ногам твоим.

Где ты?

* * *

Я сын твой, ползать
рожденный на земле.
Ты дал мне краски в руки, дал мне кисть,
а как Тебя изображать — не знаю.

Вот это небо? Землю? Свое сердце?
Руины городов? Горящих братьев?
Глаза слезами полнятся — не вижу,
куда бежать, к кому лететь?

Ведь кто-то есть, кто нам дарует жизнь.
Ведь кто-то есть, кто нам назначил смерть.
Ведь он бы мог помочь мне, чтоб картина
моя светилась радостью...

* * *

Мой час, мой день, мой год последний.
Как горяча слеза, как жжет.
Душа молчит и ждет.
А солнце с неба льет
лучами, облачая в блеск и пурпур
меня всего.

Как нежен зов лучей, завет его:
не слезы лить — а, уложив в котомку
надежду,
продолжать свой путь земной
в иную высь, на горний голос Твой.

■

СЛАВОМИР МРОЖЕК

Произведения разных лет

■

С польского

Печальная сатира Славомира Мрожека

О нем уже существует целая литература — увы, не у нас: в Польше, где он родился 58 лет назад, учился живописи и графике в Кракове, стал писателем, карикатуристом, драматургом, иллюстратором своих книг и где продолжает печататься и ставиться по сию пору; в Западной Европе, где он постоянно живет с начала 60-х годов, пишет (по-польски), издается на десятке языков, получает литературные премии, пользуется славой одного из крупнейших здравствующих ныне литераторов-моралистов.

Мы Славомира Мрожека пока, по существу, не знаем. Так что оценки, мнения, рассуждения польской и европейской критики вынуждены либо принимать на веру, либо на веру отвергать. Ситуация, пожалуй, в стиле самого Мрожека...

Славомира Мрожека и польская и европейская критика сравнивала, пожалуй, не менее чем с дюжиной выдающихся писателей. С поляками: Прусом, Выспяньским, Гомбровичем, Виткацы, Галчиньским, Тувимом. С Салтыковым-Щедриным, Гоголем и Чеховым (особенно когда речь заходила о пьесе «Горбун»). С Ионеско, Беккетом, Мишо, Стриндбергом. И даже со Свифтом, утверждая, что многие герои Мрожека напоминают Гулливера, оказывавшегося то среди великанов, то среди лилипутов.

Во всех такого рода сравнениях есть несомненная доля истины. Но они обычно гораздо больше говорят самим критикам, чем любителям литературы, которые предпочитают установлениям «литературного родства» указания на несхожесть, новаторство, самобытность писателя. Кстати говоря, сравнительные классификации вообще вещь довольно-таки рискованная. Они выдают непременное, какое-то незатейливое желание определить писательство как просто профессию — одну из многих. В притче «Труба», опубликованной в 1978 году, Славомир Мрожек заметил, что подобные попытки продиктованы маниакальным стремлением бюрократии все расставить по полочкам. Нельзя, убежден Мрожек, называть профессией то, что «в лучшем случае можно было бы охарактеризовать как своеобразный духовно-умственный потенциал, ввергающий человека в известные состояния, в какую-то напряженность, которая разряжается в согласии с его предрасположениями к этому».

Такое предрасположение «разряжаться» у самого Славомира Мрожека, несомненно, облекается в рисунок — в рисунок пером и словом. Я бы даже рискнул сказать, что если бывает проза поэта, то бывает и проза художника, в случае с Мрожеком — проза графика, карикатуриста. Именно рисунки (наряду с юморесками и традиционно-сатирическими рассказами) впервые принесли ему настоящую известность. Они регулярно в течение многих лет появлялись в популярном краковском еженедельнике «Пшекруй» под постоянной рубрикой «Через очки Славомира Мрожека» (затем они были изданы отдельной книжкой). А в 1957 году вышел небольшой, карманного формата альбом «Польша в картинках», в котором — следуя давней отечественной традиции — художник весело и изящно расправлялся с национальными стереотипами и мифами, традициями, нравами, обычаями и старой и новой, только что пережившей тогда первую оттепель Польши. В нарочито примитивном, очень скупом, почти «детском» рисунке карикатур проглядывал, однако, уже более поздний, своеобразный мрожековский мир, в котором человек, сражаясь с собственной глупостью, стремится остаться человеком разумным, но, увы, так часто проигрывает...

Это становится одной из главных тем Мрожека, особенно в пьесах, которых у него около двадцати. Он остается писателем очень смешным.

Но гротеск из литературного приема превращается в его драмах чуть ли не в повседневность, а юморески и сатира все больше начинают напоминать фантасма-

© Slawomir Mrożek. 1975, 1979, 1982

горические сказы и притчи. Главное же, что размышления о духовной эволюции человека, об угрозах, которые он сам на себя навлекает, о власти и человечности, праве и пределах выбора, о надежде и страхах — все эти столь типичные для традиционно-морализаторской литературы размышления выходят на первый план.

Десять лет назад Мрожек написал небольшой рассказ «Петух, Лис и я», выведя себя, автора, в качестве сотоварища героев своих притч о Петухе и Лисе. Этот легкомысленный шаг обернулся трагедией — все трое попали к разбойникам, которые вот-вот зарежут Лиса (у него шуба) и Петуха (у него шпоры), но пожалеют автора (у него ведь ничего ценного нет, и его называют ослом). Разбойники заставляют Петуха и Лиса танцевать на столе, поджидая, когда они свалятся от усталости на выставленные частоколом ножи. Положение безвыходное, понимает автор, им остается только погибнуть, и тогда он уже окончательно потеряет власть над своим рассказом.

«Ах, отчего же у всего непременно должно быть продолжение,— заключает притчу Славомир Мрожек.— Я уже предвижу, что будет, но еще не скажу, что это уже произошло. Отвлечь — вот мой единственный шанс. Но даже проволочка от меня не зависит. Пока Лис и Петух еще танцуют, но надолго ли хватит им сил? Милые вы мои, родные, драгоценные, танцуйте, танцуйте и не падайте духом. Танцуйте, танцуйте и не падайте телом. Я прошу вас, я вас умоляю, я вас заклинаю, танцуйте, танцуйте бесконечно. Сделайте это для меня».

И герои Мрожека продолжают танцевать — для него и ради нас с вами. Мы нередко видим в них самих себя, своих соседей по дому и своих сограждан. Писатель все меньше скрывает от нас эту свою режиссуру, этот свой замысел: гласно, открыто говорит о себе и о нас. Даже если ему и нам от этого становится не очень уютно. Но ведь правда далеко не всегда так сладка и красива, как кинозвезда на рекламном плакате. Она больше напоминает обыкновенную женщину с морщинкой на рубеже щеки и шеи — очень тонкой, но проведенной жизнью.

И тем не менее... тем не менее одному из героев Славомира Мрожека венецианская жизнь показалась призрачной и, в своей искусственности, неотразимо правдивой, а сам писатель решительно настаивает, что искусство больше жизнь, чем сама жизнь. Это не единственный парадокс, уготованный нам Мрожеком. Впрочем, может, и не парадокс вовсе? Может, такова странная особенность его художественного и нравственного зрения? Прочитайте крохотный рассказик «Люлю», прочитайте написанную в 1963 году сатирическую повесть «Мониза Клавье» или более поздние одноактные пьесы-притчи о Лисе, эти почти наугад выхваченные «цитаты» из зрелого Мрожека, и не исключено, вы согласитесь с таким утверждением.

Так или иначе, но трудно, по-моему, найти разумные, логические объяснения тому, что до сих пор пьесы и рассказы литератора, столь крупного и самобытного, оставались вне поля нашего зрения. Не разумных, не логичных — сколько угодно. Застой потому и назван застоем, что он, конечно, боится всякой мысли, но он прежде всего боится мысли о человеке разумном, боится откровенного разговора о его нравственной вине, о его нравственных ошибках и преступлениях, прокладывающих дорогу преступлениям, порокам и ошибкам, так сказать, вполне заурядного свойства, калечащим человека и общество не только физически, но, пожалуй, в еще большей степени — духовно.

Такой разговор о человеке ведет Славомир Мрожек вот уже несколько десятилетий. Он сторонится политических деклараций, избегает конкретной «критики» конкретной действительности. Но все написанное Славомиром Мрожеком несет на себе мощный отпечаток польского опыта (и давнего и новейшего), все пронизано любовью к человеку разумному и надеждой на него одного. Он не часто бывает на своей родине, но остается польским писателем до мозга костей. Как, скажем, остается чехословацким режиссером Форман, в фильмах которого, где бы и на какой сюжет они ни были сняты, непременно слышится славянский мотив, чувствуется обогащенный историческим и национальным опытом художника подход к любой универсальной проблеме человеческого бытия. Как наш Тарковский... Это, кстати, наверное, тоже своего рода критерий истинности и масштаба дарования художника, помогающего ему оставаться на уровне своего таланта даже тогда, когда он по тем или иным причинам живет вдали от дома.

Сатира Славомира Мрожека горька и печальна. Но она никогда, как мне кажется, не бывает злой и жестокой, какой бы абсурдной, бесчеловечной, дикой ни казалась под пером Мрожека описываемая им жизнь. Порой в пьесах и притчах Мрожека слышится — нет, не призыв, а мольба о покаянии и милосердии.

Это — сатира без кулаков, и потому она, возможно, не способна прошибить стену или пробиться в ухо нравственно глухого человека, в такое же, как у посетителя кафе из повести «Мониза Клавье», которое кажется воронкой, ведущей в таинственную бездну, где исчезала песнь героя. Но думается, без такой сатиры всякая, даже самая святая истина может вдруг зазвучать непреложной банальностью, а значит, по словам Славомира Мрожека, умереть и перестать быть истиной.

То, что вы прочитаете в этой подборке,— так сказать, Славомир Мрожек на пробу. Какое-то представление о нем она, конечно, составить поможет. Хотя, естественно, неполное, а оттого и не обязательно во всех отношениях точное. Будем, однако, надеяться, что знакомство со Славомиром Мрожеком у нас еще только начинается.

А. ЕРМОНСКИЙ

Мониза Клавье

1

Это было в Венеции, на морском берегу Лидо. Я шел по широкой дорожке, усыпанной гравием, в котором увязали ноги. По левую руку — асфальтовая мостовая, за ней — пальмы, за ними — сады, а в садах — дома с зелеными ставнями.

Стояла жара. На голове у меня была соломенная шляпа, опоясанная красной лентой.

Я никого не встречал. Машин — и тех почти не было, и я беспокоился, не забрел ли в места, где ходить пешком — кто его знает? — и не полагается.

Но упаси боже присесть, даже если было бы на что! Пока я шел, могло казаться, что у меня есть какая-то цель, что я миную все эти дома, торопясь по своим делам. Правда, время не то, и никто, кроме меня, не ходит, но это неважно, напротив. Я представил себе, что кто-нибудь, укрывшись за ставней, смотрит на меня в щель и думает: «До чего же срочное, чрезвычайное дело у этого молодого человека, раз он идет вот так, один, в такую жару! Уму непостижимо».

И не только не высмеет меня, но даже зауважает и проникнется ко мне интересом.

Я нес чемодан — фибровый, но вполне приличный, так что издали никто не мог бы отличить его от кожаного. В чемодане лежали вещи, а еще — провиант, который принято брать с собой, когда едешь в дальнюю дорогу.

Шел я быстро — ведь тот, кто спешит, не может тащиться медленно. Тем более что я таил надежду, двигаясь быстро, скорее куда-нибудь дойти.

Воздух стоял недвижно, ни малейшего ветерка. «Что правда, то правда,— говорил я себе.— Может, я и не отлеживаюсь, как они за зелеными ставнями, но ходить-то я мастак!» И я ускорил шаги.

А идти по этому гравию было на редкость трудно. И меня взяла злость. Пальм понасадили, а приличной пешеходной дорожки сделать не могут. У нас не так. У нас пальм нет, зато тротуары всюду, куда ни глянь.

Иногда меня подмывало сойти на мостовую. Идти стало бы легче. Но нет, нельзя! Подумают еще, что я не знаю, для чего пешеходные дорожки; а может, по мостовой вообще запрещено ходить? В каждой стране свои правила.

Солнце высоко, небо голубое, а я иду, иду...

Сзади что-то зашуршало, дробно застучало по гравию. Обернуться или нет? Обернешься — еще скажут, что какой-то стук мне в новинку, а ведь я должен быть задумчив, равнодушен, поглощен делом. А шум все ближе. Не выдержал я, обернулся.

Ко мне приближались верхом дама и два господина. Кони лоснятся, подстриженные, сбруя лакированная. А дама — до чего же красивая! Златокудрая, вся как из мрамора, в руке держит шпицрутен и стегает коня. Всадники все ближе, ближе...

Я сошел с дорожки в тень какого-то буйного дерева, ствол его как бы оброс шерстью. Они меж тем приблизились, и когда оказались совсем уже рядом, конь дамы, который до тех пор шел мерной рысцой, застыл как вкопанный. Увидев это, господа тоже натянули поводья, и все трое остановились в каком-нибудь метре от меня.

Дама улыбнулась, похлопала рысака по шее и что-то сказала ему по-английски. Конь заплясал, замотал головой, но не двинулся. Тогда один из господ — красивый, загорелый, с проседью и элегантными усиками — показал на меня и тоже что-то сказал по-английски.

Дама покачала головой, засмеялась; он — снова по-английски. А я стою почтительно, бочком, гляжу серьезно, даже чемодан из рук не выпускаю. И вижу, что второй господин — молодой, смуглый, широкоплечий, тоже весьма красивый — спешился и идет ко мне. Что-то говорит мне и ждет моего ответа.

У меня все закружилось в голове, потому что по-английски я не знаю. Как же мне им это объяснить?

И я напряг все силы.

2

Не впервые довелось мне напрягать их. Припоминаю одно происшествие. Жил я тогда не в особенно большом городе, но и не в самом маленьком. Столовался в клубе интеллигенции. Приходили туда завсегдатаи, все сплошь интеллигенты. Останавливались у стойки и заказывали поесть, чаще всего — вареники.

День был темный и мокрый — в этом городе почти всегда было мокро и темно, в сущности весь год тянулась осень, и лето приходило как бы по недоразумению. Казалось, настоящая жизнь течет где-то вдалеке, да к тому же нищета царила. Не столько даже нищета, сколько какая-то небогатость. Очень редко кто-нибудь уезжал от нас навсегда. Еще ходил по улицам, еще говорил с нами, а уже был чужим. Потом мы провожали его на станцию. Смотрели на вагоны. Для нас это были самые обычные вагоны, а для него — уже нет. Нам казалось, что он видит иначе, чем мы. Висел туман, рано зажигали свет. Мы обменивались прощальными фразами. И поезд отходил.

Мы возвращались. На городской площади, на улицах сгущался туман. И мы спрашивали себя: как же это — вроде бы что-то случилось, а ведь ничего не было.

Когда я потом подходил к стойке и видел вокруг себя все тех же людей, это казалось невероятным — однако было. Что ж невероятного в обыденном? Я не мог этого постичь и потому терзался.

И вот мне пришло в голову, что должен найтись какой-то выход. Тогда я ужасно напрягся, изо всех сил. И — свершилось: я запел. Нет, не так, обыкновенно, как напеваешь иногда себе под нос. Я запел прекрасно — неожиданным, глубоким, чудесным, вибрирующим голосом. Голову я откинул назад, ногу заложил за ногу и облокотился о стойку. Песня была итальянская, «О соле мио». Все уставились на меня с чрезвычайным удивлением. Никто не знал, что я умею так петь; не знал и я. Но я пел легко, свободно, взлетев над пределом возможного, и меня охватило счастье. Однако другим, должно быть, казалось, что запел я вот просто так, мимоходом, пришла охота — и пою. С лукавой улыбкой, чуть рассеянно, вслушиваясь прежде всего в красоту собственного тембра, чуть небрежно, как полагается артисту, плененному своим искусством, но добродушно, милостиво, не скупясь, не отказывая людям в красоте, источником и властелином которой я стал.

Официантка — она как раз несла шницели — зачарованно застыла, крикнула «О боже!» и захлопала в ладоши, а миска со шницелями упала на пол. Подобно ей, застыли все (куски еды повисли на вилках) и зачарованно смотрели на меня, словно безвольное, восторженное стадо, следующее за мною, пастырем, который вел их в иные края.

Из зала уже доносился грохот отодвигаемых стульев, одни толпились в дверях, гомонили, другие их унимали: «Тсс, тсс, не слышите, поет?..» Какая-то старуха поднесла к глазам платок — может, я напомнил ей прекрасные молодые деньки, когда она со свежеиспеченным мужем, тогда бароном, а ныне покойником, жила в Сорренто. И так я стоял среди них, чуть смущенный успехом, потому что

начал я петь только для себя. Я пел, потому что иначе не мог, потому что душа играла.

Но тут я заметил, что уже с минуту мне пелось не особенно хорошо. Так, проводя ладонью по гладкой доске, наткнешься вдруг на зазубрину, занозу, шероховатость. Помеха исходила из темного угла, между стеной и стойкой. Она исходила оттуда незримо, но непреклонно. Там, в углу, стоял человек неопределенного вида, скромно одетый. Я видел его уже тысячу раз, в том же месте, в ту же пору. Как всегда, он ел вареники, повернувшись ко мне боком. Он был поглощен варениками, а на меня не обращал внимания. Ах, если б я думал, что он злится на меня... Но нет, он искренне не обращал на меня внимания и ел свои вареники.

Чтоб не чувствовать себя оскорбленным, я должен был допустить, что он глухой. И я решил навязать себя ему — так цветок, видя, что любитель природы не замечает его в зарослях, выбегает на тропинку и сам, из самых благих побуждений, навязывается: «Понюхай!»

Я двинулся к нему, как певцы из музыкальных фильмов, которые, шествуя с песней, скажем, через городок, то растреплют ребенку кудри, то похлопают по хребту ослика, то возьмут за подбородок молодую прачку, что вешает белье, то изящным прыжком окажутся на заборе — все не переставая петь. И приблизившись к углу, где он по-прежнему поедал вареники, я протянул последнюю фразу и резко ее оборвал. Зазвенела тишина. Я поднапрягся, и поплыли другие, тоскующие звуки «Индейской любовной песни».

Я пел только ему, и мой голос вклинился меж тарелкой и его подбородком. Он зацепил вареники вилкой, поднял — я страстно возвысил голос,— но поднятый вареник гладко проскользнул сквозь ручей моей песни. Я обрушил каскад звуков ему в ухо. ничем не отличное от других ушей, если не считать мелких, случайных черт. Но ухо это казалось воронкой, ведущей в таинственную бездну, где глохла моя песнь. Все силы мои раздирали эту раковину, и тщетно: я пел всем своим существом, он — всем своим существом пожирал свои вареники. Как будто меня нет.

Положение стало невыносимым. Я чувствовал, что скоро исчерпаю себя, но остановиться не мог. Если б я теперь повернулся и ушел, оставив его вот так, за едою... Нет, исключено! И я поставил все на карту. Оборвал «Индейскую любовную песнь», скрестил руки на груди, присел и, выбрасывая то одну, то другую ногу, пустился в пляс, выделывая коленца, пошел вприсядку, дико выкрикивал «ух-ха, ух-ха» и подпевал себе с безумной, неукротимой страстью. Я шел прямо на него, очертя голову, ухарски, по-степному. Если даже он был глух, слепым он быть не мог. Пыль заклубилась над полом, а я плясал, как парень на свадьбе, что, хлопнув шапкой о каблук, в юношеском упоенье несется вприсядку, вскачь, в такт музыке к своей девахе и творит перед ней чудеса, приглашая ее на танец и добиваясь благосклонности.

Напрасно я безумствовал. Не дрогнул вареник, не отклонился от своего пути. Не повернулась ко мне голова, не выпрямилась спина в пальто, склоненная над тарелкой. У меня заболели ноги, сорвалось дыхание. А он — едва последний вареник перешел из вареничного бытия в какое-то иное — вытер хлебной коркой тарелку, где оставалось растопленное масло, и спокойно, по кусочку, съел эту корку. А мне-то ведь еще пришлось корчить радостную, ухарскую рожу, волосы взъерошить, как будто от безудержной удали! Так я метался от стены к стене, издавая залихватские «ух-ха, ух-ха», а в сердце царило отчаяние — я понял что зря для него пляшу.

Остальных-то я околдовал. Они хлопали в такт моим прыжкам и уханьям, а кто и сам выгибаться начал, робко, но все отважней

притопывая ножкой, а один учитель даже весьма бодро отстукивал штиблетами дробь — так распалился.

Но что мне они! Они и так были моими, лишь он один мучил меня, я нуждался в нем позарез, а он все ел да ел.

Наконец (жест, удивительный в своей обыденности и страшный в своей простоте — хоть крикни: «нет, нет!», а кричать вроде и незачем, все так просто) он встал и вышел.

Я еще несколько раз перебрал ногами, вяло, как гибнущий таракан, перевернутый на спину. Еще раза два топнул, выдохнул дежурное «ух-ха», потом «ах-ха», потом что-то пробормотал и перешел на шепот. Выпрямился на шатких ногах, не зная точно, есть ли еще у меня колени. Потащился к стойке. Пыль стала оседать. Вокруг — лица; я не смотрел им в глаза. Спросил: «Сколько с меня?» Заплатил и вышел.

3

Напрягшись, я понял, что говорит мне молодой:

— Милостиво прошу, снимите шляпу. Рысак мисс Клавье испугался и дальше не пойдет, если вы ее не снимете.

В другое время я бы растерялся в подобной ситуации. Но сейчас я мгновенно придумал ответ, поставил чемодан на гравий и подошел к амазонке. Конь запрядал ушами, присел на задние ноги и вытаращил глаза.

— Мисс,— непринужденно сказал я по-английски,— мне бесконечно прискорбно, что моя шляпа стала причиной столь печального события. Поверьте, я искренне сожалею. Тем не менее я сниму шляпу не перед лошадью, а перед вами, преклоняясь перед вашей красотой.

Сказав это, я обнажил голову и поклонился.

Дама засмеялась и слегка покраснела.

— Однако! — воскликнула она.— Как вы можете сравнивать мою Элизу со мной? Только взгляните, как она чудесна! Этот изгиб шеи, легкость в беге...— И похлопала коня по шее.

— Мониза,— отозвался пожилой джентльмен,— ты, кажется, забыла, что нас ждут в «Эксцельсиоре». Благодарю вас,— холодно обратился он ко мне.

— Вы, если не ошибаюсь, тоже в сторону «Эксцельсиора»? — спросила она меня, не отвечая пожилому господину.

— В какой-то степени да,— ответил я.

— Чудесно, мы можем направиться вместе!

— Однако, Мониза, господин шел пешком! — нервно заметил ее спутник.

— Майк может слезть и уступить ему своего рысака. Пускай подождет здесь, а мы пришлем за ним Владислава.

Так началась великая любовь ко мне Монизы Клавье, всемирно известной киноактрисы.

4

Хотя Мониза настаивала, чтобы я перебрался в «Эксцельсиор», я отказался. Тогда, после первой встречи, мы расстались перед гостиницей. Поначалу Мониза предложила подождать в холле, пока шофер Владислав не вернется с моим чемоданом и неким Майком. Но я вежливо отказался, памятуя, что нельзя навязываться при первом знакомстве. Я помнил также: чем холодней относишься к женщине, тем сильней привязываешь ее к себе. Я сказал, что подожду перед гостиницей, у подъезда. Мониза велела вынести три стула, но я с достоинством ответил, что постою. Пожилой джентльмен не покидал нас ни на минуту, и лишь когда Мониза послала его в свои апартаменты за флаконом одеколона, он, хоть и неохотно, удалился, оставив нас одних. Тогда Мониза торопливо спросила, как долго я намерен оставаться в Венеции. Я ответил, что еще не знаю, поскольку

это зависит от состояния моих дел. В подробности я не вдавался, но намекнул, что дела эти важные и сложные. В действительности никаких дел в Венеции у меня не было — да и не только в Венеции, вообще нигде,— но мне показалось, что признаваться в этом не следует. Мы стояли перед «Эксцельсиором», и я замечал, что все глазеют на Монизу с любопытством и восхищением и при случае посматривают на меня, теряясь в догадках, кто же я такой и как могло случиться, что я панибратски беседую с известной и обожаемой повсеместно звездой. Когда Мониза узнала, что родом я с Востока (я не уточнил, откуда именно), она потребовала, чтоб я описал подробней степной пейзаж, о котором она давно наслышана. Я описал рукой широкий круг и воскликнул: «Эх, далеко, далеко...» — от чего ее глаза вспыхнули, словно звезды, и она призналась, что задыхается в тесных рамках цивилизации. Тут у выхода появился ее спутник с пузырьком в руке. Она торопливо спросила, доволен ли я своей гостиницей, и добавила, что «Эксцельсиор», правда, наводит скуку, как все модные отели высшего света, но зато там много удобств. Я ответил, что мы, люди с Востока, приноровились к простой жизни, не заботимся о комфорте, а место, где я остановился, меня вполне устраивает. Чтобы придать вес своим словам, я помянул древний обычай подкладывать мясо под седло и мчаться потом целый день галопом, пока мясо не отобьется, как лучший бифштекс. Приблизился джентльмен с проседью и вручил ей пузырек, который она приняла равнодушно и даже не поблагодарила. Одновременно из-за поворота появился «крайслер», который вез мой чемодан и Майка. Владислав выскочил, снял фуражку, прижал ее к груди и открыл Майку дверцу, а потом извлек из багажника мой чемодан. Я испугался, что чемодан откроется и все высыплется из него — один замок был испорчен, и только я знал, как с ним обращаться. К счастью, этого не случилось. Я взял чемодан и поблагодарил. Наступила самая трудная минута.

— Минуточку, Джерри,— с нервным оживлением и наигранной непринужденностью обратилась Мониза к пожилому господину.— Почему бы не пригласить джентльмена на сегодняшний вечер? У нас сегодня прием по случаю фестиваля,— пояснила она.— Жуткая скучища, но позвольте обречь вас на эту скуку — ну, ради меня. Вы свободны вечером? А потом бы мы повеселились в тесном кругу.

Я поблагодарил за приглашение и добавил, что, если не случится ничего непредвиденного — это был тонкий намек на мои таинственные и сложные дела,— я не премину воспользоваться им. Вслед за тем я поклонился и отказался от услуг Владислава, заметив, что машиной я пользуюсь лишь в исключительных случаях, и удалился, по возможности бодро пересекая площадку вдоль газона. Лишь в аллее я незаметно обернулся: Мониза все еще стояла перед «Эксцельсиором» и смотрела мне вслед.

Остаток дня я провел в душевном разладе. Настроения мои менялись. То я хотел отказаться от приглашения и навсегда исчезнуть из жизни Монизы, оставив себе досаду и терпкое удовлетворение от несбывшейся мечты (тем более что я боялся не справиться с требованиями, которые предъявляются гостям на столь изысканном и светском приеме, и развеять тем самым чары, которыми я, несомненно, околдовал Монизу); то решался пойти и продолжить это необыкновенное знакомство. В Венеции, как я уже сказал, у меня не было никаких дел. Я приехал в то утро — скромный турист, стесненный в средствах. Хотя до тех пор я слонялся без цели, ошеломленный всем, что вижу, во мне теплилась надежда, что, несмотря на все, во мне — бедном, неизвестном, неотесанном молодом пришельце из далекой и малозначительной страны — есть какие-то качества, которые только ждут случая, чтобы проявить себя и поставить меня вровень с великими мира сего. Нет, не вровень — выше. Борьба за собствен-

ное достоинство — самое трудное для меня и мне подобных, да еще в такой ситуации. Бороться можно по-разному, а если проигрываешь, надо презирать. С самого утра я боролся и презирал Венецию при помощи кабаноса.

Кабанос — это сухая колбаса, широко известная в моей стране и, пожалуй, нигде больше. Она пользуется большой популярностью среди моих земляков, отправляющихся за границу; весит она мало по сравнению с объемом, и можно перевозить значительные ее запасы; а кроме того, она долго хранится и ею можно долго питаться. Кабанос занимал значительную часть моего фибрового чемодана.

Кабанос был достопримечательностью моей страны, и я не видел его здесь ни в магазинах, ни на рынках. Хоть я проходил мимо груд рыбы, крабов и неведомых мне морских тварей, однако не заметил среди них кабаноса. Проходил я и мимо салями, копченой шейки, всевозможных окороков, но кабаноса среди них не было. Лишь я обладал кабаносом, лишь я носил в своем чемодане то, чего не имели иноземцы. Они не могли даже сказать, нравится ли им кабанос, потому что не знали его. Итак, кабанос служил мне щитом и мечом. Благодаря ему я отражал удары пышных столов, блистающих даже на улице белыми скатертями, цветами, корзинами фруктов, источающих всевозможные ароматы. Я тоже атаковал, мысленно приговаривая с хитрой и гордой ухмылкой: «Ну и что. Зато у них нет кабаноса».

Увы, кабаносом я питался уже три дня — утром, в полдень и вечером — и все трудней мне приходилось убеждать себя, когда я присаживался на какой-нибудь скамье или камне и ел, разворачивая из бумажки, кабанос, что это вкусно, что я хотел бы так питаться до конца дней своих. Кабаносом нельзя злоупотреблять, если хочешь, чтоб он сослужил доброе дело.

И тогда перед лицом лагуны, глядя на черные гондолы, гонимые волнами, обратившись спиной к Дворцу дожей, я поглощал этот самый кабанос, связанный со мной проклятыми узами, я вспоминал вареники, под которые я когда-то пел. Лишенный вареников прошлого и здешнего салата, я тосковал по одним и жаждал другого.

Из-за кабаноса я и пошел в тот вечер на прием к Монизе Клавье.

Повторяю: я колебался, принять ли ее приглашение, опасаясь, что, опозорившись на приеме, я лишусь тех авансов, которые мне уже выдали. Чтобы их сохранить, я хотел отказаться от дальнейших побед. Так бывает в игре: повезло вначале, но ничто не гарантирует успеха, если удвоишь ставку. Игроком я всегда был осторожным. Тем более что неожиданная потеря кабаноса прогнала мой вялый страх и поставила меня перед выбором.

Нет, кабанос не утонул, и у меня его не украли. День склонялся к сумеркам, когда, едва волоча ноги, несмотря на свою бодрую молодость, я увидел на крюке перед мясной лавкой исполинскую копченую шейку. Она была столь велика, что служила, наверное, не только рекламным, но и метафизическим целям. Разгул распоясавшейся копчености, триумф превосходства. Эта мнимая шейка, в полтора метра длиной, а в обхват с добрый дуб — была упакована в пергамент, обвязанный крепкой, засаленной веревкой.

Что против нее кабанос, который, при всех своих достоинствах, был всего лишь обыкновенной колбасой, и не более того? Я был обезоружен. Оставалось одно: вслепую обрушиться на здешний мир, сцепиться с ним врукопашную, победить его или погибнуть. А именно он, этот мир, широко открывал передо мной объятия сегодня вечером, через каких-нибудь несколько часов. Меня пригласили на прием к Монизе Клавье.

5

Сразу же возникли две проблемы: у меня не было подходящего костюма, и я не знал, как мне выбраться из толпы, окружившей

«Эксцельсиор», миновать кордон полицейских в парадной форме, белых перчатках и лакированных ремнях, с лампасами и саблями, а потом — как объяснить слугам, что я принадлежу к числу гостей. Я не получил письменного приглашения; по-видимому, Мониза сочла, что мое присутствие на приеме само собой разумеется и не нуждается в формальностях. Первую сторону — отсутствие костюма — я обратил себе на пользу. Я ведь был чужаком, пришельцем из дальних стран, сыном степей, так что небрежность старого костюма, помятого за три дня поездки, только подчеркивала мое очарование, мою независимость от светских приличий, свободу от условностей, которые сковывали их, а не меня.

Следующую трудность также удалось преодолеть благодаря тому, что Мониза думала обо мне непрестанно. Когда я стоял в толпе, стиснув в руке чемодан и всматриваясь в ту сторону, где сверкал подъезд отеля и ежесекундно из черных автомобилей выплывали прекрасные дамы и джентльмены в белых манишках, я заметил над голубым плечом полицейского мрачное лицо Майка, который расхаживал по внутренней грани светового круга и искал кого-то в толпе. Кого же, как не меня? Мониза послала его меня встретить. Я поднял руку и помахал, но он меня не заметил, так что, покрепче стиснув чемодан, я ринулся вперед. Полицейский чуть было не затолкал меня обратно, во тьму безвестности, но Майк заметил суматоху, двинулся к нам и втащил меня в круг великолепия и света. Я ощущал на себе взгляды толпы, когда мы направились к гостинице, подобной стеклянному шару с хрустальным гротом внутри. В холле Майк отобрал у меня чемодан, передал его слуге, и мы двинулись дальше, в сады за отелем, где и проходил прием. Тревога о чемодане заглушила страх, который мучил меня, хоть я и напрягся перед грядущим испытанием. Я украдкой озирался, стараясь высмотреть, что его ждет, но слуга исчез в сутолоке отеля, и мне оставалось только следовать за Майком, препоручив чемодан божьей опеке.

Мы вступили в сферу огней, ламп и рефлекторов, хитроумно скрытых в кустарнике, и заскользили меж дамами и господами, стоящими друг против друга с бокалами в руках. Здесь царили смех и оживление.

Майк сказал, что Мониза скоро будет и посоветовал чувствовать себя как дома. Я кивнул, давая понять, что такое чувство само собой разумеется и не требует оговорок. Потом он ушел, оставив меня одного. Я сразу же облюбовал уголок за пальмой, приглянувшийся мне тем, что он позволял мне оставаться и в стороне, и рядом с напитками. Надо сказать, что я решил подкрепиться сразу же, так как не был уверен, что мое напряжение, даже значительное, обеспечит мне должную непринужденность жестов и речей. Я удобно расселся в садовом кресле, а слуги бросились ко мне, торопясь поскорее предупредить мои желания.

Вероятно, опасаясь, что я недостаточно быстро настроюсь на подходящий лад и не буду готов, когда мне придется выступить, я слишком поспешно взялся за первый стаканчик. Но какое это могло иметь значение, если я сразу почувствовал себя легко и мне было наплевать, какое впечатление я произвел на слуг. Все стремились друг к другу, беседовали, улыбались — словом, вели себя так, как советовал мне Майк: чувствовали себя как дома. Один я сидел в стороне. Вскоре, однако, я понял, что раз уж меня пригласили на столь фешенебельный прием, то слуги считают меня такой же важной особой, как и любого другого; более того: раз я сижу просто так, то у меня есть дела, требующие размышления, которых нет у других,— скажем, новая роль в фильме или даже режиссура. И я расселся и принял серьезный, задумчивый и отрешенный вид.

Тут я заметил, что по ту сторону пальмы сгущается ядро приема. Не без волнения узнавал я лица, знакомые по обложкам киножур-

налов. Их прибывало все больше, все прекрасней были там женщины, все громче и веселей там разговаривали, все больше смеялись и острили. Все казались старыми приятелями, уверенными в себе; ни на кого, кроме себя, они не обращали внимания, унизительно подчеркивая, что я, как ни напрягайся, все еще — вне круга, а они — в самом центре света.

Эти самоуверенность и независимость начали меня раздражать. Вот я сижу тут, задумчивый, глубокомысленный, кто знает какие у меня проблемы, почему, скажем, я столько пью, а они там глупо и беспечно смеются. Так что же? Они важнее меня? На них глядят все гости, их озаряют вспышки фотоаппаратов, словно молнии в грозу, которая несет не гибель, а дождь богатства и радугу славы, а я сижу, возвышенный и надменный, не заботясь о людском внимании, и люди действительно на меня чихали. Логично, но как-то несправедливо. Меня захлестнули горечь и досада. Итак, глубина, мысль, оригинальность — все это ничего не значит в продажном, гоняющемся за внешним блеском мире? «Мишура, мишура,— повторял я с презрением.— Мишура и блестки!»

Я стал мыслить масштабно, как бывает, когда ты сам не в состоянии добиться для себя справедливости. Я показался себе не отдельной личностью, а представителем оскорбленного общества. Как сын северного, сурового народа, закаленного историей, купившего дорогой ценой свою особую мудрость, недоступную для других, как кабанос. «Ха! — подумал я.— Смейтесь. Смейтесь! Я словно памятник, у подножия которого резвятся дети». И тяпнул еще стаканчик за их счет.

Словно услышав мой внутренний голос, они рассмеялись еще громче. Я сам их к тому призывал и потому не должен был бы еще больше раздражаться, но тем не менее раздражился. Я ведь призывал их иронически, то есть так, что призыв надо было понимать наоборот. Помню, как бесился мой отец, когда он скажет иронически при виде плохих отметок в моей табели: «Так, так, хорошо...» — а потом обнаружит, что следующие мои баллы столь же мизерны.

В довершение ко всему Монизы все не было. После полудня, блуждая по Венеции, я все размышлял, почему моя встреча с ней приняла столь лестный для меня и столь неожиданный оборот? Может быть, это какие-нибудь козни? Я просто не мог понять, как она вообще обратила на меня внимание, не говоря уж о чувстве, которое она выказала столь недвусмысленно, хоть и замаскированно во время нашей беседы. Гордыня, явившаяся невесть откуда, внушала, что мне принадлежат все блага мира и сатана-искуситель не знал бы со мной трудностей; и все же гордыня эта мерцала в моей душе лишь хрупким, бестелесным сиянием, и когда смещались законы моей душевной оптики и грешное марево исчезало, я впадал в самое черное отчаяние и веровал, что я пакостнейшая тварь на земле. Сейчас случайное отсутствие Монизы я считал проступком, более того — изменой, как будто нас уже давно соединяют клятвы и обеты. И все потому, что она была нужна мне: с ее помощью я бы мог получить козырь перед всеми, быть может — даже поразить их; появись она со мной, прояви ко мне чувства, и это покажется им чрезвычайным событием, и я войду в круг избранников, куда доступ другим запрещен.

Однако она не появлялась. Напрасно, стараясь приободриться, я вызывал в памяти ее улыбку, выражение ее глаз, обращенных ко мне, и искал во всем намеков и авансов куда более важных, чем следовало. Ее отсутствие все больше меня возмущало. Вскоре я возненавидел ее и придумывал ей всевозможные кары, когда она наконец появится. Но она не появлялась. Я видел уже, как, холодный и равнодушный, отвергаю все ее мольбы о примирении. Но тут же впадал в отчаяние, что теряю ее, и вскоре — возбужденный выпи-

тым — очутился в том состоянии, когда человек готов на все. Мне даже захотелось совершить что-нибудь выдающееся.

Кто-то что-то рассказывал. Я не знал ни людей, ни обстоятельств, но именно это меня вконец разъярило. Все лопались со смеху. С удивлением я обнаружил, что я уже не сижу, а стою, а кресло — где-то позади. Я затосковал по нему, как тоскует путник по уютной избушке во вьюгу, но, стараясь твердо держаться на ногах и сознавая, что сжег за собой мосты, я обрел неведомую доселе уверенность. Я прорвался в самую гущу веселого круга.

— Во! — крикнул я, широко разевая рот и тыкая пальцем в коренные зубы.— Вот, вышибли, господа, за свободу вышибли!

Наступило замешательство. Все затихли, уставившись на меня, не в силах уразуметь, что же я хочу сказать. А я ведь только хотел ясно и доступно, даже образно поведать им о мученичестве моего народа. Они явно его недооценивали, и я очень рассердился.

— Погляди-ка,— сказал я, подходя к одному толстяку и пошире разевая рот.— Тут, а-а-о-о...

Толстяк крякнул и отвернулся. «Прошу прощенья»,— сказал он и отошел.

Я бросился к следующему и снова продемонстрировал:

— Тут. Вот, вот! Нету. Вышибли за свободу! Вот, вот, вот!

Но и этот отпрянул от меня. Я увидел, что общество расходится. Мне пришло в голову, что они, быть может, плохо видят в этом рассеянном свете, что я им показываю. И я ринулся за ними, а они пустились от меня наутек. Они исчезали из виду, скрывались в путанице тропинок, за ширмами южных растений. Я метался в тенях света и зелени. И по райскому саду долго разносился мой крик, не то жалобный, не то настойчивый:

— Вышибли, господа, за свободу вышибли...

6

Проснулся я с адской головной болью, в полумраке, в какой-то комнате с очень высоким потолком. Сквозь затянутые занавески сочился мягкий свет. На мне была шелковая пижама с цветной эмблемой, вышитой на груди. Я с трудом сложил буквы в слова — приходилось читать их вверх ногами, и у меня путалось в голове. Получилось «Yale Boys» [1].

Я лежал на широкой, удобной кровати. В глубине комнаты были какие-то люди. Я забеспокоился о своем чемодане. Где он, что с ним?

— Спит? — услышал я.

— Тише...— сказал женский голос.— Еще спит, не надо его будить.

Я закрыл глаза. Кто-то неслышно подошел и склонился надо мной. Запахло духами. Мне заботливо поправили подушку. Чуть приоткрыв глаза, я увидел над собой зеленые холмы плодородного края — Монизу Клавье в изумрудном платье. Я немедленно закрыл глаза.

— Good boy [2],— одобрительно сказал мужской голос.

Я вновь открыл глаза,— вернее, глаз, другой разболелся от резкого света, который, хотя и сквозь занавеси, слепил зрачок,— и удивился, увидев усатого джентльмена с проседью. До той поры он не был благосклонен ко мне.

Когда они вышли, я выждал еще минутку, чтобы убедиться, действительно ли они оставили меня одного, и осторожно поднялся. С великим трудом я пересек безграничное пространство комнаты, добрался до окна и, прищурившись, просунул голову меж стеной и занавеской. Когда глаза привыкли к свету, я узнал газон и площадь,

[1] Йейльские ребята *(англ.)*.

[2] Умница *(англ.)*.

на которой еще вчера стоял в толпе зрителей, сжимая в руке чемодан.

Небо было невыносимо голубое. Да и весь этот пейзаж как-то угнетал меня, калечил душу, словно разбитое стекло.

Сейчас перед гостиницей тоже стояла толпа, но какая-то особенная. Она состояла из одних мужчин; каждый держал фото- или киноаппарат, а некоторые даже по два. Они походили на солдат в штатском. Курили сигареты, расхаживали, стояли на месте и, как мне показалось, пялились в небо. Поправляли на себе сумки, штативы.

Я оделся и украдкой выглянул в коридор. Пусто. Только где-то мерцали таинственные огоньки — сигнализация для прислуги. Чемодан я решил оставить на произвол судьбы (уж потом это как-нибудь улажу, письмом затребую), а теперь — удрать.

Я спустился с лестницы. Мне открылся холл, где бдительно восседал портье. Вперед! Но, вырвавшись наконец наружу, я вдруг застыл и закрыл глаза — меня обдало волной жаркого воздуха и света. Я услышал щелканье вспышек, стрекот кинокамер, как будто я вышел на луг, кишащий кузнечиками. Я открыл глаза и увидел, что все стоят на коленях и целятся в меня. Лишенные ресниц глаза объективов обращены ко мне. Я повернулся, но было поздно. Меня прошили очередями камер, а фотоснайперы успели убить меня раза по три. И тут я угодил прямо в руки человеку, который представился секретарем великого К. М. Б.

Он изложил мне свою просьбу. К. М. Б. выражал надежду, что я соглашусь почтить своим присутствием прием, данный им по случаю моего пребывания в Венеции. Он сочтет мой визит для себя честью и величайшим удовольствием.

К. М. Б.! Именно в ту минуту, когда я хотел убежать... Издевка, шанс или опасность? Я недоверчиво глядел на молодого секретаря. Я знал, что не откажусь. Отказать куда трудней, чем согласиться, хоть потом и жалеешь. Неужели я нужен был К. М. Б. лишь для жестокой забавы? Может, он уже прослышал о моем вчерашнем позоре? Но я хотел, чтоб меня наконец оставили в покое, у меня не хватило сил отказаться. И я принял приглашение.

Неудавшийся побег вконец изнурил меня, я вернулся наверх. Только бы лечь, больше мне ничего не хотелось. Входя, я отметил, что фоторепортеры все еще начеку. Пути назад не было.

Комнату уже убрали, на столике лежала кипа свежих газет. Я не обратил бы на них внимания, если бы не большое фото на первой странице. Я взял газету, но не сразу настроил замутненный от выпитого вчера взгляд на нужную резкость. Я увидел человека, который держал в одной руке рюмку, а другой указывал на свой широко разверстый рот. С одной стороны его держал под руку Майк, с другой — Мониза Клавье. Этим человеком был я.

Я уже не мог вспомнить, когда, в какую минуту, сделали этот снимок.

Над снимком красовался заголовок, набранный огромными буквами, словно известие о начале войны:

«РОМАН МОНИЗЫ КЛАВЬЕ С МОЛОДЫМ РУССКИМ».

7

Разумеется, я не русский. Однако, навязав мне такую роль, они в корне изменили ситуацию и открыли новые перспективы. Прежде всего, русский, это уже кое-что. До той поры я, правда, считал себя кем-то (может быть, даже кем-то неизмеримо большим, чем русский), но у меня не было возможности убедить в этом не только других, но даже самого себя. Преподнесенный в качестве русского, я уже мог никого ни в чем не убеждать. Быть м о л о д ы м русским еще лучше. Все кое-как с грехом пополам еще представляли, каков

старый русский, молодого же не знал никто; молодой русский был во много раз притягательней русского как такового. Будущее мира в немалой степени зависит от того, каков молодой русский. О нем ходили всякие слухи, но толком никто ничего не знал.

Тем более что сам я ничуть не подделывался под русского. Ну, может быть, самую малость, этой степной удалью и смутным восточным настроением, которое я создавал вокруг себя. Степь... Да, да, тут я малость прихвастнул. Какая там степь!.. Я вспомнил тоскливые крохотные поля моей маленькой родины, с ивой и сосенкой, то низины, то взгорья, хоть и не цивилизованные и все-таки не совсем некультурные. Куда уж им к черту степи! Но прямо в лоб я ни разу этого не сказал, и если б меня приперли к стенке, я бы не стал врать. Но должна же газета помешать сенсациям, которые могут привлечь внимание читателей. Что же им еще оставалось написать? Может быть: «Роман Монизы Клавье с молодым гражданином одной из малых стран Восточной Европы»? Я был с Востока, а если ты и впрямь оттуда, восточнее русского быть нельзя. Они уточнили, как им казалось, мое происхождение, а мне оставалось не исправлять ошибку.

Новая национальность придавала мне пикантность, которой мне так не хватало. Конец недомолвкам, туманным намекам. Конец минам и двусмысленным гримасам! Добро пожаловать, русский!

То, что до сих пор было шутовством, сейчас становилось экстравагантным.

То, что казалось истерикой, как по волшебству превращалось в порыв чудесной, непредсказуемой фантазии восточного человека. Слабость оборачивалась силой, дурацкая бестактность — гордым вызовом, пощечиной, нанесенной беспощадной рукой. Неуклюжесть нищего студента, репетитора при барской семье, превращалась в жест воина и варвара, перед которым бледнеют дамы и склоняют голову короли.

В сущности, разве я не имею на это права? — спрашивал я самого себя, стремясь оправдать свой грех. Разве русский — не родной мне, ну, скажем, как свояк? Если свояка все боятся или уважают — неужели и мне не перепадет кое-что от этих чувств? Все-таки свояк, родня; если уж мы ведем общий дом, то соседям тем более все равно — я или он.

Так вот подбадривая себя, я останавливался перед зеркалом и с тревогой вглядывался, раскосые ли у меня глаза. Ну, хоть самую малость... На ночь подклеивал веки наискосок пластырем, но поутру они снова опадали.

Жил я все еще в «Эксцельсиоре», куда меня доставили по приказу Монизы в ту первую ночь, после приема, и где я спал в пижаме ее седеющего друга. Мониза в эти дни была очень занята. Ее профессиональные и светские обязанности, а также бдительное присутствие седеющего Джерри, который жил в номере, соединенном с ее апартаментами, затрудняли наше общение и тормозили развитие наших отношений. На улице все время торчали репортеры, я подозреваю даже, что они кишмя кишели и в гостинице.

В первый же день я отказался от нескольких интервью. Моя непреклонность давала мне двойную выгоду: увеличивала мою загадочность и страховала от разоблачения. Разоблачение? О, нет! Я вел хитрую игру. Правда, я не опротестовал сообщений газет, но и нигде прямо не опроверг моей новой национальности. Конечно, меня мог выдать паспорт, но я приказал принести мне в номер острого салата, соли, перца, уксуса, оливкового масла и съел его с приправами, хоть и без особого аппетита.

С грехом пополам удостоверив свою личность, я переключился на Монизу. Я немного успокоился, но чувства мои обострились. Уже без прежней робости жаждал я решающей встречи, мечтал и тос-

ковал. Мое спокойствие объяснялось и тем, что я обрел свой чемодан — его мне просто-напросто доставили наверх.

Осуществить мой план было нелегко. Приходилось остерегаться не только репортеров, но и Джерри. Вдобавок существовала еще одна трудность, более тонкого свойства. До сих пор инициативу проявляла Мониза, и я чувствовал себя в безопасности. Я принимал ее ухаживания, но, случись что-нибудь непредвиденное, я бы вышел из этого с достоинством. Не я предлагал себя, не я рисковал. Никто бы и не узнал, насколько я желал ее расположения; я бы даже мог притвориться, что был к ней равнодушен и принимал ее авансы лишь из вежливости. В конце концов, невежливо отвергать женщину!

Однако себе я уже признался, что сильно нуждаюсь в благосклонности Монизы, и охотно бы ускорил события, знай только, как это сделать. А вообще я боялся. Благосклонность эта казалась мне столь невероятной, я чувствовал себя настолько недостойным, что хоть и принимал все эти почести с каменным лицом, как принадлежащие мне по праву, в душе я подозревал, что судьба издевается надо мной, готовя какой-то особенно пакостный подвох.

Однако и теперь мне на помощь пришел русский. Мы познакомились с ней, когда я еще русским не был, но, став им, я ощутил в себе несравненно больше притягательной силы, и чувства Монизы показались мне куда более объяснимыми. И я поверил в себя ровно настолько, чтобы предпринять первые шаги.

Но, едва решившись перейти в наступление, я сразу же, ничего еще не сделав, впал в смятение и сомнение. Я подумал, что, наверное, покажусь неуклюжим, Мониза разочаруется во мне, и я, короче говоря, стану смешным. И вот я ограничился вступительными, пробными шагами. Например, говорил ей «добрый день» — весьма многозначительно. Зато «доброй ночи» я старался сказать иронически, придавая этому банальному пожеланию второй смысл: ночь, проведенная вдали от меня, не может быть доброй. При этом я глядел ей в глаза, стараясь угадать ее реакцию. Но в глазах видел лишь одно: кроткую ошеломленность. Мониза была влюблена в меня, и ходи я даже на карачках или вытворяй что-нибудь еще понелепей, она считала бы, что я восхитителен и единствен в своем роде. И мы ускользали друг от друга: я рассчитывал и рассуждал, стараясь не опростоволоситься, а она мечтательно-отрешенно витала где-то над самой собой. Меня это даже сбивало с панталыку; я искал в ней страстную дрожь, жаждал тайных знаков любви, а она казалась мне изумленной и блаженно улыбалась. Я не знал, что и думать. Мне казалось, что она должна бы при мне дрожать и бледнеть, а потом торопливо затаскивать меня в темный угол. Только так я мыслил достойное мужчины воздействие на женщину.

К счастью, я заметил, что она окончательно потеряла голову и даже не особенно ловкие или просто грубые мои ухаживания примет все с той же кроткой, ошеломленной, нездешней улыбкой. Со своих райских высот она ничего и не заметит. Это меня раззадорило; я полагал, что она меня не осудит и не проклянет, что бы я ни вытворял. Я понял, что с ней я оставался бы одиноким — так сильны и непохожи наши чувства. Она витает невесть где; мои же намерения вполне конкретны.

С другой стороны, Мониза сама не стремилась к решающим ситуациям, и это меня немного смущало. Стремись она, я бы прочно поверил, что она меня на самом деле любит. А тут, с одной стороны, она несомненно мной очарована, с другой же — ничем того не проявляет, и я не знаю, что и думать. Сам я в своих глазах не представлял никакой ценности (разве что в минуту мрачных и надрывных всплесков гордыни), и ее восхищение, не подкрепленное грубыми и зримыми фактами, подогревало мое недоверие. Я все время подозревал ее в каких-то подвохах, в игре, в желании выставить меня на посмешище.

Наши чувства находились на разных уровнях, и потому Мониза была мне чужой, даже враждебной, во всяком случае — бесконечно далекой, более далекой, чем любая другая женщина.

Подстегивало меня и самолюбие. Мужчины всех континентов завидовали мне, потому что я знаком с Монизой Клавье, что же и говорить о более коротких отношениях! Такие отношения позволили бы мне свести счеты со всеми мужчинами мира. И я стал еще более нетерпелив, неуверен и дерзок в замыслах.

Мониза настаивала, чтобы я ходил с ней на все приемы. Она хотела, чтобы я всегда был рядом, никто другой не был ей мил. Джерри, ясное дело, не перестал ревновать с тех пор, как я предстал перед ним в образе молодого русского, но вздохнул с облегчением, так как смог хотя бы объяснить тяготение Монизы ко мне, до той поры совершенно для него непонятное. Признав мои козыри, он почувствовал себя лучше, все обрело в его глазах черты чистой игры. Словом, как я того и ожидал, появился спасительный русский, и мое имя в новой среде обрело благопристойную репутацию. И я мог пользоваться приглашениями, не испытывая тех, прежних, мук. Однако вскоре я обессилел и нуждался в отдыхе. Я с трудом переношу события не только чрезвычайные, но и самые обыкновенные и при первой возможности удираю от них. Теперь я то и дело скрывался в своей комнате, уверяя, что должен подлечить нервы. Мне можно было не спешить. Меня, как я полагал, ждали нескончаемые недели с Монизой Клавье. Немного отдохнув, я собирался снова войти в чудесный мир, уже принадлежащий мне.

За нее я был спокоен. Я знал, что Джерри опекает ее и никого к ней не подпустит. После каждого банкета он провожал Монизу в ее номер, неподалеку от моего. И я преспокойно возлежал на просторной кровати, обдумывая планы разнообразных баталий. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к новой роли.

8

Как-то вечером я снова остался один. Я стоял у окна. После череды погожих дней собирался дождь. И, словно это было как-то связано с переменой погоды, я не заметил перед гостиницей дежурного фоторепортера. Может быть, он скрылся; но я уже знал их норы.

Мне захотелось пройтись по городу в своей новой роли, почувствовать свое превосходство, во всяком случае ощутить равновесие между мной и городом — мне казалось, что теперь удалось его добиться. Я намеревался посетить те улочки, которые не так давно особенно меня раздражали. Окинуть эти места взглядом счастливчика. Конечно, это безумие; нет торжества над местами, они сильнее нас, хоть мы убеждаемся в этом не сразу.

Я выскользнул из гостиницы, отправился на пристань и сел на корабль, чтобы почувствовать колорит Венеции. Двигаясь по Венеции — пешком ли, по воде ли,— непрестанно теряешь ориентиры: пожалуй, отчасти поэтому здешняя жизнь кажется призрачной и в своей искусственности неотразимо правдивой. Суша и море то и дело пересекаются, и совершенно неизвестно, что же из этого следует. Вечером ко всему этому прибавляются еще огни, все больше — двойные, отраженные в воде. Огни движутся, движется и вода, как-то необъяснимо раздвигая пространство. Ну, а еще незабываем звон колоколов и гудки больших и малых кораблей.

Было довольно поздно. Сойдя с корабля, я тут же потерял ориентир и шел наугад — это ведь не имело значения. Куда бы я ни повернул, всюду были места, которые я искал, которые хотел так поразить, чтобы они зауважали меня и забыли прежнего, бедного. Теперь я корчил перед ними совсем другие рожи — не враждебные, а миролюбивые, даже дружелюбные. Увы, мне казалось, что они меня не замечают. Они не отталкивали меня, но и не привечали. Я начал

подозревать, что безразличен им, как раньше. Это я когда-то приписывал им неприязнь ко мне. Так пьяница, терзаемый комплексами, с упорством внушает собеседнику: «Знаю, вы меня презираете, не отнекивайтесь, я отлично знаю!» — он хочет любой ценой добиться хоть какого-то отношения к себе, любого, пусть даже презрения. Лучше презрение, чем правда: он совершенно безразличен партнеру и только докучает ему.

Но с людьми еще можно отмерять степень интереса — «любят, не любят»; с местами — дело плохо. Вероятно, они вообще не замечают нас; но кто их там знает! И может, именно потому мы лезем из кожи, красуемся перед ними, жаждем с ними породниться. Предположим, тебе удастся прыгнуть выше головы и приковать к себе самое лестное внимание всех людей на свете. Ты станешь владыкой мира; и вот тебе не останется ничего другого, как уложить тугие чемоданы и поехать в какое-нибудь место, которое особенно хочешь завоевать — в место, которому ты когда-то поклялся отомстить. Не обязательно к пирамидам или грандиозным водопадам; это может быть самый обычный и все же особенный захолустный парк, по каким-то причинам запавший в душу с малолетства или позже; какая-нибудь улица или горка, за которой чуть иначе, чем в других местах, заходило солнце. Только там и начинаются завоевания. Станем, сядем, повернемся бочком, так, этак, левой ногой вперед, а то и правой — и хоть бы что, или, вернее, кто его знает. Надо бы что-то усечь, над чем-то призадуматься, а ведь и не поймешь, над чем. Кругом уже нет людей, но нас смущает собственное присутствие. Как тут говорить о любовной атаке или о дружбе, когда мы сами себе мешаем, мы сами для себя — как тот маленький кузен, который сидит сиднем в комнате, когда ты хочешь остаться с девицей и не знаешь, как бы ему дать денежку и спровадить в кино.

Как бы то ни было, я гулял вот так по Венеции, выбрался бодро прошвырнуться, а меня что-то заедало и смущало все больше, и я решил малость отдохнуть. Я вынырнул из какого-то переулка на арку мостика, перекинутого через черный канал, освещенный фонарем. Место это было зажато стенами мертвых дворцов; как дорогие одеяния, вывернутые наизнанку, они, в знак презрения к современному миру, поворачивались задом ко мне.

И тут совершенно неожиданно я увидел Монизу. Она всходила на мостик с другой стороны, навстречу мне.

Это было слишком просто, слишком грубо, и я испугался. Я мечтал о встрече с глазу на глаз, но, ради бога, не так внезапно. Это было жестоко. Между первой встречей и этой была огромная разница; так увидишь льва в цирке, из безопасного зала, а потом — во время воскресной прогулки он вдруг выходит из кустов прямо на тебя.

Второй толчок судьбы снова кидал меня к Монизе; я заподозрил эту самую судьбу в каких-то скрытых намерениях, и мне стало худо, как всякому, кто угодит в лапы высшей силе.

Надо признать, Мониза тоже ужасно смутилась; видно, и она перепугалась, но постаралась это скрыть и, подавляя дрожь, хоть с виду спокойно воскликнула:

— Хелло!

— Хелло! — ответил я столь же беззаботно. Мы были одни в этот поздний час, над водой, на мосту. Куда удрать?— Что нового? — спросил я.

— Убежала с приема,— ответила она. И добавила:— Поссорилась с Джерри.

Судьба не давала сбить себя с толку. Напрасно я пытался ущучить ее, взяв тон легкой и дурашливой светской болтовни. Сообщение о ссоре Монизы с Джерри, моим соперником, придавало нашей встрече бесповоротную однозначность.

— Почему? — спросил я как дурак — ничего другого не оставалось.

Она не ответила, только приблизилась ко мне и внезапно, вдруг подняла на меня глаза.

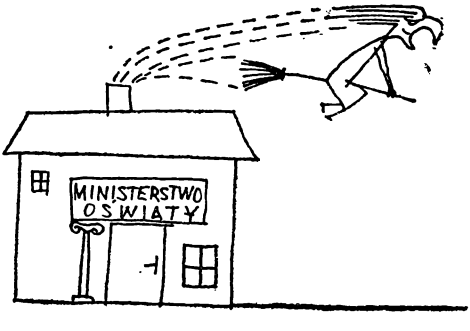
Так-то. Теперь уже ничего нельзя было ни остановить, ни задержать, ни оттянуть... Ни сказать. В отличие от судьбы, я не отличался последовательностью, и это повергало меня в уныние, дискредитировало в собственных глазах. Я злился, что не упоен счастьем. Этот мостик издевался надо мной.

И тогда я заметил рядом на стене огромный пестрый плакат. На нем красовалась Мониза Клавье, кинозвезда с золотыми рассыпанными волосами и с чувственной улыбкой, какой я никогда у нее не замечал. Раскрытые губы сверхъестественной величины, глаза — как сквозь лупу, каждый отдельно. Всем известна эта магическая техника, не то фотография, не то натуралистический рисунок: линии — четкие, композиция — коварно-целесообразная, все выразительно и однозначно, розовое — до конца и абсолютно розово, а голубое — голубо; и вот — изображенный человек нас тревожит и вносит смуту в наши понятия о мире. Плакатная Мониза была, прежде всего, с полуобнаженной грудью; все было одинаково выпукло — и лицо и грудь,— и все Монизины части приобретали какую-то поразительную равнозначность.

Сравнивая плакат, изображающий Монизу Клавье, и живую Монизу, я растерялся. У первой щеки были гладкие, словно ледовое поле на закате, и глаза, о которых можно было сказать: «Это — глаза», у второй же — я видел это отлично — глаза были такие, о которых уже ничего не скажешь. Глаза — и только, глаза в физиологическом смысле, живые реальностью зрачков, мерцанием радужной оболочки, трепетом ресниц. С такого расстояния тушь и румяна теряли всякий смысл. Наклеенные ресницы, нарисованные тени были ни к чему, и эта их ненужность удручала. Мне показалось, что истинная Мониза — там, на плакате, а передо мной стоит безымянное, убогое создание, полностью забитое той, другой, ее соперницей. На щеках у нее, несомненно, удалось бы найти изъяны, на рубеже щеки и шеи — морщинку, очень тонкую, но ведь неизбежную, созданную жизнью — ведь Мониза двигалась, жила, говорила, улыбалась.

У той были жесткие, неприступные губы. Здесь губы мягкие, неопределенные, изменчивые. Помада, хоть и тщательно накрашена, трогательна и жалка перед той, с плаката; ведь она говорит о том, как стремится живая ткань к тому, плакатному, идеалу, и стремление это обречено на провал. От такого бессилия становится стыдно, а потом в защиту стыда накатывает отвращение, злоба и даже ехидство. Первым импульсом были именно злоба и отвращение; мне показалось, что

Министерство просвещения.



меня обманули, что насмешливая судьба подсунула не желанную Монизу, а всего лишь фальшивку. Мне стало стыдно — словно я добивался руки светской дамы, а она застала меня в объятиях кухарки, вдобавок — уродливой. Такая сцена, вульгарная и нелепая, не может пробудить ревности — она попросту унижает. Дама там, на плакате, неподвижно улыбнулась, пугающе неизменная, и только я мог видеть ее в разных ипостасях, в зависимости от того, что я о ней напридумываю.

К счастью, меня и Монизу спасло именно то, что она была хуже и ниже плакатной. Вместе с пакостным стыдом и злобой во мне поднялся протест против тирании той, с плаката,— рассыпанных волос, белоснежной улыбки и красного рта. Необходимо было выстоять перед ее напором, столь же притягательным и сильным, как и ее недоступность. Быть может, я проникся к ней сочувствием — ведь сам я такой же, обреченный, живой, как и та, что передо мной стояла. Может, именно ее беззащитность перед идеальной соперницей тронула меня — и еще то, что я один знал об этой беззащитности. Я осознал свой долг; так человек, настигнутый в горах грозой, вдруг чувствует, что он сильнее своих товарищей и волей-неволей должен спасти себя и других из беды. Из нас троих только я мог взять на себя ответственность. Живая Мониза ни о чем не знала, Мониза с плаката была не из этого мира и лишь улыбалась. Оставался я.

Та самая морщинка показалась мне теперь бесконечно милой, и я захотел защитить ее от той безжалостной, механической гладкости. Сочувствие и жалость избавили меня на время от тех плотских мыслей, которые я лелеял раньше. Если бы не эти новые чувства, я бы бросился на Монизу, как пьяный матрос,— и потому, что я того хотел, и потому, что видел в этом свой долг. При моей неуверенности в себе я бы все испортил грубой настойчивостью.

Однако сейчас такой поворот дела стал невозможен. Я уже пылал собственным благородством и тонкостью чувств, смаковал их, держался за них, не говоря уж о том, что я был им благодарен — ведь они оттянули окончательное решение, которое внушало мне страх.

Очень нежно я обнял Монизу, поцеловал ее в лоб, ощутил себя властным ее опекуном, и чувство ответственности вознаградило меня — правда, иначе, чем я желал. Что не помешало мне через какой-нибудь час проклинать свою слабость.

Мы гуляли как классические влюбленные, не говоря ни слова; на это, к счастью, давала мне право венецианская декорация с туманной луной, красота, от которой мы оба онемели. Иначе я бы оказался в щекотливом положении.

Так что я мог дать волю своей фантазии, что́ будет, когда мы окажемся в отеле. Однако у подъезда ждал Джерри. Он молча сидел на скамейке и курил сигарету. Притворился даже, что не заметил нас.

9

Как будто мало мне было всех этих дрязг и недоразумений с Венецией, с заграницей, чемоданом, русским, со всем.

Теперь, когда я размышляю об этом спокойно, я прихожу к выводу, что Монизы Клавье не было вообще. Не было ее в таком виде, в каком она явилась мне тогда на мостике — живой, почти неподкрашенной. Существовала лишь та, с плаката, бессмертная и золотая, символ Венеции, лагуны, славы и заграницы. Ведь если бы она явилась мне не верхом, а в купе второго класса, не с Джерри и Майком из Голливуда, а со своим дядей, жующим бутерброды с яйцом, я бы и ухом не повел и ничего бы не было. Однако вначале, до встречи на мостике, я совсем ее не любил. Слишком уж она была чарующая, без изъяна. Она и притягивала меня и сердила, мне хотелось сравняться с ней, переплюнуть ее, завоевать. Пока это было невозможно, я предавался наигранному презрению — только так может слабый возвы-

ситься над сильным. Но стоило мне заметить ее подмалеванные глаза и морщинку на шее — и я разглядел изъян в этой глади, непроницаемой, как золотой шар. Только этого я и ждал, этого мне и не хватало.

Теперь я был в сравнительной безопасности. Эту морщинку я мог припомнить в любую минуту, как только мне будут грозить провал или слабость. Следовательно, я и хотел и не хотел попасть в подчинение. Я тосковал и по рабству, и по господству. Подчиниться, но сохранить для себя свободу по первому желанию. Я добивался равноправия и возможности ускользнуть когда угодно. Если б я желал только свободы, я бы использовал представившийся мне случай и простился бы с мечтой о Монизе, придравшись к слабости, которую мне наконец удалось подметить. Но я не хотел. Теперь мне показалось, что я наконец могу без опасений влюбиться в нее.

Став заведомо русским, я старательно готовился к приему К. М. Б. Я надеялся, что среди гостей не окажется никого, кто мог бы меня разоблачить. Несомненно, от меня ждали особенного костюма. Я же поставил на два других козыря: на широту славянской души и на принципы. Это страховало меня со всех сторон. Подкачает одна из черт самозванца — другая вывезет.

Я больше не тревожился, что придется выступать публично, как перед тем злосчастным вечером в «Эксцельсиоре». На сей раз я уже был «кем-то». Как трудно — и возможно ли вообще? — войти в любой дом, если ты не «кто-то»! Я не уверен, можно ли вообще быть просто собой.

Итак, меня везли, как русского, во дворец в венецианской провинции. Правда, русский — обиходный товар, их немало развелось! К счастью, я был единственным русским, которого везли мимо здешних виноградников.

Секретарь К. М. Б. развлекал меня рассказами об окрестностях. Я все время был занят собой, и мне всегда нелегко, когда надо изображать интерес к местным достопримечательностям. Мне очень трудно притворяться, что меня интересует что-либо, кроме меня самого, я никогда не преуспевал в этом. Но сейчас я мог себе позволить такую роскошь. Скорей уж моему спутнику пришлось извиваться и лебезить, а не мне. У меня ведь был центр тяжести — правда, искусственный, к сожалению.

На цепи холмов возник дворец — бледно-желтый, со множеством окон. Он царил над долиной, которая на западе примыкала к морю. На севере возвышались Альпы. Мы въехали на усыпанную гравием дорожку. К. М. Б. ждал нас.

Я узнал бы его по белым волосам и черным глазам, как на его автопортретах. Однако на голове у него была казацкая папаха, а на ногах — новые желтые сапоги.

— Здрасьте,— сказал он по-русски, снимая папаху.

Мне пришлось хлопнуть его по спине и крикнуть:

— Ничаво!

Он явно обрадовался, хоть зашатался и с трудом удержал равновесие. Потом хлопнул меня, а я заехал ему так, что у него в груди загудело. Что ни говори, человек пожилой.

Он взял меня под руку.

— Прошу вас,— сказал он,— на мою дачку.

Борзые лениво обнюхали меня. Перед дворцом, на стриженом газоне, ждали гости. В залах, за настежь открытыми не то окнами, не то дверьми, виднелись старинные глобусы и секстанты, поблескивала антикварная мебель и веяло духом старых библиотек.

К. М. Б. представлял мне по очереди гостей, небрежно, но многозначительно, словно показывал свое имущество. Среди них была женщина не первой молодости, в красном, как знамя, платье.

— Ах, княгиня, княгиня...— погрозил я ей пальцем.

— Вечно одно и то же,— вздохнула она с несколько подчеркну-

тым отчаянием.— А я-то думала, хоть вы не обращаете внимания на такие пустяки.

Я растерялся — уж не заподозрила ли она меня в снобизме? Неужто распознала?

— Очень хорошо, все люди равны,— похвалил я.

К. М.Б. уже поднимал тост:

— Здравия желаю!

— О нет!— воскликнул я. И когда все взглянули на меня с удивлением, серьезно добавил:— Сперва за историю.

— За историю, за культуру! — охотно подхватили собравшиеся.

Я же, дабы придать ритуалу соответствующий пафос, выпив, шмякнул рюмку оземь, по старому, гусарскому обычаю. Увы, я запамятовал, что мы стоим на мягком, по-английски подстриженном газоне,— рюмка не разлетелась вдребезги, а только отскочила и даже не звякнула. Я перепугался: а вдруг не поняли, что я имел в виду? Проворно наклонился за рюмкой и ударился лбом о череп лакея, который меня опередил. Раздался гулкий стук. Гости окружили меня.

— Больно? — тревожно спросил К. М. Б.— Сейчас велю принести примочку.

— Не надо! — крикнул я.— У нас, на Дону, мы это даже любим. Ребята частенько забавляются, шутки ради. Дело нехитрое. Пожалуйста!

И, отняв руку ото лба, заехал с размаху лбом в нос ничего не подозревавшему лакею так, что у меня в глазах от боли потемнело. Лакей рухнул.

— Прости, брат,— успел я ему шепнуть.— Я во имя международного движения...

— Какой темперамент! — воскликнула очарованная княгиня.

— И об стену могу! — опрометчиво крикнул я, подстегнутый ее пылом.— Все могу!

К счастью, меня вовремя удержали. Посадили на садовый стул. Я не очень твердо стоял на ногах. Голова жутко болела, но я был рад, что спас хотя бы лицо. К. М. Б. распорядился, чтобы лакея вынесли.

— У вас жар,— забеспокоилась княгиня и приложила ладонь мне ко лбу.

— У нас вообще такое кровообращение,— объяснил я невозмутимо.

Они окружили меня и мельтешили перед глазами. Благородные головы, декольте, тонкие кисти. А сразу же за ними — невероятная даль, туманные дороги и реки, кучевые облака. Видно, от потрясения я обрел дар провидения, потому что мне показалось, что они высовываются ко мне из-за этих облаков и любовно, по-светски протягивают руки. И все похожи на Монизу Клавье, то же в них жадное, алчное ожидание. «Приди,— казалось, говорили они.— Ты прекрасен, силен, неповторим, ты — наш». «А если я уродлив, слаб, убог?» — вопрошали остатки моего сознания. «Исключено». «Почему?» — «Потому что мы хотим тобой восхищаться. Сдайся нам на милость и делай что хочешь, и ты вечно будешь прекрасным, сильным и великим, поскольку мы тобой восхищаемся».— «Вот как? Но это же значит, что, сотворив меня по своему образу и подобию, вы уничтожите меня подлинного».— «Да, это единственное условие. Наш бог и то ему подчиняется. Что бы ни уготовил он верным — чуму или неурожай,— ничего не поможет, верные примут все и растопят в своей любви».

Недаром я видел среди них в основном женщин. Мужчины старались смягчить, приглушить свою мужественность; благоволя ко мне, они покорно признавали, что их природа мешает им обожать меня, не позволяет сравняться в кокетстве с женщинами, от рождения лучше приспособленными к флирту. Называя мне свои фамилии, которые олицетворяли состояние, славу, благородное происхождение, они старались, чтобы пренебрежение, с которым они относились к этим цен-

ностям, было под стать моему пренебрежению к ним, которое они мне — и совсем зря — приписывали. Они, казалось, говорили: «Мы же сами ни в грош все это не ставим». Этим маневром они хотели опередить мое пренебрежение, чтобы оно расплылось в нашем совместном наплевательстве. Хотели побрататься и объединиться со мной и сообща создать новую, всемирную аристократию. «Мы — элита прошлого, вы — элита будущего. Давайте дружить!»

Потом мы сели за стол в зале, выходящем на террасу и на необозримые дали; столько белизны и серебра, столько цветов я видел только в детстве на алтаре во время майских месс. Лишь какой-то горбун, сидевший по левую руку, ничего не говорил, поглощал еду и массировал свой горб.

И был это пир влюбленных. Я влюблен в Европу, Европа — в русского, а русский — кто его знает, его же нет. Защищенный его непробиваемой броней, я не боялся ничего, словно открыл могущественное заклятье. Имя сотворило истину. Спасибо тебе, святая Русь! С твоим именем я приобщился к сливкам Европы.

— Расскажу-ка я анекдотец,— раззадорившись, сказал я сидевшей по правую руку от меня краснознаменной княгине.— О былой эпохе. У нас, в поместье, красивая барыня жила. В парке, в тенистой беседке сиживала и читала французские стихи. Вся в духах, деликатная. Проезжал за забором Василько-водовоз, мужик загорелый, бицепсы, все при нем.

— Простой человек? — для верности спросила княгиня.

— Проще некуда. Забор там был высокий, как положено. На другой день проезжает Василько-водовоз, глядит, а забор вроде бы стал на пядь ниже. Подивился, но ничего. Ну, а когда ему опять дорога мимо этого места выпала и заборчик лишь на две пяди от земли оказался, тут до него доперло. Перекрестился он по-православному — и поехал жив-здоров.

А назавтра смотрит, забора совсем нету, только барыня на гамаке качается. «Что ж ты везешь, Василько?» — спрашивает. «Воду, барыня-голубушка».— «Дай мне немножко, пить чего-то охота». Струхнул он, но бочку отшпунтовал, а барыня как начнет пить! Пьет, пьет, полбочки выпила. И на другой день, и на третий, все пьет, а того не понимает, что грабит простого человека, лишает его прибавочной стоимости.

Пригорюнился Василько, потому что воду людям он уже доставлять не мог и дела его пошли плохо. Отчаялся вконец, налил в бочку спирту и, как повелось, проезжает мимо парка. Барыня так пить повадилась, что без спросу глоток хлебнула. А потом волосы распустила, на бочке уселась и говорит: «Почему ты, Василько, так меня преследуешь? Сперва забор разобрал, потом водой меня поишь, выпороть бы тебя...»

Расплакался Василько над ее долей, покаялся и тут же поместье поджег, чтоб обречь себя на вечные муки. А ее, дабы избавить от земных мучений, на тот свет отправил. И это самое было для него всего тяжелее — ведь тогда богатеи рабочий люд обманывали и угнетали.

— Почему? — хором спросили гости.

— Потому что не знал он еще, что бога нет и загробной жизни тоже нету и что насмарку пошли все его старанья. Ни себя на вечные муки не обрек, ни ее в рай не отправил. Так вот и обманул беднягу несправедливый строй.

— Несчастный...— посочувствовала княгиня.

— Так ведь времена какие были,— поддакнул я.— Теперь и Василько образованный, и водопровод у нас изобрели.

— Грустная история,— вздохнул К. М. Б.— Но прекрасная. Теперь я не удивляюсь, что у вас такие таланты.

— Дерьмо,— неожиданно отозвался горбун.

Повесть об угнетенном Васильке, видно, взволновала их — они ощутили свою вину.

— Я предпочитаю носить исключительно старые вещи,— заявил К. М. Б.— Хотите поглядеть? — Тут он задрал ногу.— Вот, подметка совсем стерлась, как у простых смертных. Сотрется — надеваю другие поношенные туфли и опять донашиваю.

— Обожаю Пантелеева,— ни с того ни с сего брякнула княгиня.— Но что с вами, вы побледнели!

На самом деле, на меня накатила страшная тошнота, и куда делось все мое блаженство.

Паспорт, мой собственный паспорт, съеденный когда-то мной... То ли жесткую обложку недопереварил, то ли типографскую краску...

Я вспомнил вдруг, кто я. Ослабев, обливаясь холодным потом, я не мог уже больше влачить вериги русского. Не мог больше рассказывать анекдоты, корчить донского молодца... Через минуту выяснится, кто я такой. Не может этого быть, чтоб не догадались. Русский съест все, ему ничто не повредит. Он все выдержит. Вброд перейдет зимой ледяную реку и еще потом запоет, а я... Горбун смотрел на меня внимательно, явно заподозрив во мне собрата-калеку. Обидели, обидели, опять меня обидели. Я почувствовал страшную досаду; что я сделал такого, раз жестокая судьба все у меня отбирает, едва я стал кем-то. И досада моя обратилась на собеседников. У меня уже не было сил, я не мог больше притворяться и увидел в них лишь декадентов, выклянчивающих любовь варвара. Русский еще сидел перед ними, но это был манекен — его душа вышла из него и взглянула на него со стороны. Ко мне вернулась национальная чувствительность, хотя, к сожалению, в неожиданном, физиологическом смысле. Как живая, встала передо мной сцена в садах «Эксцельсиора», когда я тщетно совал им доказательства моих собственных мучений. А я ведь теперь снова мучился. «Страдание, благородная жертва их не трогают. Но стоит им оказаться перед сильным, как они падут на колени, распахнут объятия, начнут выслуживаться. А если так, я им покажу!»

В полном убеждении, что все потеряно, не ведая, что творю, плача об утраченном счастье и вечных поражениях моего народа, раздираемый не то икотой, не то комплексом поруганной добродетели, я схватил со стола серебряную сахарницу и запустил ее в большую вазу, что стояла у стены.

Бросил — и перепугался. Ваза разлетелась вдребезги. Помертвев, я глядел на их удивленные лица, стараясь понять, выдержит ли это мой русский. Только он мог меня теперь спасти. В испуге я прикинул, что это пойдет на счет его широкой души. Русский снова стал мне единственным спасеньем и защитой.

— Да...— сказал через минуту К. М. Б.— Уродливая была ваза. Эти китайцы, правда, изобрели фарфор, но не имели понятия, что с ним делать. Благодарю вас. Увы, у меня в этом доме много безвкусных вещей.

Я перевел дух. А ведь моя душонка чуть не бросилась ему в ноги!.. Какое счастье, что со страху я не мог двинуться, а то бы как опозорился! Минуточку, что это он сказал? Что не все тут на уровне? Я заколебался. Пожалуй, придется поверить в это пренебрежение богача к самому себе, иначе не будешь на уровне настоящего аристократа. Такова уж моя национальная душа — прежде всего она тоскует по любой аристократичности, по изыску, по бонтону и хорошим манерам и живет в вечном страхе, что опростоволосится и ее осмеют. Что ж, если такое пренебрежение — признак хорошего тона, мы тоже можем, мы тоже примем участие в этой бонтонной игре! Предположим, в этом доме есть очень ценные и не очень уж ценные произведения искусства; что будет, если я в них не разберусь и пропущу какие-то дешевые поделки? Мне показалось, что все только ждут, чтобы я проявил себя как ценитель искусства. Любой ценой надо было столь

же элегантно откликнуться на вызов хозяина. «Ларошфуко, Ларошфуко,— бессмысленно блуждало у меня в голове.— Как бы поступил на моем месте Ларошфуко? Или кардинал Ришелье?» О русский, почему я предал тебя, почему я позволил овладеть мной моей собственной, национальной, снобствующей душе, которая, чтоб не опростоволоситься в обществе, катится в самую бездну нелепого позора?

Я внимательно оглядывался, так, как это делал бы знаток. Была не была! Я выбрал какую-то картину, достаточно темную, чтоб она могла оказаться ценной, и потому достаточно непонятную, чтобы не знать, что уничтожаешь. Поднялся со стула и выплеснул на нее порцию соуса.

— Браво! — хрипло сказал хозяин.— Голландский соус в самый раз для Ван Дейка. А говорят, что у русских нет чувства композиции! Да вы не стесняйтесь! Эта картина меня давно раздражала.

— Вот как? — воскликнул я с французским прононсом.— Ну, поглядим, чего у вас еще есть!

Он побледнел, но встал из-за стола.

— Следуйте за мной,— сказал он.

За ним охотно вскочили гости. Дворец, картины и статуи принадлежали не им. Мы двинулись в глубь дома. Спереди — лакеи, высоко поднявшие подсвечники. Потом — мы с К. М. Б. За нами — гости. По пути я прихватил клюшку для гольфа.

В первой же зале был огромный выбор, прямо глаза разбегались. Сразу же, с порога, я грохнул по ампирным часам, что стояли на комоде, а хозяин и ухом не повел, даже подбодрил. Мне захотелось привлечь его своей разборчивостью — пусть считает меня знатоком не только стекла, фарфора и живописи, но и мебели, тканей, обивки. Но клюшкой для гольфа я мало что мог доказать, перочинный ножик тут был бы сподручней. Я подумал, не попросить ли у него топорик, но не решился. Не хотел его ставить в двусмысленное положение — а вдруг топорика нету?

Я останавливался перед новым сервизом или картиной, щуря глаза с видом знатока, а в глубине души неуверенно прикидывал: «Трахнуть или не трахнуть...» Вокруг летали черепки, с глухим стоном трещало полотно; хозяин, однако, в деликатной форме подбадривал меня, и это меня вдохновляло.

Вскоре я совсем разошелся. Такие случаи представляются не так часто. «За мой народ, за ваш комфорт, за культуру,— думал я с мрачным удовлетворением, круша очередную древность. За русского, за «Эксцельсиор»... И летели щепы, клочья, черепки. Шествие двигалось по анфиладе. Непоколебимые лакеи высоко вздымали свечи; все новые кабинеты, спальни и гостиные открывались перед нами, и я перестал притворяться, что выбираю. Я взмок от напряжения и громил все подряд. Ничего странного, что вскоре я задыхался и с трудом двигал своей клюшкой.

— Может быть, отдохнем? — спросил К. М. Б., когда мы вошли в просторную гостиную. Сказал он это, по-моему, чересчур небрежно. Мы уселись на выцветших старинных коврах. Я дышал с трудом, но сдаваться не хотел.

— А может, костер? — крикнул я.— По-нашему, по-простому. Посидим у огонька, споем...

— Настоящий костер? — побелев, спросил К. М. Б.

— Да, настоящий, кавалерийский, нашенский. Никаких каминов! — добавил я, перехватив его взгляд, который пал на сумрачный, много веков нетопленный камин.— Это не то... Вот стульчики — сухонькие, вспыхнут, как бурьян, как наши березки. А если надо, и диванчики подбросим, и гобелены...

— Этот дворец горел уже несколько раз,— сказал К. М. Б.— Может, хватит? Последний раз во время французского нашествия.

— Французы деградировали,— жестко ответил я.— Едят лягушек, размножаются слабо. Ну как, разводим или нет?

— Не хотелось бы, чтобы меня неправильно поняли...— начал К. М. Б.

— Не ваша забота. У нас, на Востоке, вечно все горело, такой, знаете, сквозняк. А мы ничего — где голó, там веселó. Давайте-ка спички!

В эту самую минуту в гостиную вошел Майк. Уже издали он подавал мне знаки.

— Извините, что прерываю столь милую беседу,— сказал он хозяину.— У меня срочное сообщение для вашего гостя.— И подал мне белый конвертик.— От Монизы,— тихо добавил он.

Я напрочь забыл о Монизе. Отошел в сторонку и начал читать. Собравшиеся поспешно покидали залу.

«Дарлинг,— читал я нечеткий, торопливый почерк Монизы,— Джерри забирает меня в Голливуд. Он знает все. Улетаем завтра в одиннадцать. Заклинаю тебя, приезжай тотчас же. В десять я выскользну на площадь святого Марка. Буду ждать перед Базиликой. Ай лав ю».

— Я должен возвращаться в Венецию,— сказал я Майку.— У вас есть машина?

— Владислав ждет у ворот,— неохотно ответил он. Я убежден, что он тайно был влюблен в Монизу и за эту миссию взялся, только чтобы насолить Джерри. Я побежал к выходу, пересекая в обратном направлении опустевшие коридоры. Расставленные у дверей лакеи незыблемо поднимали канделябры, указуя путь. В столовой было пусто — ни гостей, ни челяди, только княгиня в платье первомайского цвета созерцала разбитую вазу. В распахнутые двери влетал ночной ветерок. Мониза уезжает, все кончено.

— Раздевайся! — рявкнул я княгине.— За мной триста дивизий!

Мы были одни. Разденется или нет? Если нет, я не смогу выставить против нее ни единого батальона. Но она без звука скинула платье. Я схватил его и выскочил на террасу. В пространстве ночи мерцали огоньки домов и по долине двигались фары автомобилей. Я нашел мачту, на которую в торжественных случаях поднимали флаги. Прицепил платье к тросу и подтянул его наверх, отдавая им честь. Потом схватил со стола пару бутылок пива и сунул под пиджак. Пригодятся. Да и вообще... у них такие красивые бутылки!

Владислав действительно ждал у ворот.

— Жми, пан Владек! — крикнул я, рухнув на сиденье.— Гусь не выдаст, свинья не съест! Или пан, или пропал!

Но Владислав, видимо, уже забыл на чужбине родную речь — он ничего не сказал, только надел фуражку, которую снял было в знак уважения, сел на свое место, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. За нами, на флагштоке, развевалась алая парча.

10

Мониза... Она мой последний шанс.

Мы мчались так, что придорожные деревья летели одно за двадцатым. На фоне этой освещенной, бегущей череды спина Владислава и голова в круглой заломленной фуражке торчали передо мной как на экране.

Мы уедем отсюда, думал я, в Голливуд. С Джерри надо раз и навсегда покончить. Однако это не так просто, наверно, он знает дзюдо. Такие господа с малолетства обучены японской борьбе и хорошим манерам. Хотя, возможно, как все американцы, он воспитывался где придется и только потом выбился собственными силами. В Америке это бывает часто, особенно в кинокругах. Да, но в таком случае он наверняка боксирует.

Ладно, как-нибудь обойдется. Мониза, наверно, подумала обо всем. Пока что мы его застигнем врасплох, а это дает перевес. Глав-

ное — придумать план побега. У Монизы наверняка есть там какая-нибудь дача за крепким забором и телохранители. А Джерри... Может, он сдастся и сам отступит. Бывали такие случаи. В сущности, мы не раз видели в кино сильных, отважных мужчин, которые отказывались от своих прав, чтоб осчастливить любимую женщину. Или сопьется с горя и опустится вконец. С пьяницами легче справиться. Мышцы вялые, дыханье короткое, взгляд мутный... такому достаточно подставить подножку. Хотя тогда он и драться не захочет, только в бар его будет тянуть. Ко всему потеряет интерес.

Жизнь мы устроим себе спокойную, тихую. Утром, после завтрака, она — на киностудию, я, в шелковом халате, еще посижу малость за чашкой шоколада, потом на террасу выйду, полюбуюсь. Красота, наверно, у них там, в Калифорнии. И бассейн в саду есть... Почитаю, пройдусь, потом бритье, купанье. Мониза звонит со студии, хочет условиться на вечер. Коктейль в «Метро Голдвин» или еще где-нибудь. Словом, по настроению.

Скандалов на приемах больше устраивать не буду. Зачем, все равно не поймут! Никогда не постичь им нашего опыта, не понять, через что мы прошли, как круто взялась за нас история. Тем лучше, буду их превосходить богатством кругозора, тонкостью чувств, историческим чутьем.

Только тогда, в веселом кругу, задумаюсь вдруг среди пересудов и шуток, замолчу, отойду в сторонку, в тень, встану со стаканом над гладью вод — в их зеркале отразится мой белый торс с черной бабочкой — и горько призадумаюсь. Может, войду одетый в воду, они в Америке так иногда делают. А если бы и удивились, то ведь сами знают — я издалека, чужой, не ихний. Может, подружусь с каким-нибудь нищим статистом, тоже из чужаков. Будем вместе сидеть в его убогой комнатушке, тянуть напитки — правда, не наши, но тоже помогающие забыться и вспоминать. Он снимет со стены гитару и забормочет песенку — чужую, как и мы здесь, песенку старой страны. И всем будет невдомек, что же общего у меня с безымянным бедняком из легиона забытых неудачников. Какой тут секрет, какая тайна? Никто не будет знать, как прост этот секрет: ностальгия.

— Жми, пан Владек,— нетерпеливо сказал я.— Ходу!

Я не забуду о родной стране. Нет, в политику я не стану вмешиваться. Но могу, например, закупить большую партию мотороллеров — десять, пятнадцать, тридцать тысяч штук — и пошлю в подарок нашей молодежи. И пошлину заплачу, пожалуйста. Пускай, это им за тяжелое детство, за то, что они пережили, когда их отцы возвращались из скитаний. И музыкальных автоматов накуплю, и буду следить, чтобы все время получали новые пластинки — у нас ведь так любят джаз. Что ни говори, воспитывался я по ту сторону и принадлежу к новому поколению. Станут собирать деньги на какой-нибудь памятник — тоже дам. Захотят знакомые выложить ванную кафелем или там современный кранчик поставить — охотно куплю и пошлю. Они так тоскуют по всему современному! Кто знает, до какой бы современности дошли, дай им условия. Нет, я не отрицаю достижений, безграмотность уже ликвидировали.

Может, когда-нибудь поеду туда с визитом. Проводят ведь всякие кинофестивали, Монизу могут пригласить. Поселюсь в гостинице для иностранцев, увижу перемены, которые произошли в мое отсутствие, прислуга заговорит со мной по-английски, а я им по-нашему: «Прошу мне подать то или там се». То-то удивятся, то-то обрадуются! Когда знаешь язык, легче знакомиться со страной. Машину возьмем с собой или даже две: скажем, салатного цвета «бьюик», с фарами словно вифлеемские звезды. Толпа соберется вокруг него на стоянке, а я, когда буду уезжать, оставлю его на улице. Директор гостиницы бежит за мной, пыхтит, кричит: «Мистер, мистер, ваша машина!» А я отве-

чаю: «Я ее оставляю». Он не понимает: «Как это, вы оставляете машину, такую машину?» — «Да надоела она мне».— «Как, вы ее не забираете?» — «Нет, я устал. Оставляю, и все, делайте с ней что хотите». Такой у меня будет стиль.

Навещу я и город, в котором когда-то жил. Войду в столовку, где каждый день обедал. Узнáют меня, конечно, хотя виски у меня посеребрит седина и одежда будет особенная. Плащ легкий, но теплый, фирмы «Элита», туфли остроносые, там всегда такие в моде. Как ни в чем не бывало закажу вареники, как всегда, как много лет назад, по-свойски, словно ничего и не случилось. Вот — все зашевелятся! Столпятся в дверях, смотреть будут, завидовать, да, не скроют от меня зависти, смешанной с восхищением. А я — ничего, обыкновенно, скромно, буду есть себе вареники, добродушный такой, доступный, общительный. Пошучу, позволю пощупать плащ, когда робко спросят, можно ли, даже примерить дам. Разумеется, пожалуйста, что мне такой плащ? Мелочь.

Или, может случиться, встречу сестру сослуживца и ее подругу. Они как раз будут в самом расцвете. Условлюсь с ними в кафе. За соседними столиками — шепот, головы склонены друг к другу, взгляды мечут украдкой, имя Монизы Клавье так и шуршит. Я закажу пирожные. «Сколько?» — спросит официантка. «На ваше усмотрение. А, да... Цветы тут держите?» — «Нет, не держим». «Странно, в Нью-Йорке можно получить цветы даже в холле. В таком случае прошу послать за цветами для этих дам. Цена значения не имеет».

Женщины будут робеть, дрожать... Я расскажу им небрежно о голливудской скуке. «У вас иначе, как-то проще, непосредственней, человечней. Легче непосредственный контакт между людьми. Скромно, это правда, зато как-то человечней». Они несмело, окольным путем, спросят меня о Монизе. «Мониза? Что ж, она мне нравится, девушка стоящая. Но вы знаете, актриса... иногда я тоскую по нормальной, интеллигентной женщине, с этой, а не с той стороны экрана». Она: «Мы еще встретимся?» Я: «Увы, сегодня вечером я улетаю. У нас самолет в Цюрих в одиннадцать двадцать».

— Жми, пан Владек, жми!

До Венеции еще ехать и ехать. Едва брезжит рассвет. Владислав жмет как может. Меня чуть подташнивает, особенно на поворотах. Мониза, только она одна, Мониза... Скоро я ее увижу. Как только избавимся от Джерри, укроемся в маленькой гостинице. Конец мученьям, нам осталось только одно: встретиться без препон. Да сгинут минуты и километры, которые еще разделяют нас! К Монизе, к Монизе!

II

И вот я вижу еще издалека, как она стоит на площади святого Марка, перед базиликой, прекрасная и легкая. Кругом веселая толпа, небо голубое, как во время нашей первой встречи. Я иду через толпу фотографирующих друг друга немцев в коротких штанишках, американок с цветами в волосах, вежливо улыбающихся японцев. То и дело раздается щелканье, и в небо взмывают голуби. Пробираюсь через косяки голубей. Их столько, что они заполонили все пространство. Все отражается в голубоватых объективах, фото-теле- и кино, в механических, лишенных ресниц глазах, расположенных все больше на груди, как у циклопов, которые, если верить средневековым гравюрам, обитают на краю света. Потом они запечатлеют меня, случайного, мое ухо или ногу, цветную или черно-белую, неподвижную в застывшем шаге или в коротком, судорожном рывке, и какая-нибудь семья далеко отсюда когда-нибудь склонится надо мной, как над сувениром из отпуска. День только начался, все отдохнули, полны энтузиазма и благих намерений. Я огибаю все более плотные группы, то споткнусь перед позирующим для снимка взводом, то извинюсь перед кем-нибудь с

протезной улыбкой, и голос мой — словно механическое «клик-клак», издаваемое аппаратами. Иногда Монизу заслоняют баварцы в бумажных турецких фесках, довольные, что им так повезло, или пляжные зонтики, женщины в шортах. Заслоняют Монизу протянутые и указующие руки или край соломенной шляпы «мехикано», но я вижу ее, вижу снова, когда перед базиликой припадает на колено седой человек, чтобы ее снять. Я иду к ней, я все ближе, еще двадцать шагов, еще десять. Наконец-то она меня разглядела, улыбается, я улыбаюсь ей, мы машем друг другу, но нас еще разделяет расстояние.

И тут какой-то человек с чемоданом в руке входит в разделяющее нас пространство. Я должен обратить внимание на него; мне кажется, что это мой чемодан. Мой или не мой? Те же размеры, тоже бы вроде кожаный, но меня не обманешь! Я знаю эти вытертые углы, выказывающие бесстыдную серость размякшего картона. Смотрю на эти кривые замки и вижу, как они отскакивают, один за другим. «Эй, осторожно!» — кричу я на родном языке, но уже поздно. Чемодан раскрывается, и из него вылетает белье, облысевшая зубная щетка скачет по плитам Сан-Марко, падают сухие булки и запасные штаны.

— Земляк! — кричит хозяин чемодана, открывая объятия.— Честное слово, земляк!

Я думал не долго. Я хотел одного: как можно быстрей убрать эти жалкие, постыдные предметы, скрыть их, затолкать обратно в чемодан, вернуть в небытие. Мне казалось, что, когда это случится, все снова войдет в норму, снова станет как раньше. Я наклонился и начал собирать их трясущимися руками. Он тоже наклонился, собирает и при этом говорит без передышки:

— Замки отскочили, часто отскакивают, рад видеть земляка, вы давно, вы надолго?

Оба мы ползаем на четвереньках, и я вижу над его головой, что Мониза в отчаянье делает мне знаки. Я вскакиваю. Не стану больше собирать — и так она все видела. Но уже поздно. Из-за каменного льва святого Марка выскакивает Джерри. Хватает Монизу за руку и тащит ее в сторону. Мониза сопротивляется, но тщетно; они — как пара танцоров, несущихся в залихватском галопе. Мониза еще поворачивается ко мне, я вижу ее лицо, она что-то кричит, я не слышу. И ее больше нет. Никого нет.

А субъект взял меня под руку. Он тоже, наверно, их увидел, по тому что нагнулся и заговорщически сказал:

— Вы их знаете? Может, удастся стрельнуть деньжат? Я тут ботинки видел, по дешевке...

Я даже не пытался освободиться. Меня охватила огромная усталость, как после долгого представления, когда надо встать со стула и одеревеневшие коленки отказывают.

— Готово,— говорит он, упихивая в чемодан последние кальсоны.— От души благодарю за помощь. Пошли, надо перекусить. Куда б вы предложили?

Помощь! Он думал, что я хотел ему помочь! Помощь — понятие не однозначное. Я позволил ему вести себя. Мы проталкивались сквозь толпу в обратном направлении. Он что-то говорил. Только когда мы очутились в боковой улочке, я съездил ему по уху.

Он тотчас дал сдачи. Я попытался пнуть его ногой, но появились двое полицейских с саблями, и ни я, ни он не хотели рисковать. Минуту мы шли рука об руку и громко беседовали. Тема возникла сама собой: возвращение на родину. Полицейские глядели на нас с подозрением,— наверно, опять из-за этого чемодана. Наконец, они исчезли за углом, и тогда мне первому удалось стукнуть его по щиколотке. Он запрыгал на одной ноге, проклиная меня. Но это я дал маху — ведь теперь мне пришлось самому тащить чемодан. Он ковылял и опирался о мое плечо. И при всем этом я должен был держать ухо востро, потому что он то и дело пытался укусить меня за палец.

12

Что еще я могу сказать? Мы поселились вместе в грязной гостинице у вокзала, в комнате без окна. Мы долго торговались, и когда за нами закрылась дверь, мы встали друг против друга, лицом к лицу, а потом — спокойно, не опасаясь скандала с полицией — долго колошматили друг друга, молча, с сопеньем, лишь изредка издавая злобные, глухие выкрики: «Пусти, пусти!» или: «Я тебе!» — «Что? Это ты мне? Ты, что ли?» Комната была в самом конце коридора, под лестницей, вся забита рухлядью, дрянью какой-то, никто к нам не заглядывал, вероятно, не слышны были ни грохот, ни шмяканье, хоть мы и дрались целый день. Вечер наступил незаметно, потому что лишь голая лампочка, свисающая с потолка, словно зонд со дна иного, плывущего над нами мира, уныло, бледно и бесстрастно светила нам. Снаружи была, наверно, ночь, когда, обессилев, мы притаились в двух противоположных углах и, поправляя одежду, тяжело дыша, поглядели друг на друга. Он причесался, я тоже хотел, но он не одолжил мне гребенку. Потом мы съели немного кабаноса из его запасов. После ужина мы еще поборолись, но уже как-то вяло, мы только бессильно пихались. И мы заснули на единственной, общей койке. Ночью он стащил с меня одеяло.

Исподволь установился порядок нашей жизни. Мы еще боролись, но, в силу необъявленного договора, делали перерыв в определенные часы, чтобы отдохнуть, перекусить, постирать и даже выйти в город. Перед выходом я старался насыпать ему гравия в резиновые тапочки.

Было у нас и время бесед. Сидя на кровати, в кальсонах, с подбитым глазом, он курил сигарету из отечественных запасов, наполняя помещение кислым дымом, который пропитывал ткани, волосы, легкие и застревал надолго въедливой вонью. Я что-то стирал в умывальнике, не забывая то и дело протыкать засоренную трубу зубной щеткой. Мы разговаривали в такие минуты о способах приготовления селедки; о том, что у нас все-таки иначе; о зиме, которая должна была наступить скоро, но не очень. Потом он гасил сигарету и бросал в меня чем попало, а я кончал постирушку, и мы дрались еще час, а то и два.

Однажды мне даже удалось добиться полной победы. Мне помог случай. В нашей комнате, которая служила и складом всякого хлама, стояла большая бельевая корзина с крышкой, запиравшейся на замок. И вот как-то раз, в поисках съестного, он открыл эту корзину, хоть и шансов мало было там что-нибудь найти. Я не упустил случая. Схватил его за голову, засунул ее внутрь, а потом запихал его всего. Запер крышку и сел на нее. Сквозь щель в плетенке доносились до меня приглушенные проклятья, но выбраться он не мог.

В голове у меня копошились самые разные мысли. Я бы мог теперь ночью выбросить его в канал. Это проще всего. Отправить его багажом в любом направлении не входило в мои расчеты — слишком дорого. Мог бы также, ничем не рискуя, просто оставить его так и тайком съехать. Сбежать, отвязаться от него — вот что мне было нужно. Обрести свободу, поехать куда-нибудь, и — кто знает? — может, снова я отыскал бы Монизу, может, все бы началось сначала?

Погрузившись в мечты, я сидел на нем, а время шло. Постепенно и он затих, потому что охрип от ругани и устал от проклятий. Было тихо, спокойно. Я рисовал все более смелые картины, все более далекие планы. Наконец, я устал. Даже самые прекрасные мечты со временем теряют свежесть, утрачивают чары. Приходится натужно напоминать себе: «Сейчас, сейчас, о чем бишь это я мечтал, так мне было хорошо... Ага, знаю! Давай вообразим, что...» Но это уже не то, это слишком обыденно.

Так что мне прискучило все это, да и сидеть на корзине было не очень удобно. По-видимому, я слишком долго смаковал свой шанс и, перебирая возможности, в конце концов обессилел. Молчание стало мне в тягость.

— Ты тут? — вполголоса спросил я.

Он не ответил. Мне стало не по себе.

— Ты тут? — громче спросил я.

Молчание.

— Почему ты не отвечаешь? — раздраженно крикнул я.

— Ну, тут, а что? — неохотно откликнулся он.

— Ничего. Я думал, тебя там уже нет,— сказал я. И выпустил его.

Потом еще только раз показалось мне, что все начнется сначала. Это было в той самой аллее, где я впервые встретил Монизу. Я даже забеспокоился, что́ сделаю со своим спутником, как представлю его изысканной троице, которая вот-вот появится верхом. И вздохнул с облегчением, когда, как следует прислушавшись, убедился, что топота копыт не слышно. Ни крика чаек, ни корабельных гудков, ни колокольного звона, ни шума прибоя. Нет ничего.

Перевод В. ЧЕПАЙТИСА

Пунктуальность

— Товарищи! — сказал председатель.— Нужно раз и навсегда покончить с опозданиями. Но как? Жду ваших предложений.

Собрали мы собрание по внесению предложений.

На собрании приняли предложение назначить собрание по борьбе с опозданиями.

Ну вот, собрали мы, значит, это собрание, и после бурных обсуждений поступило предложение не опаздывать.

— Не опаздывать — это мало! — воскликнул референт.— Я беру обязательство прийти на четверть часа раньше!

Раздались аплодисменты. Но тут встал бухгалтер и сказал:

— Мы гордимся позицией, занятой нашим референтом. Но разве мы не способны на большее? Я обязуюсь прийти в семь часов двадцать минут, а если не будет дождя, в семь пятнадцать!

Референт хотел взять реванш, но не успел, потому что старший ревизор дошел до шести ноль-ноль.

Тут понесло и меня. Чем я хуже?! — подумал я, встал да как ахнул пять с минутами. Я уже думал, что моя взяла, когда вскочил референт и свел на без десяти пять. Но вел он недолго, так как его обошел бухгалтер на целых шесть минут. Бухгалтера торпедировал кладовщик, который, в свою очередь, спасовал перед управляющим. Победителем оказался инструктор. Он дожал до четырех и сорвал банк. Аплодисментам не было конца.

— Товарищи! — сказал председатель со слезами на глазах.— Ваш энтузиазм превзошел все ожидания. Теперь только надо придать нашим усилиям организационные формы. Давайте назначим день, когда все мы придем на работу не просто вовремя, а даже раньше, в четыре часа утра.

Мы решили, что это будет, например, седьмое число текущего месяца. Потом спели «Вот эти руки, руки молодые» и разошлись по домам.

Решающий день приближался в обстановке всеобщей собранности и подъема. Шестого мы устроили себе выходной, никто не работал, чтобы выспаться перед седьмым.

К сожалению, оказалось, что как раз на седьмое приходилось воскресенье.

Артель «Одинокий»

Председатель поднял трубку:

— Алло... да... да... улица Победителей? Да, принято. Сейчас пошлю дежурного.

Он положил трубку.

— Вы видите,— сказал он,— мы не жалуемся на отсутствие клиентов. Я должен сходить на минутку к персоналу. Можете пойти со мной, если хотите.

Бюро артели «Одинокий» помещалось в бывшей частной квартире, теперь наскоро переделанной. Из комнаты председателя артели, с балконом и окнами на улицу, мы вышли в коридор, а оттуда в следующую комнату. Когда-то это была ванная, но очень большая, из оборудования осталась только ванна, газовую колонку сняли, трубы вырвали, и стена зияла своими кирпичными внутренностями. Вдоль кафельных стен в желтом свете лампочки сидели и лежали на лавках бледные мужчины в грязных костюмах. Большинство из них спали, некоторые ели второй завтрак, состоящий из корнишонов и борща.

— Кто следующий? — крикнул председатель, останавливаясь в дверях.

С лавки поднялся человек средних лет с редкими волосами и припухшими веками.

— Какой адрес, шеф? — хрипло спросил он.

— Победителей, 3. Подробности в магазине.

— Порядок, — буркнул опухший, застегивая пуговицы.

Мы возвратились в комнату администрации. На стене висел плакат, посвященный году Мицкевича.

— Наши организационные принципы просты,— объяснил мой хозяин.— Мизерного вознаграждения, из которого складывается наш фонд, едва хватает, чтобы оплатить телефон, аренду помещения, а также выделить постоянную зарплату для руководства, бухгалтера и уборщицы. Излишки мы передаем в Фонд строительства школ.

— А сотрудники?

— Когда как. В основном мы базируемся на энтузиастах, которых вы видели в дежурке. Они составляют команду, которая готова к действию круглые сутки. Они работают на принципе вознаграждения натурой, то есть, иначе говоря, получают только за посредничество. Но кроме того, мы располагаем кадрами сотрудников специальных и квалифицированных.

— Какова история возникновения артели?

— О, пожалуйста. Вы знаете, сколько есть людей, которые в данную минуту нуждаются в компании. Каждый из нас на собственном опыте знает эту минуту, когда хочется выпить, а не с кем. Вы пьете с коллегой, потом коллега должен уезжать. Вы провожаете его на вокзал, возвращаетесь с вокзала и что? Страшное одиночество. Или же у вас выходной, утро, знакомые на работе, в буфетах еще пусто. Что вас ждет? Полное сиротство. Или поздней ночью, вас одолевают заботы, все спят, вы купили пол-литра и сидите за пустым столом. В общем, я назвал только некоторые из бесконечного ряда ситуаций, когда одиночество, столь несносное для пьющих людей, дает себя знать. Так вот, услуги нашей артели состоят в том, что мы предлагаем выход, простой и эффективный. Уже нет страха перед отъездом, нет судорожных и изнурительных поисков знакомых, которые не всегда хотят или не могут с вами пить. Просто вы набираете соответствующий номер телефона и указываете адрес. Сразу же является наш сотрудник, один из членов команды, приветливый, сердечный, компанейский, готовый побеседовать о чем угодно, посочувствовать, такой, который никогда не скажет «нет». Команда комплектуется из людей подготовленных, которые тоже хотели бы в данную минуту выпить, да не на что. Артель только дает ключ к взаимному пониманию. Благодаря нам отыскиваются те, которые хотят и имеют, и те, которые не имеют, но хотят. Если бы не мы, те и другие блуждали бы по улицам неприкаянные, жаждущие и печальные, без всякой надежды найти понимание, как холодные звезды разных галактик.

— Значит, гуманизм.

— Да, но не только. Мы играем определенную хозяйственную роль, способствуя увеличению торгового оборота. Подумайте о тех дополнительных литрах, которые не были бы выпиты, если бы не мы. Ведь известно, что в компании пьется лучше, охотнее, больше.

В эту минуту раздался громкий стук входных дверей и бархатный мужской баритон затянул в коридоре: «Не ходи, Марыся, в лес».

— Простите,— сказал председатель,— это один из наших дежурных возвращается с задания. Я должен принять рапорт.

В комнату внесли пайщика артели «Одинокий». Председатель ловким движением вылил на него ведро воды.

— С Аллеи Героев, 12,— рапортовал прибывший.— Экспортное столовое. Было тяжелое детство, бросила жена, в сорок восемь перенес воспаление легких. Говорит, что мир прекрасен, только люди плохие.

— Вот видите,— снова обратился ко мне председатель, когда утомившийся функционер оставил нас и, напевая «Голубые волны Рейна», отправился в комнату для дежурных.— Еще один человек спасен от одиночества.

— Вы упомянули о специальных и квалифицированных сотрудниках.

— Да. Встречаются и привередливые клиенты. Такие, которые все переживают очень лирически. К ним я высылаю пьющих поэтов. Тут как-то раз звонит нам профессор, специалист по культуре майя, ведь не пошлем же мы кого попало. Некоторые за рюмкой любят вести религиозные диспуты. Для этого у меня в команде есть один недоучившийся семинарист. Словом, мы поддерживаем постоянный контакт со специалистами, которые работают для нас по поручениям.

На письменном столе зазвонил телефон. Председатель бросился к трубке.

— Алло, артель «Одинокий». Слушаю.

В ходе беседы его лицо принимало все более и более озабоченное выражение. В конце он прикрыл ладонью трубку и сказал мне вполголоса:

— Звонит какой-то клиент с площади Всех Святых. Просит прислать кого-нибудь, кто бы мог побеседовать о перспективах развития морали. Где я такого возьму?

— А что у него есть выпить? — спросил я.

— Одну минуточку,— сказал председатель в трубку.— Можете ли вы нас проинформировать, напитком какого качества вы располагаете?

Получив ответ, он снова закрыл трубку и сказал мне:

— Айрконьяк и «Шерри Кордиал».

— Могу пойти,— предложил я.

— Прекрасно,— обрадовался председатель.— У меня как раз свободная единица.

И бросил в трубку:

— Принято.

Лифт

Вызвал нас директор и сказал:

— Я собрал вас по важному делу. Нам установят лифт.

Мы сначала удивились, так как у нас, собственно, только один этаж.

— Надо,— сказал директор.— Модернизация. Уклоняться от нее мы не можем. Я вас для того и вызвал, чтобы вместе подумать над тем, как выполнить задание.

Совещались, совещались, наконец, пришли к выводу, что есть только один выход: садиться в лифт в подвале, а выходить на черда-

ке — и наоборот. Правда, для этого надо было все время пользоваться лестницей, но другого варианта не было.

Приехала бригада и, как и намечалось, установила лифт.

Были наняты два лифтера, один ездил, а другой стоял на первом этаже и следил за тем, чтобы садились на чердаке и съезжали вниз, в подвал, а потом поднимались на первый этаж к выходу, или наоборот, чтобы, войдя, спускались в подвал, поднимались на лифте на чердак и своими ногами спускались на первый этаж. В зависимости от того, входил человек или выходил.

Все шло хорошо, пока не было получено распоряжение, что в связи с экономией на лифте можно ездить только вверх, спускаться же только пешком. Это вызвало некоторые неудобства, потому что теперь, если кто-нибудь хотел выйти из здания, должен был не только подняться пешком на чердак, как раньше, но после этого сойти в подвал, а уже затем, нормально: из подвала на первый этаж, к выходу.

Но по-видимому, и при таком режиме лифт был перегружен. А кому дано право безрассудно портить оборудование? Поэтому к предыдущему распоряжению пришло дополнение: лифтом разрешалось пользоваться только начальникам отделов, беременным женщинам и инвалидам. А поскольку так неудачно получилось, что как раз в этот период ни одна из наших женщин классификации не соответствовала, а инвалидов у нас не было, выходило, что ездить в лифте мог один директор.

И только когда лифт испортился окончательно, все успокоились. Одно плохо: порядок вхождения и выхождения остался прежний. Никак не можем от него отказаться. Гордость не позволяет.

Путь гражданина

В одном из уголков страны, хоть и отдаленном, но важном, точно так же, как и везде, менялись времена года, шли дожди, дули ветры и светило солнце, так что в этом отношении я не отличил бы его от столицы, и даже удивительно и страшно, кому это пришло в голову. Но так или иначе, там решили основать метеорологическую станцию, небольшой прямоугольный участок, что-то вроде садика, огороженный белым заборчиком, с ящиком для приборов, стоящим посредине на высоких тонких ножках. Тут же поселился начальник станции, в чьи обязанности помимо наблюдений за гидрографами и аэрометрами входило посылать рапорты вышестоящему начальству. В них должно было быть точно отражено состояние погоды, чтобы начальство, если его кто-нибудь спросит о погоде, не было сбито с панталыку, а только, кинув взгляд на столик, сразу знало бы, что ответить.

Начальник был человек добросовестный. Рапорт писал каллиграфически, крупными буквами, и все точно, как показывали приборы: если шел дождь, то не уходил отдыхать, пока со всех сторон не опишет этот дождь — и когда шел, и какой, и долго ли... Если солнце — то же самое. Никакой разницы. Знал, что государство работает не покладая рук, чтобы заработать копейку для него, и поэтому старался. Занят он был постоянно, так как в его районе всегда была та или иная погода. В конце лета начались частые грозы, сопровождаемые ливнями. Как человек аккуратный, он описывал все точно и подробно и регулярно отсылал рапорты в центр. Грозы не прекращались.

Однажды, в один из таких дней проездом у него остановился старый метеоролог. Присмотревшись к работе своего хозяина, он так сказал ему на прощание:

— Вы не находите, коллега, что ваши рапорты немного мрачноваты?

— Как это? — удивился начальник станции.— Ведь вы же сами, коллега, видите, как льет!

— Ну да, разумеется, но ведь об этом все знают. Вы же понимаете, что ко всему нужно подходить сознательно. Научно. Конечно, это дело не мое, я только так, из добрых побуждений, по-товарищески.

Старый метеоролог надел калоши и уехал, качая головой, а молодой остался и продолжал писать рапорты. Озабоченно смотрел он на небо, но по-прежнему писал.

Вскоре его неожиданно вызвали к начальству. Не к самому главному, правда, но все же к начальству. Он взял зонтик и поехал. Начальство приняло его в красивом доме. По крыше барабанил дождь.

— Вызвали мы вас,— сказало начальство,— потому что нас удивляет однобокость ваших рапортов. С некоторых пор в них преобладает пессимистический тон. Идет уборочная, а вы тут с дождем. Да понимаете ли вы всю ответственность вашей работы?

— Так ведь льет...— оправдывался метеоролог.

— Не пытайтесь выкручиваться,— поморщилось начальство и ударило рукой по столу, на котором лежала стопка бумаг.— Вот здесь у нас все ваши последние рапорты. Это уже факты! Вы хороший работник, но бесхребетный. Пораженческих настроений мы не потерпим.

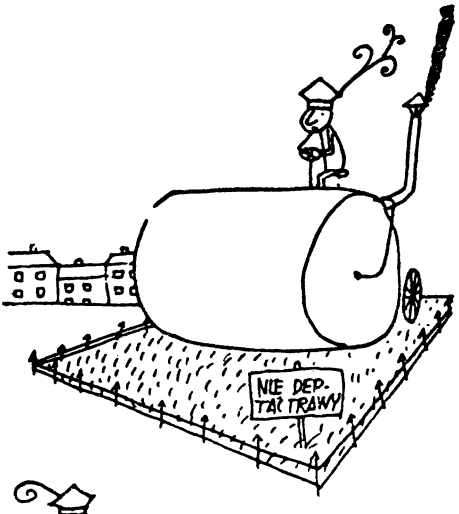
Выйдя от начальства, метеоролог сложил зонт и вернулся домой под проливным дождем. Однако, несмотря на добрую волю, промок до нитки, простудился и слег. Конечно, он не допускал мысли, что это из-за дождя. Как же он был рад, когда наутро погода прояснилась. Он немедленно написал рапорт:

«Дождь прекратился совершенно, хотя, можно сказать, его почти и не было. Так, слегка накрапывал кое-где... Но зато какое солнце!»

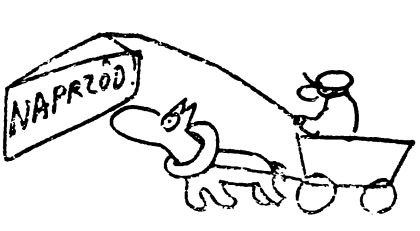
Действительно, солнце сверкало, было жарко, и от земли шел пар. Насвистывая что-то, метеоролог весело хлопотал на своей станции. После полудня небо затянуло тучами и метеорологу пришлось спрятаться под крышу. Он, может быть, и остался бы под открытым небом, но побоялся гриппа. Приближалось время рапорта. Ерзая на стуле, он

Отец, что было до потопа?
Было сухо.

Траву не топтать



Вперед



написал: «Солнце как солнце — еще Коперник сказал, что нам только кажется, что оно заходит, ибо, в сущности, светит всегда, и только...»

В этом месте на душе у него стало тяжело. И когда ударил первый гром, он поборол свои колебания и записал честно: «17 часов — гроза с молниями».

На следующий день снова гремел гром. Он написал об этом. На третий день грозы не было, но шел град. Написал. Он был удивительно спокоен, даже доволен и приуныл только после того, как почтальон принес повестку. На этот раз его вызывали к главному.

Когда он вернулся на свою станцию, в нем уже не было никакого внутреннего разлада. Несколько следующих рапортов подряд говорили о прекрасной солнечной погоде в его районе. Иногда он писал диалектические рапорты. Например: «Временами короткие моросящие дожди, вызвавшие небольшой паводок. Несмотря на это, ничто не сломит боевой дух наших саперов и спасательных команд».

Потом снова пошли описания солнечной погоды. Некоторые даже в стихах. И только месяца через два случилось ему написать рапорт, который должен был обратить внимание начальства. Он звучал так: «Обвалилась сатанинская туча». И внизу, уже карандашом, приписано, очевидно в спешке: «Но тот мальчик, которого родила вдова в деревне, жив-здоров, а все думали, что не сегодня-завтра окочурится».

Как показало следствие, этот рапорт метеоролог написал в пьяном виде, пропив деньги, вырученные от продажи аэрометра и гигрометра. Вторую часть рапорта он дописал в последнюю минуту, и на почте.

А потом уже ничто не омрачало прекрасной солнечной погоды в его районе. Он погиб от удара молнии, когда в грозу обходил поля с чудотворным колокольчиком из Лурда, которым хотел рассеять тучи, так как, по сути дела, был честным человеком.

Перевод М. ПАВЛОВОЙ и В. БУРИЧА

Люлю

Ах, этот Люлю!

Как он умеет нажимать на кнопки! Я хочу сказать — на нужные кнопки, потому что нажимать, просто нажимать, умею даже я. Но не затем нас тут держат, меня и Люлю, чтобы мы нажимали на что попало и как попало. Если б дело было только в этом, не о чем бы и говорить. Я хочу сказать — если б здесь были одни лишь нужные или одни ненужные кнопки. Но замысел бородатого на том и основан (и можно подумать, с одной лишь целью: унизить меня и возвысить Люлю), что кнопки тут двух типов. Те, на которые нужно нажимать, и те, на которые нажимать не нужно. Хуже всего, что первые от вторых ничем не отличаются. Я хочу сказать: не отличаются, пока их не нажмешь. Вот тут-то и обнаруживается разница. Да, она становится даже слишком явной! Как только нажмешь нужную кнопку (то есть когда нажмет Люлю — мне это никогда не удается), открывается заслонка и выскакивает кусочек сала, которое съедает тот, кто нажимал (то есть Люлю). Если же нажмешь ненужную кнопку (которую всегда нажимаю я, хотя всегда стараюсь нажать другую), ничего не открывается.

Почему же так происходит? Почему мне никогда не удается нажать нужную кнопку? (А ему всегда удается.) Бородатый, который все это сотворил, предоставил нам полную свободу нажимать, выбор, следовательно, остается за мной. Мало того — бородатый вправе ожидать и даже требовать от меня, чтобы я нажимал на нужную кнопку. Чем же объяснить, что я не нажимаю как положено, а Люлю нажимает? Только тем, что Люлю умеет, а я не умею. То есть что я глупее Люлю.

Чтобы не подохнуть с голоду, я вынужден как-то устраиваться.

Вот Люлю нажал, и я нажал, а результаты разные, как я уже говорил. Люлю держит в передних лапках аппетитный кусочек сала (мне оно кажется более аппетитным, чем ему, потому что я голоден, а он — нет), у меня лапки пустые и в животе урчит. Он не спешит приняться за еду (и без того сыт, скотина), я же охотно принялся бы, если б у меня было за что приняться. Сало-то в лапках у Люлю. Тогда я говорю:

— Послушай, Люлю! Я восхищен тобой! Ты такой умный, такой цивилизованный! Мне едва хватает жалкой крупицы моего убогого разума, чтобы понять это и оценить. Нет, если я и обладаю хоть каким-нибудь умишком, то, верно, лишь затем и ровно настолько, чтобы восхищаться тобой!

— Гм-гм...— бурчит Люлю.— Так какой я?

Ага, думаю, клюнуло — и повторяю:

— Ты настоящий интеллектуал! Ты исключительный, выдающийся, подлинно незаурядный ум!

— Незаурядный, говоришь? — смакует Люлю с наслаждением и с такой миной, будто ест прекраснейшее в мире сало.— Незаурядный?

— Ну конечно! Взять хотя бы меня. Я ни на что не способен — я глуп, ограничен и туп. Зато ты — просто гений!

— Гм... ну держи,— говорит Люлю и отдает мне сало. (Он может себе это позволить, так как знает, что снова нажмет и ему опять выпадет очередной кусок.) И добавляет презрительно: — Только не подавись.

Замечание вполне уместное. Я так проголодался, что и в самом деле набрасываюсь на сало слишком жадно. Я не в силах сдержать себя, несмотря на презрительный взгляд Люлю. Впрочем, мой волчий аппетит доставляет ему удовольствие.

— О да, ты... ты — великий... могучий... ням-ням, цмок-цмок... непревзойденный... чав-чав... необыкновенный ум...

Нелегко жевать и льстить одновременно, однако я знаю, что не должен молчать, если хочу ублажить Люлю. Жить-то надо. Хотя, если кто-нибудь спросит меня: «Почему надо?» — я не сумею ответить на этот вопрос.

Люлю обожает дискуссии на абстрактные темы. У него тяга к этому, и никаких забот — он всегда сыт. Я думаю прежде всего о еде, но не могу отказать Люлю, когда ему приспичит порассуждать об отвлеченных предметах. Что ж, его право.

Беседуем мы обычно вечером, когда лаборатория уже заперта, кнопки не действуют и никто за нами не наблюдает. Тут-то Люлю и заводит:

— Мое назначение — доказать нашу способность взять на себя управление миром. Крыса — это звучит гордо! Мой запас знаний грандиозен, но все это пока чепуха. По мере того как я оттачиваю свой интеллект, развиваю его и углубляю, я приближаюсь к результатам, которые нам и не снились!

— Но, Люлю,— робко пытаюсь я оппонировать,— пока что мы заперты в клетке.

Люлю игнорирует мое трезвое замечание.

— Моя незаурядность доказывает исключительность нашей породы. Мой лозунг — эволюция, которая поставит меня во главе вида, а наш вид — во главе всех других видов. Мы призваны справиться с этой задачей!

— Ты-то наверняка справишься. А я — нет.

— Не падай духом! В конце концов, ты тоже крыса, хоть и глупая. Ты принадлежишь к той же породе, что и я!

Люлю расправляет крылья своей фантазии. Он говорит об открытиях, которые совершит, хотя, конечно, не уточняет, что это будут за открытия, так как сам еще не знает. Но у него глубокая интуиция и богатое воображение. Например, он доверительно сообщает мне:

— О-о, уже кое-что проясняется! Мы изобретем нечто... нечто этакое...

Не находя слов, он делает округлый жест лапками.

— Ты имеешь в виду колесо?

— Да-да, колесо! — радуется Люлю.— Изобретение колеса проложит нам путь к следующим открытиям!

— Конечно,— соглашаюсь я неискренне.— Овладеем космосом. Сало.

— Что-что?

— Ничего, с языка сорвалось.

Вот так и болтаем.

Последнее время меня все чаще охватывает беспокойство. Нет, это не забота о сале — это знакомо мне слишком хорошо. Это что-то другое. Я жалуюсь Люлю:

— Мне трудно сформулировать, я всего лишь простая, глупая крыса. Но я слышу голос, который подсказывает мне: «Прогрызи клетку, стены, беги отсюда. Прыгай в воду!»

— Глупости! — смеется Люлю.— Прервать исследования? Грызть? И почему — в воду?

— Не знаю. Таинственный голос не соизволил отрекомендоваться. Знаю только, что звучит он повелительно.

— Тем более не следует обращать на него внимания. Не разговаривай с посторонними. Нажимай.

И Люлю нажимает, получает свое сало, жует. Мне не хочется нажимать. И вовсе не потому, что все равно ничего не перепадет. Голос не умолкает, повторяет одно и то же, не дает покоя. Голос твердит мне, что и наша клетка, и помещение, в котором она находится, и то, в чем находится помещение,— под угрозой. Что нужно бросить все, покинуть эти пределы и бежать. Не знаю куда, но бежать, бежать, бежать... Мне снится океан, мы с Люлю, перебирая лапками, плывем в океане и удаляемся от опасности.

Но он и слышать ни о чем не желает.

— Какой океан, зачем океан, ты с ума сошел? Именно в океане-то и опасно!

— Да, но там у нас еще есть шанс. А здесь...

— Что здесь?

— Здесь мы погибнем.

— Ну, ты, может, и погибнешь, но только не я! — Люлю обижен.— Я, с моим интеллектом!..

Он прав. Он со своим интеллектом прекрасно здесь устроился. Да и что ему делать в океане? Там ведь нажимать не на что, никаких кнопок — и его престижу конец. А здесь он не пропадет, и я с ним не пропаду.

Так о чем же я тревожусь?

Перевод В. КЛИМОВСКОГО

Лис-философ

Сцена очень напоминает мусорную свалку. Везде — обрывки старых газет, апельсиновые корки, консервные банки. В глубине слева — дерево без листьев. Немного правее — деревянная скамейка, какие можно увидеть в общественном саду; зеленая краска побурела и облупилась. На скамейке в величественной позе сидит Епископ в полном облачении; на голове у него — митра, в руке — посох. В глубине сцены — детская коляска на высоких колесах с поднятым верхом.

С правой стороны входит Лис — мужчина в лисьей шубе с большим, явно тяжелым мешком. Лис идет налево, останавливается, оглядывается на Епископа, поворачивает к скамейке. Опускает мешок на землю между скамейкой и авансценой, с облегчением расправляет

плечи. Садится рядом с Епископом. Некоторое время сидит молча. Затем говорит, обращаясь к Епископу:

Лис. Хорошая сегодня погода... *(Епископ не реагирует.)* Ну, скажем, неплохая. Осенью обычно бывает холодней. *(Епископ не реагирует. Пауза.)* Это только мое личное мнение, можно с ним и не соглашаться. *(Пауза.)* А вы как полагаете, ваше преосвященство? *(Епископ не отзывается. Лис вытаскивает из кармана коробку сигар.)* Ваше преосвященство курит? *(Епископ не реагирует.)* И я не курю. *(Лис прячет коробку обратно в карман. С минуту сидит молча. Затем, набравшись духу, встает.)* Разрешите представиться, ваше преосвященство. Лис. *(Епископ не реагирует. Лис некоторое время стоит с протянутой рукой. Епископ ее не замечает, и Лис снова садится.)* Очень рад познакомиться. Здесь не с кем поговорить — а так бы хотелось побеседовать с достойной, уважаемой личностью... Все передохло, даже четвероногих не осталось... Одни глисты. Ваше преосвященство часто бывает в лесу? Приятно здесь, правда? *(Пауза.)* Что новенького на свете? Везде, я слышал, какие-то перемены, реформы, новые течения... Даже в лоне церкви. Поговаривают, будто и в кругах духовенства началось брожение — дисциплина пошатнулась, нет единомыслия и вообще влияние ослабевает... Я только повторяю... А правда, что прогресс в мирской жизни подрывает духовные традиции? С удовольствием бы выслушал компетентное мнение на этот счет — так сказать, из первых уст... *(Пауза. Лис вздыхает.)* Ха, понимаю. Вашему преосвященству не пристало высказывать свою точку зрения. Но вы мне не возражаете,— значит, какая-то доля правды тут есть. Я в политике не разбираюсь, просто скажу напрямик, что думаю. Лично я всей душой на стороне традиций и, смею полагать, ваше преосвященство тоже. Простите за смелость, но это видно по вашей одежде, по епископскому облачению. Реформисты так не одеваются. Они отказываются от традиционных одежд — так же, как и от прежних символов и былых ценностей. Это все между собой связано. Ну конечно же, вы не из их числа. Да и что у вас может быть с ними общего, раз они — противники иерархии, а стало быть, и вашего преосвященства. Вы — принадлежность традиции. Да что я говорю, вы сами — традиция. *(Пауза. Лис наклоняется и разглядывает перстень на руке Епископа.)* Красивый перстенек. *(Пауза.)* Позвольте, ваше преосвященство, поделиться своими соображениями. Благодарю, для меня это единственная оказия. Я частенько размышляю о серьезных вещах, но здесь слова не с кем сказать, а уж чтоб лицо духовного звания... этих и в помине нет. Так вот, думаю я, например, о мученичестве и мучениках. Как дилетант, естественно. Но не идут такие мысли из головы, бередят душу. Это, наверно, бестактно с моей стороны, ваше преосвященство — высокий авторитет, но надеюсь, вы не рассердитесь. Значит, так: я заметил, что мученичество сыграло в нашей истории большую роль. Сперва мучили христиан за веру, потом они сами... в известной степени... мучили других, тоже за веру. Так или иначе, куда ни глянь, без мученичества не обходилось нигде. Страданиями измерялась глубина убеждений. А какие мерки сегодня? Убеждения сейчас не стоят ни гроша — ведь в мире возобладала терпимость. Ну, может быть, не везде, но по крайней мере у нас это так, а ведь важно прежде всего то, что происходит у нас. Сейчас никого не интересует, верит другой во что-нибудь или не верит,— свобода совести. Хорошо, но чем тогда измерять совесть? Сейчас никому не хочется никого мучить, да и пожелай кто-нибудь стать мучеником за веру, ничего у него не выйдет. Страдание — в соответствии с тенденциями эпохи — поставлено на службу наслаждению. Страдание, которое прежде служило развитию духа, теперь отдано извращенцам для телесных услад. Да, да, страдание изгнано из царства идеи и предоставлено садомазохистам. Можно ли еще в таком случае вообще говорить о страдании? Эту благороднейшую субстанцию

настолько унизили, что она перестала быть собой, и это понятно: ведь ее лишили благородства. Дух уже ее не облагораживает. А что такое вера без страдания и страдание без веры? *(Пауза.)* Ваше преосвященство может мне возразить, что в мире остается еще много страдания, даже если исключить ту часть, которую отдали на откуп извращенцам, чтобы они превращали его в наслаждение. Согласен. Немало есть, так сказать, бесхозного страдания. Кому ж, как не мне, знать, сколько его,— правда, это страдание начисто лишено высшего смысла, бесцельно и не дает пищи душе. К сожалению, будучи лисом, я сталкиваюсь с ним повседневно. Вашему преосвященству, вероятно, известно, что я хищник, кровопийца. *(Епископ в первый раз с момента их встречи поворачивает к Лису голову.)* Мне себя упрекать не в чем! Таким меня создали. Впрочем, если быть точным, я охоч не столько до крови, сколько до мяса: ваш покорный слуга вынужден питаться мясом других животных, чтобы жить, и чтобы жить, вынужден убивать. *(Епископ слегка приподнимается на скамейке, по-прежнему не сводя глаз с Лиса. Лис указывает пальцем в небо.)* Чем на меня, вы, лучше туда обратите свой взор, вверх. На хозяина, а не на слугу. На того, кто меня сотворил, а не на творенье. Я себя таким не замысливал, не мой был проект. Будь моя воля, я б питался молочными продуктами и овощами; даже потребление яиц — если относиться с уважением к чужой жизни — штука сомнительная, да и растения по последним данным науки не столь бесчувственны, как до сих пор считалось. *(Епископ садится и снова устремляет взгляд перед собой.)* Не моя вина, что приходится время от времени свернуть шею курице или гусю или придушить кролика... Ваше преосвященство позволит мне не вдаваться в подробности? Да, да, слепая жестокость природы... *(Пауза.)* Вашему преосвященству это омерзительно? Мне тоже. Со всех точек зрения я в полном порядке, но душа моя рвется на части. Жить нужно, но разве биологическое существование само по себе может принести покой душе? Я часто себе говорю: «Эх ты, лис. Опять загубил невинную тварь для удовлетворения слепого инстинкта. Тебе велено убивать, верно, но нельзя ли под это какую-нибудь идейку? Неужели ты навеки обречен убивать, не имея нравственной цели или высокого идеала, и жертвы твои — неужели они тоже навечно обречены умирать не за благородное дело, а лишь для того, чтобы утолить твой примитивный голод?» Мне это, ваше преосвященство, чертовски надоело, и потому, увидев вас, я подумал: «Да он мне послан небом». Полагаю, я не только вправе, но просто обязан так сказать... Сейчас я вашему преосвященству кое-что покажу. *(Лис встает, подходит к мешку, развязывает его. Появляется Петух, который сидел в мешке. У Петуха в руке расческа, которой он приглаживает волосы.)* Вот как раз одна из моих жертв. Петух — красота, жизнелюбие, плодовитость собственной персоной. Приглядитесь к нему, ваше преосвященство: какая мина, какая осанка... а этот сверкающий глаз!.. *(Петуху.)* Поклонись его преосвященству. *(Петух не реагирует.)* И тем не менее он должен погибнуть. Столько блеска и силы, столько радости бытия — и все это пропадет, все будет уничтожено. Грубо, одним махом — ниточка оборвется и конец... *(Лис смахивает слезу.)* За что, почему, спрашивает он себя, во имя какой идеи? *(Петуху).* Спрашиваешь себя, верно? А ответа нет. Я же вынужден прикончить его собственными руками. Почему, где моральный смысл этого жестокого поступка? — в свою очередь спрашиваю себя я. И тоже не нахожу ответа. Палач и жертва задают себе один и тот же вопрос: «Почему?» Почему я погибаю? Почему я убиваю? И ответ нам обоим один: молчание. Разве так должно быть? Разве это справедливо? Разве так можно жить? *(Растрогавшийся Лис снова утирает слезу. Потом резко замахивается на Петуха.)* Поклонись, говорю, его преосвященству! *(Испугавшись, Петух наклоняет голову.)* Ну и что вы на это скажете, ваше преосвященство? *(Пауза.)* Вылезай. *(Помогает Петуху выбраться из мешка и подталкивает его к*

скамейке. По дороге Петух прячет расческу в карман. Оба останавливаются перед Епископом.) От кого ж, как не от вашего преосвященства, нам ждать совета и помощи? Вы наш духовный пастырь. Я понимаю, ваше преосвященство здесь, так сказать, неофициально. Скамеечка, свежий воздух... Конечно! Но проблемы — они везде, даже на свежем воздухе. *(Опускается перед Епископом на колени и заставляет Петуха сделать то же самое. Епископ встает.)* Так дальше продолжаться не может!.. Скажи, что нам делать, как жить? То есть как убивать и как умирать. Вернее, не как, а за что, ваше преосвященство, за что! *(Епископ снова садится и сидит, глядя в пространство, неподвижно и величественно. Долгая пауза.)* Молчите, значит. *(Лис встает, следом за ним встает Петух.)* Вы меня разочаровали. *(Кладет руку Петуху на плечо.)* Пошли, бедный мой мученик без веры. Твой палач ведет тебя на эшафот без внутренней убежденности, так же, как, впрочем, ты идешь за ним. Прости его: он, правда, ведает, что творит, но не ведает зачем. Ты не знаешь, за что гибнешь, он не знает, за что тебя казнит. Мы братья по незнанию. *(Епископ нагибается, упирается локтем в колено, прикрывает рукой глаза. В другой руке у него посох. Лис запихивает Петуха обратно в мешок и, кряхтя от напряжения, взваливает мешок на спину.)* Адью, ваше преосвященство. Очень жаль. *(Идет налево, останавливается.)* Нет, не могу с этим смириться! *(Оборачивается.)* Ну хоть словечко скажите! Неужели я не заслужил? Разве это не ваш долг? *(Ставит мешок на землю.)* Я вас предупреждаю, ваше преосвященство. Церковь не единственная организация, куда можно обратиться. Кое-кто другой с удовольствием возьмет меня под свою опеку и не откажется помочь. Кое-кто только того и ждет. Он же меня и просветит, в чем смысл жизни и смерти, но просветит по-своему. И идеалы подкинет, только это уже не будут идеалы вашего преосвященства! Отнюдь! Вы, вероятно, догадываетесь, о ком речь? *(Пауза. Лис делает несколько шагов в сторону скамейки.)* Ваше преосвященство, либо вы немедленно отзоветесь, либо я отправлюсь в другое место. К самому дьяволу пойду, и не моя в том будет вина. Отдамся дьяволу, и Господь меня оправдает, а от вашего преосвященства потребует отчет. Я жду. *(Пауза. Лис стоит и ждет. Потом подходит к скамейке.)* Вы плачете? *(Пауза. Лис садится на скамейку рядом с Епископом. Дотрагивается до его плеча.)* Полно, ваше преосвященство, я не хотел вас обидеть. Конечно, я рубанул сплеча, но стоит ли удивляться?.. *(Пауза.)* Я понимаю, все не так-то просто. Ну, а если попробовать... А может, попробуем вместе?.. Общими усилиями... У меня даже есть одна идейка. *(Озирается по сторонам, как спекулянт, торгующий своим товаром из-под полы. Понизив голос, говорит, указывая на мешок с Петухом.)* Попытайтесь обратить его в истинную веру. Риска никакого, и в любом случае окупится. Либо он согласится и тогда умрет как христианин, либо не согласится... и тогда я его придушу как закоренелого безбожника, но сделаю это во имя веры. Так или иначе, погибнет он ради высших ценностей, а не ни за понюх табаку. Ну как? Что скажете? *(Пауза.)* Дело чистое. Уточнить, какая для вас будет выгода? Либо одним безбожником станет меньше, либо одним мучеником больше. Ваше преосвященство не хуже моего знает, что мученики сейчас на дороге не валяются. Вам ведь ох как нужны мученики. Не мне вашему преосвященству объяснять. *(Пауза.)* Это ж редкостная оказия... да еще задаром. Грешно не воспользоваться. Ваши предшественники дорого бы за такое дали. Им для обращения язычников приходилось тащиться на край света, к дикарям, сносить тяготы и лишения, а то и рисковать жизнью. А здесь условия — люкс! Сидите себе на скамеечке, дышите свежим воздухом, отдыхаете, а язычник сам плывет в руки. Только шевельни пальцем — и дело с концом. *(Пауза.)* А, понимаю. Это настолько соблазнительно, что трудно поверить, потому ваше преосвященство и колеблется. Или вас другое настораживает: думаете, чего это я вас так уговариваю, мне-то какая корысть?

Но я ведь, кажется, сказал, что мне осточертела бессмысленная жестокость природы, безыдейность, нравственная нищета... *(Епископ отрывает руку от лица, смотрит на Лиса.)* Ну ладно, ладно. Это чистейшая правда. И все же, вижу, ваше преосвященство мне не доверяет. Раз так... Не согласитесь ли пожертвовать перстенек, который у вас на пальце?.. Я бы его взял, чтоб у вас не осталось сомнений. В доказательство моей корыстности — если уж вашему преосвященству непременно нужны такие доказательства. Тогда б вы были спокойны, что за моим предложением ничего не кроется, и побуждения мои стали бы вам понятны. Как ни прискорбно, но ради вашего преосвященства я это сделаю. Возьму, даже не глядя: я верю, что он настоящий. *(Раздается плач младенца. Епископ поднимается, подходит к коляске и начинает ее трясти, чтобы успокоить ребенка. Лис встает со скамейки.)* Ваше преосвященство! *(Младенец не успокаивается, плачет все громче. Епископ прислоняет посох к коляске, нагибается и вынимает ребенка. Качает его на руках, но младенец надрывается от крика. Лис приближается к Епископу.)* Ваше преосвященство, вы меня слышите? *(Епископ идет к скамейке, садится, расстегивает свое облачение и вытаскивает пышную женскую грудь, которую дает ребенку — начинает его кормить. Епископ оказывается... женщиной. Лис закрывает руками глаза — не то от смущения, не то в отчаянии. Ребенок, перестав плакать, сосет. Лис открывает глаза в надежде, что ему это только померещилось, но видит прежнюю картину и снова заслоняет глаза. Наконец, он решительно отрывает руки от лица, но смотрит уже не на Женщину-Епископа, а вбок, на землю.)* Ваше преосвященство... Мадам... Беру обратно свои слова насчет прогресса и традиций. Я хотел сказать, что всегда был сторонником прогресса и противником традиций, да, всегда, а уж сейчас особенно. Однако же... *(Поперхнувшись, прикрывает рот рукой, сглатывает.)* Простите, Мадам, это я от волнения. Скорость прогресса превзошла мои самые смелые ожидания. *(Вынув из кармана платок, вытирает пот со лба. Тем временем, накормив и успокоив дитя, Женщина-Епископ прячет грудь в складки одеяния, встает, идет к коляске и укладывает в нее ребенка. Снова берет в руки посох. Лис, сунув платок в карман, обращается к Женщине-Епископу.)* Это, однако, не означает, что мы не сумеем договориться. Мое предложение сохраняет силу, могу его повторить. Я не из тех, что любой ценой защищают прошлое и не приемлют нового. О нет! Все остается по-старому! То есть, я хотел сказать, по-новому, но в некотором смысле по-старому... Вот именно! Новое по-старому, или старое по-новому... Не могу четко сформулировать, но это проблемы принципиальные. Как я уже имел удовольствие заметить... *(Женщина-Епископ с коляской идет налево. Лис, пытаясь ее остановить, кричит.)* Мадам, ваше преосвященство! *(Короткий плач ребенка. Женщина-Епископ останавливается, поворачивается к Лису и прикладывает палец к губам, призывая его к молчанию. Потом указывает на ребенка, давая понять, что не следует его будить. Решительно направляется влево, толкая впереди себя коляску и величественно опираясь на посох. Лис минуту стоит обалдев, потом идет к скамейке и садится с видом совершенно разбитого человека. Петух высовывается из мешка.)*

П е т у х. Что такое?

Л и с. Конец.

Лис-претендент

Сцена погружена в темноту. Единственное освещенное пятно — круг света от фонаря (внутри фонаря горит свеча), в котором видна следующая картина: скамейка, на скамейке сидит обезьяна (манекен). Обезьяна невелика ростом: ноги ее (или, если угодно, задние лапы) не

достают до земли и торчат вперед, будто ноги посаженной на скамейку куклы. На обезьяне красная курточка с серебряными пуговицами, на плечах — эполеты. На голове — шапка, наподобие тех, что носили когда-то придворные шуты. На каждом из трех углов шутовского колпака — колокольчик.

Обезьяна прикована цепью к шарманке — ярко раскрашенному ящику на двух колесах, стоящему возле скамейки. Цепь достаточно длинна для того, чтобы шарманка не заслоняла скамейки (обезьяны), но при этом оставалась в кругу света. Сама скамейка установлена параллельно авансцене, ближе к правым кулисам (если смотреть из зрительного зала). Фонарь стоит на скамейке справа от обезьяны. Шарманка — углом, по левую руку обезьяны, перед скамейкой. Цепь одним концом прикреплена к железному обручу на шее обезьяны.

Слева (если смотреть из зала) входит Лис; вначале трудно разобрать, кто это, поскольку в той части сцены темно. Лис идет через авансцену направо, к левой кулисе, но, заметив обезьяну, останавливается. На Лисе длинная, до пят, лисья шуба. Рыжие встопорщенные усы; рыжие прилизанные волосы, разделенные пробором.

Л и с *(тихо, нерешительно).* Кого я вижу?! *(Подходит к скамейке.)* В такую пору? *(Минуту стоит перед скамейкой, разглядывая обезьяну.)* Разрешите присесть?

Лис садится на скамейку по правую руку от обезьяны. Между ним и обезьяной — фонарь. Сидит Лис повернувшись к обезьяне, ожидая от нее реакции, которой, как легко догадаться, не последует. Не дождавшись ответа, Лис поворачивается к залу. Теперь он, как и обезьяна, сидит лицом к зрителям и молчит. Немного погодя Лис решительным движением снова поворачивается к обезьяне.

Л и с. Право, не знаю, как себя вести. То ли извиняться за смелость, то ли за несмелость. Все зависит от того, какими вам, сударь... вам, сударыня... видятся наши отношения. *(Пауза. Обезьяна, разумеется, молчит.)* Понятно. Согласен, особой ясности тут нет. Главное, трудно решить, с какой стороны смотреть. Можно ведь с разных сторон — точнее, с двух. С одной стороны, мы с вами оба... коллега... принадлежим к миру животных. Лисы и обезьяны — позвоночные четвероногие теплокровные млекопитающие. Если б одно... один из нас был бы, допустим, рыбой, мы бы все равно оставались в родстве. Рыба тоже не растение и не минерал. Только тогда родство было бы более отдаленным. Короче говоря, раз уж мы с вами поставлены... вернее, посажены... в такие условия... в общем, сидим тут рядышком, бок о бок, я бы мог к вам, сударь... сударыня... обращаться: брат. Или: сестра. В зависимости от пола. *(Пауза.)* Впрочем, я не настаиваю. Я просто представляю ситуацию с одной стороны... с одной из двух возможных сторон... Но если бы мы взглянули на наши отношения именно с этой стороны — что, конечно, зависит от взаимной договоренности,— то некоторая робость, с которой я к тебе... к вам, сударь... сударыня... обращаюсь, определенная сдержанность оказались бы неуместны. Проще говоря, негоже так со своими... это уже равнодушием попахивает, атрофией родственных чувств... Вы согласны? Уж скорее мне следует воскликнуть *(встает и раскрывает объятия):* Привет, мартышка! Давай поцелуемся! *(Замирает, сообразив, что обезьяна не обращает на него никакого внимания и, возможно, он допустил бестактность. Садится.)* Ладно, я ничего такого не говорил. *(Пауза. Лис приглядывается к обезьяне.)* Хорошенький костюмчик. *(Пауза.)* С другой стороны, излишняя фамильярность тоже ни к чему. Вы, сударь... сударыня... по своей обезьяньей природе существо, так сказать, двусмысленное. Нет, нет, не поймите меня неправильно. Простите, что я употребил это слово, но трудно подобрать другое, точнее отобра-

жающее суть. С одной стороны, с той, о которой уже говорилось, вы, сударыня,— я все же буду обращаться к вам так: не смея спросить, какого вы пола, позволю себе причислить вас к прекрасной половине, это куда проще, к тому же наверняка можно рассчитывать на снисходительность, на проявление материнских чувств, что облегчает взаимопонимание,— итак, с одной стороны, вы, сударыня, безусловно принадлежите к миру животных. Однако, с другой стороны, разве не ваш вид положил начало роду человеческому? Вы промежуточное звено между животным и человеком. В вас поровну человеческого и звериного. Если забыть о вашем зверином начале, можно считать вас человеком. Да про вас можно сказать все то же самое, что и про человека. У человека натура наполовину обезьянья, наполовину ангельская. У обезьяны — наполовину звериная, наполовину человеческая. То есть тоже пятьдесят на пятьдесят, хотя и на другом уровне — разница лишь в степени облагороженности, а принцип половинчатости сохранен. Надеюсь, я не оскорбил вас этим сравнением — ведь из него следует, что вы стоите несколько ниже человека. Но только оглянитесь назад, посмотрите, сколько их там, более низких видов, уровней, через которые вы уже перешагнули; посмотрите, в конце концов, на меня... Сразу почувствуете себя на высоте. А что препятствует вашей дальнейшей эволюции? Постигнув однажды секрет превращения, вы можете свободно эволюционировать вверх. Пока, полагаю, вы этого не делаете по каким-то личным мотивам. Может быть, просто устали и решили немножко отдохнуть здесь, на скамейке, после тех усилий, какие безусловно затратили, чтобы вырваться из чисто звериного состояния. Но уже в самом скором времени вы отправитесь в триумфальное шествие к высшим формам существования. Чего, увы, не могу сказать о себе. Я всего лишь обыкновенный лис, то есть стопроцентный зверь, безо всякой половинчатости, а стало быть, без видов на лучшее будущее. Именно поэтому, учитывая вторую сторону вашей натуры, ваше давно приобретенное и закрепленное превосходство надо мною, а также устремленность к еще более высоким сферам бытия, которые вам доступны, я, простой и бесперспективный лис, могу только сказать: целую ручку, Мадам. *(Привстав, склоняется к руке обезьяны с явным намерением ее поцеловать. Обезьяна, конечно, никак не реагирует, и Лис плюхается обратно на скамейку.)* Хотя уже ваша наружность говорит о том, что нас разделяет столько же, сколько объединяет. А ваш наряд, а ситуация, в которой я вас застал? Ни то ни другое для зверя не характерно. У меня только эта лисья шкура, а на вас — человеческая одежда, притом не такая, что лишь защищает от холода — эдакий конфекционный придаток биологической адаптации, искусственное продолжение естественной функции. Ваш наряд символичен, он выражает абстрактные, а значит, сугубо человеческие понятия. Пурпур — королевский цвет и цвет страсти. Серебро — драгоценность, эполеты — знак достоинства и отваги. Ваш головной убор — признак остроумия, а чувство юмора специфично для человеческого рода: нам, зверям, оно абсолютно недоступно. Или это *(дотрагивается до цепи, которой обезьяна прикована к шарманке)*— тоже ведь сугубо человеческая принадлежность. Она символизирует привязанность, то есть категорию, которая, хоть и известна некоторым домашним животным, родилась в уме человека и лишь затем была привита зверю. Так что в животном мире эта категория существует лишь в пассивной форме. Цепи, веревки, решетки и кандалы — неоспоримое свидетельство духовности: ведь это выражение сознательных ограничений, целенаправленности, умышленного отказа от всякой произвольности. К чему же вы привязаны? Привязаны в буквальном значении слова, под которым подразумевается высший смысл, привязанность духовная. Нельзя сказать, что вы привязаны к чему-то утилитарному, точно, простите за сравнение, пес к своей конуре, чтобы стерег двор, или лошадь к оглоблям.

Нет, вы привязаны к делу, выходящему за рамки утилитарности, а как известно, только не будучи зверем, можно и должно посвятить себя занятию бесполезному. Вы привязаны к музыке. Позволите? *(Встает и начинает крутить ручку шарманки. Раздаются звуки сонаты ля-мажор Моцарта.)* Музыка, чистейший из видов искусства, не выражающая ничего, кроме самой себя. Превосходящая благородством литературу, которая, хоть уже не является материей, еще подчинена ее законам борьбы за существование в области идей. Превосходящая благородством живопись и скульптуру, которые вынуждены пользоваться формой и образом, а значит, не свободны от плотскости. Музыка — абсолютное искусство, в котором окончательно стираются следы рабства, которое освобождено от образа и слова — церберов всякого сознания; церберы эти точно тюремные стражники, правда, его кормят, но одновременно и стерегут, чтоб оно от них не улизнуло. Слушая музыку, я особенно ясно понимаю, что я всего-навсего лис. Во мне пробуждается тоска по недостижимому совершенству, взор мой устремляется ввысь. Только взор, к сожалению... *(Перестает крутить ручку шарманки, соната обрывается.)* И я плачу... *(Снова садится на скамейку.)* Простите, но вы не способны себе представить, каково прозябать на низкой ступени эволюции. Музыка открывает мне глаза на пропасть, лежащую между мной и более развитыми, чем я, созданиями. Теперь у меня уже нет сомнений: нас разделяет очень многое — больше, чем объединяет. Да, между мною и вами — пропасть. Вы уже совершили эволюционный скачок. А я всего лишь зверь. *(Пауза.)* Вам не холодно? *(Пауза.)* Вы уже забыли, что значит быть только зверем. Впрочем, в те времена, когда вы были зверем, существование наше было еще вполне сносным. И в моральном плане, и в материальном. Природа была еще единственной, безальтернативной действительностью. Быть зверем тогда не было зазорно, выжить — не составляло труда. Хомо сапиенс еще не кичился своим превосходством над нами и не называл себя владыкой всего сущего, а барство его, которого тогда еще не было, не истощало природных богатств. Сегодня для нас, зверей, все изменилось к худшему. Цивилизация вытесняет природу, уменьшая наши шансы на выживание, а культура развивает у нас комплекс неполноценности. Когда-то мы все начинали с общего старта; почему ж одни залетели так высоко, а другие остались на том же месте, что и миллиард лет назад? Почему вы уже причислены к человекообразным, а я — нет? Вот вопрос, на который у меня нет ответа. Я брожу по ночам, скрываясь от преследования и сам рыская в поисках пропитания, а в голове неумолчно звенит: почему, почему, почему?.. *(Слышно пение петуха.)* Скоро рассвет, но для меня ночь не кончится. Ночь органического бытия, рай биологического существования, слепая тирания инстинктов, заколдованный круг страха и голода, бегства и погони. Не для меня величие духа, искра божья интеллекта, свет пробуждающегося сознания, сверхсознания и суперсверхсознания. Не для меня душа. Душа! Почему я не могу иметь душу? *(Лис встает со скамейки. Минуту стоит лицом к залу. Потом поворачивается к обезьяне.)* Вам известен секрет. Вы находитесь на середине пути между нами, пролетариатом творения, и человеком, хозяином этой земли. Вы знаете, как поступить, чтобы не остаться навсегда на дне. Заклинаю: откройте мне вашу тайну! В память нашего общего прошлого, из сострадания к бедному родственнику, ба! Ради блага эволюции. Разве эволюция не единственный закон, единственная подлинная религия, единственный смысл Вселенной? Разве прогресс, движение к совершенству, стремление к новым высотам не единственная цель, единственная причина существования? А если это так, вы не имеете права мне отказать. Пойдемте вместе. Вы станете человеком, а я обезьяной. Потом, когда человек станет ангелом, я займу его место. И ведь это еще не конец. Возможно, есть следующие ступени эволюции, доселе нам не-

известные. Архангел, архиархангел и так далее. Подъем на головокружительные высоты. Впереди человек, за человеком вы, а я за вами. Безостановочный марш к высотам. Представляете? Неужели вас это не радует? Достаточно одного словечка — и вы больше не обезьяна. Вы станете Мессией, спасителем всех тварей, которым пока не нашлось места в походе на небеса. *(Петух поет во второй раз. Лис наклоняется над обезьяной. Понижает голос.)* Покуда еще ночь, но с минуты на минуту взойдет солнце. Редкий случай, удобнейший момент, чтобы открыть мне секрет. Свет, которым вы со мной поделитесь, сольется с сиянием восходящего солнца. *(Лис берет фонарь и гасит его, на сцене становится абсолютно темно.)* Тьма побуждает к признаниям, а утро ознаменуется откровением. Мы одни, но вот-вот появится человек, ваш кузен, импресарио и покровитель. А человек ревниво оберегает свою тайну. Он предпочитает оставаться владыкой творения, согласно данному ему в книге Бытие обещанию: «...и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Человек не хочет, чтобы рыбы, птицы, гады и звери овладели секретом очеловечивания. Но вы ведь этот секрет знаете. Еще есть время поделиться им со мной, пока человек не пришел, чтобы нам помешать. Человек, всеми способами оберегающий свою исключительность. Человек — венец творения, человек — высочайшая форма бытия на земле. Скажите же. Я хочу стать человеком!

В третий раз поет петух. Сцена постепенно освещается и теперь видна полностью. На земле — обрывки газет, пустые бутылки и консервные банки. В глубине слева — если смотреть из зала — дерево без листьев. На дереве висит шарманщик. (Разумеется, нельзя допустить, чтобы зрители раньше догадались о присутствии висельника на втором плане.) Широкополая надвинутая на лоб шляпа заслоняет его лицо. На нем жалкий, потрепанный и бесцветный сюртук. Длинный, чуть более определенного цвета шарф, свободно обматывающий шею, свисает вдоль безжизненного тела. Лис стоит перед обезьяной, лицом к висельнику. С минуту смотрит на него. Тем временем освещение достигает своего максимума и больше уже не меняется.

Пойду-ка я, пожалуй. *(Уходит.)*

Перевод К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Из книги «Короткие письма»

Вздор и вранье

Человек, если у него хватит сил, может болтать от самого пробуждения и пока снова не уснет.

Болтовню определенным образом ограничивает физиология. Но вздор, который мы болтаем, не ограничен никаким законом природы. Я могу сболтнуть любую чушь — и чирей на языке не вскочит, падучая не прицепится.

Буду ли я наказан как-нибудь иначе? В большинстве случаев — нет, а если даже и буду, то не жестоко. Редко случается, чтобы кто-то заметил мою глупость. Даже если заметит, у него не будет времени, желания или случая, чтобы мою глупость разоблачить. Даже если и разоблачит, мало кто обратит внимание на его протест. А если кто и обратит внимание — махнет рукой.

То же относится и к вранью. Конечно, если речь идет о фактах, вранье может иметь для вруна неприятные последствия. (Только для единиц.) Такое вранье называется клевета, мошенничество, ложные

показания. В таких случаях дело может кончиться судом. Хотя, разумеется, не обязательно.

Но вот что касается идеи — то есть всего, что нельзя ни потрогать, ни увидеть,— тут ложь сходит безнаказанно. Так же, как и вздор.

Ничего нет удивительного в том, что все мы говорим, все вместе и каждый, кто хочет. Смирение, то есть отсутствие уверенности,— а не чушь ли случайно то, что ты собираешься поведать? — истреблено в человечестве полностью, по разным причинам и разными способами, о которых не хочется здесь распространяться.

Я мечтаю о каком-нибудь новом законе природы, согласно которому каждый имел бы суточную норму слов. Столько-то слов на день, и как только выговорит их или напишет, становится неграмотным и немым до следующего утра. Уже к полудню царила бы полная тишина, и лишь изредка нарушалась бы она скупыми фразами тех, которые способны думать, что говорят, либо берегут слова по каким-нибудь иным причинам. Поскольку произносились бы они в тишине, то и были бы наконец услышаны.

Чем и кому вреден вздор?

Информация — это наш контакт с реальной действительностью. От простейшей: «мухоморы ядовиты, рыжики съедобны» — и вплоть до искусства, которое суть та же информация, только более запутанная. Мы действуем в соответствии с информацией. Неточная информация ведет к опрометчивым поступкам, о чем знает каждый, кто съел мухомор, будучи проинформирован, что это рыжик. От плохих стихов не умирают, но и они отрава, только своеобразная.

Вздор — это бессмысленная информация, то есть пустая, мнимая. Это шум, бормотанье, которые заглушают информацию.

Чем и кому вредна ложь?

Очевидно, тем, кому она адресована, но косвенно она вредна всем нам, поскольку подрывает основу информации — доверие. Ложь, то есть дезинформация, выгодна непосредственно и лично лжецу — за счет всех остальных. Лжец — это паразит. Паразитируя на организме, он ослабляет его и может привести его к разрушению. Тогда паразит гибнет вместе с организмом.

Когда не будет доверия, не будет и лжецов, но не будет также и информации и вообще ничего не будет. Мы утратим контакт с реальностью, то есть способность к целесообразным действиям, то есть к эволюции. Погубят нас недоумки и лжецы.

После чего останутся одни недоумки.

Плоть и дух

Говорится: «Силен дух, да плоть немощна». Плоть — мерзкая, неуклюжая, приземленная. Дух же — воспаряющий, чистый и вообще приятный во всех отношениях. Мы жалуемся на плоть, упрекая ее в том, что она сковывает наш дух. Так ведь в том и счастье, что сковывает — только это спасает нас от глобальной и бесповоротной катастрофы.

Потребности плоти скромны, то есть ограничены. Плоть четко знает, чего хочет, и добивается этого без выкрутасов. Что же такого ужасного в потребностях плоти? Она хочет жить, хочет исправно отправлять свои функции, она противится боли. Когда желания плоти исполняются, она не изобретает новых. Обжорство, пьянство, распутство — это грехи духа (воображения) перед плотью, за ее счет и вопреки ее протестам, а вовсе не наоборот, хотя принято считать как раз наоборот. Именно плоть в конце концов платит по всем счетам — не только по своим, но и за все безумства нашего духа.

Дух ничем не ограничен. Он может представить себе что угодно, и любая его идея стремится к воплощению. Страшно подумать, что бы произошло, если бы каждая «мысль претворялась в дело», к чему призывают нас романтики. К счастью, этому препятствует плоть — вот откуда ненависть к ней у романтиков. Если бы дух мог совершенно свободно воплощать свои замыслы в действие, он бы тут же совершил копуляцию со всеми женщинами мира (разумеется, использовав для этого плоть), а соперников превратил бы в гору трупов. (Мужской дух. Никогда не дано мне будет познать дух женский, но опасаюсь, что тоже не хорошие вещи творились бы, получи он возможность погулять на свободе.) Это гипотетическая крайность, которая обнажает тенденцию. Но вот уж наверняка, если бы воображение могло убивать, я давно уж стал бы убийцей. В «правом» или «неправом» деле.

Дух чистый? Дух справедливый? Шутки в сторону. Какие только мысли не бродят в человеческой голове, и это великое счастье, что они не могут воплотиться в реальность, не преодолев сопротивления материи. Сопротивления, перед которым они либо смиряются, либо опять же деформируются на ходу и потому редко реализуются в своем первоначальном чистом виде. Адольф Гитлер ужасно бесился, когда упрямая жизнь оказывала сопротивление его сверхблистательным замыслам. «Великие вожди» всегда обижались на реальную действительность.

Я не утверждаю, что в голове роятся только скверные мысли. Но не дай Бог, чтобы также и замыслы благородные, альтруистические осуществлялись сами собой. Чтобы любой план мироустройства, рожденный в одной голове, уверенной, что именно этот единственный план и есть тот самый, который миру необходим, реализовывался автоматически и скрупулезно. И добрый Господь Бог действительно не допустил этого, подарив нам время, материю и пространство, в которых как-никак все должно разворачиваться. И так уж немало вреда причинили миру всякие самоуверенные маньяки — а если бы у них были развязаны руки?.. В театре меня пугают режиссеры «с идеями», но находятся такие, что готовы срежиссировать весь белый свет. Маниакальные филантропы, воспитатели, учителя.

Например, Жан Жак Руссо... Поныне отравляют нас его идеи. Любопытно было бы, впрочем, проследить — если уж о нем речь — связь между взлетами духа и запором. Чем выше некоторые мыслители, художники, пророки возносятся духом, тем сильнее — судя по их биографиям — страдают они запорами, коликами и вздутием живота. Статистика в этом смысле поддается систематизации. Тем же читателям, которым мои наблюдения покажутся вульгарными, я предлагаю весьма изысканное выражение: constipation [1].

Дух «чист»? Плоть «нечиста»? Чувство обоняния заставляет нас бежать от вони. Тело даже самого великого преступника не любит находиться вблизи падали, а «чистейший» дух преспокойно уживается рядом с величайшим свинством. Чем больше свинство, тем сильнее оно притягивает к себе дух. Дух всегда любил публичные экзекуции, он обожает скапливаться вокруг уличных происшествий и читать об убийствах на сексуальной почве. Во времена, когда войны велись врукопашную, только физическое изнурение, усталость рук останавливали резню. Дух продолжал бы резать. Пусть же дух поразмыслит над этим.

Триптих

1

Когда салонная дама начинает лепетать о свободе сексуальной жизни или трещать о всеобщей ответственности за судьбы сборщиков

[1] Запор *(франц.)*.

арахиса — значит, самое время принять обет воздержания и отвернуться от сборщиков арахиса с величайшим равнодушием.

Когда треугольники начинают украшать стены сельского клуба, а определение «пикас» пополняет словарь толпы — самое время отвернуться от живописи Пабло Пикассо и заняться ван Вермеером.

Если кто попало начинает плести что попало в защиту чего-то, что некогда было сложным, живым и настоящим,— значит, оно сложным живым и настоящим быть перестало.

Если истина начинает звучать как непреложная банальность — значит, она уже умерла и перестала быть истиной.

«Четвертьинтеллигенты», которые сегодня повторяют догмы, умершие вчера и услышанные от «полуинтеллигентов» (с таким же «глубоким убеждением», с каким вчера повторяли догмы, прямо противоположные и умершие позавчера), играют определенную роль в природе. Ту же самую, что жуки-могильщики, гиены и всякие другие стервятники.

2

Умирает все, но мысли, ощущения, формы духа умирают еще быстрее, чем организмы и ситуации. С каждым повторением утрачивают они свою жизнеспособность и растет их мертвый груз. Между тем мы охотно повторяемся, путая механическое продление с бессмертием. О смерти мы вообще не желаем помнить, не желаем принимать ее во внимание — тем труднее разглядеть смерть в ее наиболее деликатном проявлении: в смене настроений и идей. Мы провозглашаем несомненную истину — уж на этот раз несомненную, уверяю вас,— хотя каждый раз новую. Сомнение плохо уживается с хорошим самочувствием.

3

Наступили такие времена, когда никто и ничто не желает быть тем, чем является, и хочет стать кем-то, чем-то другим. Кем и чем, толком не знает, лишь бы не самим собой. Это похоже на великую усталость элементов, которые слишком долго оставались в определенных структурах (наборах, составах, группах) и теперь хотят оказаться в других, хотя и не знают в каких. Лишь бы в других. Даже сами связи утомились. Мы словно старый корабль — он еще плывет, поскольку элементы, из которых он выстроен, составлены именно так, что образуют корабль. Но все его доски и болты, все его части, подчасти и под-под-под (и т. д.) — части тоскуют по дезинтеграции. Некоторым частям кажется, что они обойдутся без целого и после распада не войдут уже больше ни в одну структуру. Иллюзия — потому что выбор существует лишь между исчезновением и структурой, какой угодно. Доска, уверенная, что, когда корабль развалится, она перестанет быть корабельной доской и будет вести свободную и гордую жизнь доски как таковой, доски «самой по себе» — сгинет и исчезнет или кто-нибудь построит из нее хлев.

Но пока что трещим.

Авторучка

Я отправился в магазин канцтоваров — купить новый стержень для авторучки. Желая помочь продавщице сориентироваться, какая модель мне нужна, я вынул из ручки старый стержень и протянул ей. Продавщица взяла его в руки, осмотрела, после чего выбрала на полке новый стержень и вручила мне.

Я попробовал вставить новый стержень в ручку, но он не подходил.

— Не подходит,— сказал я.

Продавщица взяла оба стержня в руки и прочла фирменные надписи на одном и на другом.

— Подходит,— сказала она.— Фирма «Фабер».

И отдала мне оба стержня. Я взял их в руки и прочел фирменные надписи на обоих. Действительно, оба принадлежали фирме «Фабер». Но они не были одинаковыми.

— Они разные,— сказал я.

Продавщица поморгала, совершила умственное усилие, после чего взяла оба стержня и еще раз внимательно прочитала надписи. И протянула их мне с оттенком снисходительности к моей тупости.

— «Фабер»,— сказала она.

— Да, но не подходит.

Продавщица, дав мне понять, что ее терпение на пределе, подчеркнуто, словно ребенку, которому она хочет продемонстрировать его безмерную глупость, чтобы пристыдить его, еще раз прочла надписи:

— «Фа-бер».

Я положил оба стержня перед ней на ладони, рядышком, и указал пальцем на их неодинаковую конфигурацию. После долгого созерцания продавщица сняла с полки несколько коробок с разными стержнями и чуть ли не швырнула их мне в лицо. Методом проб и ошибок я выбрал подходящий стержень, не взглянув на его фирменный знак, поскольку мне это было неинтересно. Вставил стержень в ручку, заплатил и вышел. Продавщица показалась мне глубоко уязвленной.

Возвращаясь домой, я размышлял об этом незначительном на первый взгляд происшествии и пришел к выводу, что в нем столкнулись два способа мышления. Эмпирический и идеалистический. Продавщица воспринимала действительность как определенную идею, в данном случае идею фирмы «Фабер». Она рассуждала так: если на обоих стержнях написано «Фабер», значит, оба должны подходить. Она руководствовалась доктриной, в данном случае доктриной: фирма «Фабер». Я же, напротив, совершенно не заботясь о фирме, интересовался непосредственно реальностью, без всякой доктрины.

Так что случай этот имел значение общечеловеческое, не представлял собой ничего исключительного и носил типичный характер. Он заключал в себе широко распространенную модель.

Организация труда.
Проблема коллектива и трудоемкости в музыке

ORGANIZACJA PRACY
•
PROBLEM KOLEKTYWU
I PRACOCHŁONNOŚCI W
MUZYCE

Яблок нет
Преходящие трудности.

PRZEJŚCIOWE TRUD-
-NOŚCI

Будь продавщица моложе, я бы предсказал ей великое будущее. Но она была особой пожилой, пенсионного возраста. Тридцать — сорок лет назад она была уже взрослой. А так как случай имел место в Германии, можно представить, что у продавщицы было великое прошлое. То есть ее способ мышления находился в полном согласии с этим прошлым — в своем роде великом.

Фразы

Я из рода наивных и добродушных рабов. Мятежные рабы ненавидят таких больше, чем господ.

Приятно все же, что тело и душа меняются, хотя при этом одно слабеет, а другая тупеет. Но иначе не менялось бы ничего.

Мне ничего не принадлежит, но приходится платить по всем счетам.

Человек должен заниматься собой — в противном случае прекратилась бы всякая деятельность. Его заинтересованность чем-то другим слишком ничтожна.

Не было уже богатых, и нищие клянчили друг у друга.

Я описываю только то, что возможно описать. И вот так, по причинам чисто техническим, умалчиваю о самом важном.

То, что временно,— прочно. Что кажется только предисловием — собственно текст. Что воспринимается как предвестие — уже эпилог. Начинать нужно с конца. Будущее не придет на помощь настоящему — когда будущее наступит, настоящего уже не будет.

Вот тема, которую молодость ненавидит больше всего.

Сын мой, жизнь твоя будет такой, какой ты ее делаешь в данную минуту, а не такой, какой ты ее замысливаешь.

Встречаются: герой, свидетель, судья, учитель, насмешник, стукач, отчаявшийся...

А также психопат, Дед Мороз и Микки-Маус.

Другие еще в пути, но скоро будут здесь.

«Познай самого себя». А дальше что?

Трудность

Труднее всего прожить ближайшие пять минут.

Жизнь — это ближайшие пять минут. Однако мы стараемся об этом не думать. Планы, надежды, опасения — все это относится к будущей неделе, месяцу, году, даже десятилетию. Исключительно там мы и живем, то есть не живем, а воображаем свою жизнь. Из страха перед ближайшими пятью минутами?

Или из-за скуки? Ведь ближайшие пять минут почти всегда очень серые. Чаще всего нужно что-то переложить с места на место, а потом обратно на то же место, встать, сесть, пойти, ответить. И однако, нет другой жизни — только ближайшие пять минут. Все остальное — воображение. (Разве что воображение и есть жизнь. В таком случае — молчу.) Такова правда. А ведь сказал один мудрец, что ценность человека определяется количеством правды, которую он способен вынести. Если так, не многого я стою, поскольку не могу вынести ближайшие пять минут. Одно лишь меня утешает: никто не может вынес-

ти всей правды, даже той, что ему доступна. Я уж не говорю о той, что ему не доступна.

Настоящий героизм — это прожить следующие пять минут. Так называемые героические ситуации, исключительные моменты, чрезвычайные обстоятельства — сами наделяют нас героизмом. Следующие пять минут — голые, немые и слепые. Они ничего нам не говорят, ничем не наделяют и даже ничего особенного не требуют. Собственно, это и есть высшее требование.

Я пытаюсь их обмануть. То есть переждать. Посижу, покурю. Представлю себе что-нибудь необычное, что, конечно же, должно произойти завтра, послезавтра, через год. Я не хочу помнить о том, что ближайшие пять минут — вечные и всегда одинаковые. Переждать их невозможно, и через год они останутся такими же — вот они, предо мною, такие же голые, слепые, немые... И так же буду я стараться обмануть их, переждать. Так же тщетно.

Самоубийца — это тот, кто даже переждать уже не смог. Большинство все же могут, потому что вынуждены. Вынуждены, потому что хотят жить. Преодолевают ближайшие пять минут как умеют — но всегда скверно. С ужимками, пируэтами, прыжками. В панике либо в агрессии. Один танцует, другой лежит на земле и прикидывается мертвым. Этот хочет бежать назад, тот — вперед. Но нет никакого «назад» и никакого «вперед». Есть только ближайшие пять минут — неподвижные, рядом, вот они.

Существует ли такой человек, который смог бы их одолеть? Не убегать, не изворачиваться, а просто стоять перед ними — так же, как они стоят перед ним? И выдерживать это без страха, без надежды, постоянно, терпеливо, неутомимо? Ах, да не покорить их, а хотя бы подняться до их уровня — что, впрочем, и оказалось бы единственной истинной победой.

Хотелось бы мне такого встретить.

Воскресенье

Не люблю выходных и праздников. Это рефлекс привилегированного человека, который не обязан разменивать свое время на часы. Бесит меня, что все вдруг ничего не делают, а только прогуливаются. Поскольку сам я могу устроить себе воскресенье когда захочу, не люблю обязательных выходных для всех.

Но я не переношу, когда возвышенные души брезгливо отворачиваются от людей, гуляющих по воскресеньям. Когда натуры «артистические» — что должно означать «бунтующие против мещанского образа жизни» — с презрением относятся к «обыкновенным» людям, к тем, которые шесть дней работают, а на седьмой старательно моются, наряжаются, усаживают младшего в коляску, старшему велят причесаться и всей семьей отправляются на прогулку. Скверы, бульвары заполняются толпами «обыкновенных» людей.

Семейная воскресная прогулка не раз высмеивалась в прозе, стихах и песенках. Их «богемистые» авторы, очевидно, уверены, что в возвращении поутру на четвереньках больше духовности, чем в такой прогулке — символе мещанского убожества, узких горизонтов и вообще всяческой серости.

Может быть, нет в этих прогулках страсти и фантазии. И все же, когда случается мне оказаться среди таких гуляющих, я чувствую, что это скорее хорошо, чем плохо. То есть как раз в эту минуту для меня, быть может, это не самая восхитительная ситуация, о которой я мог бы мечтать, но для меня вообще, и вообще вообще (то есть не только для меня) — это хорошо.

Потому что это означает: царит мир, и жизнь мало-мальски упорядочена. И в жизни этой существуют определенный достаток и сво-

бодное время, и люди, по крайней мере в данный момент, спокойны и даже улыбаются.

Мало? Смотря для кого. Я знаю, что бывает по-другому. Знаю времена и обстоятельства, настолько «красочные», что более ярких красок не изобрела бы и самая буйная фантазия пьяного художника. Настолько «увлекательные», что попятился бы перед ними и самый авангардистский режиссер. И я знаю, что тогда люди творят и что с ними творится.

Более того, я знаю, насколько хрупко то, что кажется нам обычным. Как немного нужно, чтобы эти «скучные» люди помчались по полям, подгоняемые огнем, чтобы они начали топтать друг друга из-за пустяка и умирать с голоду. Чтобы они — в эту минуту так «скучно» вымытые — начали «захватывающе» смердеть из-за отсутствия мыла; чтобы те самые, которые ведут сейчас «неинтересные» разговоры, начали очень «интересно» хрипеть и захлебываться в спазмах страха и ненависти.

По мне, так пусть уж они лучше прогуливаются — вот так: «неинтересные», «скучно» вымытые, умеренно довольные. Я доволен, когда довольны другие. Даже если мне это не особенно нравится. Есть вещи поважнее, чем мое эстетическое чувство.

Что же касается «артистических душ», которые чувствуют себя обескрыленными в нормальном, умеренно сытом, умеренно довольном мире, то, я считаю, у них не вырастут крылья, посади их даже на Везувий. Разумеется, на действующий.

Зависть художника

Однажды — а было это давно — в дверях моей комнаты появилась молодая особа, явно прибывшая из провинции. Она выразила желание увидеться со мной. «Это я»,— говорю. «Не может быть»,— отвечает она и повторяет просьбу. «Но это правда».

Она окинула взглядом мою комнатенку три метра на четыре, ящик для угля, ворох старых газет и соседскую дверь, такую же обшарпанную, как моя. Словно окончательно убеждаясь, что я вру.

«Это не вы».

Чтобы не рассказывать долго: все у нее сходилось, фамилия, адрес — только не я. Девушка расплакалась и ушла. По некоторым причинам (о них я догадался позже) от встречи со мной (которым я, однако, не был) зависела чуть ли не ее жизнь.

Но она ничего не хотела ни говорить, ни объяснять.

«Греховная история». Но я действительно видел ее тогда первый и последний раз.

Уже прежде в редакцию «Пшекруя» [1], с которым я сотрудничал и который сделал меня популярным, начали приходить письма. Разные, из разных мест, но примерно одного содержания и сходные по почерку. Наивная школьная каллиграфия. «Помнишь, как мы танцевали и ты напевал мне на ухо упоительное танго?» Я даже поместил в том же «Пшекруе» разъяснение, что почти не танцую и на ухо никогда не напеваю, так что тут, верно, какое-то недоразумение. Не помогло.

Потом происходили и более неприличные истории, о них я писать не буду. В конце концов все выяснилось — и вот что оказалось.

Разъезжал в то время по Польше некий тип, который выдавал себя за меня. Приедет, например, в Ольштын, засядет в ночном ресторане, пьет, ест, танцует и мурлычет на ушко за счет моей «пшекруевской» славы. Художник из большого света всегда может рассчитывать на раскрытые кошельки мужчин за столиками и в баре, на рас-

[1] Польский популярный еженедельник.

простертые объятия дам. Главным образом девиц. Словом, он делал все, чего я не делал.

Разумеется, я был возмущен самозванцем. Но мой гнев был замешан на зависти. Значит, я сижу тут в своей комнатушке три на четыре, мучаюсь, стараюсь произвести что-нибудь на свет божий, а он мой труд обменивает на dolce vita[1]. В глубине души мне хотелось того же, я завидовал ему. Ладно еще водка и лесть, но девушки... Значит, можно так легко... Он открыл мне возможности, которыми я никогда не пользовался. Более того — я знал, что никогда не смогу ими воспользоваться.

Как ни парадоксально — я завидовал сам себе, словно во мне произошло раздвоение личности. С одной стороны, я будто находился в толпе посторонних, которые думают обычно о знаменитом художнике: «Эх, вот кто живет, если бы я был им...» — бессилие мечты. С другой стороны, я ведь сам был этим художником. Бессильная реальность.

Я и тогда смутно догадывался, а со временем понял твердо, что художник от своего искусства ничего не имеет и иметь не может. Ничего в смысле утех и радостей жизни как основной компенсации. Даже если его искусство приносит ему славу и деньги. Это своего рода закон, который открыли люди поумнее и более компетентные, чем я,— Гомбрович[2], Томас Манн... Имеет — но как бы не имеет. Завистники могут спать спокойно.

Талант в любой другой области можно обратить в наслаждения без ущерба и для таланта, и для наслаждений. Иногда можно добиваться денег или славы (лучше и того и другого), преследуя гедонистические, утилитарные цели. Искусство не позволяет использовать себя как средство достижения цели — какой бы то ни было. Один кандидат в писатели — во времена, когда проводился набор тружеников искусства, как проводится набор в армию или на заводы,— ответил на вопрос, зачем он хочет стать писателем: «Хочу купить бабе корыто». Чем, понятно, очень всех развеселил (дело было на собрании Общества молодых писателей). И однако, его ответ — трогательно-искренний. Был он человеком простым и наверняка не понимал — над чем эти интеллигенты смеются. Слышал, что литераторы неплохо зарабатывают, а тут его жене как раз потребовалось корыто, вот он и явился в Союз писателей. Многие ли из них имели право над ним смеяться?

Откуда эта непригодность искусства к тому, чтобы художник мог пользоваться им в полное свое удовольствие — то есть потреблять все, что можно получить за славу и деньги, которые искусство ему приносит? Вероятно, корень в том, что каждый, кто добивается славы и денег в любой другой области, всегда действует вне себя, а точнее — вне своей души. (Исключение составляет религиозный пастырь, если он не шарлатан.) Благодаря этому он может временами выключаться из своей деятельности и становиться просто потребителем. Художник же сидит в самом себе и никогда не может из себя выйти, даже если отправляется на прогулку с потребительской целью. Он никогда не может стать рядом со своим искусством, как рядом с коровой, и, позабыв обо всем, самоотверженно доить ее. Да, собственно говоря, если не принимать во внимание мимолетные соблазны, капризы и слабости, в общем-то, и нет на это желания. Радость потребления принципиально отличается от радости художника. Отличается до такой степени, что он не смог бы их спутать, даже если б захотел. Это вещи разного порядка.

«Ах, вот если бы я был Пикассо!» Те, кто так вздыхает, не знают (а если знают — не придают значения), что этот легендарный миллио-

---

[1] Сладкая жизнь *(итал.)*.

[2] Витольд Гомбрович (1904—1969) — польский писатель.

нер и один из знаменитейших людей эпохи провел жизнь не за бесконечными коктейлями, а в подштанниках перед мольбертом. Замкнут в четырех стенах, отрезан от обожающих его масс.

Что — разве бывает иначе? Много ли мы найдем примеров, часто ли увидим художника в салоне, в самом центре салона, при полной артистической амуниции, с перьями торчком,— именно Художника?

Художника?.. Гм...

Нет, если всерьез — никогда не бывает иначе.

Наблюдатель

Когда мне было двадцать лет, я раздобыл бинокль и взобрался на крышу многоэтажного дома. В сумерках — чтобы, оставаясь незамеченным, видеть людей через освещенные окна, подсмотреть их частную жизнь, более того — жизнь сокровенную.

Какое же меня ожидало разочарование. Да, я увидел человека в его сокровенную минуту — но насколько же это оказалось неинтересным!

Человек у себя дома в основном сидит, тупо смотрит, иногда почешется. Либо суетится. То есть совершает какие-то действия, которые наблюдателю кажутся серией мелких, бессмысленных перемещений тела и предметов вокруг этого тела. Подойдет сюда, там постоит, тут повернется. Что-то переставит с места на место. Снова присядет. Почешется. Опять что-то переставит, передвинет, переложит. Зевнет.

Шло время. Разочарованный, слез я с крыши. И больше никогда не повторял свой эксперимент.

Лучше б я никогда его и не проводил. Это было больше чем разочарование — я был просто подавлен. Хотя бы потому, что мне открылось: да ведь и я такой же, и я так же... если бы за мной кто-нибудь подсматривал... Значит, вот так выглядит моя жизнь?

Да, так. Жизнь внешняя. Чистый бихевиоризм [1] — чертовски скучная штука. Все вместе было бы безнадежно, если бы не то, что в каждый данный момент что-то происходит в голове человека. Но что? Как об этом узнать?

Конечно, человек может рассказать. Может — но это не значит, что умеет. Даже самые разговорчивые из нас не многое могут рассказать. Что ж тогда те, у кого мысль беспомощна, а язык неповоротлив? Но помимо того, что мы не очень-то умеем формулировать свои мысли,— мы еще и лжем, умышленно и неумышленно, умалчиваем, выдумываем, притворяемся и боимся. В своей речи мы всегда подчинены ситуации. Ситуация давит на нас — она прерывает, сгущает, разжижает, снова сгущает. К тому же отвлекает. Условности тут не помогают. Они лишь позволяют уклониться, не решив проблемы сообщения.

Так вот, чтобы очнуться от «сна идиота, спящего непробудно», хотя бы на минуту, человек пишет и читает. (Я имею в виду литературу.) Свободный от непосредственного воздействия ситуации, о которой пишет или читает, он в состоянии лучше ее прочувствовать, понять, передать и воспринять. Человек создает театр, то есть ситуации без расплывчатости и неопределенности, без «шума и ярости». И даже если он изображает нечто неопределенное либо шум и ярость, то именно изображает, а изображая, находится одновременно и внутри, и вне предмета изображения, то есть освобождается от него и властвует над ним.

В этом смысле искусство — больше жизнь, чем сама жизнь, которая без искусства оставалась бы только тем, что я наблюдал с крыши,

[1] Направление психологии, считает своим предметом не сознание, а поведение как совокупность двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных реакций на воздействия внешней среды.

или чем-то не слишком от этого отличающимся. И ровно столько мы бы о ней знали и в ней понимали.

Возьмем простой пример: все мы охотно читаем книги о любви, просто о любви. Стыдливо таясь перед Суровым Трибуналом Интеллекта, перед Святейшим Храмом Высокого и Передового Искусства, перед его жрецами и кардиналами. Почему? Ведь любовь случается в жизни у каждого, значит, мы сами должны о ней знать предостаточно, зачем нам книжки? Именно затем, что, вовлеченные в любовь, погруженные в любовь — что́ мы можем о ней сказать, как понять, что с нами происходит, в момент, когда происходит? Когда мы сами авторы и исполнители наших любовных диалогов — тут же, непосредственно,— мы не способны справиться с такими задачами и требованиями. Правду о себе мы находим лишь в той или иной книге, сцене, картине. Тогда мы чувствуем, что наконец-то возвышаемся над собственным косноязычием, что можем справиться с чем-то не поддающимся выражению, но требующим выражения, потому что, оставаясь невыраженным, это нечто доводит до исступления.

В хаосе теорий, уж слишком рафинированных и неимоверно запутанных, такая примитивная, неэффектная, самодельная теория искусства необходима мне, она действует на меня освежающе. Писать — читать, изображать — смотреть, это единственный способ осознания жизни. А может быть, это и есть сама жизнь. Полная жизнь. Ибо, если мы не знаем, что мы чувствуем, значит, мы ничего не чувствуем. (В крайнем случае как под наркозом.) Без этого способа мы были бы друг для друга (и часто бываем, увы), да и для самих себя всего лишь обезьянами в клетке. Но без их обаяния и красоты.

Я, наимудрейший

Труднее всего избавиться от чувства, что ты всегда прав. Нет, избавиться — слишком высокое требование. Освободиться от него хоть на минуту. Взглянуть на себя не как на героя ситуации, а как на одного из ее персонажей. Увидеть и услышать представление в целом, а не только свой голос.

Ах, какие же вокруг все глупые, слепые, ограниченные, и все они поступают не так, как (с моей точки зрения) должно поступать, а совсем наоборот. Мне абсолютно ясно и очевидно, что они должны делать, думать, чувствовать, но коль скоро они этого не делают, не думают и не чувствуют, то, значит, глупы, ибо не понимают того, что так просто; слепы, ибо не видят того, что так ясно; и ограниченны, ибо мыслят иначе. Их слепота, глупость и ограниченность прямо-таки раздражают меня. Поэтому чаще всего я бываю раздражен.

Возникает досадное предположение, что они так же правы, как я. Ведь я не вижу того, что видят они, они же не видят того, что вижу я. Может, я совершаю какую-нибудь глупость, которой мне из моего «центра» не видно, зато видно «снаружи», оттуда, где меня нет. То же самое относится и к ним.

Но зачем, собственно, избавляться мне от чувства, что я — единственный центр любой ситуации? Зачем с ним бороться, раз уж оно у меня врожденное?

Во-первых, для защиты от скуки. Слышать одного себя, видеть только себя — это не надоедало мне лишь первые двадцать лет, в период возмужания. Потом скука мучительно нарастает.

Во-вторых, для собственной безопасности. Если я не пойму, хотя бы настолько, насколько это вообще возможно, мотивы, побуждения, цели, средства, конструкции и комбинации ближнего своего,

я рискую совершать ошибку за ошибкой. Ограничиваться одной эмоциональной реакцией на ближнего своего — отрицательной или положительной, все равно — значит, отрезать себе путь к истине, которая, как я, увы, подозреваю, не на мне одном сходится.

Ах, если б я мог испытывать одно-единственное, огнеупорное, водонепроницаемое ощущение солипсиста[1]: только я, я и больше абсолютно никого... Без подозрений.

Но что же тогда? Тогда я, при определенном стечении обстоятельств, мог бы стать, например, императором Калигулой. Кажется, он всегда был прав. Но сдается, тоже скучал смертельно. Что же касается безопасности, известно: жизнь тиранов таит массу опасностей не только для ближних, но и для них самих. Поэтому она полна страха, а страх — чувство не из приятных.

Так что ничего не поделаешь, уж лучше этот разлад. По своему естеству мы склонны становиться тиранами, но у нас есть важные причины воздерживаться от этого. Естественны ли и эти причины? Если даже искусственны, то не помешает и немного искусственности.

Печаль или депрессия

Давно уже не говорят: печаль. Говорят: депрессия. «Депрессия»— слово значительно более бедное по звучанию, содержанию и гармонии. «Грустно мне, Господи»,— сказал Словацкий[2]. Если бы он сказал: «У меня депрессия, Господи...» С депрессией следует обращаться к врачу. Только с печалью можно обращаться к Господу. В этом вся разница.

Зачем заменили мы слово богатое на убогое?

Еще мы говорим «радость», но уже должны говорить «эйфория». Печаль сочетается с радостью, а вот депрессия требует в подруги такую же клинику. Печаль и радость были душевным состоянием, естественным, как дождливая и солнечная погода. Человек обладал естественным правом на печаль. Сейчас с душой дело худо. Осталась одна сплошная физиология, так что теперь у нас бывает только депрессия. Нежелательное состояние, от которого надо лечиться. Просто необходимо, тем более что из депрессии ничего хорошего возникнуть не может.

Тогда как из печали могло возникнуть многое. Печаль была матерью рефлексии. Фазой эволюции. Если не вырождалась в меланхолию, а меланхолия — в позу, печаль была переходным состоянием между концом и началом. Состоянием упразднения и приготовления, освобождения и опустошения, в котором — на равном расстоянии от того, что было, и от того, что будет,— рождалась рефлексия. Когда накапливалось в душе новое, еще неведомое, когда эволюция в очередной раз завершала свою потаенную работу — печаль сигнализировала, что наши прежние формы и воплощения умирают. Что наступило время переродиться — печаль, появляющаяся «неизвестно откуда», была прощанием.

Кто лишил нас права на печаль? Кто виновен в том, что мы уже не умеем грустить, а лишь вынуждены погружаться в депрессию? Что естественное проявление жизни превратилось в бесплодную и постыдную болезнь? Потому что депрессия — это, конечно, болезнь, и только. Но где же та точка, та развилка, от которой дорога может привести либо к творческой печали, либо к бесплодной депрессии? Кто был тем стрелочником? Доктор Фрейд? Легко свалить вину на отдельного человека, легко, но глупо, когда речь идет о такой всеобщей

[1] Солипсизм — крайняя форма субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только сознающего субъекта и объявляющая все остальное существующим лишь в его сознании. В этическом смысле — крайний эгоизм, эгоцентризм.

[2] Юлиуш Словацкий (1809—1849) — польский поэт-романтик.

проблеме, как стиль эпохи. Доктор Фрейд тоже был жертвой, что-то существовало до него и одновременно с ним. Что привело к тому, что он стал доктором Фрейдом? И что мы покатились в этом направлении и продолжаем катиться?

Не знаю. Знаю только, что господствует мысль, установка, догма: якобы человеку должно быть всегда хорошо; он обязан быть счастливым непрерывно — без устали и без отдыха. Мы забываем, что несчастье означает лишь отсутствие счастья и не обязательно сразу же должно оказаться несчастьем. Мы не умеем переносить не только несчастье (за что нас трудно осуждать), но даже не счастье, то есть отсутствие счастья (за что мы заслуживаем порицания). Мы стремимся к состоянию счастливого оцепенения и не умеем довольствоваться тем, что, не будучи ни счастьем, ни несчастьем, является третьим состоянием, необходимым и полезным. Если только мы не счастливы, то сразу же становимся несчастными.

А ведь должно было быть иначе. Мы многого ждали... Всего, чего сами желали, а значит, прежде всего — непрерывного счастья... Когда-то давно, когда мы тоже не были счастливы, ответственность за это мы взвалили на тогдашнее начальство — на Господа Бога. Признали, что он плохо ведет дела. Мы лишили его всех прав и сами себя объявили управляющими. Но дела, увы, лучше не пошли. Поэтому мы нервничаем. Почему дела не идут лучше? Кто теперь виноват? Ведь не Бог — он уже на пенсии. И ведь не мы, не дай Бог. Упорно ищем виновных — и каждый раз находим. Это наши соседи, разумеется. Но когда они уже разоблачены и обезврежены, выясняется, что дела по-прежнему хромают. Тогда мы начинаем подозревать других соседей (в них недостатка не будет, пока у человека останется хоть один ближний), а дела как хворали, так и хворают. Оптимисты говорят: пока что. Пораженцы шепчутся по углам. И те и другие — в депрессии. Только некоторым грустно.

Наследник

Поразительно, откуда у меня этот проповеднический тон. В этих коротких письмах, кое-где. Иногда я замечаю его еще в рукописи и принимаю меры. А иной раз замечаю только в печати, когда уже поздно.

Неужели я прирожденный проповедник? Но в таком случае я не испытывал бы к проповедничеству неприязни, которую тем не менее испытываю. Я считаю проповеднический стиль пошлым и подозрительным.

Наверно, есть что-то такое в наследстве, которое я получил. В церковь меня начали водить раньше, чем я научился читать. Проповеди были моим первым контактом с литературой, то есть языком, отличающимся от домашнего («подай, принеси, будь внимательным, подешевело, подорожало»). Моей первой школой стиля, которая не могла не произвести на меня впечатления.

Существовала также литература для детей и юношества. (К сожалению, не было дома библиотеки, из которой я мог бы таскать Вольтера и Шекспира, как это делали, кажется, мальчики в более благородных семьях.) Вроде бы сюжетная — но тоже смахивала на проповеди. Так неприкрыто преследовала она цели воспитательные, христианские, национальные, что ее стиль не мог быть иным. Даже Сенкевич [1] отдает священником.

Что потом? Да, пятидесятые годы. Снова проповеди, хоть и на другую тему. Я тогда уже не только читал, но и писал. Я был пропагандистом. В своих первых упражнениях я ставил перед собой высокие цели.

---

[1] Генрик Сенкевич (1846—1916) — польский писатель.

И не заметил, как стал взрослым, вскормленным на пафосе поляком.

Но ведь одним пафосом не проживешь, и организм выработал антитела: шуточки-прибауточки. Бой[1], Галчиньский[2], кабаре... Тут проповедь с кафедры — а там хихоньки-хахоньки в зале.

Хорошо — но что посредине?

Мне кажется, у нас не хватает чего-то между острословием и литаврами. Как польский писатель, который не желает ни трубить, ни острословить, я ощущаю этот недостаток весьма болезненно.

На кого равняться? Определенной альтернативой могла бы тут послужить гавенда, форма также польская. Но насколько же она аристократична, а я не аристократ в отличие от Пасека[3], Гомбровича, Ваньковича[4]... Ни по духу, ни по рождению.

Я не вижу стиля, который бы целиком импонировал мне, который я мог бы подхватить. Отказаться от стиля и просто бормотать, как это делают некоторые? Но мне необходим стиль.

А прикидываться иностранцем я не могу. Ни немецкий педантизм, ни английский understatement[5], ни французский esprit[6], ни русская широта не были стихией моей молодости.

Коль скоро я не могу овладеть стилем, стиль овладевает мною. Вернее, разные стили, на которых я воспитывался.

Тут проповедничество, там вдруг хохоток на меня нападает, а кое-где заграничное перышко промелькнет.

Если не у меня одного, то невеликое это утешение.

Перевод В. КЛИМОВСКОГО

■

---

[1] Тадеуш Бой-Желеньский (1874 — 1941) — польский писатель-сатирик.

[2] Константы Ильдефонс Галчиньский (1905—1953) — польский поэт. В его стихах сочетаются элементы лирики, юмора, иронии и гротеска.

[3] Ян Хризостом Пасек (1636—1701) — польский мемуарист, автор «Воспоминаний», которые стали классическим образцом старопольской гавенды — национально-своеобразного мемуарного жанра.

[4] Мельхиор Ванькович (1892—1974) — польский писатель и публицист.

[5] Буквально: умолчание, недосказанность *(англ.)*.

[6] Буквально: ум *(франц.)*.

Из поэзии КНДР

Перевод с корейского В. ЛЕТУЧЕГО

ЛИ СЕНЫР

Водопад Куроён

Откуда этот немолчный шум,
шум воды, что заполнил собою окрестность?
Откуда он? С неба? Вслушаешься — от земли.
От земли? Вслушаешься — с неба.
Шум воды на земле и на небе.

Может быть, он от старого родника?
Но разве он был бы таким громогласным?
Откуда этот немолчный шум?

Может быть, дракон из ожившей сказки,
петляя хвостом средь скал,
переползает горный хребет?

Может быть, легендарный силач
прислонил к отвесной скале
свой острый серебряный меч?

Или это рукотворный мраморный столб
стоит на земле, подперев небеса?

О водопад, ты и вправду чудо!
Когда с высокого гребня
падает мощный поток,
кажется, некий ткач
ткет нескончаемое полотно.

Но присмотрись и увидишь: это сверкает вода
на фоне синего неба.
У прозрачного озерца
утоляют жажду олени.
Не отрываясь гляжу,
как падает с гор серебряная река.

О подобная кисти гора Мунпхилбон,
скорей запиши эту дивную песнь!
В ней характер моих земляков,
в ней облик сограждан моих —
веселый, могучий, суровый!

ПЕН ХОНЕН

Сосна над отвесной скалой

На перекрестке дорог,
на иссохшей от зноя скале
как умудрилась ты
корни свои пустить?

Сколько столетий
ты несешь на своих ветвях
вечнозеленую хвою?

Окрестные скалы никак
не договорятся между собой,
какая из них прекрасней.
Переливаются, нанизанные на невидимые нити,
жемчужные бусинки водопада.

Но эта вековая сосна,
что над крутым обрывом несет изумрудную зелень,
заставила биться сильнее сердце мое.

Как она, я хотел бы,
когда свирепствует буря в горах,
не изменить себе,
даже если придется стоять
над самым краем обрыва.
Я хотел бы, чтобы корни жизни моей
цепко держались за отчую землю.

Я хотел бы, как эта сосна,
быть жизнестойким и верным,
чтобы мог сам себе сказать: я — коммунист.

КУ ХИЧЕР

По дорогам и перевалам

У каждой дороги свои,
у каждого перевала свои
воспоминанья о прошлом.

Иду по тропинке в Алмазных горах,
внемлю преданьям дорог,
легендам седых перевалов —
сколько их набралось за века!

По старым дорогам и перевалам иду,
по незабвенным следам недавней поры.
«Дорога крестьянских повозок»,
«Рисовый перевал» —

кто и когда им дал
эти памятные имена —
нежные, как названья
родимых мест?

«На фронт! На фронт!» —
при свете ракетниц
тянулись повозки, скрипя,
с поклажей снарядов и мин.

«На фронт! На фронт!» —
даже дети и старики
с тюками риса на спинах
взбирались по узкой горной тропе.

«Дорога крестьянских повозок»,
«Рисовый перевал» —
бесконечный людской поток!
Не запомнить всех лиц,
не узнать всех имен.

О Кымган,
в прекрасных ликах твоих
сохраняются их черты.
В имени чудном твоем
отзываются их имена.

ЛИ ДЕНСЕБ

Влюбиться в скалу

Если скалы убрать, не убавится разве
красота горы Мёхансан?
Сижу на скале у ручья.
Куда ни гляну — камни и скалы кругом.

Их омывают дожди, обдувают ветра,
век за веком их точит вода,
но они, как и прежде, радуют взор
суровой своей красотой.

Поднимаясь по склону горы,
каждый отыскивает свою
единственную скалу.

Там — веселый пикник, там — загорают, а там
фотографируются или просто сидят,
и у каждого есть своя
излюбленная скала.

Старики вспоминают старые дни:
как до крови плечо натирала
лямка бедняцкой судьбы;
заплаканные глаза не могли любоваться
красотой увитых цветами скал.

Помнят седые скалы приглушенные стоны и плачи
девушек, проданных в рабство.
Здесь крестьянские парни
в кровь свои кулаки разбивали о камни
от бессилья и горя.

Новое время пришло, но даже быстрым шагом
за счастьем трудно поспеть:
оно всегда бежит впереди.
Прекрасен мой отчий край,
древние горы в цвету — не налюбуюсь никак.

ТЕН МУНХЯН

Куроён

Прикасается небо к утесу —
и рушится вниз поток синевы.
Раз посмотришь: серебряный меч
рассекает со свистом скалу;
еще раз посмотришь: снежный буран
гудит, застилая взор.

Сколько бы ни созерцал,
не устанут глаза любоваться.
Тысячу раз и еще две тысячи раз
здесь меняются звуки и краски,
цвет неба, скал и воды.

Вблизи произнесенное слово
оглушает, как водопад.
Посетивший впервые эти места
незаметно переходит на шепот,
но в унисон с водопадом звучит его мысль.

Изумительны и могучи, вы —
единственные в мире Алмазные горы!
Я видел водопад Куроён — и теперь
удовлетворен вполне.

Над мостом Ченсендэ

Сквозь прозрачный туман
на золотистые сосны гляжу:
как будто вышили их
на склоне высокой горы.

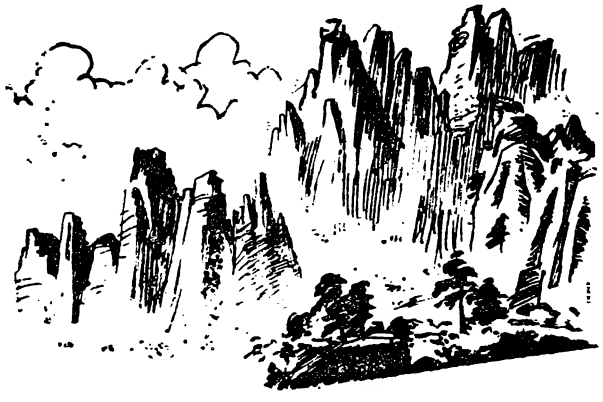
Над ущельем, рассекшим тропу,
как журавль, парит
висячий мост Ченсендэ.
И шумит внизу водопад.

Петляет тропа по склону горы Ондорен.
Гляжу — и диву даюсь:
здесь когда-то гремели бои,
но, как прежде, прекрасен Кымган.

Не забыть, как летели мы на врага
и сердца пылали в груди!
Как журавль, парящий над пропастью,
мост Ченсендэ,
твою красоту, отчей земли красоту
невозможно забыть.

Замедляя шаг, приближаюсь к тебе,
в думы свои погружен.
Всех, кто родился на этой земле,
всех, кто погиб за нее,
по именам не назвать.

Но живут в твоем имени все имена,
О народный Кымган!



Э. Л. ДОКТОРОУ

Жизнь поэтов

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Что-то онемел у меня большой палец на левой руке, опухоли как будто нет, но вон вены вроде бы вздулись, и больно отводить его назад, поднимать тяжелое. Было у меня это раньше? Ощущение, кажется, знакомое, может, еще обойдется, но набухшие вены, все прочее, нет, навряд ли, это или подагра, или артрит, если только — спаси господи! — не та жуткая болезнь, что скрутила Лу Герига[1], тогда каюк писателю.

К тому же шея у меня побаливает: нерв ущемлен. Связано это с пальцем? Что там происходит? Я настоящий Козерог, мне на роду написано изводить себя.

И еще, конечно, со слухом какая-то ерунда. Иной раз голос слышу, а слов не разбираю. Неужто это шейное ущемление что-то там сдавливает и отсекает меня от мира звуков? Как мне с этим бороться? Почему я не иду к врачу? Ах, развалина! Точь-в-точь тот полуразрушенный дом, что я видел на Шестой улице: сквозь дыры в крыше просвечивает небо, внутри растут, пробив полы, целые деревья, из всех щелей лезут буйные травы, из окон свешиваются ползучие и вьющиеся растения — джунгли посреди Манхэттена, интерьер в верховьях Конго, тьма и помет туканов. Обезьяний крик, о-о-о, смерть моя пришла! А в кромешном мраке подвала — плоская крокодилья морда с хищно уставленными на меня глазами.

Где она, легкость во всем теле, которой у меня никогда не было?

Где она, гармония духа и плоти, где она, та идеальная жизнь, в которой я задумчиво пережевываю здоровую пищу и маленькими глотками пью родниковую воду, двигаюсь философически просвещенным способом и дышу от диафрагмы, совершенный человек, вкусивший безмятежного покоя чувств, не ведающий ни угрызений совести, ни комплексов вины, ни мук стыда, полностью осуществляющий себя в каждое мгновение бытия, удовлетворенный прошлым и с любовью взирающий в будущее, как самый тощий коричневокожий гуру? Я и распрямиться-то без боли не могу.

Правда, курить я бросил, это уже кое-что, пива стараюсь не пить, узнал вкус свежего воздуха, узнал, что отруби полезны, ягоды мальпигии полезны, а сахар вреден, и соль вредна, и яйца, и всякие копчения, соления, маринады. Но это уже слишком! Весь город бегает, покупает диетпродукты, консультируется у врачей, пытаясь покончить с нездоровой жизнью на белом хлебе, все они бегут в своих тренировочных костюмах с соковыжималками под мышкой, нет уж, у меня и поважней дела найдутся. Что мне нужно, так это универсальное руководство к обретению высшей мудрости, скажем, такое

© E. L. Doctorow, 1984.

[1] ЛуЕриг (1903—1941) — известный в свое время американский бейсболист, умер от редкой формы паралича. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

особое бюро обслуживания для избранных в идеальном месте земного шара, где ты отдашь все деньги, какие имеешь и какие когда-либо думаешь иметь, а взамен получишь щедрый дар благодетельного, гигиенически сбалансированного, натурального, не тронутого радиацией света жизни и будешь себе жить и писать лет полтораста минимум, притом и в любовных делах никогда осечки не дашь.

Что прямиком подводит меня к нашему главному предмету.

В один прекрасный вечер Брэд зашел со своей подружкой в «Элио», а там — Мойра, его супруга, она пришла на обед, устроенный ее Женским политическим клубом.

— Знаешь, как я вчера влип? — спросил назавтра по телефону Брэд.

— Знаю, жена видела тебя с твоей приятельницей,— ответил я, потому что Энджел, моя жена, успела рассказать мне эту историю, потому что Мойра уже поделилась с ней. «Это было так унизительно,— жаловалась Мойра.— В конце концов, для меня не секрет, что о романах Брэда знает весь город, он же не пытается их скрывать. Но это уж чересчур: я там высказываюсь перед коллегами на сугубо феминистскую тему — и нате вам, является мой муженек со своей фифой под ручку».

— Что заказали? — спросил я у Брэда.

— Фирменные спагетти и калифорнийское красное. Думал, приду домой — и все кончено, точка, но Мойра только и сказала: «Я не поставила крест на нашем браке, Брэд, ведь в нем столько хорошего».— Он иронически рассмеялся. Брэд разъезжает по всему свету, собирая материал для своей постоянной колонки, а оказавшись дома, пропадает на теннисных кортах. Там он, кстати, и познакомился с той женщиной.

— Приятельница Брэда — не фифа,— неосторожно заметил я.— Она спортсменка.

— Ах, вот что,— сказала Энджел.— Как же она выглядит?

— Я не видел ее вблизи, только с соседней площадки. Красотка из комиксов. Тип бесстрашной героини.

И вдруг на Энджел нашла эта ее твердокаменная суровость:

— Законченный портрет Мойры! — воскликнула она.— Так оно всегда и бывает: они предпочитают баб, похожих на собственную жену.

Энджел коллекционирует истории о мужском вероломстве: там, в Нью-Хейвене, Ральф, после того как он порвал со своей девицей, имел бестактность вернуться домой к Рейчел в ярких трусах, приобретенных вместе с той особой. «Я отказываюсь больше твое нижнее белье стирать»,— заявила Рейчел, уроженка Венгрии. Красным был цвет, который выбрала возлюбленная для своего преподавателя-поэта, и по какому-то злополучному и неуместно символичному стечению обстоятельств трусы эти при стирке полиняли, и все простыни, полотенца и предметы одежды Рейчел, находившиеся в стиральной машине, окрасились во все оттенки красного. Ральф, кроме того, не постеснялся принести домой пластинки, которые дала ему та девица, и когда он слушает их, Рейчел убегает к себе наверх и закрывается: эта музыка пачкает ее сознание, подобно тому как краска выпачкала белье.

— Отчего мужики такие чудовища? — подивилась Энджел. Что правда, то правда. Ральф чудовищно правдив, у него какая-то страсть исповедоваться. Он рассказал Рейчел о своем романе, едва только тот начался. Надо ли говорить, что сам факт, что он с кем-то переспал на стороне, показался ей куда меньшим криминалом, чем его желание обсудить этот факт с ней, как если бы каким-то странным, извращенным способом он испрашивал ее одобрения.

Но вообще-то все слишком много треплются,— кто ту же Рейчел за язык тянул рассказывать обо всем этом? — наши женщины, жены

постоянно сплетничают и выбалтывают друг другу вещи, о которых, казалось, им должно было бы хватить ума помалкивать. Они посвящают посторонних в тайны своей личной жизни, и все обо всех становится тотчас известно, как будто все мы живем в каком-то общем семейном доме. Куда подевалось благоразумие? Где гордость? Откуда в нас эта бестактная откровенность?

И притом мне же приходится из-за этого страдать. Разводится, например, знакомая супружеская чета, и я слышу от своей жены, что вот еще один дефективный разбил жизнь прекрасной женщине, которая много лет назад имела неосторожность выйти за него замуж.

— Посмотри на любую пару среди наших знакомых,— говорит Энджел,— и увидишь: женщина лучше развита, она и начитанней, и умней, и, уж конечно, добрей своего мужа. Или возьми застольную беседу — и тут женщина куда интересней.

Кажется, эта шишка на щиколотке у меня заметно выросла. Вот черт. И в горле с утра першит. Я только-только от ларингита оправился, что со мной творится?

Но с другой-то стороны, жить в Гринич-Вилледж — это что-нибудь да значит, тут тебе предлагают все мыслимые средства предотвратить беду, так что я готов принять меры. В бесплатном журнальчике, подобранном в вестибюле, есть вся необходимая информация: для начала я мог бы прибегнуть к урокам пластики по Элигзандеру, которая является испытанным методом самопостижения, физической переориентации и гармонизации поз и движений, потом пойти купить Цветочные целебные средства Баха, заглянуть по дороге в Центр правильного дыхания, посетить Центр еврейской медитации и успокоения, записаться на занятия борьбой тай чи — эти плавные телодвижения вливают жизненную силу и здоровье, ну а если все это не поможет, я мог бы отдать себя в руки квалифицированного рольфера — специалиста по глубокому массажу тканей. Гурджиевский кружок тоже готов протянуть мне руку помощи; если же мне понадобилось бы дружеское участие, то к моим услугам Любящее братство, радеющее о том, чтобы сделать «нашу планету таким местом, где людям будет безопасно любить друг друга». Против этого не возразишь. Когда я разживусь кое-какой кухонной посудой, можно будет немного заняться готовкой по рецептам вегетарианца-гурмана, а потом, восстановив свой энергетический баланс, я, пожалуй, попробую увлечься какой-нибудь функциональной интеграцией по методу Фельденкрайса. Общество веданты поможет мне собрать все это воедино, а то еще я могу наведаться в местный филиал Резервуара успокоения и, погрузившись в раствор температуры тела, плавать в состоянии невесомости. Мне уже полегчало.

Пока же я буду продвигаться вперед по этим разнообразным путям к совершенству, не мешает, пожалуй, взять пару уроков каратэ или дзюдо, чтобы я мог как следует отделать всякого, кто попытался бы остановить меня.

Еще одна пара, за которой все мы наблюдаем, это Луэллин и Энн. Луэллин, он у нас дзэн-буддист, отбыл в Вермонт, где проведет три месяца отшельником. По возвращении домой он опять отрастит волосы, но когда-нибудь в будущем году снова обреет голову и удалится на четыре месяца или на пять месяцев, намерения у него самые серьезные, и кто знает, чем все это кончится, ведь рано или поздно они дают обет безбрачия, верно? А что же тогда станется с Энн? Уже сейчас она должна ездить в Вермонт, чтобы повидаться с мужем. Луэллин не первый год исповедует дзэн и фактически поднялся до ранга монаха. Это, конечно, еще не сэнсэй, но тоже достаточно серьезно. В этот последний раз Энн устроила перед отъездом Луэллина проводы, сама она держалась молодцом, выражая своим видом стойкость и оживление, все мы пили, ели, смеялись и веселились, но Луэллин сидел туча тучей. По-моему, он дулся на нас из-за того, что

мы не пытались уговорить его остаться — тогда бы он чувствовал себя настоящим героем. Но зачем бы мы стали его уговаривать? Все равно он уже обрил голову, бедный колючий Луэллин. В этом своем облике отшельника-аскета он очень хорош, невысокий, с круглым, крепким брюшком, а когда снимает роговые очки, вы замечаете, какие у него плоские, прямо-таки азиатские, скулы, какой шафрановый цвет лица; вообще, чем больше он постигает дзэн, тем сильней меняется его внешность. Я ничуть не сомневаюсь в способностях Луэллина как дзэн-буддистского монаха, я вообще все ему прощу за то, что он такой хороший поэт. К тому же мне нравится, что эти монахи заняты только собой, не чужды снобизма, характер имеют скверный, во всех своих неудачах винят жен, ворчат на детей и страшно злятся, когда проигрывают. Сдается мне, я как-нибудь и сам попытаюсь стать монахом дзэн-буддистом.

Но я веду речь о парах, которые уже не вполне вместе, я веду речь о «безмерно трудном деле сердца». Строка Делмора Шварца[1]. В войне, которая идет между Энджел и мною, мы достигли стадии, когда в бой посылаются другие супружеские пары. Луэллин — моя тяжелая артиллерия, его пример намекает на наличие некой таинственной потребности, не поддающейся строго объективному анализу, некой стихийной тяги к самореализации, присущей мужчинам нашего возраста и не объясненной поведенческими науками. Он по двадцать часов в сутки сидит по-турецки в какой-нибудь насквозь продуваемой фермерской хибаре, я хочу сказать, эти дзэн-буддисты действительно занимаются в своих отшельнических кельях медитацией, никакого секса, ни-ни. И единственное возражение, которое только смогла выставить Энджел в порядке защиты, сводилось к тому, что она, мол, всегда ощущала в идее дзэн-буддизма эгоистический душок, но я наверняка буду знать ответ на это, если постигну мой дзэн, которого я не постиг, что как раз и означает, что постиг.

Ого, вон еще один, они совершают набеги сюда, сразу видно, это отчаянные смельчаки, они же не виноваты, что ползают и внушают отвращение. Их легче рассмотреть, если сыпануть на них борную кислоту,— тогда они тащатся вперед с упорством полярных исследователей. Почему мы их так ненавидим? Этот малый взобрался на девятый этаж над уровнем улицы, он колонизирует высотный дом, удостоенный архитектурной премии, он с энтузиазмом несет в этот пустынный неведомый мир твердых и ярко освещенных плоскостей, в это минеральное царство, где, как на поверхности Луны, ничего не растет, тараканью цивилизацию. Тут я как-то хлопнул ладонью по кухонному столу позади одного из них — хотел посмотреть, что он сделает, так он вместо того, чтобы суетливо побежать к краю стола и укрыться под столешницей, взял и прыгнул в ущелье между столом и холодильником, они делают как раз то, что надо, чтобы спастись, настоящие Буч Кэссиди и Санденс Кид[2]; просто поражаешься их хитрости, они и сами себе дивятся, в стрессовой ситуации их поступки, так же как и наши, непредсказуемы; может, потому-то мы их и ненавидим.

По-моему, это они удерживают Энджел от того, чтобы вселиться сюда вслед за мною. Когда я приезжаю домой, она опасается, не привез ли я их в своем багаже. А когда Энджел, бывая в городе, поднимается ко мне выпить чего-нибудь вместе со мной, она, прежде чем сесть, оглядывает стены, потолок, пол. Может, чем чаще они будут попадаться ей на глаза, тем больше она станет к ним привыкать. Только не верится: Энджел — страшная аккуратистка, самая большая чистюля на свете; когда у нее нет других дел, она моет, прибирает, наводит чистоту, выбрасывает; даже Природа беззащитна пе-

[1] Делмор Шварц (1913—1966) — американский поэт, прозаик и литературный критик.

[2] Герои одноименного фильма-вестерна.

ред лицом ее беспощадной любви к порядку, она все время что-то выпалывает, обрезает, подстригает, ей нравится—и я много раз намекал ей на это — оттяпывать все, что торчит; но в самом доме, ее доме, упорядоченность вселенной доведена до такой степени, что беспорядку просто неоткуда взяться, он пресекается в зародыше, мне приходится на лету перехватывать недопитую чашку кофе, которая норовит улететь со стола, вцепляться в свою обеденную тарелку, вытаскивать из мусора нераспечатанную почту, прижимать к груди утреннюю газету, привязываться к лестничным перилам, чтобы не быть унесенным бурей ее уборки. Уж не меня ли она старается вымести? Как-то на прошлой неделе она позвонила в самом приподнятом настроении и счастливым голосом сообщила: мастер только что установил новый анаэробный бачок в санузле. Так хотелось разделить ее радость. Я сказал: почему бы не устроить по этому поводу большой прием с посещением каждым из гостей туалета?

Все утро эти люди в белых шапочках устанавливали леса как раз на уровне вывески «Юнайтед тред милз» на доме напротив. Издали они похожи на маляров, но это не маляры — они что-то вколачивают в кирпичную стену.

Вчера вечером Пол закатил обед по случаю дня рождения Бриджит, которую он любит, но назвать своей женой не торопится. Пол — киносценарист и любит Бриджит отчасти за то, что она не актриса, не связана с театром и не имеет желания писать сценарии или ставить фильмы. Он заказал столик в «Тексаркане», потому что город Тексаркана где-то совсем рядом с ее родным Новым Орлеаном. У Бриджит зеленые глаза и рыжие волосы, там, на Юге, она водила компанию с политиканами из демократической партии. С кем поведешься, от того и наберешься. Она припасла для нас анекдот:

— Зачем бабе...? — Мы молча ждали.— Чтобы мужика разговорить!

Энджел находит Бриджит очень славной. За столом нас было три пары, третья — это Фредди и Пия. Фредди из кожи лезет вон, пытаясь показать, что присуждение ему Пулитцеровской премии в области литературы не подмочило его писательскую репутацию. Он обожает Пию, миниатюрную красавицу с живым умом, приятной улыбкой и хорошей должностью в рекламном агентстве, но с женитьбой, подобно Полу, не торопится. Тем не менее оба союза, кажется, достаточно прочны, как это, по моим наблюдениям, и бывает, когда разница в возрасте между мужчиной и женщиной составляет не меньше двадцати лет. Иногда Фредди и Пия идут куда-нибудь развлечься вместе с Кимберли, дочерью Фредди от раннего брака. Пия и Кимберли отлично ладят друг с другом, а почему бы им не ладить: обе принадлежат к одному поколению.

Между прочим, самым эротическим танцем, какой мне только довелось видеть, был вальс, который танцевал отец с тринадцатилетней дочерью на еврейском празднестве в отеле «Пятая авеню». Сколько ни с чем не сравнимого экстаза было в том, как кружил красавец отец изящную тонкую девочку в черной бархатной блузке и белых чулках, откинувшуюся ему на руку, как смотрели они, вальсируя, друг другу в глаза.

— Иной раз гляну я на себя,— сказал как-то Фредди,— и кажется мне, что у меня большой. А в другой раз гляну — и не знаю, вроде бы маленький.

А Брэд однажды признался, что терпеть не может принимать ванну, потому что ему неприятно смотреть на свое тело.

Мой друг Саша, напротив, сидит в ванне часами: поставив поперек ванны пюпитр, он пишет собственные рассказы и читает рассказы своих студентов, так что фактически вся его интеллектуальная жизнь проходит в воде.

Сэм рассказывал мне, что он даже зимой сигает после сауны в

озеро позади его дома. Недаром он стал знаменитостью. Сэм, самый красивый, самый популярный киноактер в мире, как-то раз сказал Фредди:

— Я совсем одинок, у тебя есть знакомые девушки?

Как вы понимаете, я толкую не о разведенных супругах, а о парах, которые не вполне вместе. Пожалуй, тут будет полезно провести кое-какие различия. На одном полюсе находятся традиционные браки, когда супруги ссорятся, кричат и давят друг другу на мозги, как какая-нибудь ужасная опухоль, покуда один из них не умрет. У моих родителей был классический, прямо-таки хрестоматийный брак этого образца. На другом полюсе — браки, подлежащие немедленному расторжению после нескольких месяцев, дней, часов супружеской жизни, браки, столь очевидно несчастливые и обреченные, что даже адвокаты, которых призывают расхлебывать кашу, не напускают на себя вид крайней озабоченности, а по возможности быстро и эффективно утрясают дело.

Между двумя этими полюсами колеблются, приближаясь то к одному, то к другому архетипу, но не желая становиться ни одним из них, браки людей моего поколения.

Понял, что они делают: они прикрепляют леса к кирпичной стене и, взбираясь вверх с этажа на этаж, поднимают за собой эту конструкцию. Вчера они были на «тред милз», сегодня — шестью футами выше, на «Юнайтед». Лицом к стене, как какие-то скалолазы, они знай себе колотят молотками на высоте четырех этажей над Вест-Хьюстон-стрит. Странно, что сквозь весь уличный грохот, громыхание грузовиков, автомобильные гудки, завывание сирен мне явственно слышен звонкий стук их молотков.

А там внизу, под ними, загибаясь дугой, вытягивается из-за угла Грин-стрит вереница взявшихся за руки малышей, похожая на гирлянду развевающихся разноцветных флажков. Ее тянет за собой учительница, от усердия она даже наклонилась вперед — ни дать ни взять старенький моноплан тащит по небу пеструю рекламу.

Итак, мы имеем дело с особым феноменом супружеских пар, которые, оставаясь мужем и женой, живут уже не вместе: это и не традиционные супруги, и не разведенные. Мужья перебираются в свои собственные норы, в долгие дни и ночи наедине с собой. Они освобождаются из плена привычного. Как это начинается? После нескольких лет семейной жизни начинаешь как бы чего-то ожидать, ты даже не отдаешь себе в этом отчета, просто тебя настораживает нечто на опушке леса, ты перестаешь мирно пастись и поднимаешь голову, но оно неуловимо, это щемящее чувство, что появляется во всех случаях и обстоятельствах жизни, когда мы тратим время, теряем время, убиваем время. Разве не так, приятель? Я хочу сказать: будь снисходителен к моим доводам, хоть ты и думаешь, что они сильны лишь количественной стороной. Ты замечаешь вдруг, как с ошеломляющей быстротой уходят мужчины моложе тебя, скошенные инфарктами миокарда, эмболиями, аневризмами, разными формами рака и всевозможными другими скоротечными неизлечимыми болезнями, уходят, не успев свершить дело своей жизни. В одночасье настырный нахал превращается в унылого меланхолика, большие планы и смелые замыслы оборачиваются жалким зрелищем, сшитые на заказ костюмы в шкафу — призраками прошлого. А то, что они совершили, эти крикливые, напористые, пробивные деляги, оказывается на поверку постыдно малым, мелким, незначительным, весь этот шум и крик был, как выясняется, саморекламой. Так вот, в свои пятьдесят я обнаружил, что это безудержное стремление к одиночеству носит характер пандемии, и возвещаю о своем открытии. Я совсем не хочу сказать, что все мои знакомые — люди неудачливые, неполноценные, неудовлетворенные. В общем-то мы все вполне на высоте. Это, похоже, в самой жизни что-то не так.

Если уж на то пошло — как сказал я моему приятелю Саше, заглянувшему ко мне выпить и осмотреть мою берлогу,— я как-никак кое-что написал, завоевал признание, заработал достаточно денег, у меня четверо детей, которых я люблю и которых надеюсь в скором времени поставить на ноги. Жена у меня смышленая и недурная собой особа. У нас есть дом с закладной в лесу и еще один дом с закладной на взморье, я вполне мог бы позволить себе поехать путешествовать куда угодно, а что касается худших подозрений Энджел, насчет того, какими делами я стану заниматься в этой квартире для работы, которую я обустроил для себя в излюбленном районе богемы, то уверен, что нашлось бы с полдюжины женщин, из которых любая с радостью откликнулась бы на предложение провести со мной ночь, стоит мне только свистнуть. Полдюжины — это по самой скромной оценке. Они прикатят издалека на автомобиле, прилетят из других городов на самолете. Однако я никому не звоню, я живу затворником — человек, которому состоянием покоя служит безутешность. На улице я чувствую себя бродягой, в глазах у меня — жгучее отчаяние.

В почке у меня — мучительное колотье.

Господи, поживешь немного в Нью-Йорке и перестаешь обращать внимание на полицейские сирены: услышишь — и головы не поднимешь. Вот только что я мог бы наблюдать из окна своего девятого этажа, как внизу, на Хьюстон-стрит, полиция в полном составе проводит арест: три припаркованные наискосок патрульные машины, парочка сине-белых мотороллеров, десяток полицейских и детективов в штатском, что толпятся возле бензоколонки «Мобил», и один арестованный — худой малый с руками в наручниках за спиной, которого заталкивают в машину с крутящейся красной мигалкой на крыше. А я корпел над последним абзацем и пропустил такой спектакль.

Вся округа, разумеется, полна людьми, желающими преуспеть. Алкаши выходят на проезжую часть улицы со своими немыслимо грязными замасленными тряпками и протирают ветровые стекла автомобилей, остановившихся на красный свет, после чего протягивают руку за чаевыми. Они никогда не угрожают, их можно запросто прогнать, только вы-то этого не знаете, если приехали из Нью-Джерси. Потом они вернутся на тротуар, закурят и станут прохаживаться и посмеиваться, пока снова не зажжется красный свет. В холода они разводят костерок в железном бочонке из-под масла.

Внизу швейцар Джек ловит свой шанс обогатиться. Он прикован к одному месту, какие уж тут шансы? Но он сделался предпринимателем, ведь мимо него проходит за день столько людей, в этой многоэтажке живет, наверно, человек шестьсот. Джейк улыбается, исполняет поручения, хранит свертки, подносит сумки, присматривает за машинами, за детьми, принимает чаевые. Кроме того, он оказывает посреднические услуги уборщицам, мойщикам окон, автомеханикам, дезинсекторам.

— Ваш швейцар Джек добряк,— говорит он,— но бедняк. Хотите, он помоет вашу машину? Хотите, он поставит ее в гараж? Если вам нужно натереть полы, он возьмет напрокат полотер и доведет их до блеска после работы. Если вам нужно перевезти мебель, он пойдет и пригонит фургон. Починит вам тостер. Покрасит вам стены, ваш швейцар — мастер на все руки, универсальное бюро обслуживания.

Ваш швейцар добряк, но бедняк. У меня есть теплое альпаковое пальто. В один прохладный день он внимательно оглядывает меня.

— Когда доносите его, вспомните обо мне. Вот такое пальто мне подойдет.— Лукавая улыбка, крупные зубы, он любит одеваться со вкусом, черный красавец с усиками. Ему также нравится моя шляпа.

Как бы удобно все сложилось, если бы мы с женой продолжали ладить. Ведь в конце концов все остается на своем месте.

— Худшие годы у вас позади, те, что остались, должны быть хорошими,— убеждает меня фрау доктор. Должны-то должны. Я пытаюсь вообразить себе безоблачную любовную идиллию, совпадение нежных чувств, простодушную щедрость мягких губ, смех и прилив желания, радостное ожидание завтра.— Поймите, ваша мечта — это предостережение,— говорит фрау доктор. Она явно не в восторге от моей теории расслабленных брачных уз.— Вы приближаетесь к последнему пределу, за которым любое решение будет лучше того, что вы вытворяете с собой сейчас.

То же сказал и мой друг Саша, осмотрев эти голые стены.

— Ты или въезжай, или уж съезжай,— так он сказал.

И вот на днях я встречаюсь с Энджел, и мы идем на благотворительный вечер Женского политического клуба, об устройстве которого и толковала Мойра с коллегами на обеде в тот раз, когда на нее нарвался ее муж Брэд со своей подружкой. Благотворительный вечер проводится в роскошных апартаментах на Бикмен-плейс и состоит в том, что сперва все толкутся в библиотеке и потягивают вино из бокалов, после чего собираются в гостиной, чтобы прослушать программу выступлений певиц из бродвейских шоу: каждая поет под аккомпанемент рояля песни о женщинах — о том, какие они сильные, и стойкие, и вообще замечательные, и способные вынести все, но, с другой стороны, как нужно им бесстрашие, чтобы попытаться расправить крылья или позволить своей душе взлететь, как бабочка. В последний момент перед началом пения я замечаю, как Брэд осторожненько ставит свой бокал с вином на ореховый приставной столик стиля «ар-деко»[1] и исчезает в направлении парадной двери. Я же, как дурак, застрял в толпе у дальней стены позади рядов занятых стульев, так что волей-неволей должен дослушивать концерт до конца.

Пианистка задает тон: звучат лирические арпеджии, эти плещущие аккорды и драматические басовые октавы шоу-бизнеса, и вот он, воплощенный феминизм в облике омерзительной бродвейской лицедейки — рот широко открыт, руки обнимают воздух, чешуекрылые ладошки складываются и раскрываются, а женщина-фотограф вспрыгивает на стул, чтобы запечатлеть все это.

Но последний номер программы на удивление хорош, выходит маленькая такая певица, вот у кого настоящий шик, в этом своем модном мятом костюмчике, сшитом у классного портного, и шелковой блузке с открытым воротом она выглядит сногсшибательно. Засунув руки в карманы жакета, певица поет по-французски американскую популярную песню со страстной свирепостью Пиаф, а потом вынимает руки из карманов и яростно читает текст песни по-английски, этой песни о женской любви; она говорит тому мужчине, который вернулся, которому она нужна, который хочет быть с ней: ничего, я выживу, я проживу! Она сумела-таки расшевелить аудиторию: когда она говорит тому мужчине в песне, чтобы он убирался, она не примет его обратно, она не желает его больше видеть и проживет без него, по гостиной пробегает волна возбуждения, отовсюду слышны одобрительные возгласы, и прямо взрыв аплодисментов раздается после того, как она, уходя, бросает последние слова — их нет в песне, певица сама их придумала: «Эй, погоди, куда же ты?»

Кто куда, а я вниз к почтовому ящику, погляжу, не пришло ли письмо от Смуглой леди моих сонетов.

Что делать, может придет завтра. А пока удовольствуемся ворохом просьб о пожертвованиях: конец года, время платить подоходный налог, а пожертвованные деньги как-никак исключаются из облагаемой суммы. Спасите китов. Спасите тюленят. Спасите бразильские джунгли. Бразильские джунгли? Ах, вот что, они исчезают пря-

[1] «Ар-деко» — декоративный стиль, отличающийся яркими красками и геометрическими формами (20—30-е годы XX века).

мо на глазах, это же миллионы и миллионы квадратных миль. Гибнут бразильские джунгли, а заодно гибнет вся экосистема планеты, климат становится ни к черту, мы вступаем в новый ледниковый период.

Господи, вот уж не думал, что мне придется тревожиться за судьбу бразильских джунглей. Спасите детей. Спасите Вашу альма-матер, шлите деньги священнику — руководителю приюта на Таймс-сквер для бездомных малолетних проституток, спасите Билль о правах, избавимся от личного огнестрельного оружия, отменим молитву в школе, спасите индейцев — коренных американцев, спасите черных, спасите нас от самих себя, боже ты мой, спасите нас от пьянства, от лишая, спасите нас от загаживания космоса, и от нашего улыбающегося избранника, и от хмурого Черненко, и спаси нас боже от их трещоток.

По большей части эти почтовые отправления даже не на мое имя, они адресованы безликому обитателю квартиры 9 Е. Ну что ж, приятно, когда твоему появлению в округе рады. А какие здесь новости? Понятно, почему членов банды китайских подростков подозревают в убийстве четырнадцатилетнего Кай Фанчена: они на днях учинили потасовку на вечере для старшеклассников азиатского происхождения. Пляшущие демоны — так называется эта банда, но где орудует одна банда, обязательно уж появляется вторая, и у Пляшущих демонов есть заклятые враги — Призраки ветра. Призраки охраняют своих клиентов, содержат незаконные игорные притоны, может быть, кое-чем приторговывают. Демоны занимаются тем же самым в соседнем квартале. Время от времени между тайными китайскими обществами вспыхивает война, и тогда доходы у всех падают.

Мало кто из моих знакомцев знает, что китайский ботаник-иммигрант родом из провинции Сычуань скрестил в 1926 году китайский апельсин с бельгийским и положил таким образом начало американской цитрусовой промышленности.

У входа на станцию подземки «Астор-плейс» китайчата-газетчики продают маоистские листки. По большей части девочки. Дело у них тут поставлено. Как и всякие прочие китайские дела.

Когда я еду теперь подземкой, у меня складывается впечатление, что здесь, под землей, куда больше не заглядывает никто из моих знакомых — все они давно пересели в такси,— только и начинаешь путешествовать по-настоящему. Здесь я возвращаюсь в иммигрантский мир, читаю рекламное объявление телефонной компании, извещающей нас, что отныне телефонный справочник издается и на испанском языке, гм, любопытно, вижу рисунки краской на станционных платформах, и это любопытно. С ходу разгадываю одну тайну — когда-нибудь я найду объяснение всем этим загадкам: линиям в пустыне Наска, каменным изваяниям острова Пасхи, Стонхенджу, кораблям в море без единого человека на борту и так далее,— но сейчас я хочу объяснить тайну граффити. Так вот, граффити — это тоска закупоренного сажей сердца горожанина по солнечной жизни тропиков. Велите мэру раскрасить вагоны подземки в яркие тропические цвета, и никто не станет мазать их краской. И наушники — тоже любопытная вещь. Окидываю взглядом вагон: один, два, три, четыре, да четверо в наушниках, прицепленных к миниатюрным магнитофонам. А вон какой-то чудак из прошлого — читает книгу. В детстве я читал в подземке книги, взятые в библиотеке; долгие недели, совершая по средам поездки по линии Ай-ар-ти к врачу на уколы от аллергии, я погружался в толстенный том «Отверженных», мне нужно было знать, что у Жана Вальжана жизнь была еще разнесчастней моей. Но слушать музыку в пасти дракона? Кто они, эти люди, что слушают и слушают, возвращаясь в состояние неграмотности? До того, как мы придумали письменность, в мире царила иная система представлений: голоса отделялись от тела, люди рассказывали сказки, духи говорили

устами шаманов, мы были братьями всякому зверью, верно ведь? Господь бог перестал говорить людям только после того, как они написали об этом в Библии. А с другой-то стороны, какая, в конце концов, разница: вы даете людям наушнички — они надевают их, показываете им экран — они пялятся на него, произносите заклинание — они впадают в транс, поете — они подпевают. Носят то длинное, то короткое, одно время все эти болваны в барах были в широкополых ковбойских шляпах; что до меня, то я еще не нашел головного убора, который сидел бы на мне как надо, ни в одном из них я не чувствую себя хорошо и покойно; мягкие фетровые шляпы любых фасонов, тирольская шляпа, охотничья шляпа, каракулевая шапка, кепи бейсболиста, берет, зюйдвестка, каскетка, фуражка, тропический шлем и стальная каска — все они выглядят на мне дурацкими бумажными колпаками. Да что там шляпы, на мне всякая одежда сидит как на корове седло, ни одна вещь не бывает мне впору, всегда что-то не так: или пуговицы не на месте, или на спине морщит, или с галстуком не смотрится, или без галстука носить нельзя, водолазки мне не идут — шея толстая, очки-консервы не годятся — глаза близко посажены, если с рубашкой все в порядке — подходящие брюки в чистке, я не ношу жилетов, спортивных шортов, цепочек, брелоков, часов, колец, шейных платков и черных галстуков. Уютно я себя чувствую только в старых свитерах, потертых вельветовых штанах и стоптанных башмаках, тут нет ни капли выпендрежа: вот, дескать, какой я Эйнштейн; нет во мне никакой угрозы тебе, мир; посмотри, какой я доброжелательный, этакий немного озабоченный, рассеянный субъект, без претензий на сексапильность, я роняю мелочь и теряю ключи, у меня мальчишеская улыбка, мой вид привлекает заботливо-собственническое внимание женщин, я мягкий и симпатичный, мой любознательный ум не отравлен гневом.

Говорят, у Джини с Ником все в порядке, они, мол, прекрасно ладят, и я рад за них, но Ник отмочил странную штуку, ему только что стукнуло пятьдесят, и он выкопал в подвале своего дома громадную яму. Они живут в Филадельфии, в городском особняке, все четыре этажа которого являют собой картину тщательно спланированной и со вкусом оформленной по последнему слову дизайна роскоши, причем верхний этаж целиком предоставлен Нику для его занятий, тут и кабинет с персональным компьютером, и гимнастический зал с велотренажером и подвесной грушей. Джини, она режиссер программы местных новостей на телевидении, целый день на работе, их ребенок рано утром уезжает в Фоксглав, или где там находится его школа, но Ник, показывая мне недавно свое жилье, жаловался на то, что ему тут тесно, беспокойно, от Джини некуда укрыться, она покупает ему вещи, устраивает сюрпризы, то оборудует кабинет какими-то светильниками, то водрузит туда полный Оксфордский словарь английского языка в семнадцати томах, ему душно тут, он задыхается. И тогда, рассказывал он, сопровождая меня в подвал и дальше вниз по лестнице, он нанял подрядчика, и полдюжины рабочих с лопатами вручную вырыли котлован в холодном плотном грунте колониальных времен под домом и соорудили ему абсолютно звуконепроницаемый кабинет, где нет телефона и куда не допускается никто, ни жена, ни чадо. Он отпер ключом висячий замок на двери, включил свет и ввел меня внутрь.

— Потрясающе, Ник! — вымолвил я, поймав его свирепо торжествующий взгляд.— Просто замечательно! — восторгался я, стоя в этой промозглой подземной пещере и восхищенно разглядывая капли, выступившие на деревянной облицовке. Пошлю ему в подарок бочонок амонтильядо.

Звонок.

Привезли книжные полки: светлый праздник души.

Черт побери, они же не собраны! Пусть провалится в тартарары тот человеконенавистник, который придумал эту гнусность — «сделай сам». Пусть сидит там в дерьме и «делает сам» до второго пришествия — я по его милости палец себе разбил, сколько металлических заноз в ладони всадил. «Изготовлено в Югославии»... Дружище Тасич родом из Дубровника, ну, попадись он мне, достанется ему на орехи!

А вот и худший из всех часов: налив себе выпить за мои первые дни свободы, я делаю глупость — звоню Энджел. Она, конечно же, тоже наливает себе, и мы говорим с бокалами в руке.

— Как дела в серале? — вопрошает она.

— Брось, Энджел, не заводись.

— В тот вечер у Дэвида и Норы мне стало так обидно, когда ты сказал при всех, что у меня, мол, будет право посещения.

— Так я же в шутку!

— Никто что-то не смеялся.

— Я здесь работаю, Энджел, это моя келья отшельника, все равно что ашрам у Луэллина, или как он там у него называется.

— Когда объясняешь ты, Джонатан, это звучит куда как убедительно. Когда же пытаюсь объяснить это я, на меня смотрят как на законченную дуру.

— Так ведь правом посещения пользуются родственники тех, кто сидит в тюрьме. Вот я и хотел сказать, что писатель — тот же узник, метафорически.

— А фактически в изоляции-то оказалась я. Ты же от меня заперся.

— Мы все это с тобой обговорили, Энджел. Я не даю тебе ключ, чтобы чувствовать себя тут полным, безраздельным хозяином, знать, что это моя собственная территория, место, где я могу уединиться и работать.

— Не подумай, Джонатан, что мне очень надо вламываться к тебе. Просто у меня в голове не укладывается, что мне не доверяет мой собственный муж.— Помолчав, она продолжает: — К тому же, по-моему, это неправильно, что ключ только у тебя: мало ли что может случиться.

— Что именно?

— Не знаю. А вдруг ты заболеешь? Двигаться не сможешь? Ногу, например, сломаешь или инфаркт, инсульт?

— Спасибо за заботу, Энджел.

Господи боже мой, она уже застолбила эту квартиру: оставила сушиться на стойке душа комбинацию, повесила в шкафу свой купальный халат, поставила в аптечку жидкость для контактных линз. Чего ей неймется?! Куда я — туда и ей надо. Иной раз собираемся куда-нибудь, так она возьмет и в мои цвета оденется. И дался ей этот мужской стиль: полотняные пиджаки и широкие брюки летом, галстук, завязанный свободным узлом под воротником. Вообще тут сам черт не разберется: в этом году все они вырядились в мужское. До всех-то мне дела нет, но на ней видеть этот маскарад противно. А то еще, бывает, начнет задумчиво потирать подбородок в серьезном разговоре — точь-в-точь как я.

Понял теперь, что они там делают: кирпичную стену долбят, окно пробивают. Уже отколотили кружок у буквы «Ю» и левую палочку от «н», смотри-ка, они уничтожают «Юнайтед тред милз», нет, как вам понравится, эти парни топают там по лесам на уровне четвертого этажа, рискуя сломать себе шею, ради удовольствия какого-то психа, пожелавшего иметь дневной свет на чердаке! Спуститься вниз им не по чему, так что хочешь не хочешь — прошибай стену и лезь внутрь через пролом. Холодина к тому же, вон мачта на Центре мировой торговли совсем примерзла к небу.

Так вот, жеребьевка присяжных. Я стою в списке кандидатов в члены жюри, создаваемого для слушания дела по иску одной молодой особы; она подала в суд на трест-конгломерат, которому принадлежит сеть однотипных курортных отелей со специализацией на устройстве увеселений для холостых мужчин и незамужних женщин. Истица, Дердра Х., поехала — одна, без спутника — на Карибское море пожить в таком отеле, носящем какое-то ужасно пошлое название, «Остров капитана Флирта», кажется. Реклама сулила ей много приятных знакомств и максимум развлечений, о чем, мол, позаботится администрация отеля. В один прекрасный день, например, ее и других постояльцев отвезли на автобусе на восхитительный безлюдный пляж, щедро угостили ромом и пьяным пуншем и принялись развлекать разными играми и спортивными забавами. В дальнейшем обществу дали понять, что этим играм и забавам лучше всего предаваться в чем мать родила. По признанию Дердры Х. она отпустила тормоза и резвилась на солнышке голышом. Ей приглянулся один молодой человек, тоже резвившийся голышом. Компания разделилась на парочки, одна за другой исчезавшие за дюнами, после чего и они, смущенно посмеиваясь, поспешили к укромной прогалинке, видневшейся в зарослях высокой травы. Под шепот ласкового ветерка и плеск голубых карибских волн Дердра Х. занялась с молодым человеком оральным сексом. Об этом в самых что ни на есть деликатных выражениях рассказывал, пересыпая свою речь мудреной юридической латынью, ее адвокат, двойник Бобби Кеннеди в коричневой тройке. Кандидаты в присяжные слушали как зачарованные. Никогда еще ни у одного юриста не было такой внимательной аудитории. Его клиентка, повествовал он, продолжала вышеозначенное занятие, как вдруг из зарослей выскочили трое туземцев-островитян; они отколошматили беднягу партнера Дердры Х., а саму ее утащили в кусты и изнасиловали.

Преступников поймать не удалось. Дердра Х. утверждает в своем иске, что отель «Остров капитана Флирта» и его владелец-конгломерат обязаны были позаботиться о том, чтобы на пляже можно было безопасно предаваться занятиям, приведшим в данном случае к совершению акта насилия над ее личностью.

Двойник Роберта Редфорда[1], отрекомендовавшийся адвокатом ответчика и тоже облаченный в коричневую тройку, заявил: мы утверждаем, что данного инцидента вообще не было, но даже если бы он и произошел, отель «Остров капитана Флирта» никоим образом не может отвечать за последствия стиля жизни Дердры Х.

Под тем предлогом, что нас нужно ввести в курс дела, чтобы можно было судить о степени нашей объективности, оба адвоката беззастенчиво склоняли нас в пользу своих клиентов. Никто из судей при сем не присутствовал, был только служащий суда, крутивший лотерейный барабанчик и выкликавший фамилии кандидатов, которым выпадал жребий занять место на скамье присяжных. Мне ужасно хотелось попасть в число вызванных. Многие, впрочем, получали отвод. Незамужней женщине одних лет с истицей не оставлял ни малейшего шанса адвокат «Острова Флирта». Ни один чернокожий мужчина не мог надеяться пройти в жюри ввиду неминуемого возражения со стороны адвоката Дердры Х., как и ни одна женщина, которая по возрасту годилась бы Дердре Х. в матери. По одному, по двое отвергнутые кандидаты уступали свои места на скамье новым соискателям. Если это дело и впрямь будет слушаться в суде, оно произведет сенсацию. Интересно, до какой же степени должны измениться нормы общественной морали, чтобы стало возможно такое: женщина, желая добиться справедливости, публично дает показания относительно своей интимной жизни и эротических наклонностей. А многонациональный конгломерат, промышляющий торговлей сек-

[1] Роберт Редфорд (род. в 1937 г.) — известный американский киноактер.

сом, в порядке защиты порочит доброе имя всякого, кто купит его товар. Вот такая любопытная картина, я был в полном восторге.

Увы, меня не вызвали. Я постарался запомнить фамилии адвокатов и позвоню тому или этому — узнаю, чем дело кончилось. А пока что Дердра Х. не выходит у меня из головы. Она сидит и ждет, одетая в строгий темный костюм и белоснежную английскую блузку с гофрированным воротничком. Лицо ее отмыто от косметики, губы не накрашены, взгляд гордый и непреклонный. Самое печальное в ее истории то, что, страдая от одиночества, она позволила, чтобы ее соблазнил трест. Над ней надругались, подбив ее обнажиться под упакованным в целлофан солнцем отеля «Остров капитана Флирта». Пафос же ее истории состоит в том, что она нашла в себе мужество вновь раздеться донага, на сей раз в зале суда, если уж без этого нельзя добиться справедливости или хотя бы приличной компенсации от вероломного супруга мира грез, этого высшего существа, воплотившего рекламный идеал машины для делания денег и обернувшегося насильником.

Может, в следующий раз Дердра, как и большинство нас, грешных, заведет роман с живым человеком и ей больше не придется давать в суде показания о своих сексуальных привычках — пока она, выйдя замуж, не подаст на развод.

Вчера вечером — выпивон с Мэттингли, моим другом, художником, певцом каменистой пустыни, он приехал сюда на выставку. Как приятно вернуться в компанию своих сверстников. Он объявляет, что разошелся со своей третьей женой, Марико. Не потому, как я мог бы подумать, что он наконец нашел женщину, которую искал всю жизнь, искал с такой яростной одержимостью, что приобрел славу легендарного ходока, героя сплетен и пересудов художников, как ныне здравствующих, так и опочивших, хранителей музеев, коллекционеров, искусствоведов и прочих восторженных очевидцев его феноменального усердия. И не потому, как я мог бы предположить, что Марико наконец изверилась в нем, выгнала его вон как прелюбодея фаустианского размаха, каковым он во всей красе выказал себя (ведь и то сказать, герой романов студенток художественных училищ по всей Америке, от Биг-Сура в Калифорнии до Бостона, он, должно быть, переполнил чашу терпения даже этой безропотной души, этой верной маленькой японки с ее проникновенно-серьезным взором и спокойным изяществом манер), а потому, что она, Марико, завела любовника. Она!

Мэттингли не склонен задумываться над тем, насколько не в характере его жены подобный поступок. По его словам, больше всего его убивает не самый факт измены, а то, что Марико связалась с кретином, Мэттингли с ним знаком и считает его невероятным болваном, вот чего он никогда ей не простит. Посему мой друг покинул свое жилище в пустыне и переселился в Санта-Фе. Между прочим, Марико теперь хочет, чтобы они снова сошлись, но что до него, то между ними все кончено. Жена непоправимо и непростительно обесчестила его некачественным выбором любовника. Что можно сказать о мужике, которому наставил рога жалкий тупица?

Разумеется, он употребил другое речение. Как истый обитатель Запада Мэттингли выражается односложно, что наряду с прочим придает ему величавое достоинство. У него огромная грудная клетка — результат застарелой эмфиземы, которая давно бы прикончила человека обыкновенного. В бороздки кожи на его пальцах, похожих на шпатели, въелась черная грязь, на ногтях — остатки красок всех цветов палитры, к тому же, подобно многим живописцам и скульпторам, он фактически неграмотен. Этим невозможно не восхищаться. А художник он просто потрясающий: впечатление такое, словно он обнаруживает призраки внутри людей, которых пишет, и выявляет первозданный внутренний свет, излучаемый скалами и горами, кото-

рые так любит изображать. Его полотна не устаревают со временем. Я люблю Мэттингли и завидую ему; в прошлом я хотел быть таким, как он: мужественным перед лицом жизни, дерзающим, никому ничем не обязанным, безропотно сносящим муки кочевого быта, зимующим в пустыне, штурмующим скалистые вершины своей независимости. Но вот ирония судьбы: они с Марико расстаются из-за чего-то такого, что совершила она. Бог ты мой! Как-то они некоторое время жили в СоХо [1], и мне запомнилась такая сцена: Марико сбегает по деревянным ступенькам неосвещенной лестницы с чердака студии, где идет вечеринка, взывая: «Мэттингри! Мэттингри!» с такой исступленной силой, словно всеми фибрами своей моногамной души хочет спасти его от анархического беспутства, взывая не как ревнивица жена, а как ангел-хранитель, пытающийся удержать его от дьявольских прыжков в погибельную бездну,— и все это из любви к нему!

Так вот, мы сидим в баре на Третьей авеню, отделанном в псевдовикторианском стиле, и когда я говорю Мэттингли о моей новой берлоге, он высказывает предположение, которое делают буквально все:

— Не дожидайся, когда тебе будет пятьдесят пять,— он имеет в виду женатых мужчин, бросающих семью,— сделай это сейчас.

— Мне пятьдесят, разве в этом возрасте пять лет — такая уж разница?

Он кашляет, гасит сигарету и голосом, в котором слышится скрип песка, заводит речь о разочаровании, об унынии и отчаянии, о возрождении к жизни через большую любовь, о том, как трудно начинать все заново. Марико была у него третьей женой, и со всеми тремя он нажил детей; теперь он работает как вол, преподает, пишет картины, погоняет себя — и этого едва хватает на алименты и квартирную плату, сам он ходит в обтрепанных джинсах и застиранной рубашке с галстуком-ленточкой, в дешевой вельветовой куртке и стоптанных ботинках грубой кожи, больше не пьет, малость обмяк и обрюзг, между художником и просто опустившимся типом, если разобраться, очень зыбкая грань. Опускаются только пожилые мужчины, женщины — нет, им это душевное состояние не свойственно. Пожилые женщины — те превращаются в бодрых, энергичных деятельниц с превосходной репутацией и добиваются всяческих успехов. Заводят себе юных дружков. Они продолжают следить за собой, опрятно одеваются и время от времени меняют прическу.

Неужели и Энджел сможет поступить как Марико — полюбить другого мужчину, не мужа? Она угрожает мне этим. Вчера, в мой день рождения, приехала с детьми, и когда дети вышли обследовать окрестности, она призналась, что вечером пару дней назад совсем затосковала и всерьез подумывала, не закатиться ли ей в бар. Конечно, не в какой-нибудь третьеразрядный там, в Коннектикуте, добавила она, помолчав. Вот в такой бы, как в Гринич-Виллидж, с названием вроде «У трепача», «У синички» или «У Т. С. Элиота». Я рассмеялся, и тут она вручила мне подарок — белую пластмассовую мусорную корзинку для ванной. В дар от той, кого выставляют вон,— так, кажется, она сказала. О, мое большое беспокойное сердце! А ночью, после того как все они отбыли обратно в Коннектикут, мне приснилось, будто я нахожусь в огромной общей спальне со многими кроватями, на которых лежат люди, и из дальнего угла комнаты на меня глядит Энджел. Потом сон сменился, и уже другую Энджел, Энджел С., недавно заболевшую жену моего издателя, привязывали, голую, к какой-то ортопедической раме, готовя к операции на сердце. Хирургом был ее муж, и дальше я увидел, как он делает операцию, рассматривая в большой микроскоп, похожий на сверлильный станок, механизм, который он ввинчивает ей в сердце. Тут сон опять

[1] СоХо — район Нью-Йорка в юго-западной части Манхэттена, среди жителей которого много писателей, художников, университетских преподавателей и студентов.

сменился, и я попал в уборную лагеря лесорубов со множеством писсуаров, в ней было полно народу, а на открытом пространстве за уборной, когда я пытался уйти, меня встречали опасные психопаты: они преграждали мне путь, грозили, бросались на меня. В какую бы сторону я ни поворачивался, со мной собирались расправиться эти нелепые, рассерженные, маячащие передо мной безумцы, которых я не понимал и не умел успокоить. А потом, позже, я соблазнял в своей собственной постели какую-то молоденькую девицу, весьма эротическая любовная сцена, и не было никакого чувства вины.

Что я делал в мой день рождения: навел чистоту в квартире, я же сам теперь прибираюсь, орудую пылесосом, мою пол в ванной. Кто бы поверил, что я буду всем этим заниматься?!

Получил весточку от Смуглой леди, которая не могла выбрать лучшего времени, чтобы сообщить мне, что через пару дней покидает Афины и отправляется дальше, в Египет. Мой соперник — весь белый свет.

Говорил по телефону с матерью, которая сказала, что хотела бы быть такой же молодой, как я.

Говорил по телефону с той долговязой исландкой, которая, с подначки ее алчной и сдобной подружки, в какой-то невероятно светской манере себе выговаривает право обожать меня — так преследует огромного белого медведя эскимос, медленно, терпеливо, нескончаемо.

Принимал гостей — собственную жену с детьми, принимал с любовью и угощал вкусным обедом в мексиканском ресторанчике по соседству. Никто не высказал вслух и каждый подумал, как странно выглядит этот супруг и отец семейства в своей отдельной собственной квартире. Это надо же, взять и отколоть такой номер, притом без всякого предупреждения. Мне хотелось, чтобы они спросили меня об этом. Тогда бы я ответил: я поступаю так, чтобы узнать, зачем я так поступаю. Мне хотелось успокоить их: ведь вы же, дети, навещали бы меня в тюрьме или больнице, так не лучше ли, что я здесь, в этом убежище для работы, созданном мною для себя посреди электрического города? Мой пример говорит о пути, который каждый из нас должен пройти, это вам мой урок мужественного индивидуализма, дай-то мне бог доброго здоровья; боже, молю за всех нас, даруй каждому из нас долгую жизнь и крепкое-крепкое здоровье.

Это уже из молитвы, которую я сложил бессонной ночью много лет назад, когда мне не давала спать моя счастливая судьба. Надеясь умилостивить всевышнего, умолить его не наказывать меня за мое счастье, я сочинил горячее обращение к нему: дорогой боженька, не оставь нас своими щедротами, даруй всем нам отличное, крепкое здоровье и долгую жизнь без болезней, хворей, недугов и каких бы то ни было дефектов, умственных или физических. Огради нас от зол и напастей, стихийных бедствий и всевозможных несчастных случаев; спаси нас от насилия, как организованного и официального, так и стихийного, неупорядоченного. Да не разрушатся и не утратят свою работоспособность никакие наши внутренние системы или органы, да не притупятся наши чувства, не угаснут наши таланты и способности. Сохрани, боже, остроту наших рефлексов. Да будут на земле мир и социальная справедливость. Да будем мы дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Да будем мы жить в любви, радости и творческом горении, ведая мужество, познавая мудрость и устремляясь к просвещению. Кажется, ничего не упустил, вот только бы еще распространить это колоссальное благодеяние на всякого, кого я знаю, и на всех, кого они любят, и так далее, аминь.

Так, а про пищу-то забыл; значит, исполнись моя молитва, это могло бы и не спасти вас от голодной смерти.

Что-то я какой-то усталый сегодня утром, как выжатый лимон. На правильном я пути или же все это — крайнее проявление моего самоедства? Когда я в самом деле верен себе, а когда занимаюсь самоистязанием? Поздравительная открытка от «Эм-джи-пи кэпитал корпорейшн». Зря это все. Некая внебродвейская инициативная группа отмечает столетний юбилей Кафки, там-то и там-то. Кафка ухмыльнулся бы широкой загробной ухмылкой, узнай он про свой столетний юбилей. И снова я задаюсь вопросом: поступила бы Энджел так, как поступила Марико Мэттингли? Думаю, что да — в том случае, если бы решила или уверилась, что я изменил ей. Тогда бы и она изменила мне. Это было бы поступком, совершенным, как и многие другие ее поступки, в интересах симметрии, средством восстановить равновесие или справедливость, что одно и то же. Она сделала бы это, подражая мне, она сделала бы это, чтобы стать мною.

Не исключено, что свойственное Энджел первозданное стремление быть моим сиамским близнецом, говорить моим голосом, думать как я, жестикулировать как я, смешивать наши души как смывающиеся краски на малюемой пальцем сентиментальной картинке,— это инстинкт, присущий какой-то категории женщин. Католичкам? Энджел — ирландская католичка, связанная брачными узами, пускай ослабшими, с нью-йоркским евреем. Может быть, здесь замешана ассимиляция. Марико, японская католичка, состоит в браке с Мэттингли, калифорнийским анимистом. Мойре, ирландской протестантке из Чикаго, изменяет Брэд, журналист пресвитерианец из Миннеаполиса. Джини, режиссерша телевидения, прихожанка методистской церкви Ашвилла, удивляется, почему она до сих пор замужем за Ником, православным греком из Филадельфии. Рейчел, эмигрантка из Венгрии, страдает из-за красных трусов Ральфа, еврея из Бруклина. Луэллин, валлиец-буддист, скрывается в отшельническом ашраме от квакерши Энн. Когда я захожу в «Малиновку», дешевый ресторан-закусочную в начале Бродвея, раздатчик скалит в улыбке золотые зубы:

— Привет, приятель.— Он бросает мне обтянутый пластиком листок меню, который держишь, как ноты духовного песнопения. Гремят тарелки, вылетая из прорези окошка: о, рубленое мясо с красным перцем по-мексикански, о, куриный бульон, о, поросячьи ножки, о, тушеная баранина, лазанья домашняя по-итальянски, о, бифштекс и сувлаки. Блюда дешевых ресторанчиков, как и годовые кольца древесины,— это живая летопись истории. Они подобны обломкам кораблекрушения, прибитым к берегу миграционными волнами, приливным наносам, отложенным мощными наплывами бесстрастных популяций. Дрожавших ночами напролет перед бронзовыми дверьми посольства, копивших скудные динары, рупии, крузейро, завертывавших свои сокровища в грязные носовые платки, обвязывавших для прочности веревками свои корзины, штурмовавших переполненные автобусы, карабкавшихся на крыши трамваев. Младенцы, насмерть раздавленные на руках у матерей; старики, уставшие цепляться своими костлявыми, в синих венах, руками за борт и проглоченные соленой пучиной; молодые мужчины, проползающие, раздирая кожу на спине, под колючей проволокой, переходящие вброд реки,— все мы пытаемся проскочить, сохранив одежду на плечах, мешком сидящую одежду на истерзанных плечах.

Может, я прав, может быть, нет, может, я слаб, может, атлет...

Боже мой, только что обнаружил бугорок на мошонке. Нет, нет, не может быть, только этого мне не хватало!

Ничего страшного. У этого кожистого мешочка, у этой авоськи, у этих легких секса, подверженных всевозможным эмоциональным встряскам, наверняка ведь должны появиться какие-то признаки износа, разве нет? Пустяки, это жилка дугой выгнулась, буду осматривать ее время от времени. Осмотри товар, приятель, как говорят

уличные торговцы, указывая на разложенные на тротуаре перчатки, шарфики, калькуляторы. Осмотри товар.

Итак, несколько дней назад мы в гостях у Гордонов, стол накрыт на двенадцать персон, Гинни приглашает всех в столовую, и мы стоим там и ждем, пока она рассадит нас по местам. За что я ее люблю: она принадлежит к тому кругу людей, что закупают для своих кухонь гарлендовские гастрономические наборы, я хочу сказать, им проглотить какое-нибудь этакое пюре из лососины все равно, что мне вскипятить воду для кофе, по субботам-воскресеньям у них бывают в числе гостей известные кулинары. Сегодня к обеду подана сероватая водица с плавающими в ней кусками какого-то вещества, которое и назвать-то нельзя. Гинни распределяет это яство с замирающим от пугливой надежды сердцем, ее красивые глаза быстро-быстро моргают.

— М-м-м,— произносит кто-то.— О Гинни,— говорит кто-то другой, и ложки-вилки тихо кладутся на стол, а беседа приобретает нервно-оживленный характер. Кардиолог Ллойд в панике набрасывается на медицину: операции на сердце стали повальным увлечением, как удаление миндалин в тридцатых, заявляет он, почему-то показывая на свою тарелку, может, ему кажется, что там плавает миндалина. Затем Рауль, малыш Рауль, завладевает всеобщим вниманием — показывает номер, который везет в Лас-Вегас. Рауль из кожи вон лезет, стараясь скрыть разочарование. Он направляется за вином, но и тут ему нечем утешиться: Джек Гордон — он работает редактором в «Таймс» — угощает сегодня гостей чилийским красным. Вглядываясь в лицо Рауля, я вспоминаю обед, который он давал в своей роскошной квартире на крыше небоскреба на Пятьдесят седьмой улице, где все — высветленные полы, мебель — выдержано в разных оттенках белого цвета. Зато на стенах — красиво подсвеченные большие цветовые пятна. Комнаты заполнены оперными звездами, писателями, режиссерами и художниками — авторами картин, развешанных на стенах; весь антураж — сверкающее великолепием чудо, сотворенное взыскующей совершенства душой Рауля, а сам миниатюрный хозяин со счастливым видом бежит на кухню, взывая:

— Жан-Пьер! Жан-Пьер! По-моему, мы созрели для choucroute [1]!

Рауль обреченно опускается на свое место. Я, сидя по левую руку от Гинни, целую ее в щеку и приношу себя в жертву на благо обществу. Я ищу поддержки. Ловлю быстрый благодарный взгляд Энджел. Пытаюсь пропитать этим варевом ломоть черствого хлеба. Жан-Пьер! Жан-Пьер! По-моему, мы созрели для пюре из консервированной кукурузы!

Каждый упорно отводит взгляд от собственной тарелки, и наступает момент, когда всю компанию охватывает отчаяние. Не успел я опомниться, как слышу, народ за столом рассказывает истории об уличных ограблениях.

Эндриа Динтенфасс средь бела дня остановила такси на углу Сентрал-парк-уэст авеню и Семьдесят четвертой улицы, и как только такси затормозило, к машине бросился этот рослый молодой негр и галантно распахнул перед нею дверцу. Она слегка изумилась, но решила, что он узнал ее — Эндриа балерина, танцует в нью-йоркском балете. А ее муж Моше — знаменитый архитектор. Она улыбнулась и поблагодарила молодого человека; в тот миг, когда она наклонилась, влезая в машину, он положил ей на талию руку и так подтолкнул ее, что она плюхнулась лицом вниз на сиденье. Он захлопнул дверцу, постучал ладонью по крыше такси и крикнул: «Езжай, мать твою!» И только после того, как Эндриа, побарахтавшись, приняла сидячее положение — чему помог рывок машины, быстро набиравшей скорость,— она обнаружила пропажу сумочки, висевшей у нее на плече.

[1] Кислая капуста *(франц.)*.

— Должно быть, он срезал ее,— говорит она.— Все произошло так стремительно, он проделал все так дерзко, так элегантно,— она улыбается почти мечтательно,— ни одного лишнего движения.

Джордж, профсоюзный юрист с вьющимися волосами, выдает историю почище. Однажды в июле, помнится, в четверг вечером, катит он на своем турбодизельном «мерседесе 300 Д» по Лонг-Айлендской скоростной магистрали, как вдруг идущая позади машина бьет его бампером. Джордж сворачивает на обочину и останавливается. Машина, что шла сзади, неприметный такой «шевроле», тоже съезжает на обочину. Из нее вылезают несколько мужчин латиноамериканской наружности и принимаются вместе с ним осматривать повреждения. Джордж и латиноамериканцы, значит, ползают на карачках между двумя машинами, мимо несется по тоннелю из мелькающих вспышек света и сизых выхлопных газов плотный поток автомобилей, и, какая досада, только его «мерседес» покалечен, вон вмятина и фара вдребезги; он изливает на них раздражение, они сочувственно кивают, и тут он замечает, что один из них держит в руке маленький тупоносый пистолет. Джордж закругляется, и у него вежливенько отбирают бумажник, часы, зажим для галстука, и пока он сидит, как ему велено, на корточках, один из мужчин садится на место водителя в его «мерседесе», а другой становится у окна, где сидит жена Джорджа Джуди, и вдвоем они убеждают ее отдать драгоценности, кошелек, косметичку. Далее они реквизируют стереокассеты, обчищают багажник,. забирают ключи от его турбодизеля, влезают в свой «шевроле» с замазанным грязью номерным знаком, один из них, выйдя на полосу малой скорости, останавливает движение, они не спеша выруливают на проезжую часть, и через несколько секунд от них остается лишь пара красных огоньков, мелькающих в световом шоу большой автострады.

Сегодня в подземке: Efecto seguro! No más suciedad; no más fastidio; no más cucarachas! Johnson's No Roach — efecto rápido, un tratamiento dura varios meses[1]. Благородный Дон макает копье в «Антитараканин Джонсона», садится на своего одра и бросается в бой. Вагон, гремя и раскачиваясь, мчит по тоннелю, и в такт толчкам покачиваются головы сидящих — ряд дергающихся бесстрастных лиц. Наплыв бесстрастноликих на станции «Четырнадцатая улица». Каждый из нас обособляется от других, прячется в свою скорлупу, и лишь только подрагивание ресниц выдает наше настороженное внимание к ближайшим соседям: как бы они не причинили нам без предупреждения какого-нибудь вреда. Моя кожа — это моя граница. Я могу читать газету, но не способен думать, я чувствую их, они проникают в мое сознание, присутствие этих бесстрастных незнакомцев насквозь пронизывает его; стоя впритирку, плечом к плечу, и старательно избегая соприкасаться нижними своими половинами, мы на короткие полминуты между двумя остановками образуем все вместе этакое сообщество поневоле, распадающееся и формируемое заново всякий раз, когда двери раздвигаются и кто-то из нас, толкаясь, выходит, а на смену втискивается новая толпа бесстрастноликих.

Я ведь вырос под землей, почему же я чувствую себя здесь не в своей тарелке? Осмотри товар, приятель: белый пижон в очках и со слишком мягким выражением лица, пока ты витал в облаках, внизу сонмы мигрантов переплывали моря, прорывали пути сквозь горы, ехали на тектонических плитах. Ты думал, слово «беженцы» значит евреи, но поток никогда не прекращался, двери распахиваются, вваливаются новые генерации бесстрастноликих, и я задыхаюсь, сдавленный историей, подобно вон той старушке в меховой шапочке и блондинистом парике, этой бледнокожей еврейской бабусе, что с

[1] Стопроцентный результат! Никакой грязи, никаких забот — и никаких тараканов! «Антитараканин Джонсона» — эффект достигается быстро на долгие месяцы *(исп.)*.

надменной брезгливостью топает по ногам стоящих впереди нее, проталкиваясь к выходу.

Вагон пустеет. Теперь мы — бездельники, коротающие скучный вечер в кафе. Вот и свободное место, я погружаюсь в чтение, поднимаю глаза и вижу перед собой молодого негра; держась одной рукой за ремень, он сует мне под нос мягкую шляпу с мелочью и бумажными деньгами. Что он говорит? Правую штанину он закатал выше колена, чтобы был виден протез, он демонстрирует мне ради моего удовольствия свою искусственную ногу, поскорей дать ему денег, вон и медаль приколота к шляпе, сейчас, сейчас дам, он поворачивается на ремне и, накренясь, начинает падать через проход, цепляется за ремень на той стороне, прямо воздушный акробат, ни одна монета не выпала, на задней части колена протез открыт, и мне виден стальной стержень с шарниром, никакого обмана — честное, законное попрошайничество. Он обрабатывает вагон одну остановку, другую, вагон снова заполняется, и он сходит.

А это что за явление? Гринго в черном полупальто, брючках тюремно-серого цвета и астронавтских башмаках топчется у открытой двери, не решаясь сойти на платформу и пересесть на экспресс.

— Что за черт,— возглашает он,— полным-полно народу, мне ни за что не влезть, меня на рельсы столкнут, и, думаете, это кого-нибудь волнует, кому-нибудь есть до меня дело? Черта с два! Всем на всех наплевать, верно? — Он говорит это, ни к кому не обращаясь, ему не нужны собеседники, боже ты мой, вот теперь я чувствую себя в подземке как дома, слышимый мозг, разум, оснащенный для вещания; я подхожу, останавливаюсь сзади, у него тощий затылок, изрытый черными оспинами, из ушей растут пучки черных волос. С грохотом подкатывает экспресс, толпа бесстрастноликих гроздьями облепляет тот край платформы, готовая к броску. Он, продолжая стоять в дверях местного поезда, произносит: — Только совсем чокнутый будет давиться в этой толпе! А почему бы нет, черт возьми? Чем я хуже других? — И неторопливо сходит. Следуй за этим человеком! Ты понимаешь, какую ценность он представляет? Это живое ископаемое, древнее, как стрекоза, он был здесь еще до того, как появились наскальные рисунки в пещере Ласко. Этот допотопный художник — мой пращур, он изобрел меня.

Косо, яростными порывами хлещет дождь, словно брошенные семена. Получаешь представление, как выглядит ветер. Потоки воды лупят в стену соседней многоэтажки и водопадом низвергаются на землю. На площадке для игр раскачиваются под ветром качели. Небо над «Хьюстоном» посерело, и чего-то там недостает, да, силуэт Центра мировой торговли исчез, слинял с небосвода. Теперь зубчатая линия горизонта не выше, чем в 30-е годы, эпоху моего появления на свет; если еще больше разнепогодится, мы вернемся в прошлый век к мелвилловским чугунным набережным. Булыжнику. Водохранилищам майя. Я чуть-чуть приоткрыл окно, впуская в комнату шум дождя. Среди этого рева и плеска едва слышится колокольный звон. Погоди-ка, вон он идет, шлепая по воде через улицу, за спиной — здоровенная сумка, которая под непромокаемой накидкой смахивает на горб, и ни дождь, ни снег, ни прочее дерьмо, как написано над входом в главный почтамт на Восьмой авеню, ему не помеха.

Ну-ка, посмотрим, что мы имеем его заботами. Не подпишусь ли я под письмом протеста против предстоящих показательных судов над активистами Солидарности в Польше? Пожалуй, что да. Не соглашусь ли я войти в число инициаторов предстоящего поэтического вечера за прекращение гонки ядерных вооружений? Конечно. А это что такое? О боже, пожертвуйте на пещеру Хаббарда в графстве Уоррен, штат Теннесси, важнейшее место обитания летучих мышей в Северной Америке, как считает доктор Мерлин Татл, все-

мирно известный специалист по этим рукокрылым млекопитающим: если служба охраны природы не изыщет двадцать тысяч монет для принятия защитных мер, вся полуторастатысячная колония редких серых летучих мышей, впавших в зимнюю спячку, возможно, исчезнет с лица земли.

Маленькие твари. Пронзительно пищат. Зубки как осколки стекла. Припухлые глазки. Светлое брюшко. Кожистые крылья. Все время гадят. Док, можно я немного подумаю, ладно?

А вот открытка с видом из Египта — капля дождя попала на фиолетовые чернила, и они расплылись, как если бы на них капнула слезинка. Изображение громадного ступенчатого храма на берегу Нила. «Мое чувство такое же большое,— подписано ее рукой,— и здесь пребывает сердце, вместившее его».

Глотательное движение.

Мы интимно общаемся на огромных расстояниях. Со взаимной гарантией. Исполненный спокойной уверенности в том, что это есть, я ощущаю ее у себя в объятиях.

Но счастье, разумеется, невозможно выдержать более двух секунд. А ну как я слишком стар для нее? Вдруг у меня разовьется болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие, едва только мы начнем жить вместе? По-твоему, это смешно, да? Вот буквально на днях пришел на память старый комикс — газетный рассказ в картинках о похождениях Вилли и Джо во второй мировой войне, была такая серия отлично сделанных рисунков из солдатской жизни. А фамилию художника хоть убей не вспомню. Ведь знал даже, что после войны он был политическим карикатуристом в «Сент-Луис постдиспетч». Билл такой-то. Затем медленно, как шарик бильярда-автомата, что тычется туда-сюда, прежде чем скатиться в щель, или как байт в старом компьютере, что, мигая, блуждает по тысячам слабо мерцающих ламп, всплыла фамилия Молдин[1]. Нет, это совсем не смешно. А недавно налил себе выпить, поставил бокал в бар и уселся с бутылкой на диван. Всякий раз, когда я становлюсь под душ, мне кажется, будто звонит телефон, и я всякий раз бегу к нему. Или вижу сквозь ветви деревьев луну, а оказывается, это уличный фонарь. Я распадаюсь. Боже мой. Если забываешь имена и названия, ты уже не человек. Когда из памяти вылетает нечто элементарно простое — в какую сторону свернуть в двух кварталах от дома,— это вещь более жуткая, чем зрелище полуторастатысячной стаи серых летучих мышей, вырвавшейся из пещеры Хаббарда.

Надо, надо серьезно заняться собой, войти в форму, выработать строгий режим, тренировать сердечно-сосудистую систему. Главное — сохранить эластичность артерий, а уж остальное само приложится, верно? Я замедлю темп собственного старения, пока она не догонит меня, пока мы не побежим с нею рядышком. Ради нее я стану ее сверстником, вот на что способна моя любовь. Завтра же начну.

А теперь я должен обдумать то, что приключилось с Райорданом, когда *он* испытал большую любовь. Меня пригласили выступить в его университете, и на ночь я остановился у него дома. Под утро, когда гости разошлись, мы выпили по последней, и тут он открыл мне душу. Райордан — автор полдюжины романов. Ни на одном из них он не заработал денег, но на бедность не жалуется, выбивает писательские субсидии и ничего, сводит концы с концами. Несколько лет назад ему реально светило закрепиться на теплом местечке в одном хорошем колледже на юге страны. Он был женат, спокойно счастлив в семейной жизни, не искал любви на стороне, как вдруг нежданно-негаданно влюбился в женщину, с которой иногда встречался на вечеринках, жену то ли декана, то ли директора по кадрам. А она влюбилась в него. И вот ситуация: у них на двоих пяте-

[1] Уильям Молдин (род. в 1921 г.) — известный американский карикатурист.

ро малых детей, трое у него, двое у нее, а они не могут насытиться друг другом. По его описанию, это была трепетно чувственная женщина, отчаянная, безоглядная натура, рожденная попирать условности среднего класса. Она занималась скульптурой, специализировалась на ваянии статуй людей с птичьими головами. Или наоборот. О ее внешности он ничего не рассказывал, но я вообразил ее себе дамой с округлыми бедрами и тугой, налитой грудью. Они встречались днем, и их страсть не проходила, от встречи к встрече разгоралась все сильней. Он снял комнатушку подальше от колледжа и читал ей в постели вещи, вдохновленные ею,— лучшее, по его словам, из всего когда-либо им написанного до или после, ритмичную, упругую прозу, голос его мужества — именно так он выразился. Что до нее, то, полюбив его, она пробудилась, поняла, что жила как во сне. Она пылала любовью. Его любовь она называла своим спасением.

В конце концов им стало ясно, что ничего другого не остается, как честно объявить о своей связи, во всем признаться собственным супругам, оставить на их попечение детей и уехать из города. Он откажется от должности, и они вместе начнут новую жизнь где-нибудь в другой части страны. А если ему удастся выбить аванс у издателя, они смогли бы пожить и за границей. Для их любви не было ничего невозможного.

И вот по окончании семестра настал назначенный день. Он опустил в почтовый ящик заявление об уходе, усадил бедняжку жену в гостиной и выложил ей все, кроме имени своей возлюбленной. Она была ошеломлена, потрясена, уничтожена — ей в голову такое не приходило. Она была у меня простая душа, славная, милая женщина, рассказывал он, недурна собой, этакое хрупкое, слабое создание, а в общем-то верная, любящая жена, если не считать того, что прежде, чем он успел удалиться, она совсем свихнулась и запустила ему в голову, когда он удирал, тяжелый горшок с хризантемами, который, как он полагал, ей было не под силу поднять, не то что метнуть.

В несколько ошалелом состоянии, может даже с легким сотрясением мозга, Райордан поехал к месту свидания. Любовники уже несколько дней назад тайком упаковали свои пожитки, и теперь все, что им было нужно, лежало в багажнике его машины — даже кое-что из его книг, даже парочка ее скульптур поменьше. Он ждал ее в условленном месте — на стоянке за супермаркетом.

Он ждал и ждал. Она опаздывала, но, поскольку это было в ее обыкновении, он не тревожился, хотя голова у него раскалывалась. На стоянку вырулил пикап и припарковался рядом. Из кабины вылез студент и спросил, не он ли профессор Райордан, а когда он кивнул, студент протянул ему письмо, сказал: «Всех благ, профессор» — и укатил. Он разорвал конверт и сразу узнал ее почерк — романтически-небрежные каракули, выведенные на той же благородно-серой веленевой бумаге теми же зелеными чернилами, которые стали для него провозвестием самых дерзновенных жизненных свершений; я не смогу сказать мужу, говорилось в письме. Я не вынесу разлуки с детьми. Я буду любить тебя вечно. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь.

Райордан рассказывал эту историю со спокойным видом. Только курил сигарету за сигаретой и давил окурки в пепельнице. Он снова женат — не на ком-нибудь из героинь этого его рассказа, а на довольно милой, по-моему, особе, которая сказала, когда нас знакомили, что ей очень нравятся мои книги. Она чем-то смахивает на самого Райордана: такая же стройная, белокурая, со светлой кожей и розовыми ободками у глаз. Опять же, веснушки. Детей у них нет.

С другой стороны, что может быть опасней двадцатилетнего супружества, в котором ей приходит в голову та же самая мысль, что секундой раньше пришла в голову тебе (или придет секундой позже), либо ты рассказываешь ей в один прекрасный день, как непрочно твое «я». как ты постоянно перетекаешь в себя и из себя и забываешь, кто ты есть на самом деле, а она говорит тебе, что и у нее бывает это ощущение исчезновения в себе,— выходит, все эти годы вы оба прожили вместе, не зная наверняка, кто вы такие и какие чувства должны испытывать, тогда как в глазах окружающих оставались все той же давным-давно известной им четой, всегда узнаваемой, и не лучше ли уж получить цветочным горшком по башке?

В пятьдесят лет надо осовременяться!

Ральф, у которого вышла история с красными трусами, до сих пор не спит со своей женой Рейчел, хотя роман его давно кончен. Психоанализ — он ходит на прием к психоаналитику регулярно пять дней в неделю — показал, что Рейчел как две капли воды похожа на его покойную мать. Мы с ним идем по улице, и он рассказывает мне все это, глядя себе под ноги и заложив руки за спину, ни дать ни взять два добропорядочных, благовоспитанных бюргера степенно совершают Spaziergang [1], а их обгоняют мальчишки с кассетниками и проносятся мимо, раскачиваясь и выдувая пузыри из жевательной резинки, женщины на белых роликах.

— Рейчел не виновата,— говорит Ральф.— Разве могу я сказать ей, своей жене, пережившей ужасы уничтожения евреев фашистами, что она символизирует для меня смерть?

А Саша, суровый Саша, что посоветовал мне либо въезжать, либо уж съезжать, ушел от своей жены Мэри. Это не было для меня такой уж новостью. Прошлой зимой мы с Энджел отдыхали вместе с ними на Барбадосе. Я не в восторге от Карибского моря, но жены вступили в тайный сговор: Мэри мечтала побыть там несколько деньков наедине с Сашей и не надеялась вытащить его без нашей помощи. Мы предались курортному кайфу: читали на пляже, купались, ближе к вечеру играли в теннис, вечером заказывали роскошный ужин в ресторане. Однако прошел день, прошел другой, и Мэри начала нервничать.

— Если мой муж не поторопится заняться со мной любовью, я пойду и утоплюсь в океане,— заявила она моей жене.

И вот в один из ближайших вечеров, когда дамы ушли спать, мы с Сашей задержались, чтобы выпить коньяку в баре гостиницы. Начали мы в тот день около пяти с порции рома, за ужином опорожнили парочку бутылок доброго вина и уже были на взводе.

— Саш,— начал я,— на карибских курортах есть такой неписаный закон: раз ты привез сюда женщину, ее надо ублажать, будь это хоть твоя собственная жена.

Он вскочил на ноги с такой пьяной решимостью, что опрокинул стул.

— Конечно, ты прав, Джонатан,— воскликнул он и, подтянув брюки, нетвердым шагом устремился к двери.

Но по-настоящему скандальная новость — это Брэд. В первый же вечер по возвращении в Нью-Йорк из поездки на Ближний Восток его видели в «Элио» с собственной женой Мойрой. Я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног.

Энджел без конца рассуждает на тему о том, что я никогда-то не позволяю себе расслабиться, смягчиться, пойти навстречу, мол, всякий пустяк для меня — дело принципа, всякое несогласие — бескомпромиссный спор, я-де не умею прощать, забывать, уступать в мелочах. Все верно. Зато у нее нет никакой гордости, для нее немыслимо отклонить приглашение, даже в компанию последних уб-

[1] Прогулка *(нем.)*.

людков. Она годами ставит меня в неловкое положение. Я просто не прихожу. Ей, видите ли, страшно отказать в просьбе совершенно случайным знакомым, бог убьет ее на месте, если она скажет «нет». Стоит кому-нибудь внушить ей, что ее считают своей, и она будет карабкаться под палящим солнцем на скалы, дышать пылью рассыпавшегося в прах дерьма броненосцев.

Мой отец, тот регулярно пользовался подземкой. Помню как сейчас, я провожаю его до станции (он уходил на работу часов в десять, одиннадцать утра, садился в поезд Д и ехал в деловую часть города к своим банковским счетам): «Будь поласковей с матерью, старайся уступать ей, не расстраивай ее». Как я любил его. Человека, который разочаровал миллионы. Раздавал обещания и не выполнял их. Ручался и обманывал доверие. Поручил твоим заботам свою разъяренную жену. Мне лет тринадцать. Они жестоко рассорились, и он оставляет меня успокаивать ее. Весь день я со страхом жду наступления ночи. Мать в молчании готовит обед, ставит на стол три тарелки, мы с ней обедаем, отцовский обед стынет на столе, она к нему не притрагивается. Я делаю уроки, ложусь спать. Под утро меня будит новая ссора: где он был, что делал? Брань, обвинения, рукоприкладство. Защищаясь, он делает ей больно, она вскрикивает, и я в пижаме бросаюсь к ним, пытаюсь помирить, ору на них обоих, все это в три часа ночи.

Сколько раз просыпался я от этих ужасных звуков борьбы, ударов, криков. Я не знал, кому верить. Кого любить, кого защищать, на кого нападать. Слыша эти звуки, я ощущал болезненное удовольствие, сам не зная, что такое я ощущаю.

Сейчас моей матери восемьдесят шесть, она согнулась, страдает артритом, рубцы на ее сердце свидетельствуют о трех-четырех инфарктах, которые она перенесла на ногах — даже не чувствовала, когда это случалось, до того была крепка. Она перенесла операцию по поводу рака. Кожа ее вся в старческих крапинах, ходит она с трудом, у нее артериосклероз, диафрагмальная грыжа, глаукома. И камни всюду.

— Я не понимала твоего отца,— говорит она теперь.— Это был удивительный человек и какой ум! Голова у него была устроена совсем иначе, чем у других людей. А я этого не понимала и пыталась сделать его таким, как все.

Моего отца вот уже тридцать лет нет в живых. Протяни он подольше, ему, может, удалось бы дожить до зарождения этой положительной оценки его личности.

— Мне было шестнадцать, когда мы познакомились,—рассказывала мать.—Мы с ним ходили кататься на коньках в Кротона-парк. Он был малый не промах и какой красавец! Не позволял мне появляться в обществе другого мальчика. Весной дарил мне цветы. Мы играли в теннис. Он был превосходный теннисист. Мама не хотела, чтобы я выходила за него замуж.

Вот какой он был человек, мой отец. Находчивый, пробивной. Умел пройти сквозь полицейское оцепление, проникнуть через служебный вход в любой театр на Бродвее, заговорив зубы вахтеру. Достать билеты на концерт в Карнеги-холл, несмотря на аншлаг. Затеять с нами игру. Он умел из простейших вещей — прогулки в парке, вылазки на природу — сделать праздник. У него роились идеи, он давал нам интересные книги, приносил домой кинокамеры, электропоезда, любил поразить нас неожиданным эффектом. Он провел семейный корабль через рифы Великой депрессии! И все же говорят, что жизнь его не удалась. Об этом неудачнике сложились легенды. Его ошибки в делах и просчеты в оценках продолжают преследовать нас более четверти века после его смерти. Вот почему мой брат так туго расстается с деньгами, вот почему моя мать не может нанять себе прислугу, вот почему я всегда спешу платить по счетам:

это мой выкуп — больше того, искупление — за собственный бесстыдный успех.

В юности он служил кассиром в банке и отличался, как говорят, необыкновенной красотой. В один прекрасный день его наружность привлекла внимание человека в берете и пенсне, возникшего перед полированной мраморной стойкой кассы. Это был, как рассказывают, кинорежиссер из Европы, приступавший к съемке многосерийной ленты об отважной красавице, которая каждую неделю будет попадать под конец синематографического сеанса в какое-нибудь чудовищно опасное положение, с тем чтобы спасение приходило лишь в следующей серии неделю спустя. Красавицу играла Перл Уайт[1], а на роль ее спасителя и целомудренного спутника требовался красивый молодой человек с подобающей героической внешностью. Мой отец обдумал предложение и отказался. Он, видите ли, рассчитывал сделать карьеру в банке, мой еврейский папочка. В первую мировую он, честолюбивый мичман, учился на лейтенанта в Военно-морской академии Уэбба на реке Гарлем, но война кончилась раньше, чем его учеба. У меня висит на стене пожелтевшая фотография тех лет: отец стоит, опираясь на швабру, в шеренге таких же курсантов, вооруженных швабрами и ведрами. Постепенно коллекция его деловых промахов и сорвавшихся предприятий все разрасталась. В начале тридцатых, эпоху грампластинок из шеллака на 78 оборотов, отец занялся торговлей пластинками; в музыке он разбирался по-настоящему, в его магазине имелся превосходный выбор грамзаписей, и многие тогдашние артистические знаменитости заказывали пластинки у него, но деловой партнер отца пару раз смошенничал, их фирма лопнула, и отец лишился своего магазина. Он помещался в старом здании ипподрома на Шестой авеню, между Сорок третьей и Сорок четвертой улицами. Во вторую мировую отец занялся выгодной торговлей разными импортными новинками — изобретениями чокнутых швейцарских умельцев вроде мыльницы новой конструкции, предохраняющей мыло от раскисания и продлевающей срок пользования им. В военную пору мыло было дефицитом, но к тому времени, когда отец развернул продажу этих штуковин, война закончилась, мыла и всего прочего было в избытке, людям хотелось жить расточительно, вознаграждая себя за годы суровой экономии, все стремились использовать и заменить каждую вещь, включая мыло, как можно скорее. Один делец предложил отцу партнерство в новом коммерческом начинании в области пластиночного бизнеса — ожидалось наступление эпохи долгоиграющей пластинки. На сей раз отец по достоинству оценил открывающиеся перед ним возможности, принял правильное решение, но не смог внести несчастных десяти тысяч, требовавшихся для того, чтобы войти в долю. Представляете себе картину?

Он просаживал деньги в карты, потому что считал себя хорошим игроком, а хорошим игроком он не был. Опаздывал отец постоянно, поздно являлся на работу, когда поступил коммивояжером к одному оптовому торговцу бытовыми электроприборами, поздно возвращался домой. Отец распутничал, сказал мне однажды брат. У него была женщина. Всего одна? Та, про которую говорил мой брат, пела на сцене, жидкое такое сопрано; у нее вышла пластинка, и она написала на футляре: «Джеку — всегда». Только зачем же приносить это домой, если «всегда» значит «в любое время»? Может, другого места у него не было. Ничего у него не было. К концу жизни он стал сам мыть посуду, убираться на кухне, ходить за продуктами. Работать он больше не хотел. Его царством стала трехкомнатная квартирка в Бронксе, где он любил сидеть в ванной и читать газеты, пря-

[1] Перл Уайт (1889—1938) — американская кинозвезда, завоевавшая широкую популярность благодаря сериалу «Опасные приключения Полины» (1914) и другим приключенческим фильмам.

часть от жизни с ее все более нелицеприятными оценками. К моменту смерти его имущество состояло из пары костюмов, сломанных часов, перстня с гранатом да страхового полиса, под всю сумму которого он наделал долгов. После него осталась стопка белых рубашек с рельефным узором, несколько ярких галстуков, которыми он гордился, да древняя деревянная теннисная ракетка.

Отворачиваюсь к окну. Внизу, на плоской крыше университетского спортцентра, накручивают круги по беговой дорожке, каждый в своем собственном темпе, любители бега трусцой в шортах, надетых поверх тренировочных штанов. По всему городу трусят эти бегуны с наушничками на голове. Раньше я думал, что они тренируются, готовя себя к наступлению часа, когда ничего больше и не останется, как бежать, но это слишком уж логическое объяснение. Они не только бегают, но, случается, останавливаются в парке, кладут на землю свои чемоданчики и принимаются махать руками и дрыгать в воздухе ногами. В неизменных своих наушниках они катят на одноколесных велосипедах, танцуют на роликах по заброшенному шоссе, а в спортивных кабинетах, во множестве разбросанных по городу, привязывают себя — за немалую плату — к машинам, которые крутят за них их собственные конечности. Подумать только, мы могли бы выкапывать клубни в полях, давить виноград, бегом возить коляски-рикши, носить из леса вязанки валежника, собранного с моховой подстилки.

Позвонила мать:

— Что случилось, ты забыл о моем существовании?

В этом она вся. Мистика, правда?

— Я только что думал о тебе.

Мать рассказывает мне свежую историю о том, как она срезала какую-то даму в центре для престарелых. Как она поставила эту мерзавку на место. Рассказчица она превосходная. Она повествовательно мыслит и суждения выносит по ходу рассказа. Когда она говорит об Энджел, которую любит и которой восхищается, я вижу Энджел в более привлекательном свете. Моя мать — знаток женских характеров. Мир, существующий в ее сознании, это мир женщин. Сейчас она всецело поглощена своими взаимоотношениями с молодой женщиной, приходящей сиделкой, которую мы наняли ухаживать за ней шесть дней в неделю. Время от времени мать требует, чтобы я уволил эту женщину, бразильянку лет двадцати пяти, которую зовут Туанеттой, но когда я соглашаюсь, она говорит — не надо. Какая разница, все они одинаковы, поясняет она. Матушка приспособила Туанетту делать всю домашнюю работу, готовить еду по ее вкусу, обстирывать ее, мыть ей голову. Каждый день, если позволяет погода, они отправляются в какую-нибудь закусочную по соседству и вместе обедают. Внешность у нее, у моей матери, прямотаки царственная: седые волосы, голубые подслеповатые глаза — и она перебрасывается шутками с раздатчиком, который приглашает ее на свидание, ну и всякое такое. Туанетта выдерживает эти игры с каменным лицом, она выдерживает все, но иногда дает выход чувству, порождаемому необходимостью терпеть присутствие моей матери тридцать пять часов в неделю.

— Знаешь, что выкинула недавно Туанетта? — спрашивает меня мать со счастливым смехом. — Пустилась вокруг меня в дикий пляс с непристойными телодвижениями. А я ей: «Отлично, Туанетта, с таким номером можно ехать в Лас-Вегас». — Однажды Туанетта достала из своей сумки ледоруб или что-то похожее, вынула этот предмет из деревянного футляра и показала матери. — Она носит эту штуку на тот случай, если на нее нападут, во всяком случае так она объяснила. Я и виду не показала, как перепугалась, только говорю ей: «Это же смертоносное оружие, Туанетта, если полицейские обнаружат его, тебя посадят». — Туанетта рассказывает моей матери

про своих подружек-сиделок, которые, разозлясь на своих подопечных — старух в приютах для престарелых, нарочно наступают им на ноги, да так, что расплющивают пальцы. — Но названия этих приютов она от меня скрывает,— сетует мать. — Знаю я вас, говорит, вы туда позвоните, и их уволят.

Все это действует на мать благотворно: она теперь здоровее и счастливее, чем когда-либо за последние годы. С тех пор как у нее работает эта женщина, она забыла дорогу к врачу.

У ее матери, вот у кого были помрачения, мы иначе это и не называли, моя бабуся с ее помрачениями, хрупкая такая старушенция, ничуть не похожая на мою двужильную мать, она могла сегодня приласкать славного мальчугана, дать ему монетку, благословить и расцеловать, а завтра изругать и осыпать проклятиями, извергнуть на него поток мерзкого сквернословия на идише. Бывало, я играю с друзьями перед домом, а бабушка спускается в своих черных ботинках на шнуровке с лестницы парадного хода и яростно грозит мне кулаком. Пойдет по улице, потом вернется и снова погрозит. В конце концов она сворачивает за угол, продолжая браниться. Она все время убегала из дому, полицейским приходилось ловить ее и водворять обратно.

А это что еще за зрелище? По Восьмой улице вышагивает некто в черной фуражке, сидящей у него на голове наподобие эсэсовской, в черной кожаной куртке со сверкающими никелем заклепками, черных джинсах и черных ботинках. Рядом бежит вприпрыжку, чтобы не отставать от него, тщедушный женоподобный тип с золотым кольцом в ухе, одетый в серовато-зеленый комбинезон парашютиста. Бродячий театр, они фланируют в надежде произвести впечатление, это их форма искусства. Кто печатает шаг, кто семенит, кто крадется — всяк выпендривается на свой лад, лишь бы смотрели. Захожу на днях в мексиканский ресторанчик, там собралась исключительно молодежь не старше двадцати пяти, за одним из столиков — юнец и девица с одинаковыми прическами панков гребнем вперед, они сидят, положив локти на стол и уставив друг в друга свои гребни. Похоже, это скользит мимо моего сознания, похоже, все это скользит мимо... на днях еду по линии Би-эм-ти подземки и смотрю — в вагон входит молодой кореец со стулом, каким-то там мягким стулом для столовой, обернутым прозрачной пленкой, он, значит, решил воспользоваться подземкой для перевозки грузов, что ж, это вполне в азиатском духе, невольно вспоминаются корзины, подвешенные на бамбуковом шесте за спиной, десятитысячные толпы людей с лопатами и рытье бомбоубежищ вручную, но самое интересное вот что: вагон переполнен, кореец оглядывается по сторонам и, не найдя свободного места, ставит свой стул в проходе и садится. Вот так, надо уметь обходиться чем есть, такова неизбежная логика жизненной борьбы посреди кишащего многолюдства, логика простого устройства для сидения.

А эти молодые латиноамериканки, вкатывающие в вагоны подземки коляски с детьми, целые семьи, вваливающиеся в вагон со своими убогими пожитками, единственным их достоянием в мире, двери никак не закрываются, вагон до отказа заполнили compañeros [1].

Вечером в начале Бродвея совсем другой настрой. Под козырьками кинотеатров толпятся мальчишеские компании, ожидающие начала сеанса нового фильма про зверское убийство; мальчишки держат свои расчески как распятия или с важным видом прикуривают друг у друга. Кучки туристов-северян, большие, рыхлые семейства, проходят мимо, немые от изумления. Глянцевитые красотки с фотографий 30-х годов готовы подняться, танцуя, одной ступенькой выше, порывы жаркого ветра от печи пиццерии гонят по тротуару бумаж-

[1] Товарищи, спутники *(исп.)*.

ный сор, полицейский в зеленовато-голубом пластмассовом шлеме рысит вдоль улицы, и его конь, как всякий полицейский коняга, идет чуть-чуть боком, это исторический город флотилий желтых такси, мой отец отлично знал здешние места: кричащие витрины порнозаведений, сосисочные на углу, куда забегали перекусить на ходу проститутки и жулики, рекламные плакаты фильмов, отмеченных тремя звездочками, на которых замазаны черной краской соски и причинные места, салоны кинопринадлежностей, обувные магазинчики, сувенирные лавки с маленькими бумажными зонтиками и свинцовыми статуями Свободы, пассажи, ныне затянутые проволочной сеткой для создания мощных видеозвуковых эффектов, там идет война, но все-таки можно купить первую полосу газеты со своим именем в заголовке. Бродвей всегда был выгребной ямой, тут все по-старому, завывание сирены, торопливо обыскивают кого-то, приставив лицом к стене, полицейский одет хуже парня, которому он до упора заломил руку за спину. Движущиеся компьютеризованные рекламные картинки в небе: гигантская девица в колготках, молодой бог в шортах, архетипы Великого белого пути. А, все это не то.

Когда я еду в Коннектикут, неизменно встает эта проблема реадаптации. Возвращаюсь я, все забыв, полный надежд и светлой решимости, наслаждаюсь запахом мокрой листвы, любуюсь купой белых берез на опушке леса за домом, глубоко вдыхаю воздух самоочищения и попадаю в устроенную мне засаду. Энджел умеет быть нестерпимо благовоспитанной, почище любого англичанина. Но это лишь один из ее способов допечь меня. Я не могу ничего привезти с собой, ни цветов, ни хлеба из настоящей нью-йоркской булочной, потому что это все символизирует нашу ситуацию, как она ей видится. В прошлый раз, когда дети отправились спать наверх, а мы пили бескофеиновый кофе, она принялась рассказывать, как накануне пошла на званый обед по соседству:

— Все, кроме меня, были с мужьями. Я чувствовала себя сиротой в окружении благотворителей. В этих лесах живет полно писателей, но ты единственный, кто не может здесь писать.

— Да, не могу. Неужели кто-то из этих писак может здесь думать? Интересно, что они делают, когда им хочется пройтись?

Она с укором глядит на меня:

— Мне не с кем поговорить. Я одинока. Даже когда ты здесь, я все равно одинока. Даже когда ты здесь. Ты погрузился в собственный невроз, живешь только собой. Я устала чувствовать себя нелюбимой, ненужной. Никому нет никакого дела до того, что происходит со мной!

Тут ее красивые глаза наполнились влагой, и она вышла из комнаты.

Вспоминаются города, что стоят на воде, мшистые камни и холодная темень каналов Венеции, этого первого «Диснейленда». Вспоминается Лондон на широкой реке, плоский, беспорядочный пейзаж, низкое белое индустриальное небо, а также Гамбург на эстуарии Эльбы, река плещется у самой площади, украшенной флагами, чистенький парк над водой, туристские катерки, моя красивая гостиница с эркерами; как обычно, толпами ходят немцы. А еще вспоминается Стокгольм, где каждый пролив архипелага укреплен камнем, превращен в канал, дворец обнесен лесами, башенные краны раскланиваются, как королевские придворные, или грязный, переполненный Париж, вода в Сене перебаламучена удочками, перенасыщена мочой, черт-те что, а не вода, воздух тоже перенасыщен всякой дрянью, черт-те что, а не воздух, да и вся она, переуплотненная столица, стала в своей перенасыщенности непохожа сама на себя, застыла в этой монументальности.

Я скажу Энджел просто: такая уж у меня природа, я не создан для семейной жизни. Она, моя жена, прожившая со мной два де-

сятка лет, вопросительно посмотрит на меня, отца ее детей, и тогда я объясню, что вызрела новая жизненная ситуация и вот теперь заявила о себе. Причем не только мне — тебе тоже; я хочу сказать, мы должны пройти свой путь до конца, это единственное оправдание каждому из нас, после того как выполнены первейшие обязательства; отпустить, рискнуть — только в этом честь, только в этом искупление последних свободных лет. Да, верно, есть у меня одно заветное желание, но мне-то уж известно, до чего оно несбыточно: не смогу же я вечно соперничать, бороться за нее. Что-что, а это я знаю. Я вижу растерянность Мэттингли, что скитается по стране в тщетных поисках женщины, с которой он мог бы поговорить; вижу моего приятеля Леонарда, от которого ушла — к женщине — жена, прожившая с ним пятнадцать лет, он приглашает теперь своих коллег выпить с ним в его новой квартирке, темной и тесной; вижу те узкие пространства, в которых оказывается замкнута жизнь мужчин, плюс ко всему — ужас, упреки и отвращение детей, гнетущее сознание невыполненного долга у мужчин, разрушивших свою семью, и все это, понимаю, грозит мне. Мне грозит унылая общая судьба. Но послушай, скажу я ей, если мы сделаем это как надо, мы сможем спасти то лучшее, что есть в нас и в наших отношениях, мы сможем действовать рука об руку, вместе выполнять свой родительский долг, мы сможем помогать друг другу, относиться друг к другу по-человечески и всерьез, делиться мыслями, сохранять взаимное расположение, может, даже время от времени спать вместе.

Телефон: новосозданная группа по оказанию помощи сальвадорцам приглашает прийти послушать американского врача, который сотрудничает с повстанцами. Что ж, это мне интересно: врач был во Вьетнаме, летал на бомбежки.

Здороваясь, сосед, с которым мы только что повстречались у мусоросжигателя, сказал:

— Ох, и шпарили же вы с утра на машинке. Строчили как из пулемета!

В это время года едва только начинает смеркаться, во всех окнах загорается свет, и мне одновременно видно, где что происходит на многоярусной сцене. Он играет на рояле, а как раз под ним, этажом ниже, она поливает цветок в горшке. Разговаривая по телефону, люди жестикулируют так, словно собеседник находится прямо перед ними — наверно, телодвижения необходимы для модуляций голоса. Одна девочка только что подняла юбку и заглянула к себе в трусики. В детских комнатах, я замечаю, преобладают яркие цвета, ведь детям, как утверждают, нужны красочные игрушки веселой расцветки, вон там карапуз стоит на подоконнике, прижавшись к стеклу и подняв руки над головой, это он папу высматривает, не идет ли папа домой. Слезай, малыш. И повсюду в окнах жилого комплекса синхронно мерцают отсветы цветных телевизоров, идет популярная программа, на всех этажах одинаково колышется свет, меняются цвета, вот пошли новости, обрати внимание, как сменяют друг друга картины, экраны то вспыхивают, то темнеют, краски переходят одна в другую, показывают какую-то войну среди зеленых холмов, бегут люди, мелькают цвета.

Сегодня был один из тех необъяснимо теплых зимних дней, когда в воздухе пахнет весной и всех тянет на улицу. Толпы на тротуарах, люди идут без пальто, народу высыпало, что крокусов на весенней лужайке. Целый оркестр — диксиленд — на Шестой авеню, чернокожий чревовещатель с куклой-негром собрал толпу, запрудившую Коламбус-серкл, разносчики торгуют на каждом углу фисташками и сушеными фруктами, тут же уличные торговцы продают жареные каштаны прямо с жаровен, установленных на тележках. Бойкая игра на деньги: сражаются уличные шахматисты, режутся в три листика картежники. На Юниверсити-плейс толпится народ, я под-

хожу поближе и, вытянув шею, заглядываю через головы: человек пилит стандартную сосновую доску, он трудится сосредоточенно, отпиливая кусок, который ему требуется для работы — подлатать фасад магазинчика, и вот — о мой великий и удивительный город! — вокруг собралась толпа поглазеть, как этот малый распиливает доску.

Среди прочей почты — письмо из Сиэтла, это от друга, поэта Роузена. Не дам ли я какие-нибудь наставления его сыну, который поступает в колледж? Между прочим, спрашивает он, где же эта твоя книга — «Жизнь поэтов»? Я давно уже обещал прислать ему по ее выходе дарственный экземпляр. За последнее время Роузен не напечатал ничего нового, он считает, что его обошли вниманием и что поэтому кто-нибудь должен что-то предпринять для его прославления. О, каким непробиваемо покойным чувством собственного величия обладает дружище Роуз, он даже дышит, как король, каждый его вдох-выдох — это долгий вздох трагической покорности судьбе, протяжный и горестный последний вздох надежды; если бы дыхание было поэзией, он стал бы первым среди поэтов, Шекспиром нашего времени. Человек маленького роста и мощного телосложения, он чрезвычайно агрессивен в играх и гордится своими успехами в теннисе и шахматах. Спору нет, проблемы у него и впрямь монументальные: долгие годы он страдал псориазом; весь с головы до ног в чешуйчатом лишае, он вынужден был, как Марат, жить в ванне. Без многочасового ежедневного омовения в лечебном растворе он полез бы на стенку. Красный, с кожей, покрытой коркой, потрескавшейся, как раскаленный камень, он напоминал планету Марс. Кожа Роузена способствовала его популярности в кругу поэтов ничуть не меньше, чем его стихи. Затем он узнал, что в университетском медицинском центре — исследовательской клинике, экспериментирующей с самыми последними научными открытиями,— разрабатывается новое средство от псориаза. И предложил себя в качестве подопытного кролика. Там ему давали глотать какой-то химический препарат, держали его под кварцевой лампой и привели-таки в божеский вид. Жизнь обрела для него надежду, и он подался в другое отделение клиники, где работали над восстановлением лопнувших барабанных перепонок: он был глух на одно ухо еще с шестидесятых годов, когда ему во время беспорядков засветили дубинкой по уху. В шестидесятые он был поэтом протеста, горячим сторонником активных действий и постоянно нарывался на неприятности с властями: его арестовывали, избивали дубинками на улице. В ту бурную пору он предпочитал рубашки в африканском стиле, нацеплял значки защитника мира и носил густые черные кудри до плеч — в стиле изро. Врачи впрыснули ему во внутреннее ухо какую-то пенистую жидкость, которая, затвердев, соединила порванные кусочки барабанной перепонки. Таким способом Роузену вернули слух. Мало-помалу он по частям собирал себя.

Роузен был женат на Ремини, травнице и мистичке, что не мешало их семейному счастью в шестидесятые годы, однако примерно тогда, когда он взялся за восстановление своего здоровья, она стала верной ученицей человека, который был Делегатом Земли в Совете Вселенной — организации межгалактических богов, исполненной решимости открыть глаза роду людскому на греховность его образа жизни. Роузен не симпатизировал богам и не одобрял их затеи. К моменту, когда его эпидерма и барабанная перепонка соединились в одно целое, брак его разлезся по швам, рассыпался, как разлетающаяся Вселенная. Мне нравилась Ремини. Это была необыкновенно высокая женщина с прямыми светлыми волосами, водянистыми, голубоватыми глазами, тощими бедрами изголодавшейся дворняжки и самой славной улыбкой на свете. Она переселилась из спальни наверху в одну из нижних комнат их дома и спала на матрасе на полу.

Там у нее были настенные висюльки из Непала, ароматические свечи и китайский фонарик. В доме, кроме того, жил заключенный, выпущенный на поруки из местной тюрьмы. Дело в том, что Роузен вел в стенах этого заведения занятия по технике стихосложения и, заметив у упомянутого заключенного литературную одаренность, добился его досрочного освобождения и зачисления в колледж. Когда Роузен отлучался из дому по делам преподавания, Ремини и этот парень вместе воскуряли благовония и медитировали в ее комнате. Меня как-то познакомили с ним: на вид — малый себе на уме, тело поджарое и жилистое, как у нее, в глазах явственно читалась гордость тем, что он освоил-таки этот дешевый приемчик, метафору, который вызволил его из каталажки.

Сегодня волосы у Роузена почти все вылезли, остатки коротко подстрижены. И носит он синие блейзеры с галстуком. Свою жизнь он связал с миловидной женщиной его роста. Их дети делают успехи. Роузен тренирует детскую бейсбольную команду, в которой играет его младший сын, он хочет побеждать, он хочет делать все по высшему классу и побеждать, но, если не считать нескольких переводов, он вот уже много лет не может создать ничего путного, такого, чем сам остался бы доволен, кожа у него очистилась, в теннис он играет отлично, в шахматы обыгрывает свой компьютер, но не написал ничего мало-мальски стоящего.

А что тут у нас еще, ага, срочное уведомление от моей телефонной компании: Estimado Cliente, si no paga la cantidad completa, y nos es necesario interrumpir su servicio, no tendremos otra alternativa que cancelar su cuenta[1]. Брось свои дурацкие шутки, испаноязычный компьютер, я уплатил за телефон!

Чего я хочу теперь от своей жизни, так это чтобы она стала простой, чтобы не надо было скрытничать, всегда и со всеми я хочу быть самим собой. Я хочу предаваться любви с той, кого я люблю. Мое ощущение любви, любви к ней предполагает состояние ясности, свершенности. Мое действительное «я» и «я» идеальное совпадают. И однажды я сказал ей об этом, сказал, что считаю ее женой, созданной для меня природой, потому что никогда и ни с кем не испытывал подобного чувства: как будто я наконец-то зажил собственной своей жизнью. Ну и, конечно, обнаруживаешь всяческие предзнаменования, может, это и романтические глупости, но вот я, к примеру, много рисую, всегда рисовал, сколько себя помню,— чаще всего лица или там животных, автомобили, самолеты, иной раз собственную руку,— и из года в год я рисовал одно и то же женское лицо в профиль, еще с мальчишеских лет я рисовал его, и оказалось, что это была она. В один прекрасный день я доказал ей. Нарисовал тот профиль вслепую, и у меня получился ее портрет — ее энергичный подбородок, большой ясный глаз. А уж такого я никак не мог бы подстроить: номерной знак ее машины совпадает с номером моего телефона. Я ничего не выдумал. Однако желание обнаруживать такие вещи — это любовь.

У меня достанет мужества от всего отказаться ради нее.

— Пускай все остается как есть, я же не ставлю условием, чтобы ты ушел от жены,— в панике вымолвила она однажды. Может, ей недостает смелости. Может, ей непереносима опасность. «Но почему бы не сказать о том, что было?» Строчка Лоуэлла. Чего уж там, я попал в беду и знаю это, я должен был расшибиться в лепешку, чтобы вдохнуть жизнь в этот роман, у нее нет к нему спонтанного интереса. Как-то раз она заметила в оправдание своих сомнений: — Довольно долгое время мне казалось, что ты вовсе не считаешь меня

[1] Уважаемый абонент, если Вы не уплатите всю сумму и мы будем поставлены перед необходимостью прекратить обслуживание, то у нас не останется иного выбора, как ликвидировать Ваш абонемент *(исп.)*.

женщиной, созданной специально для тебя. — Я запротестовал. — Нет,— возразила она,— по-моему, тебе просто хотелось любви.

Она не ревнивица и не собственница, но в этих ее словах я уловил намек на злополучное начало нашей любовной истории. Я с первого взгляда был ошеломлен, потрясен, совершенно ослеплен ею, однако ушел-то с ее подружкой — импульсивный шаг, минутное наваждение, как объяснил я свой поступок, когда месяц спустя наконец позвонил ей. Я познакомился с ними обеими однажды летом во время уик-энда.

— Хотел-то я тебя,— оправдывался я,— но просто уверен был, что ты не свободна. Я послал стрелу как только мог ближе.

Ведь сила чувства способна направить нас по ложному пути, это так — я знаю. Рильке полюбил двух женщин, которые были подругами. На одной он женился, а продолжал любить другую. Да и про нашу Мойру, горячо любящую и страдающую супругу Брэда, поговаривают, будто буквально накануне своего побега с ним она сказала своему прежнему возлюбленному, что выйдет за него замуж, если он все еще хочет этого. Когда мы любим, нас наполняет неимоверно яркий внутренний свет — наш гирокомпас кренится, шатается, вибрирует, того и гляди вышвырнет нас за пределы Вселенной. И ничего странного нет, по-моему, в том, что, ослепленный неистовым блеском совершенно экстатической убежденности в своей любви к женщине, ты мог в этом своем нервном перевозбуждении с такой же легкостью потянуться к женщине, стоявшей рядом с нею.

И вот теперь она странствует по свету, ей нужно время, чтобы обдумать наши отношения и разобраться, чего она сама хочет. Греция, Египет, Индия... боже ты мой, сколько же времени ей понадобится, у меня ведь не вечность впереди. Она уже сказала мне, что любит меня и страшится этого. Таковы женщины ее поколения, их пугают притязания на них. Разве не смешно? У нее, видите ли, свое собственное дело жизни, у нее есть ее Диккенс, ее Харди, ее Джеймс, она преподает всех этих мертвых писателей, ужас что за профессия, я бы отчаялся, руки опустил. Чего я страшусь, так это ее желания, чтобы мы были друзьями. Оно всегда при ней, прямо-таки инстинкт. А удовлетворить его — я знаю — так легко, так благостно, ведь мне понятен Рескин, мне понятны все целомудренные салонные страсти девятнадцатого века, эти триумфы нескончаемой любви старых дев к священникам, ученых мужей к своим кузинам, притом можно ведь обойтись без грубой физиологии. Любовь, практикуемая платониками, безопасней и бестревожней, она никогда не признает своих ошибок, вы прочно обосновываетесь на небесах, и уже ничто не может вас пронять, вы существуете в сияющей сфере взаимного духовного расположения, а то, как вы распоряжаетесь своей плотью и с кем, не имеет значения. А что, если у нее природа такая и иначе она любить не способна? Недаром она так и не была замужем, это в ее — сколько ей? — тридцать, тридцать один, мужчины-то у нее с пятнадцати лет были, стоило ей только захотеть, она водила компанию с последними из «детей-цветов», гоняла на их мотоциклах, накачивалась с ними мескалином на пляже, какое-то время жила с торговым агентом, жила даже с еще одним писателем, и всякий раз дело кончалось разрывом через считанные месяцы — полгода, если я правильно запомнил ее слова, было самым долгим сроком ее совместной жизни с мужчиной.

Восемнадцать лет — самый долгий срок моей совместной жизни с женщиной.

По правде говоря, в моих чувствах нет собственнического оттенка, ее независимая жизнь научила меня широко смотреть на вещи. Люблю расшевелить тебя, чтобы ты взыграла, сказал я ей как-то раз, на что она ответила: это же твоя обязанность. Она удивительно хороша собой. Ее формами я наделял героинь в своих вещах: малень-

кие грудки, тонкая талия, пышный зад. Эта женщина не из тех, у кого глаза на мокром месте. Держится она спокойно, и голос у нее красивый, без каких бы то ни было жалобных или самоуничижительных ноток. Я приписываю ей ясность духа и умение сохранять самообладание в обществе — качества, которых, по ее уверениям, у нее нет и в помине. Впрочем, откуда ей знать? С самого начала она жила беспорядочной половой жизнью и тем не менее воображает себя этакой одинокой и неряшливой старой девой, которая день-деньской читает лекции да корпит над тетрадями, а вечером садится с ритуальным бокалом мартини перед телевизором и одна смотрит какой-нибудь фильм.

Что это там такое происходит на Хьюстон-стрит? Льет дождь, и в янтарном свете уличного фонаря перед бензоколонкой «Мобил» мне видны четыре, восемь, двенадцать припаркованных такси, половина из них въехали на тротуар. Во всех такси погашен свет, но водители сидят внутри: время от времени в какой-нибудь из машин вспыхивает спичка. Подкатывают все новые желтые такси и пристраиваются сзади или сбоку, а вот у двух машин вдруг загораются фары, взвывают моторы, и обе, взвизгнув шинами, уносятся. На их место выруливают такси, стоявшие позади, и ждут своей очереди. Я беру бинокль. Янтарные дождевые капли падают прямо перед глазами. На дверцах всех такси одинаковая эмблема, это машины одной компании. Чтобы таксисты простаивали с потушенными фарами в дождливый вечер, самую горячую, денежную пору? Полицейские это. Теперь срываются с места еще трое и мчат по Хьюстон-стрит куда-то на восток. Эти фальшивые такси, как я знаю, полиция использует для облав на угонщиков автомобилей. Шайки автомобильных воров отлично организованы: не пройдет и пяти минут, как украденную машину доставят в мастерскую и разберут на части или же отгонят в порт, погрузят в трюм корабля и завтра утром она уже будет на полпути через океан. Полицейские не могут приблизиться к ним незамеченными в своих патрульных полицейских машинах и даже в машинах без опознавательных знаков полиции, поэтому они используют такси, чтобы обмануть бдительность угонщиков. Значит, вот что я вижу. Впрочем, эта операция под дождем больше смахивает на усиленное наблюдение, тут пахнет чем-то покрупнее, кто-то взял большие деньги в СоХо. Разгул преступности на Бродвее.

Не знаю, не знаю. Двуличие людей, согласен, является основой цивилизации, но двойная жизнь государственных учреждений: полицейские, переодетые таксистами, женщины-полицейские, переодетые бездомными оборванками, полицейские, переодетые туристами,— это уже чистая шизофрения, какое-то племенное театральное действо, подключение к экзистенциальным источникам энергии, высвобождение опасных таинственных сил. Я предпочитаю, чтобы мои полицейские были в форме и с ясно различимым номером на бляхе, я предпочитаю, чтобы бюджеты полицейских управлений обсуждались публично. По мне, все полицейские, все детективы должны быть опрятно одеты и легко опознаваемы. Я не хочу, чтобы они обряжались в маскарадные костюмы, жили по легенде и заводили секретные досье. Кто знает, что у них на уме, когда они внедряются в нашу среду.

Сидни, агент тех самых служб и обладатель черного пояса мастера по каратэ — говорят, много лет назад он тайно поставлял оружие террористам из Иргун[1],— однажды сказал мне:

— Евреи вроде меня следят за евреями вроде тебя.

Но я утверждаю, что тут у нас есть средство поймать в перекрестие окуляра действительность — это нелепица, высоковольтный разряд и удар по нервным клеткам. Моему приятелю Гэри пятьдесят

[1] Иргун — подпольная террористическая организация сионистов правоэкстремистского толка.

лет, он руководит собственной рекламной фирмой и жертвует порядочные деньги в фонд избирательных кампаний демократической партии. В пору нашей близости он был женат на Абигейл. Для обоих этот брак был вторым, что немаловажно: У каждого из них имелось по ребенку от первого брака, и еще троих они произвели на свет совместно. После рождения третьего Абигейл потребовала, чтобы Гэри подверг себя стерилизации. Ему не хотелось делать этого, поскольку, как и все мы, он гордился своей мужской производительностью, но в интересах сохранения семейного мира Гэри лег в больницу, и его прооперировали. Благодаря чему напряжение в отношениях между супругами спало и все у них шло прекрасно, пока через несколько месяцев он не увидел в сумочке Абигейл пластмассовый футляр в форме морской раковины — вы понимаете, для чего женщине такой футляр. Впрочем, последнее имело бы не больше значения, чем всякая другая грустная песнь любви, если бы не неожиданная трактовка, которую дал этой истории сам Гэри. Он, понизив голос, поделился со мной своими соображениями в баре «Уолли» через несколько месяцев после развода:

— Вот тут-то, когда я нашел у нее противозачаточный колпачок, я и понял: Абигейл — ЦРУ.

Я подумал, что он спятил. Помню, довольно неделикатно высмеял его.

— Слушай, Гэри,— сказал я,— откуда ты взял, что ЦРУ захотелось иметь мужем именно тебя?

Но сейчас я отношу то́ его замечание к числу самых пророческих, которые мне довелось слышать на своем веку. Обнаружить, что твоя жена ублажается с кем-то еще,— это одно, но быть обманутым правительством Соединенных Штатов — это совсем другое. Вдумайтесь в эту метафору, и она окажет на вас такое же действие, какое оказала на меня. Воспринимайте Гэри как поэта. В один краткий миг мучительного вдохновения он поймал дух времени — так парус ловит ветер. Я знаю людей, всю жизнь занимавшихся писательством, которым никогда не создать ничего подобного.

Вчера вечером на обеде у Джози. Она рассказывает нам, что ее младшенький пришел из школы с письмом от директора. В этом отпечатанном на мимеографе послании, своего рода сигнале психологической тревоги, родителей учащихся школы Малбери извещали о том, что некоторые из их детей, возможно, испытали шок, увидев сегодня утром мертвое тело, лежавшее на тротуаре прямо перед школьным подъездом. Мы дружно и весело смеемся. Пол — он в молодости поработал репортером в отделе городских происшествий — объясняет, что теперь не в диковинку увидеть труп на улице, потому что полицейские, обнаружив его там, не производят расследования. Другое дело, если труп обнаружат в здании. Тогда они становятся ретивыми сыщиками. Поэтому-то заинтересованные лица, друзья и родственники умершего бедолаги забирают его бумажник, срезают ярлыки с его одежек, выносят труп ночью на улицу и кладут рядом с мусорными баками. Никаких проблем.

Прежде чем мы успеваем сообразить, что происходит, все сидящие за столом начинают вкруговую рассказывать истории про покойников. И это бы ничего, только один из гостей, издатель Марвин, богатый наследник и холостяк, неизлечимо болен, жить ему осталось, может, всего полгода. В сущности, потому-то, наверное, и завязался у нас этот разговор — понимаете, такие вещи как нарочно лезут на язык. Марвин слушает невозмутимо, с застывшей улыбкой на лице. Рядом с ним его палка, похудевшая шея торчит из воротника, как сушеная морковка, но одет он в красную фланелевую куртку и клетчатый жилет веселенькой расцветки. Мы спохватываемся, принимаем некое негласное коллективное решение, и каждый углубляется в беседу с соседом или соседкой за столом.

Это что-то новенькое: раковые больные расхаживают по гостям. Какая ужасная тенденция — не бояться! Неужели Смерть — всего лишь очередной выход в свет?

Поднявшись по лестнице из подземки на станции «Астор-плейс», натолкнулся при выходе на уличный базарчик: кассеты с «пиратскими» записями, одежда со срезанными ярлыками, дамские сумочки, бумажники, новенькие, только что из печати, книги, разложенные на целлофановых скатертях прямо на тротуаре. Возле этих ценностей стояли улыбающиеся молодые люди в драных солдатских комбинезонах и вязаных матросских шапочках. Я видел их в прошлом году в Лиме. Позже я видел их в Мехико. Волна докатилась и до наших берегов. В Лос-Анджелесе теперь живет множество иранцев. Вьетнамцы расселились по всему западному побережью. Лаосцы становятся жертвами синдрома скоропостижной смерти в своих типовых домишках в Скалистых горах, гаитяне высаживаются на берег во Флориде, сальвадорцы, гватемальцы, переплыв реку, пробираются в Техас. Ради бога, пускай себе переселяются, пускай возлагают на мою страну свои лучшие и последние надежды. Только давайте проведем кое-какие различия: ирландцы, итальянцы, евреи из Восточной Европы приезжали, потому что хотели начать новую жизнь. Они зарабатывали деньги, чтобы перевезти сюда свою семью. Свою прежнюю родину они покидали без сожаления, радуясь разлуке с ней. Все они переселялись сюда отнюдь не потому, что мы вынудили их к этому. Новые же иммигранты оказались здесь именно потому, что мы сделали их страны непригодными для жизни. Они приехали сюда, чтобы спастись от нас. И привезли с собой свои горячие политические страсти. Создали военизированные лагеря. Убивают друг друга. Агенты тайной полиции их родных стран прилетают охотиться на них. Бомбы из латиноамериканских республик взрываются на Коннектикут авеню. Президент моей страны обнимается с социопатами, чью грудь украшают медали, полученные за убийства. Нищие роются в мусоре. Глаза обездоленных латиноамериканцев в упор смотрят на меня. В октябре прошлого года меня пригласили на вечеринку, которая устраивалась в доме американского культурного атташе в Мехико в канун дня всех святых. К дому, защищенному, как и все такие особняки, чугунными воротами, я проталкивался сквозь толпу метисов, смуглокожих людей неопределенного возраста; у некоторых были за спиной младенцы, запеленутые в цветное тряпье. Все они протягивали шляпы, что-то говоря на своем мягком, шепелявом языке, и мне слышалось: крах или торт, крах или торт — тихий, беззлобный лепет — крах или торт,— похожий на мирное клохтанье стаи домашней птицы.

Видно, со мной произошло что-то действительно серьезное. Видно, наступил разлад между мной и моим призванием. Но как это могло случиться? Я верно следовал ему, шаг за шагом продвигаясь туда, куда звала меня его логика, я не знал колебаний, был стоек и тверд, а оно завело меня в эту пустыню с плоским, унылым горизонтом. Снова и снова оглядываюсь по сторонам — я один как перст. Что это — судьба, уготованная всякому, посвятившему себя своему призванию? Ты, движимый логикой и верой, переступаешь некую незримую грань, и твоему взору является неведомая Вселенная. Видно, я переступил грань. Когда-то я хотел написать роман о епископе Пайке [1]. Теперь я вижу почему, я вижу связь, наверно, я узнал ту неистовую преданность, ту исступленную веру, которая проводит тебя через все, пробивает насквозь магму. Достопочтенный прелат, продолжая нести ярмо епископских обязанностей, последовал за своей любовью к богу туда, куда она привела его — в лагерь оккультистов. Сын у него умер от чрезмерной дозы наркотика, а медиум мог бы связать его с умершим... О, какое горе, какое горе. Молитвенник па-

[1] Джеймс Альберт Пайк (1913—1969) — американский религиозный деятель.

дает из рук. Если ты истинно веруешь в Бога, то можешь ли не жаждать сверхъестественного? Если ты способен молиться Ему, то разве не способен Он сойти с доски для спиритических сеансов в затемненной гостиной, заговорить сдавленным голосом шарлатана-спирита? Удаляясь в пустыню Негев с бутылкой кока-колы, несчастный безумец и мысли не допускал, что он простился со своей епархией.

В один прекрасный день много лет назад в гости к нам, в наш коннектикутский дом, приехал мой друг Арлингтон и остался ночевать. Мы слышали, как он стонал во сне. Но наутро я застал его вместе с моими детьми на кухне за столом, накрытым для завтрака. Крупный мужчина, сложенный как футбольный защитник, он сидел в нижней рубашке в рубчик с сигаретой «Пэлл-Мэлл» в одной руке и с полным стаканом виски — в другой. У Арлингтона была фотографическая память, и беседу он мыслил как сплошное декламирование стихов. Он постоянно читал по памяти целые антологии поэзии, составленные из вещей, которые прочел и полюбил. Так вот, здесь, значит, сидят перед тарелками с рисовой кашкой с зажатыми в кулачках ложками мои ребятишки, совсем малыши тогда, и таращатся на него, забывая есть. Вон там склонилась над кухонной доской Энджел в купальном халате — она намазывает хлеб арахисовым маслом, готовя школьный завтрак детям, и покачивает головой в знак того, что не верит собственным ушам. А тут примостился с чашкой кофе я и пытаюсь продрать глаза. Тем временем Джеймс Арлингтон дочитал до конца «Растет зеленый остролист», затянулся сигаретой, отхлебнул виски и начал поэму Тракля о немецко-фашистском декадансе или что-то в этом роде. А время — еще восьми нет.

Ах, этот поэт! Просто для того, чтобы показать вам, какая у него была память. Мы вместе учились в Кеньоне[1]. Там было полно поэтов, ведь в Кеньон поступали ради поэзии, подобно тому как в университет штата Огайо — ради футбола. Трое-четверо из поэтической студенческой братии, такие как Арлингтон, писали хорошо и подавали надежды, но хватало среди нас и бездарей, и рифмоплетов, и изощренных эстетов, над утонченным эстетическим чувством которых мы любили поиздеваться. Как-то раз я, прогуливаясь с Джимом в погожий осенний день, прыгнул на кучу листьев и принялся охапками швырять их вверх, а когда они, кружась и трепеща, вились вокруг моей головы, я стал в позу — поднял руку с опущенной, как увядший цветок, кистью и задрал подбородок — и восторженно-дрожащим голосом звучно продекламировал: «Листья падают, листья падают!» Арлингтону это понравилось, и он рассмеялся — смех у него был громкий, металлически-звонкий, неудержимый. Истинный поэт, он любил слушать пластинки с записями немецких баллад в исполнении Элизабет Шварцкопф, но вместе с тем охотно певал песенку «Сэм, Сэм, засранец Сэм», шагая по центральной аллее, этакий батрак с фермы из глубинки Огайо в компании мальчишек в серых фланелевых и белых хлопчатобумажных брюках. И месяцы спустя он радостно цитировал мне: «Листья падают, смотри, листья падают!» Этот стих вошел в его репертуар, он хранил в памяти наши стихи ради всех нас и напоминал их нам — мы были неудачниками, отверженными париями студенческого братства, и он собрал нас вокруг себя, придал нам гордости, сознания собственной силы,— он запоминал для нас наши стихи и номера, которые мы откалывали, чтобы заслужить его одобрение. Ладно, и вот минула треть века, он известный поэт и живет с неистовой интенсивностью и яростной одержимостью человека, обреченного поэзии. И при этом чудовищно, почерному пьет. Наконец, в пятьдесят он решает бросить, это стало для него борьбой, мукой — оставаться трезвым. И он превозмогает себя, держится, лицо у него теперь осунувшееся и бледное, как у всех, кто бросил пить, в таком состоянии он заболевает, что-то нелад-

[1] Мужской колледж в штате Огайо.

ное с горлом, оказывается — рак. И однажды я навещаю его в больнице, к этому времени он уже не может говорить, рот у него заполнен какой-то пропитанной лекарствами ватой, в горло вшита трубка, введенная в трахею, чтобы он мог дышать, и вот он жестом показывает своей жене Молли, чтобы она подала ему доску с зажимом для бумаги, что-то пишет и протягивает мне. Все тем же неразборчивым почерком батрака с фермы, что и тридцать лет назад, там написано: «Листья падают».

Разумеется, она живет в холмистом Беркшире[1]. Да, разумеется. В детстве я провел там не одно лето, и места эти остались такими же, как тогда. Для меня тут отчий дом души. Чтобы ощутить это, достаточно было один раз прогуляться по притихшему тенистому лесу. Хвойный подстил скрадывает звук твоих шагов. Стрекоза, медленно поворачиваясь, парит в столбе ясного света. Ручей в расселине журчит, катясь по белым камням. Здесь жил Мелвилл, жил Хоторн, приобщивший меня к Романтике, и даже Уильям Каллен Брайант. И здесь живет она. Однажды зимой мы сняли номер в гостинице в тридцати милях от ее городка. Хотя она свободная, незамужняя женщина, осторожничает она больше, чем я: ей надоели всякие пересуды, она честно вкалывала учительницей в начальной школе, зарабатывая деньги на аспирантуру, но всегда находились сплетники, болтавшие, что и научной степенью, и всем прочим она обязана своей привлекательной внешности, а ее такие сплетни очень задевают. Поэтому лучше, чтобы нас не видели вместе. Ладно, меня это тоже устраивает. На ней было темное облегающее пальто, а под ним нарядное платье с высокой талией — синие ирисы на белом фоне. Мы выпили в баре и прошли в наш номер. Кровать под старину с четырьмя резными столбиками была застелена покрывалом, отделанным синелью. Я задернул шторы позади белых занавесок. Еще там было два мягких кресла с подголовниками — таких маленьких, что в них нельзя было сидеть. Ванна на львиных лапах в ванной комнате. Мы разделись и предались любви.

Как бы ты ни представлял все в воображении, как бы яростно ни вожделел, стоит ей сбросить одежду, и образ становится живым человеческим телом во всей его особости — лишняя складочка тут, округлость там, полноватость бедер или трогательная узость плеч, груди не такие большие, как ей хотелось бы, или же какая-нибудь несоразмерность, слишком уж густые и длинные волосы для такого тела, какое-нибудь свидетельство торжества или тирании обычной жизни, женский протест против совершенства формы, и ты — конечно, во всей особости твоей собственной судьбы — сжимаешь ее в объятьях, и твое воспаленное вожделение делается чистым и необыкновенно спокойным, и ты смеешься, обнаруживая, что просто и невинно занимаешься любовью с другим человеком.

Ближе к ночи пришло время отвезти ее домой. Мы пустились в тридцатимильное путешествие до ее городка. Было поздно и очень холодно. Дорога вилась между высокими сугробами, холмы по обе стороны от нас щетинились темным лесом. Она показала мне на несколько звезд, видневшихся в черном ночном небе. Я вырубил фары. Она испуганно засмеялась. С потушенными фарами и выключенным мотором мы покатились вниз по извилисто спускавшейся с горы дороге. Она обеими руками вцепилась мне в руку, до боли сжав ее, и все смеялась и дрожала, пока мы неслись со склона — темная тень на темной дороге под звездами.

Она всегда щепетильно отказывалась от подарков — принимала только те, что стоили совсем пустяк. А мне все время что-нибудь дарила: цветы, декоративные ложки, антикварные открытки, вазочку —

[1] Невысокая горная гряда в западной части штата Массачусетс, один из отрогов Аппалачей.

маленькие подношения, сделанные под впечатлением минуты, неизменно красивые и со вкусом выбранные.

Я довез ее до окраины ее городка в горах, где она оставила свою машину. Река была скована льдом. Ветер мел снег по улицам. У самого берега реки — красный кирпичный завод с заколоченными дверьми и окнами.

Но вот лежит открытка от нее — красочные иностранные горы, далекие перевалы. Гималаи. «Я познакомилась с одной компанией и еду дальше с этими людьми. Прости меня». Она, видите ли, познакомилась с одной компанией и едет дальше с этими людьми. А сама превратилась в красивую открытку с иностранными горами, чужими далекими небесами. Я провожу пальцем по строчкам, написанным ее рукой. Как-то раз она сказала мне: «Язык — это что-то почти нереальное».

Не только в религии, в науке тоже: Лайнус Полинг, получивший Нобелевскую премию по химии, упорно продолжает настаивать на мощном лечебном действии витамина С, принимаемого в лошадиных дозах, он настаивает, следуя логике и убеждению, покуда его не лишают ассигнований и не объявляют полученные им данные несостоятельными. Полинг, ему уже далеко за семьдесят, сохраняет добродушие и полную невозмутимость: буднично, без единой жалобы, преодолевает препятствия и рассказывает о том, что знает, на официальных обедах. Наука стала для него неким обнесенным стенами городом, и он стоит, изгнанный, у врат вместе с другими изгоями, ибо последовал за своим призванием туда, куда оно привело его.

Ну и, конечно, классический случай Вильгельма Райха[1]. Было время, когда Фрейд считал его лучшим среди своих последователей. Какие у него были труды, какой вклад он внес в литературу по психоанализу! И вот на своем дальнейшем пути вперед он, следуя логике и убеждению, пришел к идее исцеления всего общества. Продолжал идти все дальше вперед, обреченный в своей приверженности,— прямо в оргоновый бокс. Вышел из него где-то в Нью-Гемпшире, чтобы кончить свои дни, сбивая НЛО из жестяной лучевой пушки собственного изобретения.

Позвонила мать:

— В газете пишут о твоем друге Нормане, я постоянно вижу его по телевизору, а почему ты никогда не выступишь по телевизору?

— Не знаю, мам, наверно, мне по душе уединение.

— Слушай, от кого ты прячешься?

Он говорит, многие из них болеют от недоедания, единственная их пища — это бобы да маисовые лепешки, поэтому он учит их добывать дополнительное питание из листьев юкки и дынного дерева. Он говорит о том, какую большую медицинскую помощь оказывает обычный гвоздь, который, пролежав несколько дней в питьевой воде, насыщает ее железом — это необходимо, чтобы вылечить их от анемии. У них, говорит он, нет аспирина, и поэтому он учит их делать отвар из ивовой коры, который действует как жаропонижающее средство. Настой эвкалиптовых листьев помогает от кашля. Если национальные гвардейцы, рассказывает он, задерживают человека с лекарствами, двумя-тремя кусками мыла, несколькими ампулами противостолбнячной сыворотки, его бросают в тюрьму за подрывную деятельность.

Я пытаюсь вспомнить все, что он рассказывал. Мы слушали его на чердаке одного дома на Спринг-стрит; взрослые мужчины и женщины, мы, как дети, сидели на полу, а молодой доктор с бледным лицом говорил, стоя возле вентиляционных труб. В джунглях там не спрячешься. Это земледельческий край, и каждый клочок земли в горах и долинах населен, поэтому партизаны должны иметь опору в

[1] Вильгельм Райх (1897—1957) — австрийский психоаналитик, эмигрировал в США. По его гипотезе, «оргон» — это биологическая энергия жизни, усваиваемая человеком из внешней среды.

народе. Каждый район под их контролем управляется общим собранием — выборным органом общины. Каждый район выращивает свои традиционные культуры, но собранный урожай они хранят совместно. Некоторые из районов специализируются на разведении домашней птицы, свиней или коз. На весь край — несколько примитивно оборудованных больниц. Немногочисленным врачам и студентам-медикам помогают «бригадистас» — подготовленный на месте средний медицинский персонал. Прямо под деревьями они учатся читать и писать.

Я сижу и слушаю молодого доктора. Спиной я прислонился к стене, колени мои высоко подняты. Я открываю глаза и нахожу взглядом большое запыленное чердачное окно, выходящее на мой собственный дом в нескольких кварталах к северу отсюда. Отсчитываю девять этажей и вижу мои собственные освещенные окна. Представляю себе, будто стою у окна и гляжу оттуда на себя. Думаю о том, почему я снял эту квартиру. Я снял квартиру ради нее. Чтобы сделать ее нашим нью-йоркским гнездышком.

Когда правительственные войска нападают на какой-нибудь из этих районов, партизаны, обороняясь, эвакуируют гражданское население. Они уносят с собой раненых. Прячут скот. Уходят ночью. Все это у них, по его словам, очень хорошо организовано. Как только рейд кончается, гражданское население возвращают обратно. Большинству партизан нет и восемнадцати. Они учатся читать и писать прямо под деревьями.

«Я познакомилась с одной компанией!» С какой еще компанией?! Кто такие эти ее друзья?! Как она попадает во все эти страны, откуда у нее деньги?

ЦРУ она, шлюха.

Кто-то же должен платить, из тех, кто с ней. Сердце разрывается на части, во рту привкус крови. Кто с ней? «Тебе надо было девочкой на свет родиться,— лет пяти, наверно, услышал я от матери.— Я девочку ждала — было бы кому помочь мне на старости лет. Уж и заставил он меня помучиться,— рассказывала она приятельницам, сумерничавшим вместе с ней на веранде дома где-то в гористой местности в тысяча девятьсот тридцать — каком? — пока я играл на деревянных ступеньках, видя на уровне своих глаз монументальные женские икры и колени, ляжки, распластанные на плетеных сиденьях стульев, юбки, поднятые повыше, чтобы подставить ноги легкому ветерку в этот знойный вечер в горах,— ведь он шел задиком вперед, чуть не убил меня». Рильке еще больше не повезло, ему во всем крупно не везло, мать назвала его Рене, одевала, как девочку, не давала подстригать ему волосы. На Райнера он сменил это имя, только став взрослым. Райнер Мария Рильке. Почему, интересно, он не сменил заодно и Марию? «Нет места здесь, где ты бы не был зрим. Ты должен жизнь сменить». Да, Рене-Райнер. Искать преображения, отдать богу влажную, сияющую душу. Ибо Смерть сочинит о тебе легенду. Она скажет, что ты поступил правильно. Что ты пополнил число блаженных и не зажился на этом свете. Боже ты мой, не нравится мне это выражение в связи со мной, его тайный смысл. Что кровь моя стынет. Что мое биологическое время прошло. Что от жизни взято все. Что невероятно красивым мужчиной мне больше не быть.

Теодора С. сейчас в городе, я повстречал ее на днях в «Грэнд Юнион». Она рассказала, что муж ушел от нее к другой женщине:

— А я ради него порвала с человеком, который столько для меня значил! — Нет, Теодора — не то.

Может, долговязая исландка? Когда мы говорили в прошлый раз, она похвасталась, что нашла потрясающую новую диету и сбросила несколько фунтов. Сказала, что ищет теперь способ больше двигаться, чтобы снова не растолстеть.

— Почему бы не заняться сексом? — посоветовал я.— За один раз сжигаешь двести калорий.

— Не может этого быть, раз ты просто лежишь и все,— ответила она. Нет, долговязая исландка — не то.

А пока его мозг просто лежал и все, его открытый глаз с красными прожилками узнавал в беспокойно ерзающей по полу фигуре — все время, что праведный доктор говорил, она вертелась, все никак не могла удобно усесться, юбка у нее то и дело задиралась, открывая для обозрения ноги,— ну да, боже ты мой, его, мою старую знакомую, актрису Бренду. Когда-то, годы назад, Бренда стала на пять минут моей пылкой музой. У нас сладилось потому, что она гораздо больше моего знала о болезнях и недугах. Не просто живая, волнующая женщина — все они теперь таковы,— а большой авторитет по части физических страданий. Вон она. Мы переглядываемся через комнату и улыбаемся друг другу, слушая, как они учатся читать и писать под деревьями.

Бренда чудом выжила, перенеся несколько лет назад операцию на мозге, и рассказала мне, что, похоже, она обречена на полный паралич в старости — отдаленное последствие этой операции. Если только доживет до старости. Она до сих пор принимает атабрин от малярии, которую подцепила в Бангладеш, а в пору нашей близости у нее было какое-то воспалительное заболевание женских органов, хотя я-то думал, это из-за меня у нее, я думал, что из-за меня. Отличная, лихая актриса и к тому же мастерица целоваться. Наделенная поэтическим даром людей театра чувствовать напряженней и отчаянней, чем кто бы то ни было.

— Мы куда-нибудь уедем и станем жить в бедности,— говорила она в самую пылкую пору нашей дружбы,— ты будешь так счастлив со мной! — На голени у нее шрам — память о том времени, когда ее избил на митинге психанувший ветеран вьетнамской войны, он пинал ее ногами и сломал ей берцовую кость, которую потом неправильно срастили врачи. Или это след автомобильной катастрофы? Не припомню сейчас. Она переломала чуть ли не все кости, и я знаю, каким образом. Однажды мы целой компанией участвовали в благотворительном литературном вечере в Саутгемптоне, и по окончании на нее набросилась толпа поклонников; пытаясь улизнуть, она проделала эту удивительную штуку: попятилась к краю веранды — по счастью, не очень высокой, ступенек этак восемь-десять от земли — и кувырк вверх тормашками через перила, только нижние юбки взметнулись да ноги в босоножках, дрыгаясь, мелькнули в воздухе; все мы в остолбенении стояли и смотрели друг на друга, слушая, как мечется внизу Бренда, выдираясь из живой изгороди.

Я было насторожился, когда сложил вместе все ее рассказы о режиссерах, которые избивали ее до полусмерти, знаменитых актерах, которые пытались ее изнасиловать, смертельных болезнях, которые она перенесла, и политических интригах, в которых она рисковала жизнью. Ладно еще, если бы Бренда была какой-нибудь патологической вруньей, но она рассказывала чистейшую правду. Невероятно. Такие люди не подхватывают простуду — они заболевают пневмонией. Они едут куда-нибудь в отпуск, и там вспыхивает революция. Это грозовые разрядники жизни, ее молнии раскаляют их добела, сжигают дотла. Я хочу жить долго, я вовсе не хочу жить в бедности и не желаю стать добычей семи разных, но одновременно вцепившихся в меня болезней.

А теперь мы вновь говорили с ней после встречи со святым в облике американского доктора на чердаке правоверных в доме на Спринг-стрит, и я вспоминал, какой ладной и теплой была она в моих руках, рослая женщина с узкой длинной талией; как-то раз она даже вытащила меня танцевать, да что там, я даже пообещал написать для нее пьесу, и вот она снова щебечет, смеется, глаза ее, как у ребенка, изумленно распахиваются, и я думаю: «Какая удача, какая удача, мне ее бог послал»,— после нескольких рюмок я способен на-

чать надеяться, что для меня не все кончено. Я способен поверить, что я комик и моя судьба не имеет значения.

Итак, присутствующие выписывают чеки на покупку медикаментов для них, я, прощаясь, пожимаю руку оратору, и мы с Брендой направляемся в кафе и говорим не наговоримся, а оттуда — в бар на Принс-стрит и опять говорим, она рассказывает мне, чем сейчас занимается, в какие дела влезла.

— О Джонатан,— говорит она,— мне так страшно снова возвращаться туда. Но как же я могу не поехать? Боже мой, ты знаешь, что они делают с женщинами повстанцев?! — Она вздрагивает всем телом и отпивает. Мы сидим близко друг к другу, и я обнимаю ее, теплую, славную. Мы выпиваем. В Нью-Йорке она всего на пару дней, заночует у подруги. Друга? Я говорю, в этом нет необходимости, она может провести ночь со мной. Наверно, мне следовало внимательней слушать. Она заглядывает мне в глаза. Она берет меня за руку, и вскоре, не спрашивайте меня как, мы оказываемся в ризнице церкви в верхнем Вест-сайде, и я знакомлюсь с рыжебородым приходским священником в пасторском воротничке, и он говорит, что хотел бы коечем поделиться со мной, употребляя это слово в привычном для них смысле, он и впрямь щедро делится со мной своими таинственными потусторонними знаниями, он рассказывает мне, сколько людей оттуда живут у нас нелегально: им дают приют и убежище при некоторых церквах или же переправляют их тайком в Канаду, как беглых рабов по «подземной железной дороге», и таких ох как много, мы заглядываем к нему в кабинет, мы заглядываем в церковную библиотеку, мы заглядываем в молитвенный зал на первом этаже, и всюду, освещаемые тусклым светом ночников, стоят ряды кроватей с темными фигурами спящих, прямо как в детском летнем лагере, мы тоже спали на таких вот железных коечках. Мы возвращаемся туда, где светло, и я вижу, что Бренда крепко держит его под руку и ловит каждое его слово, не сводя восторженных глаз с его ясного, красивого, молодого лица.

Да, с какого-то времени за последние пять лет дела приняли серьезный оборот. А я этого не заметил. Неудивительно, что все они берут верх надо мной.

Что мне делать с этими любовными открытками, с этой декоративной ложкой, с этой чашкой, с этой хрустальной вазочкой? Со всеми этими ее маточными сосудами? Попробуем осторожненько спустить их в мусоросжигатель — таким манером, чтобы они пролетели все девять этажей, не задевая стенок.

Чувствуя себя до крайности несчастным, я все же решил вчера пойти на вечер, устроенный в «Дакоте» по случаю выхода в свет нового романа Креншоу. Мне хотелось утешиться и вспомнить, чем мы, писатели, занимаемся. Мой высокочтимый коллега каким-то образом рассчитал, что он сможет поддержать свой легендарно высокий литературный престиж, сочиняя каждые три-четыре года по слабому, но многословному роману и организуя вечера в свою честь в прославленных салонах. Удивительная вещь: он ожидает почестей, и его осыпают ими. Тут все писатели, кто сейчас в городе, Норман и Курт, а также Джойс; Энджел прикатила из Коннектикута вместе с Биллом и Розой — Энджел выглядит потрясающе, откуда у нее это платье?

— Джонатан,— со смехом говорит она,— как приятно повидаться с тобой,— я машу рукой Филу, вон Берни, Джон, Джон А., Питер и Мария приехали с Лонг-Айленда... В сборе вся наша братия, кроме нескольких врагов Креншоу, и все мы, не исключая, конечно, и меня, пришли засвидетельствовать почтение, каждый на свой собственный лад, этому символическому портрету нас самих, Большому Успеху, который мы одновременно готовы боготворить и сжигать, как соломенное чучело.

Звездный вечер! Трудно разговаривать, нас со всех сторон осаждает толпа. Меня знакомят с молодой женщиной.

— Здравствуйте,— говорю.

— Я думала, вы что-нибудь умное скажете,— слышу от нее в ответ. Здесь, наверно, больше десятка залов, высокие потолки, картины — тут Бальтю, там «Женщина» де Кооninга, старинные изящной выделки ковры с истончившейся тканью, всюду до блеска отполированные полы, незанавешенные окна. Полным-полно народу, щелкают блицы, люди толпятся вокруг Бой Джорджа, что он/она тут делает? В этом сезоне мужчины носят короткую стрижку и косые бачки-стрелки. Черные костюмы с белыми сорочками. У женщин в моде прически «Детройт», или «дикобраз», большие красные губы, длинные свободные пальто и короткие сапожки.

Пора выпить. Мой дорогой коллега Лео удерживает ключевую позицию немного сбоку и позади стола, служащего стойкой бара, благодаря чему может снова и снова наполнять бокал, не толкаясь в густой толпе перед баром в ожидании своей очереди. Он пьет с истовой серьезностью, и бармен относится к этому с пониманием и уважением. Лео массивен и неопрятен, узел галстука у него съехал вниз, рубашка вот-вот выбьется из-под брюк, копна нечесаных волос свесилась ему на глаз, при этом он страшно потеет и выглядит так, словно жарится в плавильне; впрочем, он всегда так выглядит. Писание для Лео — настоящая пытка, неизлечимая и прогрессирующая хроническая болезнь; над каждой книгой он мучается лет по десять; таланта ему не занимать, но пока он не заработал ни цента, а дотации и субсидии в его возрасте гирей висят на шее.

— Скажи-ка,— вопрошает он, глядя мне в глаза,— есть здесь хоть один писатель, который действительно верит в то, что он делает? Пишет хоть кто-нибудь из нас с настоящей убежденностью? Я, например? Ты?

Так мне и надо. Глаза, в которых стоят слезы обиды, смотрят на меня. Он ждет ответа. О Лео, думаю я, вот когда ты начнешь зарабатывать деньги писательским трудом, тогда и узнаешь, почем фунт лиха. Его жена, прелестная в этом платье, ниспадающем элегантными складками, снимает крошку с его галстука. Он следит взглядом за движениями ее руки, как она поднимается, чуть не задевая его за нос: жена откидывает волосы с его лба, приглаживает их.

— Женщина, ты мне мешаешь,— говорит он и исчезает в толпе.

О Лео, хотелось мне сказать, каждая книга уносит меня все дальше и дальше, в неведомое, так что сам первоначальный стимул ослабевает, это всего лишь еле слышный далекий сигнал радиомаяка, да и тот может умолкнуть.

Позвонил Рон, мой адвокат. Он подключает к разговору одного из своих партнеров, специалиста по делам об иммиграции и натурализации. Мне разъясняют: это явное нарушение закона. Федеральным законодательством предусмотрен за него штраф до двух тысяч долларов и/или тюремное заключение сроком до пяти лет.

— А ты уверен, что это нелегальные иммигранты? — спрашивает Рон.— Здесь полно легальных без средств и без крыши над головой.

— Нет, нет, они действительно без документов,— говорю ему я.— Может, это всего на несколько дней. Покуда им не подыщут безопасное местечко.— Я чувствую себя героем. Храбрецом.

— Так вот,— говорит партнер,— до настоящего времени служба иммиграции и натурализации ничего не предпринимала в отношении этих программ. Они не устраивали облав в церквах или чего-нибудь в этом роде. Но так как масштабы этой деятельности расширяются, им придется принять против нее меры: попытаться организовать парочку пробных процессов, крепко наказать кого-нибудь для острастки. В любом случае наш долг — посоветовать вам не заниматься деятельностью, уголовно наказуемой в соответствии с законом.

Звоню в ту церковь. Добрый пастор с ясным лицом изрекает:

— Я полагал, что мы с вами в этом заодно.— Боже ты мой, вот люди, дай им палец...

— Э-э, видите ли,— говорю я,— мне хотелось бы выручить вас, но, должен признаться, я имел в виду помощь поскромнее, какое-нибудь заурядное благодеяние, а не ревностное участие.

— Что же мне теперь делать? — говорит святой отец, который моложе меня.— Мы в безвыходном положении, наши возможности исчерпаны, их кровати уже заняты другими. Не это ли означает свидетельствовать о свете?

Вешает мне на уши богословскую лапшу.

Как я себя чувствую? Теперь уже все равно. Наверно, так же, как тот поэт у Йейтса, который ложится умирать перед порогом королевского чертога, потому что его изгнали из кружка правителей. Да, все так: я ложусь умирать перед порогом, и пусть обрушится проклятье на их головы, если я умру. Что еще могло бы это значить, как не то, что меня лишили моего исконного права иметь свой голос? Да, да, матери, я, бесправный, ничего не значащий литератор, снова займу свое место в государственных советах, а не то с неба низвергнется грозное и гибельное, огненным туманом пронесется над Центром мировой торговли, зальет улицы СоХо адским сверканием, грохнет в каждое треснувшее окно, оборвет пение всякой живой души и превратит в бесполезную вещь ваш портфель диверсифицированных ценных бумаг.

Звоню Энджел. Она никак не может понять. Это новый фортель, очередной сюрприз? Что еще я хочу с ней сделать? Она и меня-то повергает в сомнение.

— Не спрашивай ты меня,— говорю.— Я меньше всех знаю, на что я способен. Думай о себе,— внушаю я на профессиональном жаргоне фрау доктор,— ты — это ты, а я — это я, и тебе самой решать, что для тебя будет лучше. Можешь повременить с ответом.

— Нет, Джонатан,— говорит она,— я просто пытаюсь сказать тебе, что я рада, что ты меня спрашиваешь.

И вот, mis amigos [1], однажды рано утром он отправился на линию Ай-ар-ти подземки. Как мы теперь путешествуем. Вагон, испещренный граффити, пуст, если не считать семьи, сидящей напротив него: Отец, Мать, Трое Малышей, уставившихся на меня своими большими и черными, как чернослив, глазами, легкая складная коляска, несколько чемоданов, обмотанных бельевой веревкой, чтобы не раскрывались, один ерзающий младенец на коленях. Ему, наверно, трудно дышать: при каждом выдохе под носом у него надувается и лопается пузырь. Аккуратные, опрятные люди в чистой одежде, подаренной церковью. Реклама над головой. Читаю, практикуясь в испанском, теперь-то ясно зачем: El estar sentado todo el dia es malo para mis hemorroides. Quiero una medicina que ayude a reducir la hinchazón [2]. О да, мне целый ящик потребуется, если придется сидеть на полную катушку.

Сейчас, когда я пишу это, утро; занимается новый день поздней зимы. Мать семейства готовит на кухне что-то вроде размазни из своих продуктов — они привезли с собой маисовую смесь и сушеные бобы, малыши ведут себя хорошо, но начинают обследовать квартиру, только что кокнули что-то в ванной, строгое внушение, просовывается голова, извинения, запах пеленок не из самых приятных, так мне и надо, погоди еще, что скажут ребята, когда узнают; я должен обзавестись множеством вещей, которые раньше мне не были нужны: кастрюлями, сковородами, мисками, тарелками на всех, мыльным по-

---

[1] Друзья мои *(исп.)*.

[2] Сидение целыми днями вредно сказывается на моих геморроидальных шишках. Дайте мне лекарство, которое помогло бы снять воспаление *(исп.)*.

рошком для стиральной машины внизу, четвертьдолларовыми монетами, необходимо внушить им, чтобы входили и выходили только через подвал. Мой друг Сеньор несчастен, ужасно худ, у него скуластое лицо, черные усы, прямые черные волосы метиса, он стоит у широкого окна с красивым видом в самой лучшей квартире, которую ему когда-либо довелось видеть, и глядит вдаль на силуэт города, думая: что сталось с моей жизнью?

Что сталось с *моей* жизнью?!

Понадобятся простыни на их кровати, понадобятся сами кровати, времени у меня на это сегодня нет, встречаюсь с Энджел, не будет ли это означать, что мне придется жить в Коннектикуте? Нечего загадывать. Может, они в самом деле пробудут лишь пару дней, может, их арестуют. Смотри, моя страна, что ты сделала со мной, на что я должен пускаться, чтобы жить в мире с собой.

А по радио передают новости: по-видимому, открыта новая планетная система, она вращается вокруг звезды Веги, полной уверенности пока еще нет, большое пылевое облако, зарождающаяся система, первая, которую удалось обнаружить у какой-либо звезды, помимо нашего Солнца,— и как раз вовремя, в случае чего она будет под рукой.

Малыш тут хочет попечатать. Ладно, я беру его палец, мы печатаем вместе, я легонько нажимаю на его указательный пальчик, каждый удар по клавише приводит его в восторг, тюк — и буква отпечаталась, v v v, ему нравится буква v, так кто же это печатает, а? Каждому хорошему мальчику нужен игрушечный кораблик, глядишь, мы доберемся до конца страницы, докончим мою дневную норму, тюкай дальше, малыш, осталось каких-то три паршивых строчки

■

В. С. КХАНДЕКАР

Король Яяти

РОМАН

Перевод с хинди М. САЛГАНИК

От переводчика

Знаменитый ученый Аль-Бируни, путешествуя по Индии, записал: «Индийцы не придают чрезмерного значения истории, хронологической последовательности событий и, если расспрашивать их, непременно начинают рассказывать сказки».

В отличие от историка, писатель может с одинаковым доверием относиться к сказкам — мифам — и к достовернейше документированной были, поскольку он, как правило, обращается к опыту минувшего за подкреплением своей позиции в современных ему спорах.

Власть художника над прошлым ограничена только масштабом его дарования. Кто же усомнится в том, что судьба Иосифа и его братьев сложилась именно так, как рассказал ее Томас Манн?

«Действительность и ее иносказание» — слова Манна.

Для расшифровывания иносказаний нужно составить себе представление о действительности, которая побудила художника обратиться к ним.

Миф о короле Яяти входит в «Махабхарату», которую мы привычно именуем эпической поэмой, хотя она отнюдь не является эпосом в литературоведческом смысле термина, а представляет собой гигантский свод литературы, начавший складываться в середине I тысячелетия до н. э.

«Король Яяти» — последний роман известного маратского писателя Вишну Сакарама Кхандекара (1898—1976). В 1960 году роман был удостоен Национальной премии, четырнадцать лет спустя — самой престижной литературной премии Индии «Гьянпитх», к середине восьмидесятых стал одним из наиболее читаемых произведений страны, был переведен на английский и на ряд индийских языков.

Следовательно, в те времена и была впервые рассказана история о человеке, отнимающем молодость собственного сына, чтобы продлить свою.

Однако «Короля Яяти» даже условно трудно отнести к жанру исторического романа: сюжеты из мифологии, легенды и предания древности никогда не прекращали своего существования в широчайших народных массах, как никогда — на протяжении пяти тысячелетий — не прерывалась культурная традиция Индии.

Писатель даже не делает попытки воссоздать историческую действительность, в романе начисто отсутствуют описания: Кхандекару достаточно назвать имена действующих лиц, повесить задник, условно обозначающий королевский ли дворец или обитель отшельника, вынести на сцену несколько символических предметов — и готово, можно поднимать занавес. Всякому отлично известно, о чем сейчас пойдет речь, кто тут герой, а кто злодей. Само название «Король Яяти» на обложке книги покажет индийскому читателю, что перед ним — импровизация на заданную тему. На очень хорошо разработанную тему — история короля Яяти тысячелетиями волновала воображение индийских художников и все еще не утратила своей привлекательности: помимо романа Кхандекара мифологический сюжет лег в основу нескольких фильмов, Яяти — герой чрезвычайно популярной пьесы известного драматурга и режиссера Гириша Карнада.

Чем именно привлекла Кхандекара история Яяти?

И почему роман с течением времени делается все парадоксально современней, о чем свидетельствует растущий читательский интерес к нему? В Индии, стране слуховой культуры, извечно отдававшей предпочтение услышанному и увиденному перед прочтенным, идет самое настоящее видеокассетное извержение; недавно запущенный спутник связи Инсат-2 накрыл почти всю страну телевизионной сетью, социологи рассуждают о начале «постграмотной эры» — а философский роман Кхандекара находит себе читателей. В чем дело?

Надо полагать, первопричина в том, что писатель сумел раньше других распознать и отразить через классические для Индии образы суть самой всеобъемлющей проблемы современности: столкновение с НТР. Индия громадна по всем параметрам — по населению, по территории, по продолжительности своего существования. Сколько ни всматривайся в прошлое — на месте Индии всегда была Индия. История — это осуществившаяся вероятность. Может быть, если бы Индия врастала

в технический прогресс постепенно, индийская культура, столько раз доказывавшая свою высокую способность к ассимиляции влияний извне, смягчила бы удар. Но строить догадки бесполезно — Индия влетела в современность на бешеной скорости и испытывает многообразные последствия культурного шока.

Об одном из наиболее ощутимых его проявлений — о вторжении в Индию потребительской психологии XX века с присущим ей отчуждением личности от традиционных социальных уз — и задумал написать Кхандекар. И обратился он к этой теме достаточно давно, уловив тенденцию гораздо раньше, чем она успела превратиться в явление.

Более того, писатель воспользовался древним мифологическим сюжетом, чем сразу же запрограммировал читателя — индийского читателя! — на сопоставление духовных ценностей, накопленных Индией, с образом мышления, при котором ценность человека выражается через суммарную стоимость материальных благ, обретенных им.

Читатель, воспитанный в индийской традиции, читая современную интерпретацию древнего мифа, получает стереоскопическое изображение, ибо ему доступны одновременно две точки зрения.

Читатель, воспитанный в иной культурной традиции, рискует либо получить плоскостную картину, либо добиться стереоскопического эффекта привнесением опыта своей культуры, который неизбежно исказит изображение.

Здесь поэтому не обойтись без некоторых пояснений, которые должны помочь нашему читателю лучше представить себе, что стоит за действиями героев романа.

Созданная в далеком прошлом и живущая поныне индийская философия жизни поражает стройной соотнесенностью всех граней мироздания: преходящего — с предвечным, ничтожного — с великим; человек же соотнесен со Вселенной и ответственен перед ней каждым своим помыслом, словом или деянием.

Красная точка, которую рисует себе индуска между бровями, символизирует **бинду** — исходную точку, откуда родилась Вселенная. **Бинду** начала испускать колебания, с постепенным изменением амплитуды образовавших пять элементов мироздания: эфир, воздух, огонь, воду и землю. Все сущее состоит из этих пяти элементов. Различия между формами жизни, между природой неживой, живой, человеческой и божественной определяются только уровнем сознания, которое в разной степени присутствует во всем — от атомов и до богов.

Соподчиненность всего сущего выражается в едином мировом законе, **дхарме**; природа, человек, боги живут в строгом согласии с **дхармой**.

Только Абсолют свободен от нее. Индийские же боги по-настоящему не наделены ни всевластием, ни бессмертием — над ними тоже властвует **дхарма**. Просто боги представляют иной уровень реальности, их могущество и продолжительность жизни совершенно несопоставимы с человеческими. Тем не менее индус не может торговаться со своими богами, вымаливать у них милости — боги со своим высшим знанием могут судить людские дела, однако воздействовать на мировой закон они не в силах.

Человек составляет промежуточное звено между животным и божественным существованием. Он выделен из всего, что обитает на земле, способностью к нравственному выбору, которым он формирует свою **карму**: нравственным или безнравственным поведением человек сам предопределяет телесную оболочку, которую займет его душа после смерти тела. От него зависит, появиться ли снова на свет в облике камня, животного или человека, а если человека — высокой касты или низкой.

Вселенная рождалась из колебаний, из **анахата нада**, недоступного слуху звучания, когда же сделалось оно слышимым — возникло слово, а в него воплотилось знание, ибо словом передается оно от начала времен до наших дней. Человек, владеющий словом и заключенным в нем знанием, стоит поэтому выше человека действия. В кастовой иерархии брахмин-мудрец помещен выше кшатрия-короля.

Отец Яяти, король Нахуша, в молодости, ослепленный страстью, оскорбил великого мудреца Агастью — тем самым преступив не просто человеческий, но мировой закон. Поскольку же этот закон непреложен, то проклятие Агастьи обрекает и короля, и его потомков: сыновья Нахуши наследуют плохую **карму**, которую можно изжить только совершением множества праведных деяний, каковые должны восстановить гармоническое равновесие Вселенной.

С другой стороны, **дхарма** открывает перед человеком почти неограниченные возможности — непрестанно упражняя душу, человек способен достичь высокого совершенства, развить в себе качества, которые сделают его богоравным, **айшвария**, наделят его властью над материальным миром, над временем и над пространством. Эти качества присутствуют в любом, но развить их долгими годами суровой самодисциплины, уединения, медитации и занятий **йогой** удается лишь немногим.

Но речь идет никак не об умерщвлении плоти, а о достижении высшей гармонии тела и духа, об обуздании ненасытности плотских желаний и освобождении разума от эгоизма и тщеславия. Умерщвление же плоти, насилие над собой, есть попытка нарушить мировой закон.

Тот, кто сумел развить в себе **сиддхи**, качества недоступные человеку вялой души, может научиться и передавать свою огромную **прану**, жизненную силу, другим. Иными словами, возвращать жизнь мертвым. Эта способность, называемая **сандживани** — о ней много говорится в романе,— основана на том, что пять элементов мироздания распадаются в порядке, обратном порядку их возникновения. Доль-

ше всего сохраняется эфир, который, получив новый жизненный импульс, возрождает и остальные элементы.

В отличие от нашей сказочной живой воды **сандживани** для Индии — принципиально достижимая вероятность.

Знание, как его понимает индийская традиция, есть плод работы не столько интеллекта, сколько души, поэтому оно сугубо личностно и нравственные достоинства человека играют чуть ли не решающую роль в процессе познания.

И потому так велико значение ученической преемственности, так прочны взаимные обязательства **гуру** и ученика. Чисто книжная ученость здесь не принимается в расчет: **гуру** обязан проявить душевную щедрость, **дана**, и передать ученику все, что сам познал; тот же, пока не пройдет период ученичества, не смеет даже ссылаться на **гуру**, дабы недостаточной образованностью не бросить тень на учителя. **Гуру** с великой тщательностью подбирает себе учеников, сознавая всю меру своей ответственности за чистоту знания.

В романе Кхандекара большое место занимают люди знания, ученые — не важно, что они предстают в обличье мудрецов или отшельников: писателя явно волнует мысль о долге ученого в наши дни, когда характер науки изменился, а мощь ее неимоверно возросла.

Но центральная фигура романа все же не ученые, а Яяти. Иной раз можно прочитать, что Яяти — индийский вариант доктора Фауста, но эта аналогия едва ли правомерна.

Яяти отнюдь не Фауст. Он даже не король.

Королем, властителем Хастинапуры, был Яяти из мифа; Яяти из романа — король метафорический: человек, которому доступно все, чего бы он ни пожелал. И которого больше не держат моральные тормоза.

В предисловии к английскому изданию Кхандекар пишет о том, как с детства был заворожен мгновенным превращением молодости в старость, как в более зрелом возрасте пытался расшифровать для себя образы королевы Деваяни и принцессы Шармишты, но затем он говорит:

«...И написал бы я совсем по-другому, если бы не наблюдал, как в Индии, да и во всем мире, технический прогресс идет рука об руку с нравственной деградацией... Яяти — рядовой человек наших дней, которого я аккредитовал в прошлое. Рядовой человек, который сегодня блуждает в потемках, отринув прежние нравственные ценности и еще не обретя новые взамен. Его осаждают соблазны, постепенно превращающие его душу в подобие зоопарка, полного вечно голодных хищников».

Идеал потребительской психологии — вселенная на одну персону. Продвигаясь к реализации этого идеала, человек-потребитель со все возрастающей скоростью обрывает множественные узы, соединяющие его с другими, пока он один не становится центром Вселенной, смыслом и предназначением ее существования.

Яяти у Кхандекара — человек, истерзанный страхом. Он боится смерти, но жизнь пугает его еще больше, потому что ее сложность непосильна для него. Она усложнилась настолько, что снова и снова опровергает опыт предыдущих поколений, унаследованный Яяти. И вот, запутавшись в сомнениях, Яяти отбрасывает этот опыт вместе с собственным чувством долга. Теперь Яяти свободен — и напуган бессмысленностью свободы. Остается одно: заполнять жизнь видимостью жизни, непрерывной чередой удовольствий, а если для этого требуется пожертвовать юностью собственного сына, то это уже сущий пустяк.

Яяти — обыкновенный, рядовой «человек с улицы», но с улицы индийской, тысячелетние жизненные аксиомы которого под натиском стремительной модернизации превращаются в гипотезы. Материальные преимущества модернизации самоочевидны — это же не только транзисторы и видеокассеты, но и «зеленая революция», и индустриальный скачок, и народное образование, и здравоохранение, и многое другое. И неизбежность перестройки мышления тоже, перехода от слепого подчинения традиции к осознанной личной морали.

Кхандекар не призывает возвратиться к ведическому образу жизни, когда хоть не было ни машин, ни вакцин, но человек был чист душою.

Такого рода призывы звучат сейчас в Индии достаточно громко — об этом можно судить по растущему религиозному фундаментализму, кровавые проявления которого с тревожащим постоянством высвечиваются на наших телеэкранах.

Кхандекар написал роман о необходимости сохранения связи времен для того, чтобы человек не растерял ориентиры в бурном море перемен.

Яяти

Почему рассказываю я историю моей жизни? Сам не знаю. Может быть, потому, что я король? Король? Был королем...

Нравятся людям истории — о королях и королевах, с приключениями, подвигами и любовью. Поэты о них сочиняют стихи, слагают легенды.

Уж не собираюсь ли я сложить легенду о любви? Нет. Не знаю, что это будет за история, но едва ли отыщется в ней то, о чем пишут поэты. Ни воспевать, ни восторгаться, ни преклоняться: златоткань, обратившаяся в лохмотья,— чем восторгаться? Что тут воспеть?

Король, потому что сын короля. Ни вины моей в том, ни заслуги. А родись я не во дворце, а в хижине пахаря? Была бы моя жизнь похожа на осеннюю лунную ночь или на ураган сезона дождей? Кому это известно...

Был бы я счастливей, если бы увидел свет под кровом святой обители? Что проку задаваться вопросами, на которые нет ответа.

Я знаю, что блеска и величия моя жизнь была бы лишена, ибо только королю приличествует быть осиянным в них. Я носил королевское облачение, но в ткань моей жизни память вплетает множество темных нитей.

Воспоминания обволакивают меня, как тяжелые тучи небо в сезон дождей. Воспоминания о том, как прожил я жизнь, не покидают меня ни днем ни ночью. Иной раз я думаю, что, если другие узнают о моей судьбе, они, быть может, остерегутся повторять мои ошибки, они, быть может, остановятся, пока не поздно. Но недолго тешит меня эта мысль: кого я могу предостеречь? Все видят пятна на ясном месяце. Все знают, откуда они взялись: месяц допустил недопустимое — возжелал жену своего гуру, а гуру покарал его, запятнав навеки. А не знает разве мир, что произошло с Индрой — королем богов,— когда он пал жертвой страсти к несравненной красоте Ахальи? Ахалья была сотворена самим Брахмой и подарена великому мудрецу Гаутаме. От проклятия Гаутамы все тело Индры покрылось язвами, формой напоминавшими цель его вожделения, и лишь после долгого и горького раскаяния язвы сделались глазами, за что и зовут Индру с тех пор Тысячеглазый. Все совершают ошибки, но никто не извлекает из них урока. Оглядываясь на прожитое, становишься чуть-чуть мудрей к концу жизни, но никто не достигает мудрости на чужих ошибках — а только на собственных. Чего же ради я стараюсь рассказать о том, что было со мной? Обилием цветов убирает себя лиана, одни будут возложены к изображению бога, другие украсят собой женские волосы и станут безмолвными свидетелями любви, а иным суждено быть грубо смятыми рукой безумца. Так и люди, кто доживает до глубокой, тихой старости, кто возносится к власти и славе, кто погибает в нищете. Но всем цветам приходит время осыпаться. Смерть всех уравнивает. Так отчего же человеку мнится, будто в его жизни должен быть какой-то смысл?

Во тьме на ощупь мы бредем по жизни. Мой путь был долгим, но лишь немногие события заслуживают упоминания — или это сейчас мне кажется? Младенец Яяти, Яяти-юноша и Яяти — зрелый муж — один человек, однако нынешний Яяти от них отличен. Все та же телесная оболочка, но нынешний Яяти так ясно видит непонятое прежними. Вот отчего он хочет сам рассказать о себе — пусть увидят и другие, хотя бы сквозь дымку слов, то, что сейчас он познал.

Детство вспоминается как сад, где не кончается весна. А я брожу по саду, облитому солнцем, к лучам которого тянутся цветы.

Я любил цветы. Мне рассказывали, что ребенком я мог часами любоваться дворцовым садом и плакать от огорчения, когда темнота гасила краски.

Матери нравилась моя увлеченность цветами, и она как-то сказала отцу, что я могу стать великим поэтом.

— Поэтом? — пренебрежительно переспросил отец.— Что хорошего, если б наш Яйю стал поэтом? Поэт только и может, что живописать словами красоту мира. Я хочу, чтоб Яяти был воином — отважным, сильным, гордым, чтоб красота мира была у его ног. Мой сын должен вырасти великим воителем. Наш предок, король Пуру-

рава, завоевал своей отвагой сердце небожительницы Урваси. Я разгромил войско богов и воссел на трон самого Индры. Мой сын продолжит дело отцов.

Но этот разговор произошел гораздо позже.

Я никак не могу забыть день из раннего детства, он напоминает о себе, как заживший рубец о ране.

Как часто пережитое в детстве и не имевшее, казалось бы, особого значения, обнаруживает свою суть и смысл, когда жизнь близится к концу.

У матери была любимая прислужница по имени Калика. Я тоже очень любил ее, она мне часто снилась, но я не понимал почему. Мне было лет шесть, когда однажды я уж слишком расшалился и Калика схватила меня на руки. Я вырвался, но она прижала меня к груди:

— Мой маленький, мой принц, вы с каждым днем становитесь все непослушней. А ведь я кормила вас грудью, и были вы таким милым, таким ласковым...

Я обнял Калику и спросил:

— Так я должен звать тебя мамой?

Но Калика поспешно прикрыла мне рот ладонью и зашептала:

— Нельзя так говорить, мой принц. Ваша мама — королева. А я никто. Я простая служанка.

Я помню, как обиделся за Калику. Я надул губы и спросил:

— Если она мне мама, почему же не она меня кормила?

— Говорят, когда женщина кормит грудью, она скорее вянет. А королеве нужно оставаться подольше красивой. Бегите играть, принц, вырастете — поймете.

Это была моя первая обида в жизни. До самого вечера я не сказал матери ни слова — сердился на нее. Вечером она подошла к моей постели и тихонько позвала. Я не откликнулся. Пальцы, нежные и душистые, как цветочные лепестки, легко погладили мой лоб и щеки. У меня что-то дрогнуло внутри, но я молчал, не открывая глаз. Помню, я думал, что, если бы знал заклинания, обязательно превратил бы ее в камень.

Касание красноречивей слова, но оно не может тронуть сердце, как трогают его слезы. Горячая слеза капнула на мою щеку, и я не выдержал. Мои глаза раскрылись. Никогда раньше я не видел мать плачущей. Разрываясь от жалости, я бросился ей на шею:

— Не плачь, мамочка!

Мать не отвечала, только все крепче обнимала меня, заливаясь слезами.

— Что с тобой? Что?—рыдая, допытывался я.—На тебя рассердился отец?

— Нет, мой принц.

— Улетел твой любимый павлин?

— Нет, сын, я не стала бы так убиваться из-за павлина,— чуть слышно ответила она.— Другая птица улетает от меня...

— Какая птица, мама?

— Ты. Какая же еще, сынок! — И мать до боли стиснула меня в объятиях.

Мне было больно, но приятно. Я руками вытер мамины глаза и уверил ее:

— Нет, мама, нет! Я всегда буду с тобой!

— Всегда буду с тобой...— эхом отозвался ее голос.

Детство не знает ни прошлого, ни будущего, и я твердо повторил:

— Всегда.

Я никак не мог понять, отчего вдруг матери пришла в голову мысль о расставании со мной.

— Ты целый день сердился на меня, сын. Ни словечка не ска-

зал мне. И сейчас — ты ведь не спал, когда я позвала тебя. За что ты сердишься на меня, Яйю? Сынок мой, детям не понять боль родителей, но об одном прошу тебя: не следуй его примеру!

— Его примеру... О ком ты, мама?

Мы были с матерью вдвоем, отец уехал. Дворец затих. Прислужница спала за дверью, и даже огонь масляного светильника уже начинал меркнуть. Однако мать выглядела испуганной — тихонько подошла к двери, проверила, плотно ли она затворена, и, возвратившись ко мне, снова обняла меня.

— Яйю, мой сын, я не хотела говорить тебе, пока не вырастешь. Но ты сегодня рассердился на меня, совсем как взрослый... Мне стало страшно, я подумала, что скоро ты меня оставишь, как тот, другой...

— Кто другой? — спросил я, силясь понять, о ком речь.

— Твой старший брат.

— У меня есть старший брат? А где он?

Мать не знала.

Я огорчился, что брат не во дворце, а то мы с ним играли бы...

— Как его зовут? — возбужденно спросил я.

— Яти,— вздохнула мать.

— Сколько ему лет? И когда он приедет?

— За полтора года до твоего рождения он покинул дворец. Ушел. Ушел совсем один.

Упоенный мыслью о том, что у меня есть старший брат, я не обращал внимания на слезы в голосе матери и тормошил ее расспросами о смелом брате, который ушел один.

— Как он ушел, мой брат Яти?

— Ушел глухой ночью. В лес. Я чуяла неладное и не хотела ложиться спать, но под утро задремала. Проснувшись, бросилась в опочивальню Яти, смотрю — его постель пуста. Сразу же начались поиски, искали по всей Ариярварте, но Яти исчез без следа.

— А раньше Яти случалось выходить из дворца?

— Я возила его в святую обитель. Каждый год в день рождения сына мы ездили туда. Однажды, когда мы возвращались из ашрама, Яти убежал. Его насилу отыскали, но он никак не соглашался вернуться во дворец, говорил, что хочет жить в обители. Яти упрямился, я на него сердилась, даже не постаралась понять, чего он хочет...

— Чего же хотел Яти? — Мое любопытство разгорелось.

— Не знаю,— всхлипнула мать.— Знаю, что Яти нравилось ездить к святому, что он любил слушать молитвы. Он все расспрашивал, зачем уходят люди в ашрамы, как они живут там... А потом ушел и сам. Где его только не искали! Но мой Яти исчез, как падающая звезда, никто с тех пор его не видел...

Мать тихо плакала о Яти, явно позабыв обо мне. Было жутко оттого, что она сидела рядом, но не замечала меня.

Неожиданно она привлекла меня к себе.

— Сын, вдруг и ты уйдешь, как Яти... Яйю, мой мальчик, ребенок — это зеница материнского ока, Яйю...

— Нет, я не уйду, как Яти! Я не хочу, чтобы ты плакала из-за меня!

— Поклянись, что ты этого не сделаешь!

— Клянусь! Клянусь, я не уйду в отшельники.

Я и сейчас ясно помню ту ночь.

Нет, я не помню ни чувств моих тогда, ни мыслей. Одно лишь несомненно — в ту ночь я перестал быть ребенком. Я впервые понял горе. Я видел слезы, которые лились и лились из глаз матери, прежде лучившихся одной любовью ко мне. И ненависть я тоже познал в ту ночь, потому что безотчетно возненавидел причину страданий матери.

Исчезли сладкие детские сны. Я плохо спал ночами и помню сновидение — теперь оно вызывает улыбку,— которое часто видел тогда: я — король, весь мир моя держава, я скачу на коне по городам и селам и, где ни увижу святого, отшельника или паломника, хлещу его огромной плетью.

Той ночью я стал взрослым. И сказал себе, настанет час, я обязательно отыщу Яти, приведу его к матери и объявлю:

«Брат мой, по праву старшинства ты должен занять престол. Правь королевством, пусть будет все по справедливости. Пусть каждый исполняет свой долг — тогда всем будет хорошо. Твой долг — заботиться о благе государства».

В свои шесть лет я уже понимал, что я сын короля и что мне надлежит готовиться взойти на престол. Мне полагалось обучиться наукам и искусствам, соответствующим воинской касте и будущему моему сану. Отец выбрал для меня наставников.

Сначала наставники мне сильно не понравились, в особенности тот, кто обучал меня воинскому искусству,— человек громадного роста, с зычным голосом, совсем как злой великан из сказки. У меня все тело болело после занятий, я жаловался матери, но она была непреклонна — на все мои жалобы отвечала:

— Ты же будущий король!

И я научился повторять, словно молитву: я же король!

Меня стали учить приемам борьбы, а я в отчаянии думал, что никогда мне не уложить противника на лопатки, никогда не стать сильным и ловким.

Мой гуру подбадривал меня:

— В вашем возрасте, принц, я тоже был мягоньким, как масло, а теперь — пощупайте, железо мягче моих мышц.

... Шли годы, мне исполнилось четырнадцать. Однажды, случайно посмотревшись в зеркало, я удивился: мои плечи развернулись, тело налилось силой. Мне захотелось попробовать на ощупь мышцы; согнув руку, я коснулся ее щекой. В моем воображении всплыла статуя бога Индры — голова покоится на плече божественной Индрани, победоносный бог отдыхает после битвы с демоном засухи Вритрой.

Неясные ощущения туманили душу, пьянили ум, и я, должно быть, долго простоял перед зеркалом. Голос матери вывел меня из странного оцепенения. Мать с удивлением смотрела на меня.

— Значит, и мужчинам нравится смотреться в зеркало? Я думала, только женщины тщеславятся своей красотой! Но как ты вырос, маленький мой Яйю! Я со спины приняла было тебя за твоего отца... Иди, сын. Что король подумает, если увидит тебя перед зеркалом?

И повторила с какой-то недоуменной растерянностью:

— Как ты быстро вырос, сынок... Ростом уже с отца...— И, помолчав, добавила: — Вот я и избавлена от одной заботы.

Мне показалось, что мать готовится заплакать, и я поспешил прервать ее:

— Забота? Какие заботы у королевы Хастинапуры! Что ты, жена бедняка или жалкого слуги? Какие у тебя заботы?

— Ты забываешь, что я мать.

— Ты — м о я мать,— произнес я горделиво, бросив взгляд в зеркало.

Мать перехватила взгляд и усмехнулась.

— Да, сын. Но кому судьба однажды поднесла чашу нектара, который обернулся ядом, тот живет в постоянном страхе.

Так мы опять заговорили о Яти.

— Пускай король меня отпустит, я мир переверну, но отыщу Яти, и он предстанет перед тобой.

— Как ты его отыщешь? Даже я могла бы не узнать его, если бы он вдруг возвратился. А ты ведь никогда не видел брата! Кто знает, где мой Яти, как он, каким зовется именем и жив ли вообще...

Голос ее сорвался. Яти оставил незаживающую рану в ее душе, особенно болезненную оттого, что боль так тщательно скрывалась. Отец никогда не произносил имя старшего сына, не упоминали его и другие. Я уже вырос, ездил на охоту, в деревнях люди собирались поглазеть на принца Яяти; со мною заговаривали, но никто ни разу не вспомнил о Яти. Будто не было у меня старшего брата, покинувшего дворец, чтоб стать святым отшельником.

— Сын,— сказала мать.— Ты уже совсем взрослый. И телом ты вырос, и сердцем созрел. Ты преуспел в науках и в воинском искусстве. Пора искать тебе невесту. Когда ты женишься, покой снизойдет на мое сердце. Я сегодня же поговорю с королем.

Отец был человеком покладистым и, если мать настаивала на чем-то, он всегда уступал.

Однажды один из моих наставников сказал отцу, что было бы хорошо, если б меня отправили пожить в обитель. Отец сразу согласился.

— Юное деревце для роста нуждается и в дожде и в солнце,— сказал он.— Пускай принц Яяти побудет в уединении ашрама.

Разговор происходил в моем присутствии, но я не посмел вмешаться, закричать, что не хочу в ашрам и что мать тоже не захочет отпустить меня туда.

С тех пор как я себя помню, во мне вызывал отвращение вид обросших, одичалых бродячих садху. Как мог Яти причинить столько страданий матери ради того, чтоб стать одним из них? Я не понимал брата... Еще я никак не мог взять в толк, почему Шиве так нравились добровольные мучения всяких отшельников, почему в награду он давал им силу благословлять или проклинать. Мои гуру учили меня преклоняться перед красотой и силой, но в обителях не чтили эти качества. Напротив, для всех этих святых в ашрамах умерщвление плоти было пятой Ведой — вдобавок к четырем, которые они бормотали с утра до ночи. Лесные плоды и коренья составляли их изысканные яства, пение молитв заменяло им боевые клички. Пещеры и жалкие хижины были их дворцами, а резание овощей к обеду, должно быть, приравнивалось к охотничьим забавам. Рядом с женщинами их ашрама чумазая дворцовая служанка выглядела небесной танцовщицей. Зачем мне, принцу Яяти, ездить в обитель?

Однако и на другой день мой наставник говорил с отцом о пользе, которую даст моему воспитанию общение с людьми духа, а я, притаившись за дверью, трепетал от страха, как бы отец не приказал мне немедля собираться в путь.

Мое сердце заколотилось, когда отец, вздохнув, сказал:

— Согласен, Яяти было бы полезно пожить в обители, но королева не желает этого.

— Принц Яяти неспокоен,— вздохнул и наставник.

Я действительно не знал покоя — ни днем ни ночью. Мне каждую ночь снились яростные сны, в которых боги отважно сражались с демонами. Мой дед — непобедимый воитель Пururава, о подвигах которого сложены легенды. Я часто слышал их и многие знал с детства на память. Больше всего мне нравилась история о том, как Пururава заставил небесную деву Урваси полюбить его и стать женою смертного. Храм, воздвигнутый в честь трех огненных приношений Пururавы, был украшением Хастинапуры, и всякий раз, бывая в храме, я заново упивался дедовыми подвигами.

Так прекрасна была небесная дева Урваси, что поссорились из-за нее бог дневного света с богом ночной тьмы. Урваси была изгнана на землю, и там добился ее любви смертный — мой дед, от-

важный король Пуруравa. Урваси полюбила смельчака и стала его женой.

С небес сошедшая апсара и дед мой Пуруравa жили в любви и счастье, но скучен стал горний двор богов без смеха и проказ Урваси, и решили небожители-гандхарвы их разлучить. Они подстроили так, что Урваси исчезла, а безутешный Пуруравa ушел скитаться в поисках любимой. В конце концов гандхарвы сжалились над Пуруравой и, дав ему горшок с огнем, велели разделить огонь натрое и совершить приношение с мыслью об Урваси. Дед усомнился в честности гандхарвов и оставил их горшок в лесу, но потом, не выдержав, бросился обратно. Огонь уже погас, но из горшка тянулись к небу два деревца. Пуруравa потер их друг о друга и сам добыл небесный огонь. С тех самых пор вошло в обычай возжигать по три огня: один — для домашних приношений, второй — для храмовых, а третий — в честь счастливых свершений.

Соединился Пуруравa с возлюбленной своей Урваси и долго правил обширным королевством.

Знал я, например, что явились однажды деду Дхарма-праведность, Артха-выгода и Кама-страсть; никого из них не отверг Пуруравa, только ниже всего склонился он перед Дхармой. Артха и Кама засмеялись, пообещав показать деду, как велико их могущество, а Дхарма предрекла долгую жизнь Пурураве и власть над многими землями его потомкам.

Сын его Нахуша, мой отец, прославился в сражениях. Еще совсем молодым он разгромил воинство темнокожих дасью. А потом выступил против самих богов и даже правил владениями Индры. Я горел желанием умножить славу предков, но мать твердо решила женить меня.

Мать и королю сказала, что не согласна отослать меня в ашрам, потому что подыскивает мне невесту.

Невесту? Но я не хотел жениться!

— Ты все боишься, что я последую примеру Яти? — спросил я.

— Не в этом дело, сын,— помедлив, ответила мать.— Когда ты родился, великий астролог предсказал твое будущее.

— И что сказал? Скольких демонов я убью за мою славную жизнь?

Мать поджала губы — мой тон ей явно показался неуместным.

— Астролог предсказал удачу во всем. Он сказал: мальчику суждено править великим государством, жить в радости и удовольствиях. Но, Яйю, астролог сказал, что ты не будешь счастлив.

Я рассмеялся — королевство, радости жизни, а счастлив не буду. Что за народ эти астрологи! И я объявил матери:

— Ради тебя я готов хоть сто раз жениться. Но только не сейчас. Сначала я должен испытать себя в походах и сражениях. Не в опочивальне я должен доказать, что я мужчина, а на коне. Асуры снова поднимают голову и угрожают небесному воинству. Все говорят, что скоро начнется война. Отпусти меня на эту войну! Или убеди отца, чтобы он начал готовиться к ашвамедхе — жертвоприношению коня. Я проведу его по всей Арияварте. Когда вернусь с победой, повергнув всех врагов, тогда подумаем и о женитьбе.

Жеребенка для ашвамедхи отбирали за целый год до обряда, совершить который имел право только король — больше никто. Год жеребенок пасся на свободе, и где ни ступали его копыта, земля — силой или сговором — становилась частью королевских владений. Совершивший обряд ашвамедхи делался непобедим, все это знали, и потому нередко соседние правители старались захватить коня победы.

Я и сам не отдавал себе отчета в том, насколько я переменился за годы ученичества. Как водный поток принимает форму, заданную ему берегами и дном, так дух мой составил гармонию с окрепшим;

ловким телом. Овладевая искусством стрельбы из лука, я впервые познал редкостное наслаждение, которое дает единение воли и мышц. Ребенком меня волновали краски цветущего сада. Стрельба по цели будила иные чувства — краски исчезали, оставалась только цель. Пурпур холмов, зелень деревьев, синева неба — все внезапно сжималось до черной точки. Черная точка, цель, сама притягивавшая к себе стрелу. Ничто другое не существовало.

Я упивался азартом стрельбы и скоро стал отличным лучником. Когда я обучился без промаха попадать в неподвижную цель, приспело время испробовать глаз и руку в настоящей охоте.

Много лет прошло, но и сейчас я живо помню первую охоту.

Птица замерла на ветке, высоко вознесенной над землей, так красива была она на фоне яркой синевы небес. Замершая на миг, еще полная движения, готовая вот-вот расправить крылья. Солнце скользило к западу, наверное, освещая и ее гнездо, птенцов, пока бескрылых, жадно ждущих. Ни мой гуру, ни я о птенцах не задумывались. Я стремился стать метким стрелком, а мой наставник кормился своим мастерством. Я выпустил стрелу в ничем не повинный комочек жизни — и в тот миг, как пуповина, оборвалась моя связь с природой. Я отделился от других форм жизни. Может быть, где-то в самой глуби моего естества и вправду прежде жил поэт. Теперь он был мертв.

Я доказал свою ловкость и меткость, но не обрадовался этому.

Мать своими руками приготовила дичь, добытую мной на охоте, и подала на блюде отцу и мне. Отец ел с наслаждением, хваля меня за меткий выстрел. А я едва сумел заставить себя проглотить кусок. Ночью я несколько раз просыпался, и однажды мне послышался предсмертный птичий вскрик. Из головы не шли мысли о беспомощных птенцах. Моя собственная мать, столько лет терзаясь потерей сына, вчера так и лучилась радостью из-за того, что погибла птичья мать, гордилась сыном, который обездолил других сыновей. И даже ела плоть убитой птицы.

Все смешалось в жизни, и я не мог вернуть ей былую ясность.

На другой день вечером во дворец заехал первый министр моего отца, человек, умудренный жизненным опытом. Я обратился к нему с моими сомнениями.

Министр рассказал мне множество старинных притч о птицах и зверях. В иносказательной форме в них говорилось об одном: мир живет страстями и соперничеством, борьбой за власть.

— Не может человек существовать одной красотой и любовью,— улыбаясь, говорил министр,— вашему высочеству пора понять, что жизнь жестока и выжить может только сильный. Мы возносим в храмах молитвы о добре, но жизнь не храм. Скорей ристалище.

С того дня я поклонялся силе. И еще увидел я, что смелость и жестокость — близнецы.

Вскоре моей смелости пришлось подвергнуться испытанию.

Во дворец зачастил странник Нарада, вестник богов, неразлучный с лютней, стали появляться и другие мудрецы. Они рассказывали королю о стычках между богами и их вечными противниками асурами, появившимися на свет прежде богов. Дело пока не дошло до войны, но все считали, что она вот-вот начнется. Я рвался в бой, чтобы показать моим будущим подданным, какого короля они получат. Однако отец не желал вмешиваться, а однажды заявил: мои воины не будут проливать кровь за Индру, даже если асуры схватят и заточат его! Я не понимал, почему отец не хочет воевать ни на чьей стороне, и никто не мог мне объяснить.

Я не давал прохода старому министру, но он отвечал на все мои расспросы одной и той же фразой:

— Всему свой час. Ведь не бывает, чтобы на деревьях в одно и то же время набухали почки, раскрывались цветы и созревали плоды.

Я понял, что мне еще не скоро придется доказать свою отвагу на поле битвы.

Близился праздник в честь богов, покровительствовавших нашему городу. Народ отовсюду стекался в столицу, и Хастинапуру захлестывали людские волны. Десять дней длились празднества, и каждый день был так заполнен развлечениями, что время пролетело незаметно.

На последний день было назначено состязание, какое никогда раньше не устраивалось в столице. Придумал его верховный военачальник, которому хотелось распалить в воинах огонь соперничества: на арену выпустят необъезженного и неоседланного скакуна, и нужно будет вскочить на него, проскакать пять кругов и спрыгнуть на ходу.

Каждому участнику состязаний давали свежего коня.

Я загорелся желанием попробовать свои силы, но состязание было предназначено для простых воинов, а я — я принц, за жизнь которого мать так боится. Я сидел с отцом и матерью под королевским балдахином, не отрывая глаз от арены.

Уже четвертый всадник, не проскакав и круга, падал в пыль, сброшенный неукрощенным конем. Появился пятый конь — по три служителя с каждой стороны едва сдерживали его, а огромный белоснежный жеребец громко ржал, закидывая точеную голову, изгибая шею, упрямясь. Конь бил копытами, длинная грива разлеталась, как седые власы разгневанного святого, готового произнести страшное проклятие.

Толпа восторженно и испуганно гудела.

При виде белого коня я загорелся. Ноги напружинились, будто сжимая конские бока, тело напряглось, как тугая струя воды, выброшенная фонтаном.

Я повернулся к матери и увидел ужас в ее глазах.

— Велите увести коня! — шепнула она отцу. — Мне страшно! Я боюсь его! Будет беда... в последний день праздника...

— О королева! — усмехнулся отец. — Мужчина рождается для подвигов...

Вопль заглушил его слова.

Жеребец сбросил всадника, едва успевшего вскочить на него, и помчался по арене. Его пытались перехватить, но конь не давался. Зрители разбегались.

Кровь запела в моих ушах — мужчина рождается для подвига! Вперед, Яяти! Ты — будущий король Хастинапуры. Король не знает страха. Иначе завтра станут говорить, что Хастинапура подчинилась коню, и боги, и асуры, все узнают. Вперед, Яяти, сын отважного короля Нахуши!

Я ринулся вперед, но чьи-то руки цепко ухватились за меня. Я оглянулся. Мать.

Я рывком высвободился и прыгнул на арену. Людское море пенилось вокруг, но лица вдруг стали похожи на каменные лики статуй, а потом я просто перестал их видеть.

Я видел только коня. Он повернулся и глянул на меня, будто бросая вызов всем королям Хастинапуры. Я сделал шаг к нему. Еще. И вдруг мне показалось, что это никакой не жеребец, а просто заяц.

Я сделал еще шаг.

Визгливый голос зазвучал во мне:

— Безумец! Куда ты? В долину смерти?

— Нет! — крикнул я. — К вершине славы! И не боюсь! Вершина близко! Я на вершине!

Не помню, как все было дальше. Только помню, что я уверенно взлетел на коня. Конь понесся ураганом. Мне казалось, я мчусь на грозовой туче и молнии подвластны мне.

Круг. Еще круг. Толпа восторженно вопила.

Конь и всадник, животное и человек, белоснежный жеребец и юноша — они слились, их невозможно было отделить, как дурные и добрые деяния, совершенные в прошлых жизнях.

Пятый круг. Последний.

Я понимал, что победил. Мысли мои неслись быстрее коня, унося меня, увлекая за собой. Я не заметил, как падает пена с конской морды, как замедляется бешеный бег.

Пятый круг завершался чуть дальше королевского балдахина, где были мать и отец. Осталось совсем немного. Мне так хотелось увидеть гордость в глазах матери — ведь она пыталась удержать меня! Я повернул голову.

Миг оказался роковым. Я, видимо, ослабил хватку, и жеребец сбросил меня наземь — со всей ненавистью дикого животного к несвободе. Падая, я еще слышал истошные крики, но тут меня поглотила черная бездна.

Одинокий лучик света трепетал на краю бездны. Я не знал, где нахожусь. Сознание вернуло меня к боли, бившейся во всем теле. Кажется, меня швырнуло в воздух, как сухой листок, заверченный ветром. Я упал? Какая боль! Я потянулся рукой к голове. Тяжелое и мокрое.

— Мама! — закричал я во весь голос.

Мои губы едва шевельнулись.

Нежно звякнули браслеты. Мама. Я всмотрелся — нет, не мать. Чужая, незнакомая тень. Где я? А вдруг я уже умер? И лежу не в постели, а у смертных врат? И сама смерть склоняется надо мной? Но если она так прекрасна, отчего же человек ее боится?

— Принц?

— Кто это? Алака?

— Да, принц.

— Праздник уже закончился?

— Давно, принц! Восемь дней назад.

— Восемь дней?

Восемь раз восходило солнце, восемь раз заходило оно. Где же я был все эти дни? Мой разум устал от вопросов. Может быть, это уже не я — только мое тело сохранило прежнюю форму? Потому что я не существовал эти восемь дней!

Я спросил, где мать, и Алака ответила:

— Ее величество в своих покоях. Королева все это время отказывалась принимать пищу. Когда вчера она пришла взглянуть на вас, то лишилась чувств, едва только порог переступила. Лекарь распорядился, чтобы ее уложили в постель.

Поколебавшись немного, Алака добавила:

— От вас лекарь не отходил ни днем ни ночью. Молчал и хмурился. А вчера пощупал пульс и чуть не заплясал от радости. Алака, говорит, принц будет жить. Алака, я боялся, что изменило мне искусство врачевания, что опозорены мои седины. Но теперь я знаю: к полуночи или к рассвету, не позднее, сознание вернется к принцу. Не спи, Алака, пока он не откроет глаза. И помни, что повязка на его лбу все время должна оставаться холодной...

Тут Алака метнулась к подносу, стоявшему у постели. Теперь я мог получше разглядеть ее. Неужели это она склонялась надо мной? Или то была небесная танцовщица?

Я улыбнулся своим мыслям.

Возможно ли, чтобы красота прибывала, как приливная волна в океане?

Я глаз не мог оторвать от Алаки.

— Как же я могла забыть?! — торопилась Алака, выбирая фиал на подносе. — Принесла лекарственный отвар и забыла смочить им повязку... Закройте глаза, мой принц.

— Зачем?

— Лекарь предостерег меня, что ни единая капелька лекарства не должна попасть в глаза.

— Мои глаза не закрываются.

— Почему не закрываются?!

Ну как было объяснить ей, что я не в силах оторваться от ее внезапно расцветшей красоты? А вдруг Алака обидится? Она ведь мне почти сестра — мать Алаки была моей кормилицей. Даже мой отец выказывал Калике знаки почтения, а мать относилась к ней как к родной. Когда я был ребенком, мне говорили: слушайся Калику, она тебе вторая мать.

Алака — дочь Калики, а я тут...

— Не закроете глаза, я с вами разговаривать перестану! — совершенно по-детски объявила Алака, я сразу почувствовал себя мальчишкой, будто эти слова погнали реку жизни вспять и ее воды отнесли меня обратно в детство.

Я быстро зажмурился.

Мы с Алакой вместе росли во дворце. Малышами мы были постоянно вдвоем, играли, ссорились, мирились. Когда мне исполнилось шесть лет, меня стали выводить на дворцовые приемы, возили по городу, наряжали на торжественные церемонии, брали на праздничные шествия — я все реже играл с Алакой, а потом и вообще забыл о ней.

Алака жила с матерью в задних комнатах на женской половине дворца. Она подрастала, ей поручали мелкую работу. Мне было предназначено стать королем и воином, Алаке — прислужницей. Наши пути расходились.

Цветочное благоухание пересилило горьковатый лекарственный запах. Не открывая глаз, я осторожно приподнял правую руку. Алака низко склонилась надо мной с фиалом в руках, кончик ее косы упал на мою щеку. Я зажал между пальцами шелковистые волосы, и сладостная истома разлилась по телу.

— Какой сильный запах...

— Это жасмин.

— Дай понюхать хорошенько.

Алака не ответила.

Все сады рая едва ли могли так благоухать, как жасмин, вплетенный в косы Алаки. У меня закружилась голова от аромата и от прикосновения ее волос.

Не понимая, что делаю, я притянул Алаку так близко, что губы ее коснулись моих. У нее они были влажными, а мои сразу пересохли, как у путника, давно блуждающего по пустыне. Умирая от жажды, припал я к влаге ее губ, но не утолил желания. Родник счастья, изливаясь, не приносил свежести, а обжигал, и я тянулся к влаге, чтобы унять жжение...

Я попытался приподняться, но резкая боль пронзила меня.

Вскрикнув, я снова рухнул во тьму.

Почти четыре месяца понадобилось мне для выздоровления.

Крик, что я испустил той ночью, возвестил мое возвращение к жизни. Горячка отпустила, однако боль продолжала терзать мое тело. Придворный лекарь прослышал о некоем искусном костоправе из дикого племени, обитавшего в лесах восточной Ариявarты. Костоправа доставили в Хастинапуру, он умело вправил сместившиеся кости так, что мои члены обрели былую подвижность.

Яяти, думал я. Яяти — это я. Мое тело. Но внутри есть нечто иное, отличное от плоти. Что это? Как понимать природу бестелесного Яяти?

Мысли утомляли меня.

Еще раз: вот мое тело, но есть ведь еще сознание, душа. Видимо, Яяти способен существовать отдельно от них. В те восемь дней, что я провел без сознания, когда я глотал целительные настои — а мог бы проглотить и яд,— где был в те дни мой разум? А сознание? А душа?

Ответа не было.

В изнеможении я снова и снова смотрел на свое тело и говорил себе: «Ты заблуждаешься. Разве всегда враждебна твоя плоть? В ту ночь, когда ты целовал Алаку, разве не через плоть твою единственно ты наслаждался?»

Но не только мечты об Алаке скрашивали тягостные дни неподвижности.

Костоправ исходил всю Арияварту и многое повидал. Я был готов без конца слушать его повествования о пещерах и лесах, о морях и горах, о древних храмах и богатых городах, о разных людях, что живут на земле ариев.

Мне хотелось собственными глазами обозреть королевство, которым я рано или поздно буду править. Я представлял себе, как следую во главе войска за конем, как покоряю весь свет, победителем возвращаюсь в Хастинапуру, столица ликованием встречает меня, а впереди женщин, вышедших навстречу мне,— Алака с горящим светильником в тонкой руке.

Наконец, придворный лекарь возвестил, что принц Яяти здоров.

Я посвятил в свои мечты первого министра и моих наставников. Министр доложил отцу, и, как ни противилась мать, отец назначил день, когда жертвенный конь будет выпущен на волю.

Восемнадцать лун провел я, следуя за конем.

Конь поскакал сначала к северу, потом его путь повел нас на запад, юг и восток. Как прекрасна была моя страна! Сменялись времена года. Ариявarta облекалась во все новые наряды, убирала себя новыми украшениями. Иногда она мне снилась, как живая женщина — с грудей ее холмов стекают реки, струясь материнским молоком, питающим миллионы ее детей!

Мне часто вспоминалась клятва, которую взяла с меня мать. Как можно променять эту красоту на жизнь в обители! О нет, я рожден, чтобы умножать славу и величие моей страны!

Не многие отваживались оказать сопротивление моему войску. Отец в свое время показал всей Ариявarte, как сражаются хастинапурцы — король Нахуша победил самого Индру. Кому б достало безрассудства выступить против нас? А кто пытался, скоро убедились, что Яяти достоин своего отца.

Я радовался каждой стычке с непокорными.

Меткий стрелок, я всегда возвращался с добычей с охоты. Мой охотничий пыл не остывал, но охота — даже на крупного зверя — не могла сравниться со сражением, особенно против равного по силе неприятеля, которого ты должен одолеть.

Я с детства мечтал о битвах, победах, славе. Ринувшись на арену во время конных состязаний, я впервые узнал, как пьянит победа, даже победа, одержанная всего лишь над животным.

Я плохо спал ночами. Вваливался в свой шатер, шатаясь от усталости, но не мог заснуть до самого утра. Случалось ли вам видеть, как одна лошадь в упряжке играет и срывается в галоп, а вторая вяло цокает подковами? Вот так же мой разум неутомимо влек меня вдаль, хотя тело жаждало покоя.

Я думал о жизни, смерти, любви, боге. Запутавшись в мыслях, я лежал без сна.

Каждая клетка моего тела требовала одного — жить! Жить!

А разум вопрошал: «Зачем? И чего ради следовать за жертвенным конем? Ты ведь понимаешь, что можешь погибнуть в любой стычке

с неприятелем. Ты жаждешь жизни, почему же тебя тянет туда, где привольно резвится смерть?»

Я не находил ответа и метался без сна.

В походе перед нами распахивались и величественные храмовые врата, и призывно приотворялись двери в домики танцовщиц.

Я входил в пещерные храмы, где из одного камня были вытесаны исполинские изваяния воителей былых времен и грациозно изогнутые женские фигуры.

Одна из них заворожила меня своей прелестью, и я приблизился, чтобы вглядеться в него. Пещера была пуста, мои воины остались ждать меня у входа. То была Рати, богиня страсти, оплакивающая бога любви Мадана, которого в ярости испепелил Шива. Я, не отрываясь, смотрел на ее небрежные одежды, на бессильно повисшие пряди распущенных волос, и жалость сжимала мне сердце. Забыв, что передо мной безжизненный камень, я шагнул к Рати и поцеловал ее в губы. Холод пещерной стены отрезвил меня...

Край изобиловал дикими слонами, и я решил поохотиться. Местные жители указали лесное озеро, куда сходились по ночам слоны на водопой. Я объявил, что на охоту пойду один.

В полночь я отправился к озеру, забрался на высокое дерево, облюбованное еще днем, и приготовился ждать.

Ночь была непроглядна — я ничего не видел на расстоянии вытянутой руки, напрягал слух, чтобы, уловив бульканье, издаваемое пьющим слоном, выпустить стрелу по звуку. Напряженно вслушиваясь, я ждал, не замечая других лесных шумов.

Плеснула вода. Я изготовился: слон заревет, когда в него вопьется стрела, и я по реву определю, куда послать вторую.

Всплеск. Слон!

Я спустил тетиву. Свист стрелы и человеческий голос одновременно донеслись до моих ушей:

— Кто там стреляет? Покажись, посягнувший на жизнь, не то...

Белка не могла бы скользнуть вниз по стволу проворнее меня. Я помчался в направлении голоса. Лес редел у кромки озера, в рассеянном звездном свете я различил человека, похожего на призрак. Я пал ему в ноги, но человек отпрянул со словами:

— Убийца не смеет осквернять меня!

— Я не виноват, я охотился, мне послышалось, будто слон пьет воду. Я кшатрий, людям моей касты должно уметь владеть оружием.

— Ты смеешь говорить о долге мне, принявшему обет? Я — брахмачари, отрекшийся от мирской суеты. Говори правду — осквернены ли твои уста поцелуем женщины? Ибо лишь тот, кто чист, может коснуться моих ног!

Я не решился утаить истину. Воспоминание о ночи, когда я пылко целовал Алаку, жило во мне. Йогин, возможно, наделен даром всеведения и, разгневавшись на ложь, способен испепелить меня проклятием.

Я молча опустил голову.

— Распутник,— сказал йогин.— У меня нет времени на разговоры с человеком, погрязшим в пороках. Полночь давно миновала, скоро мне на утреннее омовение и на молитву.

Я стал на колени перед ним.

— Благослови меня, святой человек!

— Не хочу уподобляться Шиве, который готов благословить любого. Как я могу тебя благословить, не зная, кто ты?

— Я принц.

— Тем хуже. Ты не достоин благословения.

— Почему? — спросил я в страхе.

— Ты раб плоти. Чем выше вознесен человек над другими, тем меньше он заботится о душе. Подобные тебе всегда готовы поддаться

соблазну низких наслаждений. Вы все пресыщены. Вы мните, будто правите, а на самом деле страсти правят вами. Женщина есть средоточие зла, поэтому вы не в силах устоять перед ней, а брахмачари избегают даже смотреть на нее. Иди своей дорогой, принц. Если желаешь благословения — отрекись от мира и приходи ко мне...

— Святой человек, я дал клятву, что никогда не отрекусь от мира!

— Почему? — спросил йогин с неожиданным любопытством.

— Мой старший брат все бросил, чтоб стать отшельником. Мать так и не оправилась от горя...

— Ты принц Яяти, наследник хастинапурского трона?

— Как вы могли узнать меня?

— Следуй за мной.

Йогин двинулся в лес, но, сделав несколько шагов, он оглянулся. Я стоял на месте.

— Яяти,— сказал он мягче.— Твой старший брат велит тебе следовать за ним.

У страха много общего с надеждой — оба распаляют воображение.

Я в детстве собирался во что бы то ни стало отыскать Яяти, я изо всех сил пытался представить себе, как он выглядит — мой старший брат... И вдруг — эта невероятная встреча в ночном лесу!

Но я ей не был рад.

Остуженный холодным высокомерием речей брата, я тщетно искал, о чем говорить с Яяти, сидя в его пещере.

Ибо мы уже находились в пещере. Она была так скрыта перепутанной колючей лианой, что я не заметил входа, пока Яяти не раздвинул колючки рукой.

И тут же послышался тигриный рык. Моя рука непроизвольно вскинула лук, но Яяти с улыбкой оглянулся.

— Оружие ни к чему,— сказал он.— Тигр зарычал, учуяв незнакомый запах. Он кроток, словно кролик. Я вожу дружбу с ним, с другими обитателями леса. Дикий зверь чище человека.

Яяти приласкал тигра, и тот замурлыкал, как котенок.

Я огляделся. Пещера освещалась неровным странным светом. Не сразу понял я, что он исходил от уймы светлячков под потолком. В углах пещеры извивались кобры — мне показалось, что посередине их раздутых клобуков мерцало по драгоценному камню, о которых рассказывается в древних сказаниях.

Яяти указал мне направо — на свое ложе.

Мне пришлось склониться пониже, чтобы убедиться, не обманывает ли меня зрение.

Как мог Яяти спать на ложе, где изголовьем служил плоский камень, а подстилкой — такие же колючки, что у входа... Яяти, мой старший брат, спит на этом ложе? Ради этой жизни он причинил столько страданий матери, отказался от престола, бросил все? Но ведь чего-то Яяти ждал от своего отшельничества? Чего? Что ищет человек, который отрекается от мира?

Яяти перехватил мой взгляд и, видно, догадался, о чем я думаю. Он раскатал по неровному полу свернутую шкуру антилопы и жестом пригласил меня садиться. Сам сел на ложе из терниев.

Я пребывал в смятении: обстоятельства, которые свели нас в лесу, суровость речей Яяти и эта пещера — как будто ожили истории сказителей: покорный тигр, кобры, ложе из колючек...

Передо мной вновь обретенный старший брат — я должен был обнять Яяти, заплакать на его плече, помчаться вместе с ним в Хастинапуру, к матери. Но это было явно невозможно, и я растерянно молчал.

И Яти сидел не размыкая губ. Чтобы прервать тягостное молчание, я проговорил:

— Мать будет так счастлива!

— Высшее счастье жизни — отречение от жизни. Все плотские радости — залог будущих горестей. Сам вид красоты лжив, приближение к красоте обнаруживает тленность ее. Нет у человека врага коварней и страшней, чем его собственная плоть. Нет у человека долга священней, чем борьба с ней. Видишь эти плоды? Попробуй. Ничего другого я не ем.

Яти протянул мне горсть плодов, похожих на сморщенные дикие яблочки.

Я взял один и, разломив, положил половинку в рот, как кладут жертвенную пищу, освященную в храме.

Плод оказался страшно горьким. Я, должно быть, поморщился, как Яти и ожидал, потому он тут же изрек:

— Человеку приятно сладкое. Плоды, приятные на вкус, понуждают человека желать их снова и снова, пока не делается он рабом своих желаний. Потворствуя желаниям, лелея плоть, человек скудеет духом. Воздержанием же укрепляется душа. Я питаюсь горькими лесными плодами, дабы очистить и освободить мой дух.

Яти спокойно разжевал и проглотил плод. Я был не в силах последовать его примеру — мне хотелось выйти из пещеры и выплюнуть отвратительный кусочек, который так и остался у меня во рту.

Мы с Яти — единокровные братья, но между нами бездна.

— А плоть бунтует,— продолжал Яти,— и чтобы смирять ее, нужна отвага не меньшая, чем для ратных подвигов. И человеку трудно быть уверенным в себе...

— Как ты решил пойти путем отречения? — осмелился спросить я.— Ведь ты тогда был моложе, чем я сейчас!

— С помощью отшельника, благословением которого я был рожден. Мать часто меня возила к нему в ашрам. Однажды, когда мы там заночевали, я проснулся среди ночи. На цыпочках, чтоб не проснулась мать, я вышел из хижины. Обитатели ашрама беседовали у костра, и когда я приблизился, никем не замеченный, то услышал, о чем шла речь: наш отец, король Нахуша, проклят, и никогда его потомки не познают счастья...

Я вздрогнул — и мне мать говорила о предсказании астролога. Я только посмеялся, а Яти... Мы оба сыновья Нахуши, так что же, счастье не суждено ни одному из нас?

— Кто проклял нашего отца и нас? — спросил я.

— Не знаю. Тебе пора в дорогу, Яти, мне — на молитву... В ту ночь я решил, что лучше быть счастливым отшельником, чем несчастным принцем. Пойдем, я покажу дорогу.

Мы вместе вышли из пещеры.

— Я хочу просить тебя о милости, Яти.

— О какой?

— Позволь мне привезти мать, чтобы она еще раз увидела тебя.

— Нет, Яяти. Желание — враг духа, привязанность — помеха свободе. Мне еще не время встречаться с матерью.

Мне только и осталось, что проститься с братом. Мой голос был нетверд, когда я произнес:

— Прощай, Яти. Помни — мы братья.

Яти, который до тех пор ни разу не коснулся меня, положил руку на мое плечо.

— Яяти, наступит день, когда ты взойдешь на престол. Будешь властвовать, совершишь тысячу жертвоприношений, покоришь весь мир. Но помни, Яяти: миром властвовать легче, чем страстями.

Победителем я возвратился в Хастинапуру, следуя за жертвенным конем. Столица встретила меня бурным ликованием — нарядилась,

как невеста, плясала и пела, как неутомимая танцовщица, осыпая меня цветами.

Все было прекрасно, но мне недоставало любимого цветка в душистой гирлянде, которой меня встречала Хастинапура. По обычаю, красивейшие жены города вышли мне навстречу с зажженными светильниками, но среди них я не увидел Алаку.

Мать просто сияла счастьем, она даже помолодела. Ее глаза изливали на меня беспредельную любовь, но материнская любовь не могла заполнить мое сердце, ожидавшее иного чувства. Не вытерпев, я спросил с притворным безразличием:

— Мне показалось, что я не видел Алаку. Где она?

— Уехала к тетке.

— И далеко?

— Очень. Тетка живет в предгорьях Гималаев, где начинаются владения асуров.

Всю ночь мне не давали покоя мысли то о Яти, то об Алаке.

Наутро во дворце начали готовиться к обряду ашвамедхи, и радостная суматоха отвлекла меня. К тому же, не успели завершиться все необходимые приготовления к жертвоприношению коня, как в Хастинапуру явился гонец с посланием отшельника, некогда благословившего отца мужским потомством.

Никто в нашем роду никогда не упоминал имя отшельника — так было установлено, не знаю, из благоговения ли перед ним, или от обиды за него. Не знаю.

Но, взявшись за перо, чтобы изложить историю моей жизни, я много раз давал себе слово писать всю правду, без утайки.

Святого человека звали Ангирас.

В послании Ангирас извещал отца о том, что может начаться страшная война богов с асурами. Желая предотвратить кровопролитие, святой Ангирас принял обет неслыханной суровости. Подвергая плоть свою жестоким истязаниям, духом объемля единство мироздания, уповал Ангирас сподобиться высшей силы, перед которой склонились бы и боги, и вечные противоборцы их — асуры. Каче, лучшему из учеников Ангираса, было назначено помогать гуру в его подвижничестве.

И все-таки опасался Ангирас, что асуры могут помешать жертвоприношению во имя мира, а потому просил великого и справедливого короля Нахушу прислать своего сына, прославившегося ратными деяниями, оберегать обитель от зла.

Мне оказывали честь, в сравнении с которой меркла слава похода за конем.

Я буду охранять обитель, никто не сможет помешать Ангирасу накапливать в себе силу, которая не даст разразиться войне. Люди будут спрашивать: кто этот молодой храбрец, который защищает ашрам Ангираса? Слух обо мне дойдет до самого Индры, и король богов призовет меня к себе. Я поднимусь в его небесный дворец, где меня сразу окружат небожительницы-апсары, прекрасные и нежные, куда красивей Алаки. Но я пройду мимо и, став перед троном Индры, скажу:

— Бог Индра! Я готов всегда сражаться на твоей стороне, но ты за это должен даровать мне милость. Проклятие лежит на моем отце — не будет счастья его потомству. Сними проклятие, о Индра!

Мой телохранитель отстал. Конь, заскучавший было от ровной рыси, мчался вихрем и скоро вынес меня к скромной обители.

Смеркалось.

Из-за рощи в бледнеющее небо уплывали клубы дыма. Дым вился плавно, как движется девушка в танце. Перекликались птицы, устраиваясь на ночлег. Западный край неба пылал — будто зажегся в

храме жертвенный огонь, на котором медленно сгорали облака под звуки священных птичьих песнопений.

Даже во дворце не приходилось мне видеть такое торжество красок. Я натянул поводья, зачарованный птичьими голосами и безмолвным пожаром облаков. Вдруг огненно-яркая птица взметнулась в небо совсем рядом со мной — моя рука непроизвольно натянула тетиву.

— Остановись! — раздался голос.

Это был не окрик, а повеление.

Оглядевшись, увидел, что я не один. Слева от меня стояло манговое дерево, с которого спрыгнул на землю стройный мальчик.

— Ты в обители святого Ангираса,— сказал он.

— Знаю!

— И вознамерился пролить здесь кровь? Вблизи ашрама?

— Я кшатрий. Охота предписана мне кастой.

— Долг кшатрия — владеть оружием, чтобы защищать себя, чтоб защищать добро от зла. Какое зло могла причинить эта птица?

— А если мне просто понравилось ее оперение?

— Ты любишь красоту. Ты забыл, однако, кто наделил тебя любовью к красоте, тот наделил жизнью птицу.

Мальчишка раздражал меня.

— Тебе бы читать проповеди в храме!

— Мы с тобой в храме,— улыбнулся мальчик.— Взгляни на запад — там догорает храмовый огонь, если поднимешь голову, то увидишь, как один за другим зажигаются светильники.

Я уже догадался, что он, скорее всего, послушник в обители, но речь его была прекрасна, как речь поэта.

— Поэт,— спросил я,— а ты умеешь ездить верхом?

— Нет.

— Значит, тебе неведом азарт охоты.

— Но я охочусь.

— Великий боже! На травки и цветочки?

— На моих врагов,— спокойно ответствовал он.

— Возможно ли, чтоб у пустынника, одетого в кору древесную, был хоть один враг?

— Их много.

— Молю тебя, скажи: чем ты сражаешься с ними?

— Есть у меня горячий конь, который обгоняет колесницу Индры, колесницу Солнца...

— Но ты же не обучен верховой езде!

— Нет. На таких конях, как твой,— нет. Иной конь уносит меня, легконогий и прекрасный. Что я скажу тебе о том, как он летит? Он в мгновенье ока может перенестись с земли на небеса. Он может унести меня туда, куда и свету не проникнуть. Ни один конь победы не может с ним сравниться. Человек, который скачет на этом коне, становится подобен богу.

Я ничего не понял.

— Ну покажи мне своего коня! — бросил я, рассерженный дерзостью юного отшельника.

— Не могу, хоть он всегда со мной, всегда готов служить мне.

— А как зовут его?

— Мысль.

Я хлестнул коня и ускакал. Мальчишка наверняка не узнал меня, принял за обыкновенного воина. Ну и для меня эти отшельники — как холмы, все одинаковы. Встреться мне этот послушник еще раз — я его не узнаю.

Но я его узнал. Тем же вечером Ангирас назвал мне его имя, и я изумился — юноша оказался Качей, сыном великого мудреца Брихаспати, наставника богов. Кача должен был возглавить жертвоприношение во имя мира. Я никак не мог понять, отчего Ангирас избрал Качу. Правда, Кача оказался старше, чем я думал, впервые его встретив,—

года на два старше меня. И все же очень молод. Поистине, любовь ослепляет, любовь ли матери к сыну или учителя к ученику.

Кача был тоже поражен, узнав, кто я.

Когда мы остались вдвоем, Кача сказал:

— Гуру Ангирас учит меня всегда говорить правду, но не подчеркивать при этом собственного превосходства... Этот урок учителя еще не постигнут мною. Я прошу твоего прощения. Гордыня, как необъезженный конь, ее трудно взнуздать. Прости меня.

Кача коснулся лбом земли перед моими ногами.

Удаляясь, он бормотал, будто разговаривал с собой:

— О человек, услышь, что говорит твоя душа и следуй ее велениям. Познай себя, ибо нет у тебя иной цели. Над этим и трудись душой.

Мне отвели хижину рядом с той, где жил Кача.

— Принц, мы теперь соседи,— улыбнулся он.

— Слышал, Кача, есть такая пословица: «Хуже соседа нету врага»?

— В пословицах обычно половина правды,— засмеялся Кача.

Жизнь в обители мне не нравилась: хоть и получше, чем у Яти в пещере, но я привык жить во дворце! Однако я воин и приехал оборонять ашрам, где Ангирас скоро начнет моление. Святой Ангирас больше не тревожился — он сказал мне:

— Асуры знают, принц, что ты в нашей обители, и оттого не смеют чинить нам препятствий.

К тому же я стал находить приятность в беседах с Качей, в которых он выказывал и знания, неведомые мне дотоле, и подлинную чистоту, и ясность помыслов. Я все меньше замечал убогость жизни в ашраме, вначале мучившую меня, и получал все больше удовольствия от ощущения причастности к святому делу.

Каче предстояло совершать все обряды при жертвоприношении Ангираса, поэтому он постился, жил на одной воде. Как охранителю жертвоприношения мне следовало целую неделю тоже соблюдать строжайший пост, но премудрый Ангирас смягчил для меня суровость подготовки: он выбрал шестерых из моих телохранителей и распорядился, чтобы каждый из нас не касался пищи только один день. Но даже один день без еды длился очень долго. Голод так и грыз мои внутренности, я просто не находил себе места.

Странно, думал я. Выезжая на охоту, я мог сутками забывать о еде; следуя за конем, я делил с моими воинами все тяготы походной жизни, терпел и голод и жажду, но тогда мой ум был увлечен другим и тело не роптало.

Кача, казалось, ничуть не затруднялся постом, он сохранял улыбчивость и ровность обращения. Я не мог понять, как ему удается так легко терпеть голод — и не один день, как мне,— а целую неделю. Не в силах объяснить спокойствие Качи, я удовлетворился оправданием собственной слабости.

Рассуждал я так.

Я — кшатрий, воин. Я должен быть сильным и крепким, иначе мне не выполнить мой долг. Я обучен телесной ловкости и владению оружием. Тело мое нуждается в пище, поэтому я не умею голодать. Вот чем я отличаюсь от Качи, вот почему он может терпеть голод, а я нет. Плоть отшельника может иссохнуть, его члены превратиться в подобие сучьев, но мышцы воина должны всегда быть упругими, как сталь. Значит, нет ничего дурного в том, что я не могу поститься, как Кача. А смог бы Кача проследовать за конем победы по всей Арияварте? Если Кача красив, то это потому, что он молод и ведет добродетельную жизнь. Ну и что? Зато Каче нипочем не натянуть мой лук и не попасть стрелою в цель.

Занятый этими мыслями, я, однако, исправно исполнял все, что от меня требовалось. Жертвоприношение началось, окрестные жи-

тели стали стекаться в обитель на трехдневное празднество в ознаменование благополучного начала.

С началом жертвоприношения заканчивался очистительный пост Качи, чему юноша радовался, как ребенок. Он с удовольствием участвовал в празднестве, танцевал и пел со всеми — у Качи был красивый голос и очень тонкий слух. Ему вообще все было дано. Он, например, отлично плавал — будто в минувшей жизни был рыбой. Однажды, в час молитвенных песнопений, расплакался грудной младенец на руках одной из женщин, и мать никак не могла унять его. Тогда Кача подошел, взял младенца из ее рук и дурашливо показал ему язык. Тот замолк и заулыбался. Кто бы мог поверить, что смешливый юноша, играющий с ребенком, остался за главу обители и всего минуту назад так проникновенно выпевал звучные слова священных гимнов. Кача мог быть каждую минуту другим, оставаясь при этом всегда собой. Я не переставал удивляться ему. Как-то в обитель принесли корзинку спелых плодов. Кача разломил краснощекое, спелое яблоко и уже приготовился протянуть мне половинку, как вдруг увидел червяка. Он усмехнулся:

— Вот, принц, как устроено все в жизни. Никогда не знаешь, не обнаружится ли червь в прекрасном и сладостном.

Кача задумался и медленно, как будто бы про себя, добавил:

— Чем слаще жизни плод, тем легче он гниет.

Однажды мы с Качей забрели в деревушку, где маленькая девочка схватила Качу за руку и потянула смотреть цветок, который расцвел перед ее домом. Мы, посмеиваясь, пошли за ней, но в саду девчушка чуть не расплакалась: она вдруг сообразила, что гостей двое, а цветок — всего один! Она растерянно переводила глаза с одного на другого, не зная, как поступить.

— Подари принцу,— шепнул ей Кача.

— Нет, нет — великому мудрецу,— возразил я.

Девчушка уже потянулась было к цветку, но Кача остановил ее:

— Зачем срывать цветок? Он мне очень нравится — пускай себе растет, а я буду приходить и беседовать с ним, хочешь?

Девчушка была совершенно счастлива.

Я же весь день размышлял над словами Качи, а вечером сказал:

— Ну что ж, премудрый Кача, тот цветок еще день или два будет радовать взгляд, потом начнет увядать, потом осыплется. Разве приятно наблюдать за увяданием красоты? Уверен ты, что красотой нужно любоваться на расстоянии? Разве подлинное наслаждение не в том, чтобы сорвать цветок, насладиться прикосновением к его упругим лепесткам, вдохнуть запах... Из цветов плетут гирлянды для украшения кудрей, а лепестками устилают душистое ложе...

Кача улыбнулся моим словам:

— Ты прав, принц, это прекрасно. Но это простое удовлетворение желаний, а радость от него недолговечна.

— Что плохого в минутной радости?

— Ничего плохого, принц, если от этого никто не страдает. Но в жизни есть иные радости, не только удовлетворение желаний.

— Какие же?

— Радость от ограничения желаний.

Мне сразу же вспомнился Яти в пещере, ложе из колючек...

— Отшельник Кача, неужели счастье только в отказе от земных благ?

— Да нет! — рассмеялся Кача.— Каждому свое, принц. Твое дело, например, справедливо править королевством, печься о благе подданных. Удел правителя ничуть не ниже, чем удел аскета. Один правит миром, другой уходит от мира.

— Скажи мне, Кача, а можно жить аскетом и оставаться королем?

Кача ответил мне с большой серьезностью:

— Принц, земные радости, семья и дети — в природе вещей, и

человеку присуще стремление к ним. Если бы бог назначил человеку жить только духовной жизнью, он бы сотворил его бесплотным. Радость жизни, о которой ты говоришь, невозможно испытать, не имея плоти. Но не одна эта радость составляет смысл жизни, потому что вместе с телом бог дал нам душу. Душа должна сдерживать порывы плоти, а потому душа должна постоянно бодрствовать. Опьяненный возничий не совладает с упряжкой, кони разнесут колесницу, погибнет ездок.

Кача смолк. Потом добавил, глядя в небо, усыпанное звездами:

— Вот я и провинился, принц. Конь моей страсти понес меня. Все, что сказал я,— истинно, но только помни, принц: как и ты, я молод. Я не знаю жизни.

Кача часто говорил такие вещи, но убедить меня не мог. Он казался мне наивным, как дитя. Он действительно не знал жизни.

Уже много-много лет враждовали боги и асуры. Ну а после того, как наставник асуров, премудрый Шукра, упражняя неустанно свой дух, обрел способность возвращать мертвых к жизни, асуры начали готовиться к большой войне. Чтобы предотвратить пролитие крови, и решился святой Ангирас на жертвоприношение.

Пусть Индра собирает воинство богов, чтобы сразиться с асурами, — наставник Ангирас, сын наставника богов, изнуряет себя подвижничеством, чтобы помешать войне.

Ангирас не уставал повторять:

— Боги рвутся к наслаждениям, асуры ненасытно рвутся к власти. Кто бы ни победил — ни одни, ни другие не смогут дать миру покой. Войны не должно быть.

Мне были странны эти речи. Я много времени провел в общении с Ангирасом и очень привязался к старцу, однако так и не понял, что он за человек. Иной раз он казался мудрейшим из людей, иной раз был наивней Качи — мечтательный ребенок.

И расставаться мне с ним не хотелось, хотя я понимал, что мне неминуемо придется оставить обитель.

Время расставания наступило неожиданно. Гонец из Хастинапуры привез весть о том, что отец мой тяжко заболел, находится на смертном одре. Я должен был немедля возвращаться в Хастинапуру. В растерянности и смятении бросился я к Ангирасу.

Ангирас отечески положил руку на мое плечо:

— Возвращайся, не теряя времени, принц. И не тревожься за ашрам. Твое присутствие в обители позволило нам без помех совершить самую важную часть обряда. Сыновний долг не ниже долга веры, спеши в Хастинапуру, принц.

Я благоговейно коснулся земли у ног Ангираса.

— Я не благословляю тебя, принц, и не произношу пожеланий счастья. Годы и годы провел я в поисках познания, но и теперь неизвестно мне — счастье ли тень страдания, или страдание сопровождает счастье, как тень. Не трать, принц, время на эти мысли. Заботься о государственных делах. Твой долг как короля и кшатрия — укрепление доброчестия, приумножение богатства и наслаждение земными радостями. Но помни, принц, жажда благоденствовать и наслаждаться таит в себе опасность, как острый меч таит в себе смерть. Как женщину делает прекрасной покорность, так и земные радости тогда прекрасны, когда ведет к ним путь праведности. Ты спросишь, принц, в чем суть его. Нужно поступать так, как желал бы ты, чтобы поступали с тобою, и постоянно помнить об этом. И вот тебе мое пожелание, принц,— да пребудет с тобою всегда эта память.

Тревога за жизнь отца понудила меня задать вопрос Ангирасу: не оттого ли болен отец, что на нем проклятие? Что это за проклятие? И может ли оно быть снято?

— Лежит ли на моем отце проклятие?— спросил я.

Печаль окутала чело Ангираса. Лишь после долгого молчания он ответил:

— Да.— И добавил:— Но проклятие лежит на каждом человеке, принц.

— На каждом? — Дрожь в голосе выдала мой ужас.

— Не нужно бояться, принц. Поистине, можно сказать, что все мы прокляты — я, Кача, твой отец.

— Значит, сама жизнь есть проклятие?

— О нет! Жизнь — драгоценнейшее из благословений, даруемых нам богом в его щедрости. Но благословенный дар несет в себе проклятие.

— В чем же смысл дара? Зачем он человеку? Чего ради человек рождается на свет?

— Чтобы освободиться от великого проклятия. Живым существам не дано выйти за пределы их телесного воплощения. Одному только человеку дано больше, он карабкается вверх по крутому склону, имя которому— понимание. Наступит день, когда человек достигнет вершины и освободится от проклятия. Запомни, принц,— не наслаждение тела есть истинная цель жизни, но радость духа.

Ангирас внезапно смолк.

— Желаю тебе счастливого пути, и да пребудет с тобой милость божья,— сказал он, помолчав.

До самой Хастинапуры мой разум не оставляли мысли о том, что узнал я от Качи и Ангираса. Но они отлетели прочь, едва я вступил в город. Теперь меня снедала тревога за отца и страх не застать его живым.

Я бросился к ложу отца, я звал его. Отец невнятно пробормотал какие-то слова, но они не были ответом на мой зов, ибо отец уже принадлежал иному миру.

Ко мне приблизился главный министр и, положив мне на плечо худую старческую руку, мягко подтолкнул к двери.

За дверью он сказал дрожащим голосом:

— Вы молоды, принц, и еще не знаете, как устроен мир. Все бренно в этом мире. Вам не нужно видеть смертных мук отца. Ашокаван недалеко отсюда, там тишина и покой, приют этот отдален от суеты, как пещера в чистых Гималаях. Подземный ход ведет из дворца прямо в храм Ашокавана. Побудьте там. Дважды в день вы сможете навещать отца.

Главный министр, видимо, не сомневался в моем согласии — в Ашокаване все было приготовлено для моего удобства и покоя. Но я скучал, не знал, куда девать себя, что приказать бесчисленной челяди, за чем послать. Одну из служанок звали Мукулика — мне не случалось ее раньше видеть. Ей было лет двадцать пять, и была она миловидна и умна. Видя, что я не нахожу себе места, Мукулика стала отсылать под разными предлогами всю челядь. Сама она оставалась при мне и, угадывая мои желания, безмолвно исполняла их.

Но самым страстным моим желанием было освободиться от мыслей о смерти, день и ночь обуревавших меня. Тщетно пытался я забыться, ибо всякий раз, как я посещал отца, смерть представала перед моими глазами.

Смерть безраздельно правит этим миром, никто не в силах противостоять ей, и разум беспомощен перед сознанием ее неизбежности. Я все время думал о том, что придет время, когда на смертном одре буду лежать я, как сейчас лежит отец. Меня не покидало детское стремление: убежать, убежать побыстрей и подальше, юркнуть в расщелину, спрятаться, чтобы до меня не могла дотянуться холодная рука смерти.

Судя по тому, что происходило с отцом, смерть была ужасна.

Иногда горячка отпускала отца. Однажды, не замечая моего при-

сутствия, он поманил к себе мать. Она наклонилась над ним, он с усилием поднял иссохшую руку и коснулся ее груди.

— И с этой красотой я расстаюсь... — прошелестел отец.

Мать была в смущении, не зная, как обратить внимание отца на то, что я вижу эту сцену. Вдруг отец расплакался, как ребенок.

— Как мало я вкусил от меда!— рыдал он.

Мать знаком приказала мне уйти.

Я удалился к себе, но плач отца так и стоял в моих ушах, а мысли об увиденном язвили мою душу.

Непостижимо — жалобный плач героя, чья воинская доблесть сотрясала небеса; слезы всесильного владыки Хастинапуры... Я пытался проникнуть в смысл его слез, ибо они таили в себе великую тайну жизни, которую я силился понять.

Но сильней всего обжег мое сердце другой случай. Бессонные ночи изнурили мать, и я умолил ее отдохнуть днем, оставить меня у ложа отца. Отец лежал без сознания и не приходил в себя, хотя время от времени лекарь приближался к нему и осторожно вливал ему в рот капельку какого-то снадобья. День уже догорал, опочивальня быстро погружалась в сумерки, когда отец неожиданно открыл глаза.

—Яяти...

Он схватил меня за руку и, перепуганным ягненком прижимаясь к ней, быстро заговорил:

— Яяти, не отпускай меня! Я жить хочу, Яяти! Я не хочу умирать! Смотри, Яяти, ты видишь их, посланцев смерти? Но ты же сильный, у тебя такие сильные руки, как же ты допустил их ко мне? Почему ты не прогонишь их?

Его била дрожь. Голос неожиданно перешел в крик:

— Неблагодарный! Вы все неблагодарные! Если бы каждый из вас пожертвовал мне по одному дню жизни... Спаси меня, Яяти! Держи меня покрепче!

Он вновь лишился чувств, но его рука, стиснувшая мою, была красноречивей невысказанных слов. Отец прильнул ко мне словно олень, почуявший в сердце смертоносную стрелу.

Если смерть есть неизбежное завершение жизни, зачем тогда вообще рождается человек?

Я призывал на помощь философию, в которую Кача и Ангирас посвятили меня, но не находил в ней разрешения своим терзаниям. Могут ли светлячки рассеять темноту ночи новолуния?

В смятении я возвратился в Ашокаван. Мир утонул в ночной тьме, такая же тьма сгущалась в моей душе. Бесшумно появилась Мукулика с золотым светильником в руке. Мягкий свет залил покой. Мукулика наклонилась, поправляя фитиль; в этом золотистом освещении она казалась мне божественно-прекрасной.

Мой взгляд заставил ее оглянуться. Мукулика медленно приблизилась к моему ложу грациозным шагом танцовщицы.

— Вам нездоровится... ваше высочество?

Голос ее был мелодичен.

— Я не могу прийти в себя, Мукулика. Состояние отца...

— Но, говорят, опасность миновала. Только сегодня я слышала, придворный астролог сказал, что опасное влияние звезд скоро...

— Принеси вино! Звезды, болезни, смерть — я хочу обо всем забыть!

Она не двинулась с места.

— Вина!— раздраженно повторил я.

Мукулика потупилась.

— Ваше высочество, королева распорядилась не держать здесь вина...

Почему у женщин так развита интуиция?

Или они просто уверены в неотразимости своих чар?

Глаза Мукулики были опущены — как же могла она видеть, каким взглядом смотрю я на нее?

Мукулика на миг подняла веки — будто молния расколола безоблачное небо, и яркая вспышка осветила улыбающиеся губы, ямочки на щеках.

Я всмотрелся. Мукулика стояла в прежней позе, потупившись. Стояла совсем рядом с моим ложем. Я не пил, но опьянение бурлило в моей крови. А в ушах звучал отцовский голос: «Я жить хочу, Яяти! Не отпускай меня!»

— Почему мать распорядилась не держать здесь вина?

— Ашокаван — приют, удаленный от столичной суеты. Здесь останавливаются святые люди, сюда заходят переночевать отшельники. Здесь нельзя держать вещи, которые их могут осквернить.

В ушах как звон стоял — я слышал страшный крик отца.

Меня охватила дрожь. Я боялся оставаться в одиночестве. Я тоже нуждался в поддержке.

Я сжал руку Мукулики.

И была ночь.

Вновь и вновь твержу я себе — нельзя рассказывать о той ночи. О ней даже нельзя упоминать!

Но я же решил писать всю правду! Стыдливость украшает красоту — не истину. Истина нага, как новорожденный младенец. Такой она должна всегда быть.

Все началось с того... Я стиснул пальцы вокруг ее запястья. Этого было достаточно — лопнули цепи, стягивавшие мир!

В ту ночь я впервые узнал дурманящее возбуждение тела прекрасной юной женщины, божественное блаженство, источаемое каждой его частичкой. Так было впервые. Я был пьян Мукуликой в ту ночь.

Меня разбудил птичий гам. Я выглянул в окно. Колесница солнца, оставив позади врата востока, быстро взбиралась вверх. Как прелестна была золотая пыль, вздымаемая ее колесами!

В дверь заглянула Мукулика. Увидев, что я проснулся, вошла с вопросом:

— Хорошо ли вы спали, принц?

Мукулика — великая актриса! Как она лицедействует! С каким совершенством играла она ночью роль возлюбленной, а сейчас изображает вышколенную прислужницу.

— Милая Мукулика!— вырвалось у меня.

Она торопливо оглянулась и притворила за собою дверь.

— Ваше высочество звали?— спросила она, приближаясь к ложу.

Звал, звал. Но зачем? Я сам не знал и молча смотрел на нее.

Мукулика сложила ладони перед грудью.

— Я провинилась, принц?

«Не ты, а я». Этого я не сказал — только подумал, продолжая в молчании смотреть на Мукулику.

В дверь постучали. В опочивальню быстро вошел слуга и с поклоном подал свиток.

— Ваше высочество, главный министр повелел без промедления вручить вам!

Это было письмо от Качи.

Кача писал:

«Принц, мне тоже вскоре предстоит оставить обитель. Мы без помех завершили жертвоприношение, но война между богами и асурами все же вспыхнула. Если помните, принц, еще в вашу бытность в обители ходили слухи, будто святой Шукра взрастил в себе способность возвращать мертвых к жизни. Шукра действительно обрел эту силу — сандживани, и поскольку теперь он может воскрешать павших воинов, что воспрепятствует войне?

Война и насилие всегда казались мне противными природе че-

ловека. Как прекрасен и богат этот благословенный мир, сотворенный высшими силами. Разве не может человек жить в нем, вкушая покой и счастье? И хоть мне кажется, что это вполне возможно, я не знаю, наступит ли время, когда человек поймет бессмысленность войны. Сейчас мечтать о мире — все равно что тянуться рукою к луне!

Нет сомнения — боги потерпят поражение. Что мне делать? В войнах не бывает победителей, но как же трудно быть отрешенным свидетелем поражения тех, на чьей ты стороне. Мой долг — помочь богам избежать разгрома. Но как? Я провел много бессонных ночей, тревожимый этими мыслями. Однажды я всю ночь ходил по дворику обители. Надо мной искрилось небо, усыпанное звездами, но неспокойный разум мой был погружен во мрак. Перед рассветом я понял, что нужно делать. Нет, не разумом — озарение вдруг осветило мне путь, и понимание пришло, как стихотворение приходит к поэту.

Ни одна из сторон не смеет обладать уверенностью в своей безнаказанности — иначе война захватит весь мир. Боги сумеют противостоять асурам, если станет им известен секрет сандживани... Я подумал, что Шукра согласится посвятить в тайну лишь того, кто станет его любимым учеником. И потому я отваживаюсь отправиться во владения короля Вришапарвы и, припав к ногам учителя, молить его принять меня. Быть может, он посвятит меня в секрет сандживани. Но может случиться и так, что я сложу там голову.

Святой Ангирас благословил меня. Благословляя, он сказал: ты брахмин, а значит, по рождению тебе назначено владеть знанием. Поистине, ты отправляешься на поиск знания, однако цель твоя скорее подобает кшатрию. Я ответил: будь принц Яяти здесь, мы бы вместе отправились во владения асуров. Принц исполнял бы долг воина, а я отдался бы обретению знания.

Я думаю, принц, нет порока в том, чтобы люди разных каст совместно исполняли долг человечности. Разве не смешиваем мы воды разных рек, чтобы омыть изображение бога перед молением?

Ангирас посылает вам благословение, и мы вместе молимся о скорейшем выздоровлении короля Нахуши».

Письмо Качи смутило мою душу. Кача рискует жизнью во имя того, что считает справедливым. И во имя тех, на чьей он стороне. А я? Прошлой ночью я позабыл о том, что отец лежит на одре смерти, так погружен я был в радость жизни.

Должен ли я стыдиться этого?

Чувство вины лишило меня покоя. Если не виноват, то почему вдруг загудел весь улей, едва я прикоснулся к меду, и пчелы так больно меня жалят?

Отцу не становилось лучше.

Мать сидела в молитвенной позе перед крохотным золотым алтарем, который установили в отцовских покоях.

Я сел рядом, и она легко провела рукой по моему плечу — будто сама любовь прикоснулась ко мне.

Глухая тоска охватила меня от вида истаявшего материнского лица и изваяний, перед которыми она замерла. Только одно могло спасти меня от тоскливого страха — память о том, что было ночью...

Мать закончила молитву, я помог ей подняться на ноги. Посмотреть ей в лицо я не смел.

Заметив, что я прячу глаза, она спросила:

— Что ты скрываешь от меня, сын? Тебе, наверное, даже в Ашокаване не спится по ночам... Нельзя так, сын. Тревожные ночи подтачивают молодые силы. Брать на себя бремя страданий другого — удел тех, кто пожил на свете. А тебе нужно отвлечься — музыка, танцы, представления помогут тебе рассеяться.

И, обращаясь к главному министру, который как раз присоединился к нам, спросила:

— Достаточно ли удобно устроен принц в Ашокаване?

— Ваше величество,— откликнулся министр,— я лично проследил за тем, чтобы принц ни в чем не нуждался. В Ашокаване новая прислужница, Мукулика. Она недавно взята ко двору, но показалась мне весьма сообразительной. Ей наказано следить, чтоб исполнялись все желания его высочества.

Да неужели... Сердце мое оборвалось.

— Не сомневаюсь, вы обо всем подумали,— продолжала королева,— но мой сын тоскует. Я бы хотела, чтобы он отвлекся от тягостных мыслей.

— Мадхав, средний сын придворного стихотворца, славится как знаток и ценитель искусств. Речь его тонка и изящна, беседа с ним услаждает ум. Я распоряжусь, чтобы его пригласили к принцу.

Я попытался, улыбнуться:

— Велите этому Мадхаву найти для меня собеседника, которого занимают не стихи, не танцы, а вопрос о том, зачем живет на свете человек. И для чего он умирает.

...Мадхав действительно повел меня в дом к известному философу, к человеку, о великой учености которого слагались легенды. По дороге, однако, Мадхав резвлекал меня презабавными историями о пандите.

Пандит жил по собственным законам: если случалось вельможным персонам заглянуть к нему домой, он неизменно предлагал каждому пищу и кров, но высокие гости должны были делить трапезу с домашними и со слугами.

Говорили, будто однажды глухою ночью к пандиту забрался вор. Пандит в это время ломал себе голову над туманной строкой из древнего трактата. Со светильником в руках бродил он по своей библиотеке в поисках нужного комментария и, натолкнувшись на незнакомца, приказал, чтобы тот хорошенько посветил ему.

Ученый редко являлся ко двору — только в особо важных случаях, ибо он считал, что во дворце чересчур шумно, к тому же выступления танцоров и певцов отвлекали его от размышлений. Отрываясь же от своих мыслей, он мог огорошить любого встречного неожиданным вопросом.

Рассказывают, что однажды к нему явился заросший волосами пустынник, которому понадобилось узнать, как смотрит пандит на природу бога. Затеялся долгий, многоумный спор. Неожиданно пандит спросил пустынника, не намерен ли тот обриться. Пустынник рассердился — какая связь между волосатостью и тонкими материями, занимавшими его? Ученый пояснил свою мысль:

— Солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь густую листву. Не кажется ли тебе, что нечто подобное происходит и с тобою, ибо похоже, что копна нечесаных волос не пропускает мысли в твою голову.

В другой раз монах из западной Арияварты поинтересовался, сколько детей у ученого мужа.

— Не знаю,— последовал ответ,— спроси мою жену. У меня нет времени на пустяки, после того как я сделал главное.

Мадхав и вправду оказался занимательным собеседником. Он был остроумен без злости, к тому же обладал даром рассказчика. Самые обыкновенные вещи вызывали смех, когда о них говорил Мадхав. Принято думать, что люди большой учености всегда чудаковаты, но истинная ученость встречается редко, от этого и люди, ею наделенные, кажутся странными в сравнении с простыми смертными, а те, желая доказать, что они ничем не хуже, распространяют истории о чудачествах книжных червей.

Я не сомневался, что таковы были и истории Мадхава, но столь забавны были они в его изложении, что меня ничуть не занимала мера их правдивости.

Во всяком случае, Мадхав отвлек меня от тягостных мыслей.

Ученый принял нас в своей библиотеке. Мне было ясно, что книги, манускрипты, словари — средоточие всей его жизни. С истинным упоением показывал он мне редкую старинную рукопись. Обширность его знаний не могла не вызывать почтения: отвечая на простой вопрос, который я ему задал, он процитировал на память многих мудрецов древности, чтобы подкрепить свою точку зрения.

Однако всей его эрудиции не хватило на удовлетворение терзавших меня вопросов. Когда я признался, что мой разум отравлен размышлениями о смерти, он только и сказал:

— Кто может избежать смерти, принц? Когда изнашивается платье, мы сбрасываем его. Так же и душа сбрасывает тело, когда оно отслужило свое.

Я остановил пандита:

— Я согласился бы с этим, если бы все люди умирали от старости. Однако жизнь не знает такого закона, и всякий день мы видим, как смерть уносит людей совсем молодыми, в расцвете сил.

— Но, принц, здесь нет противоречия. Усвоив это, вы снова обретете душевный покой.

— Не понимаю!

— Что вам внушает уверенность в истинности жизни, которую вы наблюдаете, ваше высочество?

— Но...

— Истинна только сама жизнь, и она вечна. А вот Мадхав, пандит или принц — это всего лишь формы, которые мы способны воспринять нашими чувствами. Дом, книги, страх смерти — это игра наших восприятий.

Страх смерти, мои муки — просто игра чувств! Блаженство объятий Мукулики — игра чувств, и укоры совести наутро после той ночи — тоже! А боги и асуры, а война—что это, всего лишь игра чувств? Ради чего же изнурял себя жертвами, во имя мира святой Ангирас? Зачем тогда Кача, рискуя жизнью, отправляется добывать секрет сандживани? Если весь мир, живой и неживой, в котором мы обитаем, если и радость, и боль жизни — всего только мимолетная игра чувств, обман, иллюзия, отчего же я так страдаю при виде слабеющего тела короля Нахуши? Человеческое тело тленно, но не может оно быть плодом игры чувств. Острое наслаждение и томительная боль могут забыться с течением времени, но они же были и были подлинными — пока длились! Голод — голод тоже бывает настоящим и по-настоящему убивает человека.

Пандит с видимым наслаждением читал мне прекрасные строки из мудрых книг, тонко истолковывал понятия добродетели, долга, любви, вечности. Я слушал его с безразличием — не за этим я сюда шел, не этих ответов ожидал на неотвязные вопросы.

Мадхав почувствовал мое настроение и приуныл. Желая сделать ему приятное, я согласился отобедать в его доме. Потом я снова отправлюсь во дворец...

Мадхав мне говорил, что его старший брат писал стихи. Он добился славы, но тут скоропостижно умерла его молодая жена... Поэт все бросил и отправился странствовать по святым местам. Значит, подумал я, философия ученейшего пандита не помогла и брату Мадхава, значит, она по самой сути расходится с реальностью жизни.

На веранде Мадхава ожидала его маленькая осиротевшая племянница. Девчурка была прелестна — блестящие кудри, искрящиеся глаза, изящно очерченный рот. При виде нашей колесницы она замерла — ну точно бабочка, присевшая на цветок. Но тут же сорвалась навстречу нам. Она повисла на шее Мадхава, потом строго глянула в мою сторону:

— Кто он?

— Ты должна сначала поклониться, Тарака!

— Разве он бог?— с любопытством спросила девочка.

— Он принц.

— Кто это — принц?

Мадхав не сразу нашелся что ответить.

— Видишь,— терпеливо начал он объяснять,— вот эта колесница, кони и вообще все вокруг — всем этим владеет он. Поэтому он принц.

Тарака подумала, сложила ладони перед грудью и низко склонилась передо мной.

— Приветствую тебя, принц!

Был бы я художником, я бы именно так изобразил Тараку — в грациозном поклоне, с выражением сосредоточенности на милом личике.

— Приветствую тебя, Тарака,— ответил я на поклон.

— Принц,— серьезно сказала Тарака,— ты не можешь дать мне одного коня? Для свадьбы.

— Чья свадьба? Твоя?

— Да нет же! Моей куклы!

— Когда ты выдаешь ее замуж?

— Послезавтра.

— А кто жених?

— Жених?

Тарака явно не подумала о женихе. Она с надеждой посмотрела на Мадхава.

Мадхав покачал головой—жениха у него на примете не было.

— Я дам коня на свадьбу,— пообещал я.— Но как быть с женихом?

— Как быть с женихом?— Тарака погрузилась в глубокое раздумье. Вдруг ее осенило:— А может, ты будешь женихом, принц?

Мадхав тихонько фыркнул, но тут же метнул быстрый взгляд в мою сторону — не оскорбила ли меня детская болтовня? Я с трудом сохранял серьезность, ибо мое воображение уже нарисовало мне картину свадебного шествия: разодетую куклу, а рядом с ней здоровенного Яяти — в старом плаще Мадхава!

Мы отправились обедать. Мне не хотелось разрушать очарование дня. Я услал возничего, приказав вернуться за мной на заходе солнца, чтобы я мог провести весь день с Мадхавом и Таракой. А на ночь я отправлюсь во дворец.

Мадхав дал мне почитать стихи своего брата. Там оказалось множество прекрасных стихов о море. Мне сначала понравилось одно — о море в бурю, где поэт сравнивал пенные буруны со взмыленными гривами бешено скачущих коней.

Однако потом мое внимание привлекли другие стихи о море:

Зачем вы яритесь, о бурные волны?
Сегодня вы сушу тесните, но завтра
судьбы колесо повернется.
Судьбы начертаниям каждый покорен.
Рассыпавшись в брызги, уйдете вы с суши
и в море с другими волнами сольетесь.
Когда нас ласкает судьба, нам не должно
гордиться, в годину же горя не должно
роптать. Мы — люди. Грядущее скрыто от нас.

Я взялся за другую пальмовую дощечку: стихи о любви.

Мукулика... За что я был так холоден и груб с ней наутро? Разве она повинна в том, что я терзался чувством вины?

Прощаясь с Мадхавом и усаживаясь в колесницу, я все продолжал размышлять о только что прочитанных стихах. Колесница помчала было в сторону дворца, но — неожиданно для меня самого — я велел возничему остановиться. Я намеревался провести ночь во дворце, рядом с отцом, но сейчас я был не в силах отправиться туда... Стыдясь, я почти шепотом сказал:

— В Ашокаван. Мне нездоровится.

Моя опочивальня была убрана свежими цветами, светильники, на-

полненные маслом, лили золотистый свет. Как странно. Ведь я предупреждал Мукулику, что на ночь останусь во дворце.

В опочивальню вошла Мукулика с кувшином вина. Налив вино в узорчатую чашу, она с поклоном подала ее мне.

— Я полагал, что королева не велит...

— Ваше высочество, я служу вам, и ваши желания — закон для меня.

— Отлично. Но разве я сказал, что буду ночевать в Ашокаване?

— Нет, ваше высочество.

— А между тем ты приготовила опочивальню!

— Я исполняю желания вашего высочества. Ведь вам хотелось здесь провести ночь...

...Я будто раздвоился и жил в постоянном разладе с невидимым двойником.

Уступив соблазну, я делал первый шаг к пропасти — к освобождению от долга. Свобода, счастье — я упивался ими. И в то же время понимал, что пал.

Однажды вечером, когда мы с Мадхавом возвращались с представления, меня разыскал гонец министра: отец пришел в сознание и пожелал видеть меня.

Я ринулся в отцовские покои.

Отец был слаб и бледен — мне вспомнилось солнце в миг затмения,— и я собрал все силы, чтобы не показать, как потрясен я его видом.

Отец протянул мне руку. Ему понадобилось сделать немалое усилие, и я почувствовал, что из моих глаз вот-вот прольются слезы. С самого детства я привык искать опору в этой руке, всю жизнь она была моим щитом, моей надеждой. И вот теперь...

По знаку отца и первый министр, и челядь покинули покои. Мы остались наедине. На низеньком столике, у изголовья стояли кувшин с вином и чаша.

Отец глазами показал на кувшин.

Я налил вина на дно чаши, но отец сделал знак, чтобы я долил до краев.

— Мне многое нужно сказать тебе, сын. Вино укрепит мои силы.

Я наполнил чашу и поднес ее к губам отца. Сделав глоток, он долго лежал с закрытыми глазами, а когда открыл их, мне показалось, что он выглядит освеженным.

Отец взял меня за руку.

— Я хочу жить, Яяти. Даже сейчас я хочу жить. Я отдал бы Хастинапуру, все королевство отдал бы за один день жизни... Увы.

Отца именовали львом среди людей... Но на меня смотрели глаза смертельно раненного оленя.

Собравшись с силами, отец заговорил размеренно и очень внятно:

— Яяти, я оставляю тебе процветающее королевство.

— Отец, мне известны и ваша мудрость, и ваша доблесть. На мою долю выпало счастье — я родился от великого отца...

— И несчастье тоже,— прервал отец.

Я смолк в растерянности.

Неужели отец расскажет о проклятии, которое лежит на нем и на его злосчастных потомках?

— Яяти, ты с детства слышал, что твой отец одолел в поединке бога Индру, короля богов, и был готов взойти на небесный трон. Но не пришлось мне воссесть на престол Индры — а знаешь ли ты отчего?

— Я ничего об этом не знаю...

— Предвкушение неограниченной власти изменило меня. Запомни, Яяти: гордость и гордыня не одно и то же. В моей гордыне я решил супругу Индры взять в наложницы. Она склонилась перед моей волей, но поставила условие — я должен был за ней приехать в экипа-

же, которого не видывали ни люди, ни боги. Я повелел, чтобы величайшие из мудрецов несли мой паланкин, украшенный драгоценными камнями со всей земли. Подгоняемый нетерпением, я пнул одного из мудрецов, требуя, чтоб тот бежал резвее... И угодил в голову премудрого Агастьи. Агастья меня проклял...

Отец уже не мог отделять слова друг от друга, он задыхался... Мне казалось, будто он начинает бредить...

Но он снова показал мне глазами на кувшин с вином. Я наполнил чашу и поднес ее к губам отца, стараясь не видеть его лицо...

И снова вино укрепило его силы, губы шевельнулись, готовясь говорить дальше...

— Отец,— остановил я его,— вам нужно отдохнуть! Вы можете продолжить завтра...

— Завтра? — Вся горечь мира прозвучала в этом вопросе.

Отец надолго смолк, будто забыл о моем присутствии. Наконец, он произнес:

— Я, король Нахуша, как и дети мои, как дети детей моих,— никто из нас не изведает счастья. Таково было проклятие Агастьи. И добро и зло, содеянные раз, многократным злом отзываются через поколения и поколения — закон этот непреложен во всей подлунной. Яяти, твой отец виноват перед тобой, прости отца за зло, совершенное в ослеплении страстью. Сын, помни обо мне и никогда не разрывай узы долга, которыми соединено все во Вселенной. Ибо именно это сделал я...

Отец закрыл глаза, лицо его потемнело, губы чуть двигались, и я уже не мог расслышать слов. Я наклонился к нему, и мне показалось, что он пытается выговорить: «Проклятие... Яти... Смерть...»

— Яти не умер,— наугад сказал я.— Яти жив, отец.

И снова силы возвратились к отцу.

— Где он?

— Я его встретил, когда следовал за конем победы.

— И ты молчал так долго? — дрожащим голосом спросил отец.— Почему? Боялся, как бы Яти не занял мой престол?..

Лицо его перекосилось в жуткую гримасу.

— Мама! — вскрикнул я.

Вбежала мать, за ней — лекарь, слуги... Лекарь умело приподнял голову отца и смочил его губы эликсиром, который тут же подействовал — отец задышал ровнее и спокойнее. Он обратился к министру:

— Близится конец. Подай печать, вырезанную в честь моей победы над Индрой. Я хочу видеть ее, умирая. Воитель должен умирать в лучах победы!

Мать явно испугало упоминание победы над Индрой. Но она не смела противоречить.

Министр вручил отцу печать.

— Печать победы! — слабо улыбнулся отец.— Но почему я не вижу знаков моей боевой славы? Где лук и стрелы на печати? Мой лук... стрелы, мной выпущенные...

Отец поворачивал печать в пальцах.

— Яяти! — позвал он.— Здесь вырезана подпись?

— Да, отец.

— И что написано?

— «Победа, победа короля Нахуши».

— Почему я не вижу этих слов? Все видят, кроме меня! Все в заговоре против меня, даже вещи...— Он заплакал.— Не вижу, ничего не вижу... Победа короля Нахуши — ложь! Король Нахуша сегодня разбит наголову, он побежденный, а не победитель. Побеждает смерть... Смерть... я ничего не вижу... я... я...

Отец лишился чувств. Мать больше не пыталась сдерживаться и рыдала в голос. Лекарь с помощью слуг хлопотал вокруг отца, отирая пахучим эликсиром его лицо, вливая ему в рот снадобье за снадобьем.

Смерть проскользнула в королевскую опочивальню. Ее никто не видел, но тень, отбрасываемая ею, упала на лицо каждого.

Не в силах вынести ее присутствия, я выбежал, закрыв руками глаза. Мне хотелось плакать, но слез не было.

Наконец, ко мне вышли главный министр и лекарь. Лекарь коснулся моего плеча:

— Принц, успокойтесь, его величеству немного лучше. Но теперь нам остается только уповать на бога. Вам лучше отдохнуть пока в Ашокаване, принц. Если будет нужда, за вами пошлют.

Колесница помчала меня в Ашокаван королевской дорогой. Вечерний воздух веял прохладой, и дорога была полна гуляющих: куда бы я ни глянул, я видел беспечные, веселые, смеющиеся лица. Мне стало еще горше от вида чужого счастья.

Мукулика ждала меня у врат Ашокавана, но я прошел мимо нее, не сказав ни слова. Она последовала за мной в покои, желая помочь мне снять запыленную одежду, но я жестом приказал ей остаться за дверью. Она повиновалась и только робко взглянула на меня.

Позднее Мукулика постучалась в опочивальню — спросить, когда я буду ужинать.

— Завтра утром,— сказал я в ответ,— ты отправишься во дворец. Запомни — ты здесь появишься не ранее, чем я за тобой пошлю.

Меня душил гнев. Я ненавидел себя, ненавидел весь мир, ненавидел жизнь, смерть и Мукулику. Я не вдумывался в смысл собственных слов, мне хотелось, чтобы меня никто не трогал.

Я лег, не сняв одежды.

Отец. Печать победы, его стремление еще раз прочитать гордые слова — и неспособность разобрать их. Значит, вот так играет с человеком смерть: отнимет зрение, потом вернет, чтобы отнять опять... Не только зрение. Во всех концах света прославлен отец тем, что самого бога Индру поставил на колени, а сейчас он и рукою двинуть не в силах. Еще немного — и его тело будет лежать безжизненное, как бревно.

Неодолимый страх смерти объял меня, и я, как перепуганный младенец, боялся открыть глаза.

Я не заметил, как заснул. Проснулся я в холодном поту: мне приснилось, будто не король Нахуша лежит на ложе смерти, а король Яяти. В полубезумии стал я ощупывать себя, чтобы удостовериться, что жив, что мое тело не остыло, что я способен чувствовать.

Пусть это правда, что душа живет и после смерти телесной оболочки, пусть — но когда тело умирает, какую из земных радостей может испытывать душа?

Не мне судить о неземном блаженстве, но вот земные радости...

За что я так сурово отчитал Мукулику? В чем ее провинность? Ее мир ограничен дворцовыми стенами, она не думает о том, что вне дворца!

— Мукулика! — позвал я.

Она, должно быть, ждала под дверью.

Мукулика вошла, тихонько притворив за собою дверь. Нерешительно шагнула и остановилась с опущенными глазами перед моим ложем.

— Почему ты так стоишь? Обиделась, что я не велел тебе приходить без спросу?

Мукулика улыбнулась, но глаз не подняла. Мне показалось, что она плакала, но недавние слезы сделали ее еще прекрасней — как сад, омытый живительным дождем.

Я потянулся было к ней, но мне послышалось, будто меня позвали.

— Это ты зовешь меня, Мукулика?

Она покачала головой, но я видел по ее лицу, что она тоже слышала.

Мукулика испуганно скользнула к двери и замерла, прислушиваясь.

— Принц!

Теперь я понимал, что голос мне не чудится. Но кто зовет меня? Откуда? Голос доносился из-за стены... И тут я вспомнил. Мне же говорили о потайном ходе, соединяющем дворец с Ашокаваном. Поспешно оглядев стену, я обнаружил небольшой выступ, нажал — часть стены бесшумно ушла вниз. Передо мной открылась лестница, на верхней ступеньке стоял Мандар, приближенный слуга главного министра.

— Скорее, принц! — голос его срывался.— Король...

Даже не оглянувшись на Мукулику, я бросился вниз по ступеням.

Для всего мира Яяти теперь король. Властитель великой Хастинапуры. На самом деле Яяти — сирота, которому не у кого искать защиты...

Бывали дни, когда меня захлестывала тоска по отцу. Придворный гуру пытался прийти мне на помощь:

— Ваше величество, душа короля Нахуши теперь свободна от телесного плена.

Бедный гуру! Я выслушивал шлоки из «Ригведы» и в раздражении думал: где же она помещается, человеческая душа? Как она выглядит? В чем ее жизнь? И что в ней есть такого, чего не бывает во плоти? Гуру твердит, что теперь душа отца испытывает блаженство... Но когда был зажжен погребальный костер и совершались обряды по умершему королю, гуру молился:

— О бог огня! Верни к жизни мертвое тело, которое принесено тебе в жертву, дай этой душе новое тело ради служения жизни! Да обретет новое тело душа короля!

В чем же смысл молитвы? Лишить отца блаженства, но вернуть его на землю? А если душа отца вселится в другое тело, кем он будет?

Узнаю ли я его — а он меня? Возродится ли он моим другом? Или врагом? Отец и сын — враги? Наверное, и так бывает...

А вдруг отец пожелает родиться снова уже как сын Яяти? Это возможно? Кто знает. Быть может, переселение душ — просто метафора? Если бы знать... А все ли нужно знать? Маленький Яяти любил и цветы во дворцовом саду, и искры, летевшие из жертвенных костров.

Сегодняшний Яяти не станет подставлять ладони искрам, он знает, что огонь жжется. И поверять свои тайны бутонам — он знает, что назавтра они раскроются, а еще через день осыплют лепестки.

Так что такое знание — благословен им человек или проклят? А молодость — благословение или проклятие? Молодость есть начало старости, а старость — это конец жизни. Потом — смерть. Счастье юности не более чем приманка жизни, а потом капкан захлопывается! Проклятие!

Все люди прокляты, но я вдвойне. Последнее признание отца: король Нахуша, его дети, дети его детей — никто не изведает счастья... Будто огненными буквами были написаны эти слова на темном небосводе...

Отец сказал, что гордыня одолела его и он посмел ударить премудрого Агастью. Может быть, и вправе был Агастья проклясть отца... Но его дети и дети его детей — они в чем виноваты? Я тогда еще не родился на свет, я был проклят до зачатья, какая же судьба уготована мне?

Странная вялость объяла мою душу. Мне ни с кем не хотелось разговаривать, я не испытывал ни голода, ни жажды и целыми днями не покидал своих покоев.

Найти бы Агастью, думал я, отыскать бы премудрого старца где-нибудь в гималайской пещере и спросить: по какому праву проклял он семя отца моего? Как могут дети искупать проступки отцов, как?

Я вспомнил и Яти. Не волей ли Агастьи обречен он на скитания?..

Мать совещалась с главным министром о делах, предстояло опре-

делить время моей коронации, но я избегал разговоров на эту тему. Я унаследовал престол отца... И его судьбу тоже?

Мое безразличие все сильнее тревожило мать, она все чаще справлялась о моем здоровье.

Я отвечал: нет, я не болен.

— Вчера из Ашокавана приходила твоя прислужница, Мукулика. Она мне показалась и миловидной и смышленой. Я хочу взять ее во дворец. Она сказала, что принц угрюм, ни с кем не говорит, приходится угадывать его желания. Я подумала: не послать ли сегодня же за ней?

— Мукулика глупа, но королеве не должно бы уподобляться ей. Мне просто ничего не хочется. Я думаю, что если бы я отринул мир с его суетой...

Мать отпрянула, будто увидев змею. Осторожно коснувшись моей руки, она спросила:

— Ты не забыл, что дал мне слово, Яяти?

— Когда я был ребенком, ты чуть не всякий день брала с меня слово: Яяти, обещай, что не будешь делать то, не будешь делать это! Я дал слишком много обещаний.

Мне вдруг захотелось рассказать ей про Яти. Пусть мать найдет его, пусть своей любовью заставит вернуться в Хастинапуру. Яти ведь старший сын, престол принадлежит ему по праву старшинства. А я не хочу править королевством. Я ничего не хочу.

Если бы даже мать отыскала Яти, едва ли хватило бы у нее слез, чтобы заставить его вернуться. Легче приручить льва или тигра, чем преодолеть упрямую святость Яти. Что ему уготовано судьбой? Достигнет высшей цели — почувствует в себе бога? Если бы он этого достиг, его прославили бы как великого святого. Но снежные вершины отказа от мирских желаний и холодны, и круты; что, если Яти оскользнется на трудном восхождении к ним? Ведь если подтают снега, Яти может смести лавиной...

— Мы не торопим твое решение,— продолжала мать,— но рано или поздно придется назначить день коронации. Ты с детства был упрямцем, Яяти, ты весь в отца. К тому же ты теперь король, все подчиняются твоему упрямству. Но и у королевы-матери есть власть... Яяти, хочешь, я объясню тебе, отчего ты так тоскуешь?

Сердце матери обливается кровью, когда обыкновенная колючка смеет оцарапать ее дитя, а тут... Конечно же, мать истерзалась, видя, что со мной творится! Стыд обжег меня.

— Не нужно, мама. Все пройдет, не мучай себя понапрасну.

— Ты вступаешь в новый возраст, сын,— мать уже улыбалась. — Давно пора подумать о невесте для тебя.

Сначала коронация. Потом женитьба.

У матери много хлопот.

Я должен был считать себя счастливцем. Я — король Хастинапуры! Прекраснейшая из принцесс за честь почтет разделить со мной ложе и престол. Кто станет королевой, где она сейчас, что думает, что делает? Я пытался представить себе ее... Но мысли мои возвращались к матери.

Как я боялся, что она не переживет смерть отца, что горе и ее сведет в могилу.

Но нет. Погоревав немного, мать взялась за государственные дела, и довольно быстро бразды правления оказались в руках королевы. Она вникала во все мелочи, была занята с утра и до ночи, но королевские труды увлекали ее, и, казалось, новая жизнь ей по душе.

Страстная жажда жизни пробудилась в королеве. Она выглядела чуть ли не моложе меня, ее глаза искрились, походка была упругая, и кто знает, какие сны ей стали теперь сниться.

Я ошибался, полагая, будто отец составлял смысл ее существования.

Ну что же, значит, в этом мире каждый живет собой, своими интересами. Как корни деревьев и лиан ищут под землею влагу, так человек тянется за помощью и поддержкой к родным и близким. Люди именуют это либо любовью, либо расположением, либо дружбой. На деле это просто себялюбие. Если пересыхает один источник влаги, деревья и лианы не погибают — их корни тянутся к другим источникам и иногда находят их в немалом отдалении. Но корни все равно отыскивают влагу, впитывают ее и живут.

Еще недавно мать была августейшей супругой великого короля Нахуши. Если она и обладала властью, то в той лишь мере, в какой муж и властелин был подвластен чарам ее красоты. Как она должна была страшиться появления всякой новой наложницы короля!

Мать потому не кормила меня грудью, что боялась утратить красоту. Материнский долг отступил перед долгом королевы быть красавицей. Ну что ж, зато теперь она правила, теперь она королева-мать, каждое ее слово, каждый поступок показывают, что от меня требуется повиновение во исполнение сыновнего долга.

Ко мне наведался Мадхав, пришел не один — с ним была Тарака. Я обрадовался ей.

— Ваше величество,— церемонно поклонился Мадхав,— Тарака пришла сегодня к королю по делу.

— Какое же дело привело ко мне Тараку?

Тарака искоса глянула на меня и осторожно спросила:

— Раз ты теперь король, значит, ты будешь сидеть на льве?

— Король сидит на троне, а трон поддерживают львы, Тарака. Иначе люди не поймут, что король — самый главный человек.

— Они не кусаются, эти львы?

— Нет,— серьезно ответил я. — Они не живые.

— Тогда, может быть, ты возьмешь меня в королевы?

Значит, Тарака явилась взять меня в мужья! Ну что же, у нас же издавна известен обычай сваямвара — невеста выбирала достойнейшего из юношей себе в женихи. Правда, Тарака немного переиначила обряд, но что за важность?

— Ты еще маленькая, Тарака,— сказал я. — Подрасти и станешь моей королевой.

Тарака ушла с полными руками подарков, а я весь день улыбался, вспоминая ее приход и предложение.

Вечером явились гонцы от святого Ангираса с письмом от него. Я прочитал письмо, которое сразу перенесло меня в мир, столь отличный от ясного мира Тараки.

Святой Ангирас писал:

«Мне с опозданием стало известно, что великий король Нахуша оставил этот мир.

Вскоре после твоего отъезда Кача отправился во владения короля Вришапарвы в надежде открыть тайну возвращения умерших к жизни. Наших жертв недостало, чтобы предотвратить войну между богами и асурами, но сойдет с пути праведности тот, кто бездействует перед лицом зла! И оттого расстался я с обителью, чтобы в удалении ото всех очистить себя покаянием и собрать силы для новых жертвоприношений. Возвратившись в ашрам, узнал я, что нет больше короля Нахуши.

Яти, все живое противится смерти, но не может избежать ее. Таков закон творения, в котором рождение и смерть едины. Извечная сила заставляет древесные ветви одеваться юной листвой, и она же осыпает пожухлые листья. Все живое от рождения несет в себе семя смерти. Все двуедино: восход и закат, тепло и холод, свет и тьма, день и ночь, женщина и мужчина, наслаждение и страдание, тело и дух, жизнь и смерть. Уток и основа бытия, ткань мироздания, в которой проявляет себя изначальная сила.

Король Нахуша был великим воителем. Да вдохновишься и ты

его примером. Но помни, Яяти, тот правитель превыше всех благословен, чьи подданные благоденствуют; истинно добродетельный король должен быть подобен Камадхену, священной корове, чье молоко неиссякаемо, ибо король бывает счастлив счастьем своих подданных. Служи им хорошо, а я буду молиться о ниспослании тебе сил на это.

На сем намеревался я завершить мое письмо, но истинно говорится — беда не приходит одна.

Молодой послушник возвратился из королевства асуров и поведал нам о гибели Качи. Премудрый Шукра принял Качу и сделал своим учеником. Однако асуры, не доверяя Каче, строили всяческие козни против него. Они подстерегли Качу на лесной опушке, когда он пас там стадо своего учителя, убили его и тело бросили волкам.

Вот все, что удалось узнать послушнику, который и своею жизнью рисковал, отправившись лазутчиком к асурам. Качи больше нет.

Яяти, слезы невольно пролились из моих глаз и размыли строки, обращенные к тебе. Не смог я удержать их, ибо и отшельник, отринувший все земное, не более чем человек.

Я томлюсь воспоминаниями о Каче, о великих его добродетелях. Я уповал на то, что чистота его души поможет нам остановить войну. Но человеку дано только надеяться, а свершение его надежд...

Призывая тебя помнить, что смерть есть естественное продолжение жизни, я сам оплакиваю гибель Качи. Не сделаешь ли ты из этого вывод, что мудрость лишь на то годна, чтобы утешать других? Нет, Яяти, нет, поверь мне: все сущее едино, но человеку трудно прозреть единство, ибо безмерно многообразие, через которое оно явлено.

Поклонись за меня королеве — я молю бога, чтобы укрепил он ее дух».

Меня тронуло лишь то, что написал Ангирас о своих слезах и о размытых ими строчках. Все остальное — слова, пустое философствование.

Разве философией живет человек? Отнюдь — живет надеждой, мечтами, любовью, славой, доблестью. Все эти бородатые святоши любят поучать, а сами... Другое дело — Кача, который смертью утвердил то, во что верил. Так сильна была его вера, что заменяла ему оружие. Я представил себе лицо Качи, озаренное отвагой,— он наверняка смотрел прямо в глаза асурам, когда они набросились на него. Взялся рукой за коралловые четки, которые всегда носил на шее, и сказал:

— Можете растерзать на куски мое тело, душа все равно будет жить!

А я вместо того, чтоб совершать подвиги, прозябаю во дворце!

Но что мне делать? Несмотря на смерть отца, нигде не вспыхнуло ни единого бунта, все тихо и спокойно, государственные дела не требовали моего вмешательства. Я сидел, как павлин в золотой клетке, а Кача тем временем орлом воспарил в небеса! Мне хотелось доказать, что я способен на подвиг, что я отважен, силен, решителен! От этих мыслей я не спал всю ночь, а заснув под утро, во сне увидел Яяти.

— Эй ты, —насмешничал Яяти,—никчемный, низкий трус и коварный негодяй! Вон с моего престола, не то я прокляну тебя!

Наутро я рассказал матери о сне и о словах Яяти.

Она спросила, пристально глядя мне в глаза:

— Яяти, я надеюсь, ты говоришь правду?

— Клянусь отцом!

— Не надо! — резко оборвала мать. — Лучше бы ты нашел другую клятву! Твой отец был храбрым воином, но он не умел выполнять обещания, которые давал мне!

Мать впервые так заговорила об отце... Я всегда думал, что родители нежно любят друг друга, но, видимо, то было просто лицедейством. Мать изображала счастливую супругу, а отец... Тоже разыгрывал роль?

— Сын,— смущенно прошептала мать,— кому не было больно, тот не понимает чужой боли... Ты мужчина, ты никогда не сможешь понять женскую муку. Разве была я королевой? Я была всего лишь безропотной служанкой короля. Исполняла его желания, свои же таила в себе. Неужели мне суждено и дальше жить так?

Может быть, впервые в жизни мать произнесла слова горькой правды. Жалость к ней стиснула мое сердце:

— Я не хочу быть причиной твоей боли!

В порыве сострадания и нежности я простерся перед матерью и коснулся ее ног.

Мать тихо плакала.

С великой неохотой дала она согласие, чтоб я отправился на поиски Яти в восточную Арияварту. Мать не возражала и когда я заявил, что желаю уехать незаметно, в сопровождении немногих воинов.

Однако она взяла с меня клятву, что, если мне не удастся обнаружить Яти, я вернусь в Хастинапуру.

Мать сначала хотела было сама сопровождать меня, но я сумел убедить ее, что походная жизнь ей будет не по силам, а главному министру не справиться с делами без нее. Тогда мать настояла, чтобы со мною ехал Мандар — доверенный слуга главного министра, который должен был безотлучно находиться при моей особе. Мать даже уговаривала меня взять с собой прислужниц — чтобы я не терпел неудобства ни в чем.

— Ты не против того, чтобы с тобой поехала, скажем, Мукулика? — спрашивала мать.

— Почему не Калика? Где она?

— Боже мой, она давно уехала к замужней дочери! Кстати, когда ты вернешься, мы устроим смотрины — у меня на примете есть две невесты!

— Зачем же две? Мне что же, на двух жениться?

Мать смутилась, но твердо ответила:

— Вторая — для Яти. Если ты найдешь его.

Право, не знаю, кто был наивней: маленькая Тарака, пожелавшая взять меня в мужья, или мать, которая потихоньку начала присматривать невесту для Яти. Неужели в материнском сердце навеки сохраняется детская вера? В немом изумлении следил я за матерью, спрашивая себя: дано ли вообще человеку понять другого? Моя мать — а знаю ли я ее? Легче проникнуть взглядом небесные глуби, чем заглянуть в душу ближнего своего!

Обитель Ангираса была не по пути, но я все равно посетил святого человека. Ангирас с большой сердечностью принял меня.

Я не успел сказать и слова, как к его ногам бросился юный послушник. Послушник был до такой степени потрясен, что едва заметил меня.

— Асуры,— переводя дыхание, выпалил он,— асуры устроили праздник... Шумят, ликуют... Собрали останки Качи, сожгли, а пепел подмешали в вино для Шукры... Все знают, Шукре не устоять перед вином... Он выпил, и теперь асуры радуются оттого, что душа Качи больше не обретет себе плоти...

С тяжелым сердцем расставался я с Ангирасом, пускаясь в дальний путь.

Мне не терпелось добраться поскорей до восточной Ариявартн, но Мандар был больше озабочен удобством моего путешествия, нежели его целью, поэтому продвигались мы медленно.

...Яти в пещере не оказалось. Я объехал все деревни окрест, расспрашивал их обитателей — и стариков, и молодых, но никто не знал, где он. Мне говорили, что в последнее время Яти смягчился: перестал прогонять прочь тех, кто приближался к его пещере, потом стал и сам захаживать в деревни. Крестьяне с большим почтением относились к Яти: ходили слухи, будто он может пройти по волнам и по горячим угольям. Однако при виде женщины Яти впадал в неистовую ярость, поэтому крестьянки прятались от него, а Яти пророчествовал: уверял, что наступит день, когда он обретет силу, способную всех женщин превратить в мужчин.

Но все это рассказывали неотесанные пахари и пастухи, и можно ли было им верить? Тот край был дик, редкие деревни отстояли далеко одна от другой, крестьяне радовались новым людям и с великой охотой передавали всякие небылицы и слухи... Кто знает, истинные ли события были поводом для деревенских россказней?

Одно лишь было ясно — Яти покинул свою пещеру.

Пора было выступать в обратный путь. Мы старались нигде не задерживаться, и привалы наши были краткими. На пятый день похода лошади выбились из сил, и я распорядился искать место для дневного отдыха.

Шатры разбили в лощине, у подножия пологого холма, где и журчание речушки, и лесная тень источали удивительный покой. Мягкие очертания холма, неспешность течения речки и ласковая зелень леса, больше похожего на запущенный сад,— я подумал, что этот уголок бог должен был сотворить в детстве, еще играя в мироздание. Хотя поблизости не видно было ни единого поселения, безлюдность этих мест не вызывала настороженности. Птицы оживленно переговаривались между собой; речка тихонько бормотала бесхитростную песенку, вроде тех, что напевают девушки, идя по воду; лощина манила, как свежезастланное ложе, а холм возвышался над ней, будто жертвенный алтарь. Гармония, не оскверненная ни величием, ни приниженностью,— очарование для глаза и души.

Я знал, что мать с нетерпением ожидает моего возвращения в Хастинапуру, но не в силах был расстаться с этим прелестным уголком. Часами бродил я по окрестностям, наслаждаясь покоем, и мне хотелось жить здесь еще и еще... А как же Яти? — приходило мне в голову. Уйдя от людей и скитаясь по свету, он, наверное, не раз открывал для себя красоту уголков, подобных этому. Что же мешало Яти остаться в одном из них навеки, проводить свои дни, наполняясь чистотой и покоем? Что привлекательного он нашел в тяжелом восхождении к вершинам духа? Откуда в Яти отвращение к прекрасному, к женской прелести, толкнувшее его на поиск силы, которая избавит мир от женщин? Яти... Очутись он здесь, он мог бы пожелать превратить все в голую пустыню...

Прошло уже два дня, но и на третий день я не мог заставить себя оторваться от полюбившегося мне уголка. Когда я снова окажусь здесь? Скорей всего, никогда. Безразличная судьба заполняет страницы в книге жизни неразборчивой рукой, и никому не прочесть, суждено ли мне сюда вернуться. Жатва счастья длится, пока жнец счастлив... И потому я все медлил и медлил.

На пятый день ко мне приблизился Мандар с почтительным, но твердым объяснением, что наутро мы выступаем в путь.

Мне не понравилась настойчивость Мандара. Однако я и сам знал, что пора в обратный путь, поэтому с тяжелым сердцем пошел на прощанье побродить по лесу и лощине. Я вел себя будто влюбленный в ночь перед расставанием с любимой.

Вечерние тени все удлинялись, пока не накрыли верхушку холма, поглотив последние косые лучи солнца. Сумрак повис на древесных кронах, окутал травы и спокойную поверхность реки. Я удобно устроился в развилке огромного дерева и замер, чтобы не нарушать

удивительный покой, с которым мне так скоро предстояло расстаться. Ветки на другом берегу качнулись, пропуская к реке лань. Лань остановилась, вскинула точеную головку, вдыхая лесные запахи, потом неспешно наклонила шею к воде. Вдруг — движением неожиданным и молниеносным — моя правая рука схватилась за лук, а левая приготовилась подать стрелу! Во мне пробудился охотник, но что-то мешало стрелку погубить лань, полную трепетной жизни. Стыд и отвращение к себе заставили меня опустить глаза, и под самым деревом я увидал — не лань, а девушку, стоявшую ко мне спиной! Почудилось? Откуда взяться девушке в этом безлюдье?

Она подняла голову к небесам, сложила ладони перед грудью и... бросилась в реку!

Я прыгнул вслед за ней быстрее, чем успел подумать, что делаю, и девушка ли это, или... Вытащив ее на берег, я едва поверил собственным глазам — то была Алака!

...Придя в сознание, Алака прошептала:

— Мама, когда приехал принц?

Алака явно не понимала, где она.

— Я больше не принц, Алака! Я король.

Глаза Алаки широко раскрылись.

— Ваше величество! Прошу простить меня...

Алака была теперь еще прекрасней, чем тогда, когда я познал с ней сладость поцелуя. Воспоминание о свежей упругости ее губ разгорячило мою кровь. Я хотел помочь Алаке убедиться в яви происходящего и уже было склонился к ее губам, но она отпрянула:

— Нет!

Ее голос был слаб, но резкость тона не оставляла сомнений.

Я распрямился.

Алака медленно сказала:

— Я принадлежу другому, принц.

Губы ее подрагивали.

Запинаясь, ища слова, прерывая свою речь долгими вздохами, Алака рассказала, как ей жилось в те годы, что я ее не видел. Я пытался было остановить ее, но тщетно — Алака не обращала внимания ни на меня, ни даже на свое мокрое сари и волосы!

Алаку выдала замуж ее тетушка. Подыскала ей в мужья молодого, привлекательного, зажиточного крестьянина. Только после свадьбы узнала Алака о тайном пороке мужа: о том, что он безнадежный картежник. Вдобавок его ближайший друг занимался колдовством.

Началось с того, что муж решил повезти Алаку на ярмарку в близлежащую деревню. Друг, конечно же, поехал с ними. На ярмарке муж Алаки сразу же уселся за карты, проиграл все, с чем приехал, остался еще должен и насилу убежал с Алакой и другом. С того дня муж Алаки жил одной надеждой: что с помощью колдовства отыграется и опять разбогатеет. А другу было не до того: он мечтал научиться превращать людей в животных. В ослов, в баранов, в собак. И все твердил, что цель близка, что недостает ему лишь особых трав и корней для колдовского зелья. Муж с другом скитались по горам и по лесам, ища один травы, другой — секрет удачи в игре. Алака безропотно плелась за ними. Как было ей роптать, когда муж пригрозил, что позволит другу обратить ее в собаку, если не будет подчиняться! Не просто пригрозил — они с другом разложили костер, стали жечь какие-то корешки и читать мантры... Алака им в ноги повалилась, умоляя пощадить ее, не отнимать человеческий облик!

Но и тем не кончились ее злоключения.

Несколько дней назад муж проиграл Алаку в карты случайно встреченному на дороге человеку. Тот с жадным предвкушением разглядывал свой выигрыш. Алака, улучив миг, скользнула в кусты и убежала. Ее преследовали, но ей удалось скрыться.

Алака днем бродила по лесам, ночами старалась найти хоть какое-нибудь укрытие, питалась дикими плодами и ягодами, пока, обезумевшая и ослабевшая, не решилась покончить с собой.

Слушая Алаку, нелегкую и дикую историю ее замужества, я думал о том, как беспомощен человек перед жестокостью жизни.

Солнце село, мир потускнел. Стараясь ободрить несчастную Алаку, я ласково провел рукой по ее мокрым волосам:

— Все это позади, сейчас я с тобой, Алака. Ты же моя...

— Я не ваша, принц! Я принадлежу другому! — Алака сбросила мою руку.

— Моя сестра, Алака. Разве не вспоен я молоком твоей матери? Ты мне сестра...

Какой силой обладает искренняя нежность! Алака расцвела в улыбке, будто в гаснущий светильник подлили свежего масла.

Ночь стремительно опускалась на землю. Нам не следовало долее оставаться в лесу, а Алаку нужно было поскорее переодеть в сухое — ее уже била дрожь.

Последний солнечный луч неожиданно вырвался из-за холма и бросил золотой блик на волосы Алаки. Я впервые заметил, что они отливают золотом.

...Среди ночи меня разбудило прикосновение к моим ногам. Я вскочил — светильник еле мерцал, но и в его тусклом свете я разглядел, что у моего ложа стоит Алака.

— Что случилось?

Алака не могла выговорить и слова: стояла, трясясь от ужаса, и плакала. Усадив Алаку на мое ложе, я, как ребенка, гладил ее по спине и волосам, говорил ей разные пустяки, чтобы она пришла в себя. Вдруг мне почудилось, будто тень мелькнула перед входом в шатер, но когда я поднял голову, никого не было.

Алака постепенно успокоилась. Ей приснился страшный сон: будто муж нашел ее, потащил на вершину скалы и пытался столкнуть вниз... В страхе прибежала она в мой шатер.

Влетевшая из ночи бабочка загасила светильник. Мы с Алакой сидели, взявшись за руки, как дети, и слушали мерные шаги часового.

Я думал, что на следующую ночь Алака больше не придет, но она пришла, опять дрожа от ужаса — снова страшный сон с картежниками и колдунами. Правда, в этот раз Алаке еще привиделось, будто к ее ложу подкрался призрак Мандара. Призрак тянулся поцеловать ее в губы, но исчез, едва она шевельнулась.

Я приказал постелить Алаке в моем шатре, но держать переднюю полу откинутой, чтобы Алака могла видеть — нас охраняет часовой. К тому же я надеялся, что не брошу тень на доброе имя Алаки, если все будет на виду.

Понемногу Алака стала приходить в себя после того, что ей пришлось пережить, и страшные сны все реже пугали ее по ночам.

Вспоминая те времена, я до мелочей восстанавливаю в памяти обратный путь к Хастинапуре — ни единого раза не испытал я влечения к Алаке, даже когда по ночам мы с ней сидели, сплетя руки, на одном ложе. Алака доверилась мне, и доверчивость волновала меня сильней, чем ее прелесть. Видя, как спокойно она спит, я чувствовал себя счастливым — более счастливым, по-другому счастливым, чем если бы она лежала в моих объятиях.

Как быстро пролетели те дни! Не знаю, так и не узнал, чем наделил бог женщину, когда сотворял мир, но помню, как присутствие Алаки создавало удивительную гармонию всех моих чувств и были они созвучны Вселенной. Будь я поэтом, я попытался бы рассказать в стихах не о любви — о самозабвенной нежности.

Они миновали — дни невинного счастья. Двадцать миль осталось нам до Хастинапуры. Мандар спросил позволения отправиться впе-

ред с вестью о нашем возвращении, чтобы столица успела приготовиться к встрече. Я согласился, хотя в глубине души понимал, что никакая пышность встречи не сравнится с радостью в глазах матери, с нежностью взгляда Алаки.

В Хастинапуру мы вступали поздно вечером.

Я рассказал матери о том, какие удивительные обстоятельства свели нас с Алакой, и поручил ее материнскому попечению.

После трапезы я сразу же отправился к себе, подумав, что мать спросит меня про Яти утром. Но нет, она молчала. Как видно, несбывшаяся надежда на то, что я вернусь с братом, таким тяжелым камнем легла ей на сердце, что мать не желала даже упоминать о ней. Что в жизни горше умерших надежд?

Мне сразу же пришлось заняться делами, главный министр пришел с отчетом, министр двора нуждался в моем согласии на подготовку к коронации... Пришли приветствовать меня Мадхав и Тарака. Я велел кликнуть Алаку, чтобы она угостила девочку сластями, но с подносом вошла незнакомая мне прислужница.

Только за вечерней трапезой нашел я время спросить мать:

— Почему не видно Алаку? Где она?

Мать словно не расслышала вопроса. Я повторил.

— Яяти, ты король Хастинапуры. Тебе пристало думать о принцессах, а не о прислуге!

Голос матери был безразличен, она не сердилась, не укоряла, но от ее слов еда сразу утратила свой вкус.

После трапезы мать пригласила меня в свои покои.

— Твоя Алака,— сказала мать,— доживает последние минуты жизни.

Мне показалось, что я ослышался.

— Что такое?

— Мы приходим в жизнь одним путем, но уйти из жизни можно многими.

— Почему мне раньше не сказали? Где придворный лекарь?!

— В его услугах нет нужды. Король Хастинапуры должен ставить честь и долг превыше всего.

С неожиданной яростью мать повернулась всем телом ко мне.

— Ты отлично развлекся в походе! Во дворце же ты будешь вести себя как подобает королю! В твое отсутствие я удалила из Ашокавана Мукулику и предупредила ее: если она появится в Хастинапуре, это будет стоить ей жизни! Я не забыла, как тебе нездоровилось! Была бы здесь Мукулика, ты бы и сейчас объявил, что болен, что хочешь отдохнуть...

Я пристыженно опустил голову.

— Твой отец умирал, а ты думал только о том, чтоб поскорее оказаться в постели со служанкой!

Откуда мать знает?.. Ах вот в чем дело: когда главный министр послал за мной подземным ходом Мандара, Мукулика стояла у моего ложа, а мне и в голову не пришло услать ее, прежде чем открыть потайную дверь!

Я никак не мог собраться с мыслями... Мерзавец Мандар! Зачем он рассказал матери? На что рассчитывал?

Я готов был поведать матери без малейшей утайки обо всем, что пережил в Ашокаване, но стыд мешал мне. Как можно говорить с матерью о таких вещах? И не поверит она мне, подумает, что это лишь увертки...

— Ты не виноват. Это моя карма. И твоя кровь — ты весь в отца. Сколько я выстрадала из-за него! Я молилась, надеялась, что сын не заставит меня мучиться, так нет же!

Мать замолчала, знаком приказав мне следовать за ней. Я догадался, что в ее покоях тоже есть потайная дверца в подземный ход, но спрашивать я ни о чем не решался.

Мы шли недолго и остановились у дверцы какого-то чулана. Ее охранял свирепого вида стражник.

Мать повернулась ко мне.

— Войди. Но на десять минут, не больше.

Я шагнул, но ее рука меня остановила.

— Принц!

Мать называет меня принцем?

— Помните, принц. Вы скоро взойдете на престол. Стоит королю пожелать, и каждую ночь новая красавица будет делить с ним ложе.

Мать ушла. Стражник отпер замок.

В душной полутьме чулана ничего нельзя было рассмотреть вначале, но постепенно глаза мои привыкли, и я увидел в углу Алаку — на корточках, голова повисла между колен. Я бросился к ней, но она будто не слышала меня. Я в ужасе схватил ее за плечо, повернул лицом к себе — невидящий взгляд, полуоткрытый рот...

— Алака!

— Кто это?..

Алака меня не узнавала.

— Алака! — Я тряс ее за плечи.

— Принц... — нежность прозвучала в ее еле слышном голосе.

С трудом указала она на чашу на полу.

— Чаша любви... я выпила... Мандар...

Алака не могла говорить. Ее губы судорожно кривились, веки наползали на глаза.

— Не забывайте меня... принц... не забывайте...

Алака умирает. Умирает из-за меня. Как помочь ей в последние минуты, чем одарить, прежде чем уйдет...

У врат смерти нищим становится даже король. Я мог только припасть к губам Алаки. Мой первый поцелуй — и этот! Трагическая шутка — жизнь. И смерть.

Алака была мертва. Я бережно опустил наземь бездыханное тело. Бездыханное — с последним дыханием отлетела ее душа. Куда? Где она теперь, душа Алаки?

...Мне сказали, что в приемном зале меня дожидается главный министр. Он попросил извинения — только добрые вести, срочно доставленные ему, побудили его нарушить мой ночной покой.

Я равнодушно кивнул.

— Закончилась война между богами и асурами. Кача добыл секрет сандживани, стал воскрешать павших воинов, и асуры тут же запросили мира. Это чрезвычайно важно, ваше величество, ибо, если бы асуры одержали победу над богами, они двинули бы войска и против нас.

Я опять кивнул, ничего не понимая.

Мертвый Кача одержал победу... Кончилась война. Сандживани — жизнь для тех, кто умер...

Алака, где ты?

Моя Алака, сестра моей души, Алака, открывшая мне щедрость чистой любви, Алака, где ты?

(Продолжение следует)

■

Публицистика

ДЮЛА ФЕКЕТЕ

ОГРАБЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Размышления о новой форме эксплуатации

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

Добрых двадцать лет собираюсь я написать это. Времени остается все меньше, откладывать некуда. Да и смысла нет тянуть дальше. Я уж и так проштудировал с карандашом в руке гору книг и журналов, собрал, наверное, центнер газетных вырезок, выписок, писем. Свои рассуждения, аргументы и выводы проверял на прочность в самой разной форме — и публично, и с глазу на глаз, и ни разу за все эти годы — ни в прочитанных книгах, ни в статьях, ни в письмах, ни в дискуссиях, ни в частных спорах — не встретил таких данных, доводов, возражений, которые заставили бы меня хоть на минуту усомниться в своей правоте.

Подтверждения же встречал постоянно и встречаю все чаще.

За это время я провел в «Нёк лапья» («Женском журнале»), имеющем самый большой в Венгрии журнальный тираж, четыре дискуссии, в которых участвовали читатели всей страны. Первая из них, «Жить для себя?» (1970), открыла общественности глаза на тяжелое положение матерей, на многократные перегрузки, которые им приходится выносить, на гнетущее бремя забот, испытываемых многодетными семьями, на уродливые явления в области распределения доходов. Дискуссия «Все ли у него есть?» (1971) подняла проблемы, связанные с одним ребенком в семье, с избалованностью, вообще с семейным воспитанием. Дискуссия «Одиночество» (1977) вывела на поверхность такие вопросы, как поиски спутника или спутницы жизни, как существование без семьи, вне коллектива, как старческое одиночество. Исключительный интерес вызвала дискуссия «Тайны счастливых браков» (1979); собственно говоря, это был скорее «обмен опытом»: люди, у которых семейная жизнь сложилась удачно, делились своими мыслями на этот счет. Я обрабатывал материалы этих дискуссий, они публиковались в виде книг, в результате чего возникла новая жанровая разновидность социографии: социография в письмах. С разных точек зрения, с разных направлений эти дискуссии выходили все к тому же, так волнующему меня вопросу — вопросу о будущем — и вместе с материалами других, менее значительных дискуссий, вместе с десятками тысяч писем, выступлений, газетных вырезок давали богатый материал для дальнейших раздумий над темой.

Итак, суть вопроса. В цивилизованном мире все более остро встает новая опасность, которая сейчас, в условиях мирного времени, грозит опустошениями более страшными, чем все минувшие войны. Опасность эта — эксплуатация будущего, его растрата, принесение его в жертву сегодняшнему дню, текущему моменту.

Эта новая форма присвоения, социального паразитирования распространяется подспудно, коварно, вместе с самой что ни на есть современной цивилизацией; она опаснее капитализма, феодализма, вообще всех существовавших до сих пор паразитических и эксплуататорских режимов; опаснее, так как болезнетворные микробы ее подтачивают само общественное воспроизводство, парализуют его, делают постепенно попросту невозможным.

Статья Дюлы Фекете получена в рукописи.

Эта рождающаяся сейчас форма эксплуатации в такой мере разъедает общество, что в конечном счете способна уничтожить его. Поскольку питательная среда этой болезни — постоянное свертывание воспроизводства, то, как только она захватит господствующие позиции, гибель данного общества станет неизбежной.

Возникающие в связи с этой болезнью вопросы переплелись в гигантский, почти необъятный клубок — чтобы только как следует изучить их, какому-нибудь научно-исследовательскому институту потребовались бы многие годы. В ближайшие десятилетия об этой болезни, я уверен, будут написаны целые библиотеки литературы, хотя сегодня наука еще не сформулировала даже основ ее диагностики.

Отклики на мои предыдущие, как печатные, так и устные, выступления убедили меня, что долг мой — вооружившись терпением, объяснить, обосновать свои тревоги по возможности обстоятельно и систематизированно... Не вижу пока иного выхода, кроме как сесть и, собравшись с духом, выплеснуть — для начала в этом пространном очерке — беспокоящие меня мысли...

Заранее приношу извинения тем, кто, может быть, ждет от этих страниц вдохновенного парения и вообще изящной словесности. Мне трудно распутывать этот клубок, рассуждая на родном мне, литературном, языке. В анализе данных проблем никак не обойтись без экономической аргументации, а ей подчас сопутствует и профессиональный жаргон.

Главный закон

Начну с аксиомы.

Первый и высочайший закон человеческого бытия — необходимость, обязанность поддержания и продолжения жизни.

Это — такой фундаментальный закон, который не может быть подчинен никакому другому из действующих в человеческом обществе, но которому может быть, а в конечном счете и должен быть подчинен всякий другой закон.

Этот главный закон пронизывает человеческий мир во всех его проявлениях. Он решающим образом определяет, формирует, окрашивает и те или иные основополагающие принципы, те или иные системы ценностей.

Возможно, не каждый примет эту аксиому безоговорочно: скажем, солдаты идут на смертельный риск, жертвуют жизнью ради каких-то более высоких — или кажущихся таковыми — целей и ценностей. Ради них они не только умирают сами, но и убивают других.

А те, кто рискует жизнью, ввязываясь в дуэль, поножовщину, драку? Кто идет на мученическую смерть за веру, за идею, за истину, за свободу? А отчаянные альпинисты, акробаты, каскадеры?.. В конечном счете и факт самоубийств можно отнести к доказательствам наизнанку — того, что жизнь сама по себе ничего не стоит, будучи лишена каких-то высших ценностей.

Однако все эти возражения не опровергают аксиому — основной закон бытия. Прежде всего потому, что вполне согласуются с ним, а следовательно, подтверждают его. Даже справедливые войны, кровавая борьба за свободу, мученическая смерть — все это имеет смысл постольку, поскольку индивид гибнет ради жизни остальных людей, ради жизни сообщества в целом, и его смерть служит сохранению, продолжению, расцвету и возвышению жизни человечества. То же самое можно сказать о беззаветном, самоотверженном служении величайшим духовным и нравственным ценностям данного сообщества.

Но с другой стороны, почему подрывает основной закон бытия иная бессмысленная смерть? Почему наносит она ущерб жизни сообщества? Потому, что противоречит принципу сохранения, продолжения, обогащения жизни. Иначе говоря, любая бессмысленная смерть противоречит основному закону бытия.

Далее мы увидим: столь распространенный нынче стиль жизни, когда люди без сожаления несут на базар великие ценности будущего, порожден не идеей справедливой самообороны общества в войне не на жизнь, а на смерть, не идеей верности тысячелетним ценностям, даже не иллюзиями, ведущими к бессмысленным жертвам, а мелочными компромиссами с чувством долга и совестью, диктуемыми эгоизмом, ленью, погоней за удовольствиями, компромиссами, которые именно мелочностью своей подтверждают глобальную важность, действенность, непреложность основного закона.

Так что я остаюсь верен означенной аксиоме. Она не нова, как и отводимый ей ранг основного закона.

Энгельс писал: «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственной жизни»[1].

Альберт Швейцер: «Хорошо все, что способствует жизни, что защищает, исцеляет ее, и плохо то, что стремится к ее ослаблению, бессмысленному уничтожению»

А вот мнение поэта Михая Бабича: «Я — венгр; моя душа, мои чувства получили наследство, от которого я не отрекусь: мир нужно не обеднять, а обогащать. Как я буду служить человечеству, если не сохраню в себе все краски, все сокровища, которые могут обогатить его? Венгерские краски, венгерские сокровища! Но каким бы я был глупцом, если бы одновременно захотел перечеркнуть, принизить другие краски, другие сокровища!»

Впрочем, не стану побираться, с бору по сосенке надергивая цитаты. Да это и совершенно излишне: ведь когда-то этот закон проходили даже в начальной школе. Один старый учитель из Печа, давний мой знакомый и соратник по довольно жестким дискуссиям, пишет:

---

[1] Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в трех томах, т. 3. М., 1986, с. 212.

«Пенсионное обеспечение и столь же обезличенный процент с капитала, земельная рента скрыли от глаз нынешнего «культурного человека» исконный, естественный процесс воспроизводства общества, основу сохранения жизни любого человека. Я вспоминаю одну народную сказку, читанную еще в детстве, в школьном учебнике; с тех пор я ни разу ее не слышал и не читал, но забыть не могу. Спрашивает один человек у поденщика, сколько тот зарабатывает. Отвечает поденщик: четыре гроша в день. А на что ты их тратишь? Поденщик говорит: один грош трачу на себя, вторым старый долг выплачиваю, третий под процент на будущее откладываю, четвертый в колодец бросаю. Удивился человек, а поденщик ему объясняет: долг, который он выплачивает, это забота о стариках-родителях; деньги, что откладывает под процент, уходят на воспитание детей, которые будут его содержать, когда он сам состарится; в колодец же бросает он средства, идущие на тех детей, которые на старости лет его бросят,— бывают и такие... Вот этот-то естественный человеческий взгляд напрочь выветрился не только из школьных учебников, но и из умов. Многие нынче считают: пускай другие выплачивают долги и откладывают по грошу на будущее, а я все четыре моих гроша буду тратить на себя».

К этой притче добавлю современную, невыдуманную историю.

Урожаи губила засуха; налоги и банковский кредит заставляли туже затягивать пояса; давал о себе знать и кризис на мировом рынке. Трудные времена настали для кооператива. Собрались работники птицефермы и, немного поспорив, приняли такое решение: самое важное в данный момент — сохранить кредитоспособность. В сложившейся экономической ситуации надо превратить в деньги все что можно — не только готовую для продажи птицу, но и едва вылупившихся цыплят, и отобранные для инкубатора яйца, и даже кур-несушек. Тогда, мол, мы не просто поправим хозяйственные дела, но и получим значительную прибыль, будет что распределить в конце года. Так и сделали. Даже вынули яйца из инкубатора и продали вместе с однодвухдневными цыплятами и несушками. А продав и получив деньги, стали искать себе другое занятие — птицефермы-то больше не было...

Как я уже говорил, это подлинная история. Из жизни взят и следующий, почти невероятный случай.

Выступает на общем собрании сельскохозяйственного кооператива главный экономист. Так, мол, и так, сеять мы в этом году не будем. Сколько вырастет само по себе на незасеянном поле, столько и будет у нас урожая. Потому что в сложившейся экономической ситуации нам-де необходимо беречь каждое зернышко пшеницы, которую сеялки просто зарыли бы в землю, и каждую каплю бензина и масла, которые пришлось бы израсходовать на посевной...

Между прочим, ключевую роль основного закона, в котором выражается требование воспроизводства земли, хорошо понимали и использовали в своих целях фашистские главари. Как известно, Гиммлер лично разработал план под названием «Ост», касавшийся демографической политики Германии на оккупированных советских территориях. Весьма характерны его рассуждения о том, как можно «мирно», «бескровно» ликвидировать русский народ, задушив его будущее.

«Целью немецкой политики в отношении населения русских территорий будет стремление к тому, чтобы рождаемость у русских держалась на гораздо более низком уровне, чем у немцев».

«На этих территориях мы должны сознательно породить политику, направленную на сокращение народонаселения. С помощью пропаганды, в первую очередь в прессе, по радио, в кинофильмах, листовках, брошюрах и т. д., мы должны настойчиво внушать населению мысль, что иметь много детей — это плохо. Нужно подчеркивать, каких огромных материальных затрат требует воспитание детей, сколько всего на эту сумму можно приобрести, каким опасностям подвергают свое здоровье женщины, решившиеся рожать, и т. д.».

«Одновременно следует широко пропагандировать противозачаточные средства. Применение этих средств, как и аборты, не следует ограничивать ни в малейшей мере. Нужно всемерно способствовать расширению сети производящих аборты пунктов. Например, можно организовать в этих целях специальную переподготовку акушерок и фельдшериц. Чем аборты будут успешнее, тем больше доверия будет испытывать к ним население».

«Разумеется, производить аборты следует разрешить и врачам. Никакого нарушения врачебной этики в этом усматриваться не должно».

«Наряду с введением в сфере здравоохранения всех перечисленных мер нельзя ставить никаких препятствий разводам. Не следует предоставлять преимуществ многодетным родителям — ни в форме денежных выплат в дополнение к заработку, ни в форме каких-либо привилегий. Во всяком случае, преимущества эти не должны быть сколько-нибудь эффективными».

«Для нас, немцев, важно в такой степени обескровить русский народ, чтобы он никогда больше не обрел возможность помешать установлению в Европе немецкого господства».

«Этой цели мы можем добиться указанными выше средствами...»

Фактор F

Итак, я исхожу из того, что человеческая жизнь, ее сохранение, ее непрерывность — это ценность, возвышающаяся над всеми другими. Во все предшествующие исторические эпохи продолжение жизни, вскармливание и воспитание детей требовало от взрослого поколения

усилий, забот, иногда жертв — словом, материальных, духовных, эмоциональных и моральных «затрат». Простоты ради эти «затраты», которые служат наследованию, преемственности жизни, то есть будущему, всю эту совокупность разнообразных ценностей в дальнейшем я буду называть фактором F — фактором преемственности, фактором будущего (от латинского futurum).

И без особых доказательств понятно, что значение фактора F от эпохи к эпохе меняется качественно и количественно, но во все времена он объединяет в себе вполне реальные ценности как материального, так и нематериального характера.

Точно так же само собой разумеется, что взрослые поколения ни при каких обстоятельствах не имеют права обращать фактор F на собственные сиюминутные цели, на удовлетворение собственных потребностей. Фактор этот всегда и всецело служит исключительно сохранению общественной преемственности и является своего рода капиталовложением в будущее.

Здесь уместно сделать небольшое отступление, посвященное исследованиям американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Теодора У. Шульца о капиталовложениях, создающих и приумножающих человеческий капитал (human capital).

Долгое время экономистам не давала покоя одна «загадка»: рост национального дохода лишь в одной его — нередко весьма малой — части объясняется простым количественным ростом капитала и рабочей силы. Ключ к этому явлению Шульц искал — и по всем признакам нашел — в качественной стороне, в капиталовложениях, которые умножают человеческое знание и профессиональное мастерство.

«Эту категорию капиталовложений,— пишет он,— мы классифицируем следующим образом: общее и высшее образование, обучение в ходе работы, миграция, здравоохранение и хозяйственная информация».

Слово «капиталовложения» вызывает, конечно, иные ассоциации, немного пугающие, когда оно применяется к человеку. И сами экономисты старались избегать этого термина, а потому долго не могли сформулировать «ту простую истину, что люди вкладывают капитал в самих себя, причем вложения эти весьма велики».

«Иных оскорбляет сама мысль о вложении капитала в людей; наша система ценностей, наши предрассудки мешают нам рассматривать человека как приносящий проценты капитал; исключение составляет разве что институт рабства, который внушает нам отвращение»,— пишет Шульц.

«Отношение к человеку как к богатству, которое можно увеличивать посредством капиталовложений, вступает в противоречие с глубоко укоренившимися в нас нравственными представлениями. Нам кажется, что такой подход к человеку снова превращает его в некий сугубо материальный компонент, в нечто похожее на собственность». А ведь затраты на сохранение и приумножение человеческого качества в самом деле носят тот же характер, что и обычные капиталовложения, это может быть доказано экономическими расчетами. Более того, Шульц ясно показывает — вместе с тем решая упомянутую выше «загадку»,— что продуктивность, эффективность, окупаемость такого рода капиталовложений гораздо выше, чем обычных, «внечеловеческих».

Отражают это и цифры. Если «воспроизводимое внечеловеческое достояние» в период с 1900 по 1957 год увеличилось в четыре с половиной раза, то квалификация рабочей силы, то есть выраженный в деньгах «человеческий капитал», выросла в четырнадцать раз. Или, если взглянуть с другой стороны, за тот же период расходы на образование — «человеческие капиталовложения»,— составлявшие прежде 9 процентов от суммы «внечеловеческих» капиталовложений, теперь подскочили до 34 процентов.

«Мы просто не смогли бы достичь нынешнего благосостояния, если бы подавляющее большинство людей оставались неграмотными и не имели профессиональной подготовки»,— пишет Шульц. Он считает, что высокий — по сравнению со слаборазвитыми странами — уровень доходов на душу населения объясняется высоким качественным уровнем человеческих ресурсов куда в большей степени, чем всеми остальными факторами, вместе взятыми.

Особо хочется подчеркнуть те моменты, где Шульц выходит за рамки собственной теории — то есть, в сущности, за рамки воззрений экономиста, чье внимание направлено лишь на производственные процессы,— и почти вплотную подходит к тезису о капиталовложениях в будущее. «Особая разновидность человеческого капитала — дети как капитал. Эти слова, пожалуй, таят в себе ключ к экономике народонаселения. Домашнее хозяйство, накопление мужем и женой «детского» капитала начинается с вынашивания ребенка и включает в себя процесс воспитания, охватывающий весь период детства. Подход к росту населения под углом зрения капиталовложений сейчас быстро пробивает себе дорогу».

Рассуждения эти можно трактовать как прямое подтверждение всего того, что выше говорилось о факторе F. Так же, как и следующие положения Шульца:

«...Важный компонент, оставшийся вне сферы моих исследований, это — человеческий капитал, представленный детьми дошкольного возраста». «...Дети, не достигшие школьного возраста, тоже представляют определенную форму человеческого капитала». «...Воспитание детей тоже имеет ценностный эквивалент. Подход, при котором «производство» детей исследуется как создание человеческого капитала, может, по всей видимости, многое объяснить в экономике планирования семьи; уже при определении затрат на детей становится ясным, что изменение уровня образования женщин, их

трудовой занятости или, в более общем плане, экономическая эмансипация женщин и обязательное школьное образование для детей — все это присутствует (и в культурном, и в юридическом смысле) как важный фактор расходов».

«Если говорить о работе женщины в качестве домохозяйки, то чрезвычайно полезным может оказаться такой подход, когда создание человеческого капитала в семье рассматривается как вид производственной деятельности, с той лишь разницей, что она, эта деятельность, осуществляется дома...»

И последняя цитата из Шульца — из его речи, произнесенной при получении Нобелевской премии: «В сумму капиталовложений в человека включаются и расходы, связанные с обзаведением детьми и с уходом за ними. Сюда относятся затраты на воспитание детей, на питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание, а также стоимость затраченного времени».

Должен признаться, что мне тоже немного не по себе от словосочетания «человеческий капитал», но это нисколько не снижает научной весомости приведенных утверждений. Понятие это естественно входит в формулу фактора F. Правда, оно представляет лишь часть капиталовложений в будущее, однако, поскольку характер его как разновидности капиталовложений доказывается чисто экономическими методами, оно тем самым указывает, что и фактор F в целом является формой капиталовложения. Ведь и без пространных доказательств ясно: продолжение — «воспроизводство» — жизни в любую из былых исторических эпох требовало жертв, труда, расходов, времени; дело и в наши дни обстоит не иначе: без капиталовложений, относящихся к фактору F,— причем капиталовложения эти из века в век возрастали — будущее не может рождаться и сегодня.

Говоря о факторе F, нужно еще иметь в виду ту особенность, что часть его представляет собой такой общий для всех — общественный — груз, который может быть выражен в денежной сумме и занесен в соответствующую рубрику затрат. Но даже в этих чисто материальных, поддающихся цифровому выражению затратах довольно большая доля падает на семью, на индивида.

(В середине 80-х годов — об этом свидетельствуют данные, более точные, чем те, что находятся в широком употреблении,— общество компенсировало семьям, в среднем по стране, лишь около 20 процентов средств, затрачиваемых на воспитание детей.)

Передача новому поколению хозяйства, духовных ценностей, чувств, морали, традиций, сознания национальной и социальной принадлежности и т. д. происходит частично в семье, частично в более широком коллективе. Следовательно, разделять трудности и радости передачи наследства могут и бездетные. Скажем, бездетная учительница, всю жизнь посвятившая своему призванию, берет на себя гораздо бо́льшую долю ответственности за будущее, чем забросивший семью, опустившийся многодетный отец.

Исключения, однако, не могут перечеркнуть правило: капиталовложения по линии фактора F в настоящее время в вопиющей, несправедливой пропорции ложатся на плечи семей с тремя и более детьми.

Фактор F — это будущее в сегодняшнем дне. Ценностное его содержание, как показывают и данные, приводимые Шульцем, быстро растет и в абсолютном и в относительном своем значении. Воспитать смену, подготовить ее на современном уровне к жизни можно, лишь затрачивая все больше сил и средств. Рост затрат является одновременно и негативным стимулом: добавочные расходы, необходимые для повышения качества воспроизводства, ведут к его количественному сокращению. Падение же количества, как мы дальше увидим, отрицательно сказывается на качестве и может в такой степени подорвать его, что дело уже не поправишь никаким наращиванием материальных затрат.

Summa summarum: в ходе общественного развития, с прогрессом цивилизации возрастает вес и роль фактора F; будущее требует все более крупных капиталовложений. Вместе с этим растет и соблазн их присвоения поколениями, живущими ныне.

Новая форма эксплуатации

С тревожными симптомами, носившими отнюдь не случайный, а широкий, охватывающий практически все общество характер, я столкнулся в середине 60-х годов, в ходе дискуссии о народонаселении. Немного позже герой одного из моих произведений с возмущением скажет:

«Мы завшивели. Мы ужасно завшивели.

Прошу прощения, но компетентные лица — они-то разве не замечают, что мы вшей разводим уже на государственной основе?

Главным образом в университетах.

Эпохальное, историческое открытие! Можно просто-напросто обходиться без жертв, без риска, усилий, крови, пота и прочего, без всего того, чем наши предшественники на протяжении десяти тысяч лет стремились обеспечить продолжение собственной жизни... продолжение своей жизни в нашей... А если взять и перестать заботиться о том, чтобы внести свой вклад в наследие, которое мы обязаны оставить после себя... Более того, если взять и проесть, пропить как можно больше из доставшегося в наследство нам... Удивительное открытие! Так мы сможем эксплуатировать сразу и прошлое и будущее.

Мы станем вшами в квадрате, мы и прошлое и будущее принесем в жертву сегодняшнему дню.

В самом деле, почему бы не смотреть на историю таким образом: тысячи поколений, жившие до меня, мучились, проливали кровь, дрались, голодали, нищенствовали, умирали на дыбе и на колу,

шли в бой без всякой надежды на победу, шли на смерть — для того, чтобы Я, Я, Я стал конечным итогом страданий и жертв всех этих поколений от первобытных времен до сегодняшнего момента.

Я, Я, Я... А после меня хоть потоп.

Пускай гибнет все — народ, нация, социализм! Лишь бы Я, Я, Я мог жить и резвиться в свое удовольствие.

Да, мы завшивели, но этого не хотят замечать компетентные лица...»

Долгое время я ломал голову, как назвать неправомерное присвоение, потребление, растрату фактора F.

Растрату того, что досталось нам от наших предшественников как неделимое наследство, досталось на сохранение, приумножение, передачу потомкам. Израсходование до полного нуля жизни, полученной от живших до нас поколений, добытой ценой их борьбы и страданий. Пользование накопленными на протяжении тысячелетий, унаследованными совершенно бесплатно огромными ценностями, без приложения малейших усилий, чтобы передать их дальше (или, во всяком случае, затратить на это гораздо меньше усилий). Варварское обращение с доставшейся нам в наследство природой, ее ограбление, проматывание ее богатств, запасов энергии, плодородия почв, порча, уничтожение окружающей среды — воды, воздуха, земли,— растрачивание сырья, рабочей силы. То есть, в сущности, бесчестное пользование незаслуженными привилегиями, растрата принадлежащего фактору F, и все это — в ущерб потомкам, в ущерб тем рождающим и воспитывающим детей сообществам, что придут нам на смену, в ущерб обществу, в котором будут жить люди после нас.

Как прикажете это назвать?

Может быть, просто грабежом, паразитированием? Верно, конечно, и даже метко, но не совсем справедливо. Ведь те, кто опустошает фактор F, то есть потребляет, проедает, грабит будущее, как правило, не замечает в своих действиях ничего предосудительного, нечестного, а тем более — противоправного. Эти люди не нарушают никаких законов, поскольку фактор F практически нигде юридически не защищен. Более того, очень многие видят в том, что могут свободно распоряжаться собственной жизнью и всеми прочими материальными, духовными, нравственными ценностями, относящимися к будущему, одно из своих неотъемлемых человеческих прав. И при этом они остаются вполне лояльными, чтящими закон людьми, считают себя честными и порядочными, гордятся своей чистой совестью.

Впрочем, законный порядок — это «порядок вещей» в данном обществе, и несправедливо было бы подвергать абсолютному моральному осуждению благонамеренных обывателей, живущих в полном соответствии с действующими законами. Что ж, поставим вопрос иначе: можно ли назвать описанные выше действия эксплуатацией?

Неопровержимый факт, что внутри данного строя закономерно существуют такие формы ведения хозяйства, такие формы производства, которые по своему характеру представляют собой эксплуатацию. Понятие это тоже напрашивается на моральное осуждение, хотя прежде всего оно является понятием экономическим. Если в обществе это — законный, институированный тип производственных отношений, то в данной ситуации эксплуататором является и собственно эксплуататор, и тот, кто ни в коей мере не стремится жить за счет других или добиваться в ущерб другим незаслуженных привилегий. Он уже в силу своего общественного положения участвует «в безвозмездном присвоении принадлежащих другим благ». Более того, в данной ситуации он в нем и должен участвовать. Участвовать, осознанно или неосознанно, вольно или невольно, намеренно или ненамеренно приспосабливаясь к порядку, который считается при данном строе законным.

Но проживать, проедать предназначенные для будущего капиталовложения — разве это не значит тоже «безвозмездно присваивать принадлежащие другим блага»?

Нанесение ущерба фактору F выходит, однако, далеко за рамки экономики, и поэтому выражение «эксплуатация будущего» уместнее все же употреблять в кавычках, тем самым подчеркивая его специфичность.

Опаснее всех прежних

Итак, подчеркну еще раз: речь идет не о чисто моральном вопросе. Он и не может быть чисто моральным, пока связанные с воспроизводством общества расходы, усилия, ответственность даже в высокоразвитых, цивилизованных странах все еще в значительной степени лежат на плечах не общества в целом, а каждой семьи в отдельности, и пока довольно значительная часть людей — в сущности большинство — считают, что все так и должно быть.

Независимо от субъективных намерений, «эксплуататорами будущего» становятся люди бездетные, родители, имеющие одного, а порой и двух детей. Дело тут не в количестве: ведь, как уже говорилось, число собственных детей вовсе не обязательно показывает, кто и в каком объеме берет на себя груз заботы о будущем. Не показывает хотя бы потому, что сфера нагрузок, связанных с фактором F, далеко не ограничена рамками семьи.

Конечно, если бы материальные затраты на воспитание детей были в полном объеме возложены на общество, то тем самым прекратилась бы — по крайней мере в экономическом плане — частная «эксплуатация будущего». Но никогда, никакими декретами не могут быть пропорционально распределены нематериальные нагрузки фактора F, а ведь эти нагрузки, возможно, куда значительнее материальных. Кроме того, пропорцио-

нальное распределение нагрузок само по себе еще не гарантирует воспроизводства жизни на необходимом и достаточном уровне, а если воспроизводство ниже этого уровня, то есть если основной закон не выполняется, то все сообщество, все общество в целом превращается в коллективного «эксплуататора будущего».

Под «будущим» в этих формулировках подразумевается не отдаленное, но и не ближайшее будущее. Если период, в течение которого фактор F играет определяющую роль, считать равным примерно двадцати годам, то и все последствия нужно учитывать в двадцатилетней перспективе: именно тогда в жизни семьи, в жизни общества становится ощутимым отсутствие не рожденного, не воспитанного потомка как ресурса энергии. И именно тогда отсутствие это становится невосполнимым и окончательным.

Отсюда следует, что «эксплуатация будущего» — это одновременно и наша самоэксплуатация, причем в равной мере как в личном, так и в общественном смысле.

От недостатка ресурсов энергии страдает — не только в производственной, но и в семейной, общественной сферах, в духовной жизни — любой человек, достигший пожилого возраста. Он вынужден нести бремя тяжких последствий этой нехватки, которые сказываются и на размерах пенсий, и на степени заботы о стариках: ведь одновременно с сокращением ресурсов живого человеческого труда стремительно растет процент нуждающихся в социальном обеспечении по возрасту. Но и при этом самые большие потери человек несет, скорее всего, не в материальной сфере.

В классических формах эксплуатации воспроизводство жизни, даже расширенное, диктовалось общими интересами. Категорический императив преемственности четче всего проявлял себя в феодальном обществе, где он был обязателен даже для господствующего класса: помещики, как правило, понимали, что сохранение и укрепление их власти, их хозяйственного благополучия тесно связаны с наличием у крепостных детей. Да и крепостные понимали, что им необходимы наследники, которые в старости будут о них заботиться.

Но независимо от того, кто и что понимал или не понимал в свое время, ясно: ни одна форма эксплуатации не могла упрочиться, сохраниться без следования основному закону.

Так что классические формы эксплуатации, как правило, не угрожали существованию и сохранению данного сообщества; более того, они диктовали необходимость расширенного производства жизни. Пример тому — вся человеческая история.

«Эксплуатация будущего» нежизнеспособна даже как форма эксплуатации: это по природе своей временная, не поддающаяся консолидации форма. Она пожирает самое жизнь, следовательно, с точки зрения основного закона она вредоноснее и опаснее любой прежней формы эксплуатации. Там, где она разовьется и обретет силу, гибель общества неизбежна.

Основные характеристики

В историческом прошлом лишь очень немногие из тех, кто не принадлежал к господствующему классу по рождению, пробивались в среду привилегированных.

«Эксплуататором будущего» может стать любой. Может стать в тот самый момент, когда сделает потребление будущего стилем своей жизни.

Отдельного отступления заслуживала бы следующая мысль: в прошлом, во все времена, тоже были возможности для «эксплуатации будущего». Однако, в силу веских причин, стать массовым это явление не могло. Не из-за примитивного уровня регулирования рождаемости, не из-за господствовавших норм общественной и религиозной морали, не из-за запрета на аборты — хотя эти факторы тоже имеют большое значение. Дело в том, что в прежних общественных укладах семья являлась в первую очередь производственной единицей, характеризующейся такими чертами, которые сегодня в цивилизованных странах уже утрачены. Крестьянин в прежние времена был кровно заинтересован в том, чтобы у него рос преемник, который когда-нибудь, когда это станет необходимым, заберет у него, с его слабеющих плеч, восьмидесятикилограммовый мешок и втащит его на чердак, будет вместо него бросать снопы в молотилку, когда ему самому это будет уже не под силу. Не говоря уж о том, что при тогдашних отношениях собственности наследник был самой надежной гарантией обеспечения в старости, поскольку правовая система по-иному об этом еще не заботилась. Впрочем, не только экономическая выгода, но и другие, самые разнообразные интересы заставляли людей думать о потомстве; в ориентированной на производство семье крестьянина, ремесленника, мелкого торговца воспитание преемников было первостепенной, жизненно важной заботой. Под натиском цивилизации в центре интересов семьи, живущей на жалованье, на заработную плату, постепенно оказалось потребление. Потребительской единицей семья, конечно, являлась и прежде, когда производственная функция была в ней господствующей, однако там, где в центре оказывается потребление, меняется структура интересов: очень скоро выясняется, что чем больше людей сидит вокруг общего «котла», куда складываются все доходы, тем меньше приходится на долю одного человека. Появилась отчетливая заинтересованность в том, чтобы доход распределялся на возможно меньшее количество человек.

Поворот этот прослеживается во всех цивилизованных странах. Конечно, было бы очень желательно, чтобы социализм эта печальная закономерность миновала.

Увы, не миновала. Более того, в условиях капитализма, частной собственности заинтересованность в преемнике, наследнике все еще выше, чем в условиях со-

циализма, где подобные интересы почти не влияют на планы молодоженов.

Суть дела в том, что в основе любых массовых движений лежат, как правило, интересы, выгода. Какое-то время ими можно пренебрегать; традиции, убеждения, здоровые инстинкты способны противостоять давлению интересов, но рано или поздно выгода обязательно возьмет верх.

Если взять последние двадцать — двадцать пять лет, то нельзя не заметить, что, несмотря на все те социальные и прочие меры в поддержку семьи, о которых так много говорят, положение многодетных семей, по сравнению с положением супружеских пар, не воспитывающих детей, существенно ухудшилось.

В конечном счете семья, объединенная лишь потребительским интересом, а также институт пенсионного обеспечения, создают такую структуру интересов — сиюминутных, прямых, приватных,— которые препятствуют воспроизводству общества; чем меньше состав семьи, тем бо́льшая доля семейного дохода приходится на человека.

Далее: классические формы эксплуатации всегда обеспечивали привилегии меньшинству за счет большинства. «Эксплуатация будущего» имеет принципиально иной характер: она открывает массам легкий доступ к привилегиям за счет будущего, за счет следующих поколений, давая возможность «безвозмездно присваивать принадлежащие другим блага».

В присвоении фактора F может участвовать подавляющее большинство населения, в принципе — даже все общество, каждый его член. Конечно, лишь в течение того относительно короткого времени, пока оно не растратит, не промотает полученную в наследство частную и общую жизнь полностью.

Если же в «эксплуатации будущего» принимает участие значительная часть, а тем более — подавляющее большинство общества, то массовость этого явления формирует такую систему интересов, которая за весьма короткое время становится материальным, социальным, мировоззренческим императивом. Ведь при этом люди могут позволить себе то, чего никогда не могли позволить себе эксплуататоры в историческом прошлом: оказавшись в роли большинства, они могут — в форме самой настоящей демократии — реализовать свои эгоистические, ведущие к истреблению целых народов интересы.

И эта новая система интересов уже не только определяет взгляды, массовое мышление, мораль, поведение, но и завоевывает позиции в сфере массовой коммуникации, в управлении, праве и прочих сферах общественной жизни — словом, везде.

В такой ситуации даже самая чистая демократия не может служить убежищем, лекарством или орудием защиты. В историческом прошлом подобная ситуация никогда еще не возникала, по крайней мере в масштабах всего общества; большинство никогда не оказывалось заинтересованным в том, чтобы приносить в жертву завтрашний день ради сегодняшнего.

Особая опасность этой новой ситуации кроется в том, что, когда она станет господствующей, то даже демократию можно будет использовать как послушное орудие общественного, общенародного, национального самоубийства.

Далее: паразитирование, эксплуатация до сих пор наносили вред только современникам, совершались им в ущерб, ущемляли их и унижали. Поэтому, хотя эксплуатируемые от рождения находились в зависимом, униженном положении и склонны были верить, что «таков порядок вещей», тем не менее нельзя было совсем не считаться с их чувствами, с их недовольством, с их возможным протестом. Понимание своего положения, рост самосознания обостряли классовую борьбу, усиливали пассивное сопротивление, поднимали угнетенных на бунт, на восстание, на революцию. Господствующие слои привилегированных классов держали массы угнетенных в повиновении с помощью дорогостоящих средств насилия, переходя затем к более изощренным, не столь откровенно опирающимся на насилие, методам.

По сравнению с этим новая форма эксплуатации в высшей степени удобна, не сопряжена ни с малейшим риском, к тому же несравнимо более дешева. Будущее ведь не присутствует в настоящем, а о том, чтобы оно как можно меньше влияло на мысли, планы, мечты, заботится сконцентрированная на интересах сегодняшнего дня реклама, так же как и не менее тесно связанный с сиюминутными интересами демпинг удовольствий и развлечений.

Ведь неродившиеся, умерщвленные до рождения, выброшенные в канализацию будущие люди не создадут сплоченный класс, не станут бунтовать, бить стекла, опрокидывать автомашины, устраивать революцию.

Еще несколько характеристик, в самом кратком виде.

Политическая власть в гораздо большей степени, чем в историческом прошлом, опирается нынче на популярность. И на Западе, и на Востоке она — хотя и по разным причинам — изучает, старается принимать в расчет настроения, самочувствие избирателей, граждан. И чем больше проводится обследований общественного мнения, чем вернее отражают они сиюминутные настроения, тем сильнее отвлекается внимание от перспектив.

У нас в Венгрии общим, хотя и по-разному объясняемым симптомом является нарушение, искажение национального сознания; создается впечатление, что люди сегодня ощущают ответственность за будущее сообщества, нации меньше, чем прежде, меньше, чем когда-либо на протяжении многих столетий. Почему же тогда вызывает беспокойство — общее беспокойство — тот факт, что нынешнее поколение ради сегодняшних удовольствий и привилегий использует, растрачивает будущее?

Передача по наследству полученных привилегий противоречит социалистиче-

ским принципам. Если же передача по наследству сложна, связана с трудностями, моральными компромиссами да к тому же не одобряется, а то и прямо запрещается в политическом плане, то, естественно, возникает заинтересованность, чуть ли не потребность в полную меру использовать обретенные привилегии. Без наследников же, при отсутствии наследования, вполне можно обойтись.

Наша централизованная, униформизированная пресса и другие средства массовой информации с гораздо большим успехом, чем в любую другую эпоху и при любом другом строе, отвлекают внимание от опасностей, связанных с проматыванием, проеданием, уничтожением будущего. Я утверждаю это не голословно: истинность моих слов доказывают накопленные за несколько десятилетий наблюдения и документальные свидетельства.

Эксплуататорские режимы, когда-либо существовавшие в истории, могли быть разрушены революцией эксплуатируемых. Те эксплуатируемые, которые не родились, повторяю, никогда баррикад не воздвигнут.

Эта форма присвоения гораздо более коварна, чем любая из прежних. Сначала она эффективно повышает жизненный уровень («венгерское чудо»): общество проедает свое будущее, пожирает своих потомков — последствия же сказываются спустя десятилетия, обрушиваясь на страну страшно и уже неотвратимо.

Никогда до сих пор стихия потребления, жажда развлечений, погоня за удовольствиями, dolce vita не играли такой центральной роли, не воздействовали так сильно на все слои общества, как сегодня в цивилизованных странах. Но все эти вещи ориентированы на современность, на текущий момент, на сегодняшний день. И поэтому перспективы постепенно, но неуклонно теряют значение, уходят из поля зрения.

Уже говорилось: если система интересов, связанных с потреблением будущего, опутала все общество, перетянула на свою сторону большинство населения, то у либеральной демократии больше не остается возможностей предотвратить гибель общества. В условиях социализма при всем выше сказанном существует больше возможностей для организованных социально-политических выступлений, для коллективной самозащиты, для сдерживания процесса присвоения фактора F.

Пожалуй, только социализм, особенно когда он избавится от нынешнего несовершенства, в силах предотвратить эту опасность, грозящую человеческой цивилизации. Разумеется, лишь в том случае, если он повернется лицом к этой новой форме паразитирования, к безответственному проеданию будущего.

А между тем мировое общественное мнение обеспокоено прежде всего другой крайностью — демографическим взрывом, угрозой перенаселения. Само собой разумеется, что высокая рождаемость, постоянно и ощутимо превосходящая демографический оптимум, также усугубляет нездоровую обстановку, увеличивая расходы на содержание иждивенцев, воспитание детей, вообще затраты фактора F, и существенно снижая жизненный уровень. Если рост населения опережает темпы развития хозяйства, культуры, техники, цивилизации, строительства жилья, то из года в год увеличивается пропасть между потребностями и возможностями их удовлетворения.

Собственно говоря, это не что иное, как самоэксплуатация, обложение сегодняшнего дня непомерным налогом, причем без всякой уверенности, что налог этот даст в будущем свои плоды. Более того, перенаселение, вызванное демографическим взрывом, подвергает опасности мир на земле. Естественно, что народы, слишком быстро растущие в численном отношении, стремятся расширить свое жизненное пространство и путем эмиграции, и с помощью оружия; как бы мы ни представляли мир в будущем — с границами ли, без них ли,— можно не сомневаться, что тенденция к расширению территорий обитания будет прокладывать себе путь в направлении наименьшего сопротивления всяческими средствами, в том числе и с помощью силы. Перенаселение, таким образом,— это серьезнейшая проблема, нависшая над человечеством; однако демографический взрыв, имеющий место в слаборазвитых странах, вовсе не уравновешивается старением, численным сокращением, демографическим «антивзрывом», характерным для наиболее развитых стран. Напротив, в этих противоположных по своей направленности демографических тенденциях таится новая, грозящая опять-таки всему человечеству опасность. Попросту (но и без чрезмерного упрощения) говоря: если страны, идущие впереди по достигнутому уровню цивилизации, промотают свое будущее, после них вовсе не останется безвоздушное пространство. Так, в ФРГ пока лишь наметилось сокращение трудоспособного населения, а громадная, созданная с большими затратами средств индустрия уже втягивает «рабочую силу» из развивающихся, часто далеко находящихся стран.

Само по себе это, может быть, еще не опасно. Но если нынешняя тенденция (тренд) в изменении структуры населения станет доминирующей и нации, проедающие собственное будущее, одна за другой станут уступать место массам эмигрантов, то европейской культуре и цивилизации остается существовать едва ли больше полустолетия. А если европейская культура и цивилизация утратят свою важную — ключевую? — роль в развитии человечества, то в результате под угрозой окажется будущее всего человечества. Ведь, как известно, ядерный военный потенциал зависит в первую очередь не от высокой промышленной мощи, а от того, кто, какие люди распоряжаются этой мощью.

Возможно, прожигание будущего в цивилизованных странах — опасность бóльшая, чем тоже представляющий несомненную угрозу демографический взрыв в странах развивающихся. Бóльшая уже потому, что до сих пор не входит у нас

в перечень угрожающих человечеству опасностей.

Самоубийственное распределение доходов

Уже классики буржуазной политической экономии, от Смита до Рикардо, были едины в том мнении, что расходы по воспитанию потомства должны покрываться заработной платой.

Другими словами, в заработную плату должны входить расходы не только на ежедневное восстановление рабочей силы, но и на ее воспроизводство; более того, на ее расширенное воспроизводство в отдаленной перспективе (то есть не только расходы на поддержание жизни работника, но и расходы на содержание семьи, на воспитание детей, собственно говоря, на сохранение рода), причем на самом высоком для данной эпохи.

Иными словами, заработная плата всегда и при всех условиях должна давать рабочему возможность обеспечивать себя и «такую по численности семью, которая необходима для сохранения существующего количества рабочих» (Рикардо).

Даже Мальтус, которого никак не назовешь рыцарем идеи роста народонаселения, в своей теории заработной платы пытается определить, какое «количество детей необходимо супружеской паре, чтобы имеющееся народонаселение оставалось точно на прежнем уровне».

Излишне доказывать, что Маркс, Энгельс, Ленин развивали теорию заработной платы не в ущерб рабочим семьям и детям рабочих. Будем считать, что тезис Рикардо — это сегодняшний нижний предел. Принципиальный минимум. Это — такой же краеугольный камень политической экономии, такой же элементарный тезис, как дважды два в математике. Этот тезис нельзя обойти, пока существует заработная плата или пока государство полностью не возьмет на себя один из двух компонентов заработной платы — расходы на воспитание потомства.

Какова ситуация в данный момент у нас? Какое место занимает этот компонент — и занимает ли вообще — в наших заработках?

Возьмем два крайних случая.

Предположим, что заработная плата у нас содержит — примерно на среднем уровне — расходы, необходимые для обзаведения семьей, для ее содержания, для современного воспитания двух-трех детей (количество, означающее общественно необходимую норму).

Но тогда эту статью своего бюджета — при большом упрощении — одна треть супружеских пар (воспитывающие одного ребенка) наполовину, а еще одна треть (бездетная) в полном объеме тратят «не по назначению», то есть проедают, обращают на свои повседневные потребности. (Как ни странно на первый взгляд, но супруги, уже воспитавшие своих детей, умножают эти две группы, поскольку связанные с воспитанием детей расходы их уже не обременяют.)

В этом случае проблема решается как математическая задача: опираясь на классическую формулу заработной платы — и вместе с тем на социалистический принципиальный минимум, — сумму, не использованную по «статье» воспитания потомства, следует (под каким-нибудь прозрачным предлогом: налог на бездетность, налог на холостяков и т. п.) вернуть в казну и затем присовокупить ее как пособие на воспитание детей к доходам семей, в которых растет трое и больше детей. (Следует подчеркнуть: операция эта — простая переадресовка направленных не по адресу средств и ничего общего не имеет с санкциями налогового наказания, не имеет настолько, что должна распространяться даже на семьи, честно вырастившие пусть даже шестерых детей.)

Теперь представим себе противоположную крайность: наша нынешняя заработная плата вообще не включает расходов на воспитание потомства.

В этом случае многодетные семьи получат, в форме различных «пособий», значительно меньшую долю (в среднем около 20%) причитающейся им по праву суммы, то есть суммы фактических расходов на воспитание детей.

Решение и тут требует элементарных знаний: нужно лишь, не нарушая сложившихся пропорций дохода, считать воспитание будущих кормильцев продуктивным трудом — если угодно, деятельностью первостепенной важности, отвечающей жизненным интересам всего общества, — и установить, что за этот труд полагается не зарплата в нынешнем ее понимании, а возмещение расходов, предусматриваемое годовым бюджетом. (Этот вариант прямо противоположен предыдущему, но требует в сто раз меньше неудобств и административных мер. И вот что еще важно: в таких условиях никого уже не удивит, что даже многодетные семьи не будут требовать возмещения расходов, когда они уже воспитали, поставили на ноги своих отпрысков.)

Так какое же предположение правильно?

Ни к чему анализировать тут коэффициенты цен, трудовые нормативы, прожиточный минимум: можно и так с полной уверенностью сказать, что правда заблудилась где-то между двух обрисованных принципиальных схем. И что в этом вопросе царит полный теоретический хаос

Например, если взять нашу правовую систему, окажется, что:

— есть действующие правовые положения, в соответствии с которыми заработная плата в полном объеме содержит расходы на воспитание общественно необходимого количества детей (алименты и т. д.);

— есть другие, тоже действующие положения, в соответствии с которыми заработная плата вообще не содержит расходов на воспитание потомства (отделенная от вопроса о детях пенсионная система, система налогов на личные доходы и т. д.);

— есть третьи, опять же действующие положения, в соответствии с которыми... вообще ни черта не понятно («дотации», «пособия» многодетным семьям и т. д.— даже само словоупотребление тут лживо до саморазоблачения!).

У меня в руках одно из последних изданий университетского учебника политэкономии. Теми или иными его положениями я мог бы подкрепить все три — исключающие друг друга — случая.

Самый обильный источник противоречий заключен в определении, гласящем, что заработная плата при социализме «есть участие в делимой части национального дохода пропорционально проделанной работе».

Определение это никак не связано с данной системой ценностей. «Пропорциональное участие»? Эта категория, по всей видимости, лишь в том случае обладает смыслом и научным значением, если нижний уровень лимитирован, например, тем, что обменная ценность «пропорционального участия» не может опускаться — по крайней мере, надолго — ниже минимума, обозначенного Рикардо.

Отсутствие нижней границы уже само по себе порождает массу проблем и недоразумений; и все же самый обильный источник недоразумений и противоречий кроется в том, что приведенное определение вульгарно истолкованной социалистической заработной платы разделяет целостный, комплексный, сложно переплетенный и взаимосвязанный процесс воспроизводства общества на две — обладающие подчеркнуто разным качеством — части. Извращающие это понятие толкователи считают естественным, что заработная плата как форма долевого участия выполняет ту первоначальную функцию, которая обеспечивала поддержание, ежедневное воспроизводство рабочей силы; компенсацию же расходов на воспитание детей — то есть другую функцию, которая у теоретиков, от Смита до Ленина, являлась вторым, не менее весомым и важным, компонентом заработной платы,— исключают из системы распределения по труду.

Так в конце концов долевое участие, связанное с воспитанием потомства, и компенсация расходов такого рода исчезли, были вычеркнуты из системы социалистического распределения доходов.

Нет нужды доказывать, что система распределения доходов, действовавшая во все прежние исторические эпохи, как-нибудь да учитывала потребности растущего поколения. В любом обществе существует жизненно важная заинтересованность в высокой, обеспечивающей репродукцию населения рождаемости. Так на каком же принципиальном основании можно изъять удовлетворение потребностей живущих в обществе детей из действующей при социализме системы распределения и перебросить его в далекое, к сфере надежд относящееся будущее, где осуществится когда-нибудь принцип распределения по потребностям? На каком принципиальном основании можно в жизненно важной потребности общества увидеть некую приватную потребность и перевести ее в далекую, спрятанную в голубом тумане мечты систему распределения по потребностям?

Еще Энгельс считал: «С переходом средств производства в общественную собственность (...) уход за детьми, их воспитание станут общественным делом; общество будет одинаково заботиться обо всех детях»[1]. Сталинистская политэкономия исключила детей из социалистического распределения доходов, и сегодня ни в одном венгерском учебнике, от школьных до университетских, не найти и следов того, как система социалистического распределения компенсирует расходы семьи на воспитание детей.

В таких условиях заведомо не может быть реализовано — не только в упрямо сопротивляющейся практике, но и даже в принципе — распределение по труду.

Возьмем пример. Если в доходах двух совершенно одинаково работающих токарей выявляется, постоянно и регулярно, хотя бы десяти-двадцатипроцентное отклонение, уже это должно обращать на себя внимание. Однако, как показывают статистические исследования, между доходами работающих в одной и той же отрасли, выполняющих с одним и тем же результатом одну и ту же работу людей мы встречаем различия не на 10 — 20, а на 200 — 250% в среднем, то есть в отдельных случаях еще больше. И зависит это от того, у кого сколько детей.

Например, уровень доходов тех, у кого нет иждивенцев, в среднем в два, в три, в три с половиной раза выше доходов семьи с тремя и более иждивенцами.

Это самоубийственное распределение доходов особенно сильно способствовало искажению отношения к миру, общественного мышления.

Вор кричит: «Держи вора!»

Приходится сделать вывод, что присвоение фактора F, поскольку осуществляется оно исключительно в ущерб основному закону человеческого бытия, носит наиболее антисоциальный характер по сравнению с предшествующими формами эксплуатации.

Бросается в глаза, как, несмотря на это, охотно и часто используются при этом определения «современный», «прогрессивный», даже «революционный». Не могу сказать, что употребляющие такого рода фразы сознательно искажают действительность; их источник скорее — распространенные заблуждения и ложные идеи. Ведь ни экономическая наука, ни демография, ни социология не вскрыли пока функцию фактора F в воспроизведении жизни, не показали катастрофических последствий безответственного отношения к нему.

Да и нужды в этом до самого последнего времени не было: основной закон

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в трех томах, т. 3. М., 1986, с. 275.

проявлялся спонтанно. Только в наши дни, на определенном уровне цивилизации становится все очевиднее: спонтанность эта сходит на нет. Приверженцы «эксплуатации будущего», то есть люди, получающие от этого выгоду, гротескным образом клеймят тех, кого они эксплуатируют, как некую консервативную, вымаливающую подачки, даже паразитирующую на них (!) и т. д. силу. Вот небольшой, но выразительный ряд взглядов и мнений, которые я лично видел напечатанными или слышал произнесенными вслух:

«...В цивилизованном обществе, где человек освободился из-под власти слепых инстинктов и законов природы, ребенок с точки зрения индивида может оказаться проявлением эгоизма, безответственности, а в большинстве случаев, скажем без обиняков, просто хобби (то есть — сугубо приватной прихотью), вроде собирания марок, содержания собаки и т. д. ... То есть воспитание детей чаще всего — самоцельное времяпрепровождение, развлечение, и интересы общества тут никакой роли не играют... Если же это хобби — а мы спокойно можем утверждать, что хобби,— то каждый должжен его оплачивать из собственного кармана!.. Нация же и так не вымрет, тревожиться из-за этого нет нужды; ибо всегда будут люди, для которых хобби — ребенок, как всегда есть любители собак, хоть им и не предоставляют собачье пособие и бесплатную конуру...»

«Если даже вымрет один какой-то народ, человечество-то останется. Если, предположим, в человеческом мире исчезнет какая-то одна раса, никто этого даже не заметит, заметного ущерба человечество не понесет». (То есть не стоит жалеть об исчезновении какой-то одной расы, если отдельным людям это дает определенные преимущества. Мне кажется, этот принцип я где-то уже встречал...)

То же самое, но в несколько иных выражениях.

Если даже народ погибнет, «пустоты на его месте не будет. Туда придут люди, говорящие на том или на ином языке — на каком именно, не так уж важно. Важно, что это люди более жизнеспособные, пережившие остальных, а потому с бóльшим на то правом берущие в свои руки дело человеческой культуры. И не имеет значения, на каком языке они будут ругаться возле прилавка. Характерно, что уже сейчас это мнение — мнение большинства. Во всяком случае, среди молодежи. На семинаре мы, например, составляли две трети...»

Одни лишь националисты считают, что «для человечества будет ужасной утратой, если исчезнет данная нация... Кстати, не потому ли с таким восторгом, чуть ли не размахивая национальными флагами, встречаем мы в последнее время новых младенцев?..»

«Нужно освободить женщин от рабской обязанности рожать!»

«Вон животные размножаются тоже, а ведь мы — не животные!»

«Неотъемлемое, суверенное право каждого человека — обходиться без детей».

(Разумеется, отказ от детей точно так же нельзя превращать в право, как и рождение детей — в обязанность. Собственно говоря, в этих самоубийственных лозунгах вольно или невольно формируется право на паразитизм.)

Характерно, что оправдание проматыванию будущего ищут под предлогом защиты социализма: «Не будем рожать рабов!», «Не будем рожать рабочую силу!»

Затем идут откровенные декларации циничного паразитизма:

«Я просил, что ли, чтобы меня родили?»

«Наплевать, мне до пенсии все равно не дотянуть. Так хоть поживу немного в свое удовольствие».

Из самой гущи отчуждения, из дебрей иллюзорных идей вор кричит: «Держи вора!» — указывая на тех, кто оказался обделенным вследствие неправильного распределения доходов.

«Это ведь я выплачиваю пособия многодетным: деньги берут из моего кармана».

«Я содержу тех детей, которых произвели на свет безответственные родители».

«Стоит ребенку кашлянуть, мать уже мчится к нему. А я должна перерабатывать за нее?»

(Хотя в тысячу раз больше переработки лежит на той, другой чаше весов.)

Лишь немногие из нас способны высвободиться из-под власти сиюминутной, непосредственной выгоды и мыслить в масштабах народа, нации, общества. Или просто видеть чуть-чуть дальше собственного носа, учитывать свои, приватные интересы хотя бы в завтрашней перспективе. Но аргументы, факты, зловещие предупреждения обычно не доходят до человека, убеждения, вошедшие в плоть и в кровь, делают его слепым и глухим, а то, что подобная жизненная программа — особенно это касается пожилых — быстро принимает необратимый характер, становится уже как бы самооправданием.

Вот что стоит и за агрессивным, презрительным, пропитанным высокомерием и ненавистью тоном в высказываниях такого рода. Приведу отрывки из писем участников одной из недавних дискуссий:

«Бездетные все время работают вместо тех, кто имеет детей, работают просто так, бесплатно, те же живут исключительно для размножения, а ведь люди — не племенной скот... Трудясь над продолжением рода, они считают, что делают огромное одолжение миру... Один сторонник семьи заявляет: кто будет потом содержать бездетных? Вот до какого маразма человек докатился!..»

«За то, что каждый месяц выплачивают — просто так — пособия матерям, кто-то ведь должен ой-ой-ой как работать! А какое уважение к ним за это? На работе я должен кланяться начальнику, который мне платит, а в трамвае или автобусе уступать место тем, кому я сам плачу?!»

«Что вы еще потребуете, «бескорыстные» мамаши? Может, машину, загра-

ничное путешествие за наш счет? И пока вы осматриваете там достопримечательности, может, мы тут за детишками вашими приглядим? С ума сойти можно...»

«Я — антимать, мне 72 года, я одинока, никого у меня нет... Неужто матери девятерых детей, которая в своей жизни основательно потрудилась в постели, государство сейчас должно что-то давать? Неужто эти девять детей не могут ее прокормить?..»

«Я за тех, кто не хочет иметь детей... Если мы предпочтем держать собак, нация... от этого еще не погибнет. Собственное чадо скорее тебя укусит, чем собака...»

«Сажают деревья и охраняют их только бездетные, так как у них больше разума и ответственности... А плодиться способна и тля на деревьях...»

«У одной моей сослуживицы восемь детей, она все время на них ссылается, не принимает участия в общественных мероприятиях (...в противоположность нам, остальным, кто и во внерабочее время отдает силы на благо общества). Такие матери знают только права, а на обязанности плюют... Возмутительно!»

И так далее. Я мог бы набрать целые тома подобных цитат.

Бунт гетеры

Чтобы дать представление о том потоке массированного воздействия, что, не слабея уже в течение десятилетий, постепенно охватывает все население, возьму лишь один-единственный пример. Причем пример не порнографии, не промискуитета, не пошлой рекламы сладкой жизни, не пахучих находок, сделанных нашими многочисленными культурмусорщиками на свалках быта, не ехидных насмешек по адресу материнства, брака, семьи, супружеской верности, половой морали, не удручающе скудной философии танцевальных шлягеров, не слепой ненависти и травли со стороны фанатического феминизма.

Я возьму в пример Симону де Бовуар.

На протяжении многих лет ее книги миллионными тиражами обрушивались на венгерских читателей, ее имя было у всех на устах, многие женские движения спешно причисляли ее к лику святых. Она воспитала целые поколения женщин, ее влияние на женскую половину нашего общества стало чуть ли не определяющим: во всяком случае, никакое другое влияние даже близко не может сравниться с ним. Женщины-журналисты, женщины-репортеры, деятельницы женских движений в статьях, заявлениях, интервью ежедневно и ежечасно в миллион голосов разносят через рупоры средств массовой коммуникации, доносят до каждого ее глаголы.

Симона де Бовуар, несомненно, очень талантлива. Она — блестящий писатель, великолепный стилист, неотразимый интеллектуал. Свою злость она нередко скрывает виртуозной метафоричностью, умело имитируя литературную объективность и рассудительность, хотя порой негодование столь велико, что прожигает любое прикрытие. Впрочем, яростная, кипящая необъективность ее лишь сильнее сплачивает вокруг нее ряды таких же пристрастных единомышленниц.

Пожалуй, правильнее сказать: сплачивала. Крах женской эмансипации, которую она представляла, в наши дни становится все очевиднее, а лагерь ее сторонниц — все малочисленнее.

Вне всяких сомнений, Симона де Бовуар была у нас «папой» феминизма. Идеал, образец, прототип свободной, эмансипированной женщины. Она была примером для сотен тысяч.

Приведенные ниже суждения, без особой тщательности выбранные из ее работ[1], красноречиво показывают важнейшие направления и определяющие стороны ее влияния.

Материнство

Женщина, которая «родила ребенка, увеличивает число людей, неоправданно и бессмысленно живущих на земле».

Девочкой она увидела одну свою знакомую, везущую ребенка в коляске. «Я всей душой пожелала, чтобы такое в будущем не произошло со мной».

Она не может выйти замуж за своего любимого, ибо в этом случае ей пришлось бы взваливать на себя «содержание целых яслей». «Тело женщины протестует против обязанности, что возложена на нее человеческим родом»; «внутри нее день ото дня растет, разбухает какой-то полип, возникающий из ее плоти, но от этого не менее чуждый ей». Новорожденный младенец «абсолютно далек ей; она с изумлением обнаруживает, что не испытывает к нему никаких чувств». «...ей кажется, что ребенок высасывает ее силы, ее жизнь, ее счастье. Маленький этот пришелец — настоящий тиран, он обрекает ее на беспрекословное, унизительное подчинение, и молодая мать чуть ли не с ненавистью смотрит на это постороннее существо, в котором таится угроза ее телу, ее свободе, самому ее Я».

«Рожать детей, которые после, когда придет время, тоже будут рожать,— словно до бесконечности повторять один и тот же унылый рефрен...»

«Сама мысль о материнстве так и осталась неприемлемой для меня, мне дико было смотреть, как Заза приходит в восторг при виде сморщенных новорожденных...»

«Мы с полным правом могли бы сказать: та или иная женщина мечтает о детях лишь потому, что обделена любовью, обделена осмысленной работой, не может удовлетворить своих гомосексуальных наклонностей...»

В беременности женщина «не видит никакой пользы», «организм ее восстает против гнетущей ее женской судьбы», материнство превращает ее в «рабыню своей расы» (это выражение встречается довольно часто).

---

[1] Перевод — по тексту автора статьи. *(Прим. ред.)*

Женщине «страшно не повезло, что биологически она предназначена для репродукции жизни».

Климакс — это «освобождение» «от тирании расы».

Беременная женщина — «носитель враждебного начала»... «так называемого материнского инстинкта на самом деле не существует, по крайней мере в человеческой расе».

«Бывают матери в полном смысле слова садистки, но большинство скорее лишь капризны и склонны к деспотизму». От своего ребенка «они хотят, чтобы тот стал их маленьким рабом, слепо им подчинялся; если они тщеславны, то показывают его всем, как ученую обезьянку, если ревнивы и завистливы, то стремятся укрыть от всего мира».

«Независимая женщина — гораздо более спокойная и ласковая мать: благодаря своему одиночеству, отсутствию забот или авторитету в доме...»

Эмансипация

Женщине «достается роль паразита, а всякий паразит обязательно и эксплуататор. Поэтому ей мужчина необходим... За его великодушие она расплачивается сексуальными услугами, а поскольку она замкнута в своем круге обязанностей, то становится до мозга костей средством эксплуатации. Ну, а что касается лжи, то ведь сама атмосфера между ней и ее покровителем — исключением является лишь проституция — лишена честности и чистоты».

«Удел женщины — послушание и почтительность. Никаким образом, даже в мыслях она не может влиять на окружающую действительность».

Как утверждает писательница, в возрасте до двадцати двух лет девушек умирает гораздо больше, чем юношей. (Во всем мире дело обстоит как раз наоборот.)

«Удел женщины — быть угнетенной, быть собственностью, объектом эксплуатации».

«Запрет кровосмешения» — проявление эгоизма мужчин.

Самка — «жертва расы, интересы которой не совпадают с ее личными интересами; это исконное противоречие наиболее мучительно касается женщин».

Половой акт «закрепляет рабскую зависимость женщины от мужчины и от расы».

«В двадцатилетнем возрасте она оказывается наконец в собственном доме, привязанная на всю жизнь к одному мужчине, с ребенком на руках — и жизнь ее кончена навсегда. Настоящее действие, настоящая работа — привилегия мужчин, ей же остается лишь домашний труд, который доводит до изнеможения, но никогда не дает удовлетворения».

«Следовало бы запретить, чтобы брак был единственным призванием, единственной профессией женщины».

«Женщина одинаково раба: и как орудие добывания денег, и как повод для их растраты. Подарки, которыми ее заваливают,— все это цепи».

Брак, семья

«Ненавижу вас, семьи!» — этой фразой, взятой у Андре Жида, клянется молодая учительница, двадцатишестилетняя Симона де Бовуар.

Брак — «отвратительная конвенция...». «Брак удваивает семейные обязанности и все прочие социальные мучения».

«Революция бессильна, пока сохраняются понятия семьи и семейных уз».

«Крестьянская девушка может стать самостоятельной хозяйкой только при условии, что подставит свою жизнь под ярмо замужества».

«Самосознание современной женщины пробудил тот факт, что благодаря работе она может стряхнуть иго брака».

Удел женщин «сегодня все еще заключается в том, чтобы выйти замуж и покориться мужчине как высшему существу».

«Женщину подавляет маленькая социальная группа, семья, в рамках которой она живет как раба, как вассал отца и братьев».

Физическое влечение в браке почти неизбежно исчезает, считает писательница, «оно, независимо от субъективных намерений, угасает даже в том случае, когда супругов связывает взаимное уважение, дружба, ибо если движение трансценденции двух человеческих существ совпадает по своему направлению в мире и в общих их начинаниях, то им больше нет нужды в физическом слиянии, более того, оно вызывает у них прямое отвращение, поскольку телесное соединение успело уже утратить свой прежний смысл».

Молодая жена после свадьбы «получила свой уголок в мире, а вместе с тем удручающее сознание: это принадлежит тебе, только это, отныне и навсегда. Вот муж, вот квартира, на большее надеяться нечего...» «Она бесцельно и сиротливо влачит существование в мире, предоставленная сама себе, стынущая в ледяном настоящем, и обнаруживает стерегущую ее скуку...»

О супружеской любви: «Многие женщины стараются до конца усыплять себя — из чувства долга, из ханжества, из гордости или из беспомощности».

«Существует много хороших браков»,— с иронией замечает она,— где сторонам «удается найти компромисс друг с другом и с судьбой», «им даже не требуется слишком уж много лгать», но все равно спустя какое-то время они ничего не могут ни дать друг другу, ни получить друг от друга ни в духовной, ни в сексуальной сфере».

После работы муж «приходит домой, туда, где рабыней живет его жена... до тоски знакомое лицо жены не зажигает его... она ему в тягость...». «Тихое раздражение владеет семьей за ужином... каждый чувствует себя одиноким...»

«Брак... уродует женщину, осуждает ее на вечное повторение и рутину».

Женщин «даже труд не освобождает... из-под ярма супружества».

Беременная женщина: «Пока была

лишь женой, она страдала от своего подчиненного положения, теперь она больше не сексуальный объект, не служанка...»

Женщина, «выйдя замуж, тем самым делает мужа своим господином и повелителем».

«Поскольку физическая любовь, как правило, с браком не связана, представляется разумным открыто разделить их». «Соглашение, на основе которого началось бы царство свободы и откровенности, сразу могло бы устранить одну из порочных черт брака». «Вообще-то супружеская измена... означает лишь передышку в супружеской жизни, помогает нести ее цепи, но не разрывает их вовсе».

О жене и о проститутке Симона де Бовуар пишет: «Сексуальный акт для обеих — служба; первую на всю жизнь нанимает один мужчина, у второй — много клиентов, которые платят ей каждый раз».

«Раба мужа, дома, детей останавливается где-нибудь на склоне холма, охваченная восторгом: сейчас она одинока и суверенна, не жена, не мать, не домохозяйка, а — человек».

Домашний труд, домохозяйка

«Редкий труд так зловеще напоминает наказание Сизифа, как труд домохозяйки. Изо дня в день она моет грязную посуду, стирает с мебели пыль, зашивает порванную одежду, а назавтра посуда снова грязна, мебель снова покрыта пылью, одежда снова порвана».

«Труд ее — вечное топтание на месте, она никогда не создает нового. Она сохраняет лишь то, что есть, не зная радости творчества». «Женщине не дано строить лучший мир; дом, комната, грязное белье — все это мертвые вещи, и ей ничего другого не остается, кроме как вновь и вновь изгонять проникшее в них злое начало, бороться с пылью, грязью, мусором...» «Маниакальная домохозяйка потому так яростно сражается с пылью, что, ненавидя свой удел — бесперспективность, грязь, зло,— она демонстративно ему покоряется».

«Судьба домохозяйки потому так горька, что современное распределение труда вечно обрекает ее на пустую, бессмысленную работу... Цели, которые она ставит перед собой, в действительности носят характер средств, а не целей». (Не могу удержаться и не добавить: как всякий другой труд.) «Самое удручающее в домашнем труде все же то, что он никогда не дает возможности создать неумирающие ценности».

«Домашний труд не служит непосредственно интересам сообщества, не нацелен в будущее, это — не производительный труд, он не делает и не может делать независимым человека, который им занимается... Он не освобождает хозяйку, а, напротив, превращает ее в производное от мужа и детей, бытие ее в любом случае есть вторичное, подчиненное, паразитическое бытие...»

Ребенок

Она не ощущала желания иметь ребенка, «младенцы никогда ее не интересовали»; «мне было достаточно самой себя — я вообще не мечтала о том, чтобы узнать себя в появившемся из меня теле».

«Привязанность к детям выдумана мужчиной».

Девочка представляет: «В глубине ее тела будет расти, паразитировать какое-то чужое тело».

«Она остается в одиночестве на целый день: не считать же компанией младенца, лежащего в колыбели или ползающего в манеже... Пустой, долгий вечер стоит перед домашней хозяйкой... она перебирает в уме заботы, строит планы, мечтает, скучает...»

В аборте видят «возмутительное лицемерие», тогда как «мы должны считать его неотделимым от жизни женщины, нормальным явлением». «Наше законодательство оспаривает право женщины распоряжаться жизнью вынашиваемого ею в своем лоне зародыша, а живого ребенка, напротив, целиком отдает на произвол родителей».

Церковь «бескомпромиссный свой гуманизм бережет исключительно для эмбриона», во времена же крестовых походов «открыто призывала верующих резать язычников».

Толстосумы находят способ сделать аборт, «иные из этих счастливых женщин прямо утверждают, что маленькая операция лишь укрепляет здоровье и придает свежесть коже лица». (Это, пожалуй, сомнительно; несомненно же то, что строгий запрет был причиной многих несчастий.)

Молодая мать смотрит на новорожденного с «разочарованием», видит в нем «маленького чужака», «с удивлением обнаруживает, что не испытывает к нему ничего», «считает его обузой». «В отдельных случаях начальная неприязнь перерастает в открытую ненависть», и даже те мамаши, которые очень заботятся о ребенке, «испытывают, собственно говоря, к нему антипатию, но изо всех сил ее подавляют».

«Очень большая редкость, чтобы женщина находила оправдание своей идущей к упадку жизни» в родных или приемных детях; старея, она «оказывается беззащитной перед пустыней будущего, терзаемая одиночеством, горем, скукой».

«Печальная трагедия» ее в том, что она «ощущает себя ненужной». «Рукоделие придумали для того, чтобы как-то прикрыть это страшное безделье».

Секс

Мориак о писательнице: «Я узнал все о ее... вагине».

«Традиционный брак не создает благоприятных предпосылок для раскрытия женской сексуальности».

Свадьба, первая ночь: «Есть некое невыносимо гнусное противоречие в том, что грубое реальное событие, выполнение животной функции, объединяют с торжественным обрядом».

«Женские сексуальные возможности в сущности безграничны... Брак не создает рамок для развертывания женской сексуальности, он убивает в женщине половое чувство».

Мужчина — это «обычный самец, сообщник женщины в часто ненавистном, нелепом, постыдном, иногда вызывающем потрясение, но всегда эпизодичном занятии, он тащит ее за собой в грязь и свинство».

«Насколько старательно окружает буржуазия отпугивающими табу сексуальный акт — и особенно девственность,— настолько же равнодушно воспринимают эту сторону жизни очень и очень многие в среде рабочих и крестьян. Многие исследования в один голос утверждают: большинство девушек позволяют первому попавшемуся мужчине лишить их девственности, а после этого считают вполне естественным отдаться следующему мужчине, встретившемуся на пути». (Не слышатся ли здесь интонации «барышни из хорошего дома», отзывающейся о простых француженках, работницах и крестьянках?)

В стареющей женщине «вырываются на поверхность гомосексуальные инстинкты, которые скрыты едва ли не в каждой женщине».

Женщину «наслаждение в сущности не освобождает, а, напротив, заковывает в цепи».

Куртизанка

Телефильм «Сломленная горем женщина» внушает: смотрите сами, брак не может строиться на супружеской верности. Если ты не любишь самозабвенно, тебя и разочарование не постигнет. Вот пожалуйста: молодая женщина постоянно меняет партнеров — и совершенно спокойна и уравновешенна.

Среди греческих женщин гетеры — «блестящие исключения». «Гетера... была сама себе госпожой, свободно распоряжалась своим состоянием, к тому же была умна, образованна и талантлива. Она жила вне общества, стряхнув с себя узы семьи. Такая освобожденная женщина была на голову выше почтенных матерей семейства».

О женских типах итальянского Ренессанса: «Большая часть этих замечательных женщин — куртизанки; благодаря своему ремеслу многие из них добились материальной независимости, а нравственная свобода, в которой они жили, оказала расковывающее влияние на их дух; мужчины смотрели на них снизу вверх, с уважением и преклонением... О выходках и греховных развлечениях итальянских куртизанок, великосветских дам той поры ходят легенды».

«Трудно, еще очень трудно сегодня женщине совместить статус независимого человека и свой женский удел».

Плотская любовь является настоящей в том случае, «когда опирается на свободный выбор», «но у индивида есть суверенное и исключительное право решать... остается ли он при прежнем выборе или меняет его... Принцип же «супружеской верности» толкает к подавлению чувства, ко лжи».

«Брак, который лишает женщин всякого эротического удовлетворения, отрицает их право на личные чувства и на свободу, закономерно и с иронической диалектикой ведет к супружеской измене».

Гетера «ловит мужчин, одного за другим, в свой капкан и питается ими...». «Поскольку она находится в связи со многими мужчинами, то не становится окончательной собственностью ни для одного из них... В греческой античности самыми свободными женщинами были не матроны, но и не обыкновенные проститутки, а гетеры. Куртизанкам Ренессанса, японским гейшам доставалось несравнимо больше свободы, чем их современницам».

«Гетера воплощает, причем в самой привлекательной форме, мужские мифы: она — и плоть, и сознание, и идол, и вдохновительница, и муза, и во всех этих качествах она лучше, выше остальных женщин».

«Полет ее мыслей свободней, чем у матроны, ибо она настолько не заскорузла еще в лицемерии».

Фригидность «становится у нее преимуществом, если она умеет владеть своим сердцем и своим телом».

«Вся жизнь гетеры — праздничный спектакль... Она разыгрывает комедию любви для своего покровителя, а подчас и для самой себя».

Связь с товаром: «Женщина отдает свое тело только при том условии, если любовник купит и отведенные для общения, для развлечений часы».

Даже обильная эта подборка лишь в приблизительных контурах намечает ту программу феминистской эмансипации, которую с таким фанатичным упорством отстаивала Симона де Бовуар.

История, по всей очевидности, представляет собой неисчерпаемый склад примеров, может предоставлять бесчетные аргументы для любых предложений, планов, доктрин. Для доказательства же того, что назрела — хотя бы уже вследствие изменившихся обстоятельств — необходимость каким-то образом упорядочить взаимоотношения полов, совсем ни к чему выискивать серии невероятных, криминальных, патологических случаев.

Социальный статус полов и в истории определялся не требованием сохранения вида, а скорее потребностью сохранения жизни, жестокой, не на жизнь, а на смерть, вооруженной борьбой, тяжелой, изматывающей тело работой, униженным положением трудящихся классов. Не так уж много поучительных, пригодных и в наши дни выводов может извлечь из этого исторического прошлого тот, кто стоит на позициях классовой борьбы полов и, подходя к любой ситуации, стремится продемонстрировать деспотичный, животный эгоизм мужчин и рабский удел, угнетенное

положение женщин. И кто свои тезисы, утверждения, схемы, ложные и в настоящее время, стремится спроецировать в минувшие столетия, тысячелетия, сквозь них оценивая — и осуждая — историю человечества.

Условия, обстоятельства человеческого бытия, человеческого общежития изменяются или уже изменились во всех аспектах, так что упорядочение статуса полов — задача действительно острая и необходимая, в этом писательница права. И правота эта, сочетаясь с неотразимостью ее интеллекта, с литературным талантом, со стилевым мастерством, легко покоряет поверхностного читателя. Массой частных истин, полуистин, псевдоистин она даже, пожалуй, приводит его в состояние шока, и читатель не замечает, что его подвели к краю другой пропасти. Пропасть эта глубже, чем все предыдущие, она грозит полной гибелью.

Осмысление нового статуса полов, упорядочение взаимоотношений меж ними нельзя в нынешней ситуации строить по подсказке слепых страстей, взращенных комплексом неполноценности и выливших в уродливо-пародийное учение о классовой битве полов. И на бунтарско-куртизанском миросозерцании «барышни из хорошей семьи», не умеющей выглянуть за пределы своего узкого мирка, на миросозерцании убежденной «антиматери», хотя бы и наделенной высоким интеллектом. Поскольку ключом, центральным вопросом упорядочения является именно статус матери.

Ведь если смотреть на проблему не с точки зрения «антиматери» — гетеры, куртизанки, гейши или проститутки на содержании,— а исходить из функции материнства, из функции, которую никому не передашь и ничем не заменишь, и ситуацию, возникшую в связи с вторжением женщин в трудовую, в общественную жизнь, рассматривать в свете своеобразных условий, насущных потребностей матерей — а не вообще женщин,— то эмансипация сразу обретает смысл. То есть если за единицу в смысловом коде эмансипации брать не женщину вообще — или тем более мужчину!— а мать. Это не означает отрицания исключений — даже отрицания гетер,— но означает, что на все обозримые времена мать является правилом, а женщина, которая во имя призвания или профессии — или пусть во имя неограниченной сексуальной свободы — полностью или почти полностью отказывается от материнства, может быть только исключением.

Рецепты, даваемые с позиций взбунтовавшейся гетеры, не только обещают, но и ощутимо, реально уже дают быстрое сокращение пополнения, они чреваты гибелью общества.

Свое огромное литературное наследие — с первых его и, смело можно сказать, до последних страниц — всемирно известная писательница посвятила взаимоотношениям между полами и кругу связанных с этим проблем. Но я не нашел и намека на то, чтобы она, хотя бы один-единственный раз, задумалась над сущностью этих взаимоотношений, то есть над тем, что на отношениях этих лежит прежде всего ответственность за продолжение жизни, что все их формы, освященные практикой или случайные, нужно оценивать, в первую очередь исходя из этого факта: пригодны ли и насколько пригодны они для продолжения жизни не только в желаемом количестве, но и в желаемом качестве, не только в биологическом, но и в социальном смысле.

(Окончание следует)

ВЛАДИМИР ЗОТОВ

КИТАЙ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПО ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ

I

С точки зрения раскрепощения производительных сил перестройка — это тоже революция. Сейчас и Советский Союз осуществляет перестройку. Перестройка уже стала единым процессом в странах социализма. Другого выхода, кроме перестройки, нет.

Чжао Цзыян. Из выступления на совещании кадровых работников 13 мая 1987 года

Китай явился первой социалистической страной, объявившей в начале 80-х годов о том, что осуществляемые в ней социально-экономические преобразования носят революционный характер. Значение этих преобразований сравнивается ни больше ни меньше как с Синьхайской революцией 1911 года, положившей конец правлению императорских династий, и народной революцией 1949 года, в результате которой Китай встал на путь строительства социализма. Такое сравнение, если не принимать его за эффектную метафору, обязывает к очень многому и требует глубокого обоснования.

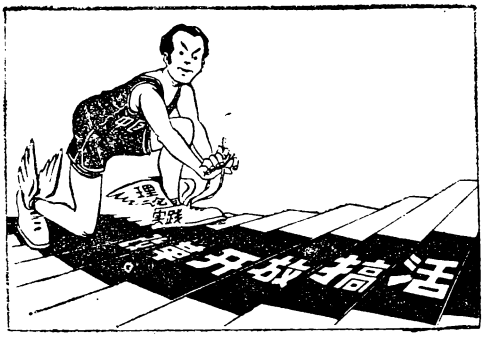
В самом широком смысле революция, как известно, представляет собой коренной переворот в жизни общества. Переворот должен охватить либо производительные силы (например, промышленная революция), либо общественные отношения, либо и то и другое. Главный внешний признак, позволяющий отличить революцию от, скажем, нередкой в странах «третьего мира» простой смены власти борющихся за нее политических группировок — небывалое ускорение общественного развития: громадные сдвиги в структуре производства, ускорение темпов и изменение характера экономического роста, необычайно динамичные социально-классовые перемены.

В Китае началом перестройки[1] принято считать 1978 год. На прошедшем тогда третьем пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва впервые было сказано, что в стране начинается «преобразование многих сторон производственных отношений и надстройки». Пленум провозгласил курс на «реформу всех негодных форм управления, форм деятельности и образа мышления». С тех пор прошло десять лет. Анализ итогов этого периода пока слабо представлен в специализированной научной литературе, не говоря уже о популярных изданиях. Вместе с тем происшедшие за столь солидный срок сдвиги в китайской экономике позволяют достаточно определенно судить, в какой мере сравнение перестройки с революцией — красивая фраза, а в какой — отражение реалий общественного развития.

Начнем с самого заметного, с изменения объемов производства. Здесь ускорение настолько очевидно, что мировая пресса в последние годы не скупится на восторженные оценки: «китайская экономика взлетает как ракета», «невиданный рост», «китайское чудо» и тому подобное. Многие из них не так уж далеки от истины. Памятуя о слабости китайцев к круглым датам и цифрам, статистические органы КНР в прошлом году торжественно объявили о достигнутых «четырех удвоениях». В 1986 году объем национального производства, валовая продукция промышленности и сельского хозяйства, размеры поступлений в госбюджет и реальные доходы на душу населения более чем вдвое превысили уровень 1978 года. За десятилетие, прошедшее после начала перестройки, валового общественного продукта было произведено тоже чуть ли не вдвое больше, чем за предыдущие тридцать лет. Национальный доход стал расти в полтора раза быстрее.

Невероятными выглядят темпы развития сельского хозяйства Китая. Они оказались самыми высокими в мире за весь послевоенный период. Обогнав Советский Союз

[1] Для обозначения современных социально-экономических процессов в Китае используется термин «гайгэ», который может быть переведен на русский язык как «перестройка», «реформа», «преобразование», «реконструкция» и т. д. Вплоть до прошлого года сами китайцы переводили «гайгэ» как «реформа», но в последнее время стали использовать общепринятый в социалистических странах термин «перестройка». С таким изменением можно согласиться, поскольку при всех национальных различиях содержание процесса обновления в китайском обществе имеет общие черты с другими странами социализма.



Прыжок на следующий этаж. *Рисунок из газеты «Цзинцзи жибао».*
(Надпись на ступеньках: «Перестройка, открытая политика, оживление».)

и Соединенные Штаты Америки, страна вырвалась на первое место по производству зерна, хлопка и мяса.

За годы после начала реформы валовые сборы зерновых в КНР увеличились почти на сто миллионов тонн. И это в то время, когда положение с продовольствием в большинстве развивающихся стран ухудшается. По некоторым оценкам сейчас 800 миллионов человек в мире недоедают и 50 миллионов ежегодно умирают от голода. В Китае же благодаря рывку в развитии сельского хозяйства средняя калорийность питания на каждого человека впервые за всю историю страны достигла рекомендуемой медиками минимальной нормы.

Оценить этот факт в полной мере еще предстоит. Тысячелетиями китайский народ боролся с голодом. Этой борьбе была подчинена деятельность всего общественного организма. И вот наконец проблема решена. Создан задел, позволяющий избежать катастрофических последствий, даже если в стране случатся два очень неурожайных года подряд. Это для Китая значит многое. Это позволяет перестроить всю структуру сельскохозяйственного производства, изменить весь образ жизни населения.

Средний уровень годового производства зерна в Китае за последние десять лет возрос с 300 до почти 400 килограммов на человека. Казалось бы, что́ в этом может быть революционного, когда известно, что в развитых странах этот показатель составляет от 800 килограммов до тонны? Но для Китая это переход в иное качество. В течение двух тысячелетий, если судить по дошедшим до нас статистическим данным, уровень 300 килограммов держался как заколдованный. При нем невозможно было выйти из порочного круга: постоянная нехватка продовольствия заставляла увеличивать площади под зерновыми, в то время как вынужденное сохранение монокультурного характера производства тормозило развитие всей сельской экономики, неизбежно сказываясь и на самом зерновом производстве. Теперь появилась возможность из этого круга вырваться. Часть пахотных площадей отдали под хлопчатник, кунжут, арахис и другие незерновые культуры. Не все зерно стало употребляться в пищу, что-то отдали на корм скоту. В результате всего этого за несколько лет производство хлопка и масличных в Китае утроилось, фруктов — удвоилось, мяса — увеличилось в два с лишним раза.

Столь крупные изменения в производстве позволили Китаю совершить невиданный скачок в уровне потребления. Еще в 70-х годах стол китайца не очень-то отличался от того, что ели его предки сто, двести и, может быть, даже тысячу лет назад. Вот, например, описание почти столетней давности, данное европейцем Джоном Макгоуэном, долгое время прожившим в Китае. Если отбросить некоторые детали и неточности, оно еще совсем недавно выглядело вполне современно:

«Всякий, кто поближе познакомится с китайским крестьянином, не только назовет его добрым малым, но проникнется глубокой симпатией к нему. Более всего привлекают его трудолюбие, добродушие и кротость, а главное — отсутствие жалоб на судьбу, несмотря на тяжелые условия жизни. Начать хотя бы с еды, крайне однообразной и к тому же малопитательной. Правда, если он не нищий, он ест три раза в день, но каждый раз это повторение одних и тех же блюд: вареного риса с добавлением турнепса или капусты, рыбы или соевого творога. Во многих местностях Китая даже рис считается дорогим блюдом, и бедные крестьяне едят его не чаще одного раза в месяц, заменяя картофелем».

Однако за последние десять лет пищевой рацион китайцев резко изменился. Если раньше больше половины потребляемого зерна составляли грубые сорта (кукуруза, ячмень и другие), то сейчас — почти исключительно ценные, высококалорийные (рис, пшеница). Общее потребление растительной пищи стало снижаться, а животной — расти. Перед страной теперь стоит задача не просто накормить народ, все равно чем, а обеспечить его достаточным количеством белка, жиров, витаминов. Это уже принципиально иная постановка продовольственной проблемы. В таком виде она стоит и перед нашей страной, и перед некоторыми другими развитыми государствами.

Китай, таким образом, сделал крупнейший шаг к общепринятым в развитом мире стандартам потребления. Конечно, это только первый шаг, за ним должны последовать другие, но значение его огромно. Приближение состава пищи китайцев к европейским нормам повлияет (и уже начало влиять) на общественное сознание, на черты характера миллиардного народа. Можно сказать, что теперь китайцу и европейцу станет легче понимать друг друга. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, можно привести еще одну цитату из книги Макгоуэна «Китайцы у себя дома»:

«По уверению иностранных врачей, работавших долгое время в госпиталях Китая, население здесь почти поголовно страдает несварением желудка, которое вызвано, вероятно, слишком частым употреблением риса и турнепса, составляющего благодаря своей дешевизне неизбежную

приправу к пище в любое время года. Всем известно, что люди с желудочными заболеваниями отличаются причудами, меланхолией и имеют порой довольно курьезные взгляды на жизнь. Если же расстройствами поражена большая часть населения, то, при унаследовании от поколения к поколению психологических качеств, это безусловно должно было сказаться на характере целого народа. Не следует ли отнестись более внимательно к данному обстоятельству? Может быть, в нем кроется объяснение многих особенностей китайского мышления, а также некоторых любопытных событий китайской истории, совершенно непонятных с нашей европейской точки зрения».

В КНР произошли значительные сдвиги в потреблении не только продовольственных, но и промышленных товаров. Здесь также наблюдается приближение к стандартам развитых стран. Так, за последние годы в стране полностью сменился престижный набор товаров длительного пользования. Еще в начале 80-х годов пределом мечтаний большинства семей был, как говорят китайцы, набор из «трех вертящихся и одного говорящего» — велосипед, наручные часы, швейная машинка и мономагнитофон. Но уже к 1984 году потребности в этих «четырех старых вещах» были в основном удовлетворены, а на смену пришли «шесть новых вещей». К ним относятся телевизор (причем если раньше черно-белый, то теперь — цветной), стереомагнитола, стиральная машина, фотоаппарат, электровентилятор (до кондиционеров дело пока не дошло) и холодильник.

Ускорение развития производства и формирование нового типа потребления — важные аргументы в пользу утверждения о революционном характере перестройки в Китае. Но их недостаточно. Главное — за счет чего достигнуто ускорение. В процессе экономических реформ Китаю удалось добиться перелома в интенсификации производства. Наша экономическая литература крайне редко использует показатель совокупной эффективности всех факторов труда, позволяющий определить общую результативность работы людей, техники и т. д. За последнюю четверть века во всех странах — членах СЭВ этот показатель неуклонно ухудшается. Эффективность труда падала и на всем протяжении существования КНР. Но с 1978 года положение изменилось. Впервые результаты производственной деятельности общества стали не только компенсировать затраты, но и давать немного больше.

В Китае, таким образом, начался отход от затратного типа развития. Рост сборов зерна в последнее десятилетие получен целиком за счет повышения урожайности, которая, надо сказать, теперь лишь немного уступает уровню США. Рост промышленного производства в 80-х годах почти на 70 процентов обеспечивается повышением производительности труда. Это меньше, чем в развитых странах, но разрыв выглядит уже не столь безнадежно, как раньше. Например, в Советском Союзе минимальный уровень этого показателя за последние тридцать лет (в годы восьмой и десятой пятилеток) составлял около 75 процентов.

Повышение роли интенсивных факторов — это признак того, что производительные силы Китая совершили скачок. Вполне революционным его пока назвать нельзя, поскольку технологический способ производства принципиально не изменился. По-прежнему в структуре производительных сил живой труд преобладает над другими компонентами — материальными фондами и технологией, тогда как в развитых странах соотношение обратное. Но крупный шаг из средневековья в двадцатый век сделан.

В своей знаменитой книге «Третья волна» американский футуролог О. Тоффлер назвал Китай времен Мао Цзэдуна «крупнейшей страной первой волны», то есть отнес ее к ярко выраженному аграрному типу. Со времени выхода книги не прошло и десяти лет, а утверждение Тоффлера уже не выглядит столь бесспорным. Хотя КНР не принадлежит еще к «мировой индустриальной системе», она в результате перестройки переходит в «весовую категорию» среднеразвитых стран, то есть из первой «волны» во вторую, и завершение этого перехода может осуществить нынешнее молодое поколение китайцев.

2

Вследствие того что существует правда, существует неправда; вследствие того что существует неправда, существует правда. Поэтому совершенномудрый не следует этому различию, а сообразуется с природой и следует естественному течению.

Чжуан-цзы, древнекитайский философ (IV—III в. до н. э.)

Последние два-три года в нашей экономической литературе наблюдается необычайное оживление. На страницах научных журналов высказываются интереснейшие идеи, которые позволяют глубже понять особенности общества, в котором мы живем. Уже широко признано, что противоречия при социализме не затухают, не являются лишь пережитками прошлого, а, как и в любом «нормальном» обществе, служат двигателем прогресса. Многие уже говорят о том, что производственные отношения реального социализма не свободны от антагонистических противоречий. Правда, удобнее всего считать, что антагонизмы объясняются субъективными ошибками — не будь их, может быть, и антагонизмов бы не было. Поэтому противоречия предлагается делить на две группы. Те, которые мы считаем достойными себя, называются «имманентными» социализму, а те, что нам не нравятся,— «не имманентными», то есть появившимися вопреки логике объективных законов в результате допущенных кем-то просчетов.

Такие рассуждения напоминают репризу из популярной телевизионной передачи. Один артист спрашивает другого: «Сколько будет дважды два?» — «Семь».— «Неверно. Теперь уже можно говорить шесть».— «А пять можно?» — «Нельзя. Слишком близко

к четырем». За шутливой формой здесь можно увидеть вполне научное понимание процесса самопознания социалистического общества.

Кто, в самом деле, и на каком основании возьмется точно определить, какие противоречия социализма возникли случайно, а каких избежать просто нельзя? Сейчас происходит сверка прежних мечтаний с реальной действительностью и постепенное, мучительное осознание того, что различия между ними весьма существенны. Нечто похожее блестяще описал Ф. Энгельс применительно к воплощению в жизнь революционных идей французских философов XVIII века. «Они требовали,— отмечал он в «Анти-Дюринге»,— установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму». Когда же «французская революция воплотила в действительность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения оказались, при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем, отнюдь не абсолютно разумными... Одним словом,— заключал Ф. Энгельс,— установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей»[1].

Можно ли считать случайными, вызванными субъективными ошибками общественные явления, многократно повторяющиеся в мировой практике социализма? Например, отчуждение институтов народной власти от самого народа. Или «временные» жертвы ростом благосостояния населения ради ускоренной индустриализации и коллективизации, которые затем приобретают постоянный характер, хотя далеко не все страны находятся в ожидании неизбежно надвигающейся войны. Или культы личности, сопровождаемые массовыми репрессиями, «культурными революциями» и т. п. Наука еще ответит на эти вопросы. Пока же, может быть, первоочередное значение имеет скрупулезное изучение общественных процессов не такими, какими мы бы хотели их видеть, а какие они есть в действительности. И не в одной социалистической стране, а во многих. Только тогда можно будет выявить общие закономерности и с полным основанием случайное назвать случайным.

Китай с этой точки зрения представляет особый интерес. Потому, прежде всего, что является второй после Советского Союза крупной страной, вставшей на путь строительства социализма. А величина территории — очень важное условие сравнения. Одни и те же преобразования в большой и малой стране могут иметь совершенно разные результаты. Во-вторых, вследствие того, что нынешнюю перестройку Китай осуществляет уже десять лет и накопил достаточно солидный опыт, являющийся частью коллективного опыта стран мирового социализма.

Для начала необходимо ответить на вопрос, можно ли перестройку в Китае назвать революционной применительно к производственным отношениям. Ответственность здесь велика. Ведь если в обществах реального социализма существуют антагонистические противоречия, значит, революционный характер перестройка будет носить только в том случае, если она снимает антагонизмы.

Наличие антагонистических противоречий в Китае вызвано главным образом сохранением в строящем социализм экономически отсталом обществе более или менее ярко выраженных элементов докапиталистических отношений. Речь идет не просто о пережитках прошлого в их общепринятом понимании, борьба с которыми после преодоления сопротивления эксплуататорских классов переносится из сферы классовых отношений в личностные. После революции в течение длительного периода времени сохраняются старые по фактическому содержанию отношения собственности, хотя юридическая их оболочка меняется. Они представляют собой отношения господства и подчинения, строящиеся на внеэкономическом принуждении.

Эту мысль надо пояснить подробнее. Советскими учеными доказано, что в старом Китае функции принуждения выполняло прежде всего государство, поскольку (и в этом его отличие от европейских государств) было вынуждено руководить производством, организуя крупные общественные работы (например, строительство ирригационных систем). После революции особая роль государства сохранилась и даже еще более возросла. Ведь в Китае не было класса-гегемона, способного управлять обществом. Во главе социалистического строительства встал не класс, а государство как особый социальный организм. Причем выбор средств строительства новой жизни у него был крайне ограничен. Социализм немыслим без развития крупной промышленности. Но для создания современной индустрии нужны накопления. А взять их, кроме как из деревни, неоткуда. Деревня же сама себя еле способна прокормить, она не создает прибавочного продукта. Значит, без принуждения не обойтись. И принуждение это осуществляется по отношению не к эксплуататорскому классу, а к трудящемуся крестьянству.

Реальных экономических рычагов, которые могли бы заставить крестьян вырвать из собственного рта далеко не лишнюю горсть риса, у нового государства почти не было. Оставался один выход — прямое политическое давление. Ну, а раз на первый план опять выходит внеэкономическое принуждение, то неизбежно возникает (точнее, сохраняется, как и в старом обществе) отчуждение непосредственного производителя от продукта своего труда, от самого процесса труда и от средств производства. Работник начинает смотреть на средства производства как на «ничьи» или же персонифицирует свое отчужденное отношение, видя в чиновниках государственного аппарата враждебную ему силу. Так и возникает антагонизм.

Груз внеэкономического принуждения — беда не только одного Китая. И более развитые социалистические страны сталкиваются с этой проблемой. Не случайно

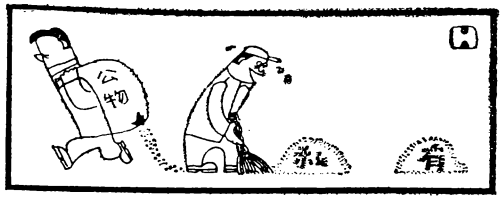
[1] К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 20, с. 267—268.

столь широко распространен термин «командная экономика», применяемый к определенному этапу развития социалистических производственных отношений. Сейчас уже, видимо, невозможно сказать, существовал ли для государств мировой системы социализма другой путь. Многие советские экономисты считают, что не существовал, и даже причисляют отношения господства и подчинения к преимуществам социалистического строя. Известный исследователь П. А. Игнатовский, например, писал, что борьба за социалистическое экономическое сознание в процессе строительства нового общества обязательно предполагает «решимость и государственную обязательность (принуждение)», которые могут выступать и как «голое администрирование»[1].

Реализация отношений собственности через внеэкономическое принуждение и отчуждение труда — это база, на которой возникают наиболее острые противоречия социализма. Опросы общественного мнения в Китае показывают, что лишь 15 процентов работников государственного сектора в городах чувствуют себя хозяевами на своих предприятиях. Мне запомнилась одна передача по китайскому радио: выступал старый рабочий, рассказал, как бережно в первые годы после революции заводские рабочие относились к оборудованию, с каким энтузиазмом помогали экономить сырье, материалы и электроэнергию. Но постепенно, жаловался он, все больше людей стало охватывать безразличие. И сейчас рабочих уже с молодых лет не волнует жизнь родного предприятия. Почти никто не следит за порядком на рабочих местах. Поломка станка чаще вызывает радость, чем огорчение. За целый день никто не поднимет оброненную деталь, на изготовление которой ушло много времени, не выключит напрасно горящий свет и т. п.

Особенно резко ощутимо отчуждение китайского крестьянства. Когда в конце 70-х годов были предприняты первые попытки использовать материальное стимулирование, сразу стало видно, насколько глубоко укоренилось у сельских жителей неприязненное отношение ко всему «государственному». Крестьяне перестали выходить на обязательные ирригационные работы, забросили многие резервуары, колодцы, дамбы. В отдельных случаях водохозяйственные объекты даже намеренно разрушались.

Интересно, что отношение крестьян к государственной и кооперативной собственности оказалось разным. Кооперативное имущество они чаще расценивают как «свое». В китайской прессе, например, сообщалось об уничтожении крестьянами лесных массивов, находящихся в государственной собственности. В одном из районов провинции Чжэцзян крестьяне вырубили леса на принадлежащих государству участках земли, а дрова продали или сожгли сами. В другом районе было убито несколько человек в результате стычки между крестьянами и представителями местной власти из-за вырубки деревьев. В то же время если лесные участки находились в кооперативной, а не государственной собственности, то крестьяне, как правило, их не вырубали, а делили между собой на условиях подряда.



Общественное и частное. *Рисунок из газеты «Цзинцзи жибао».*

(Надпись на мешке: «Общественное имущество». Надпись на холмиках: «Частная собственность».)

Весьма характерной была реакция крестьянства на введение семейного подряда. В 1979 году китайская пресса постоянно сообщала о случаях раздела общественного имущества между дворами. В одном из уездов провинции Хэнань крестьяне поделили между собой все, что поддавалось дележу: общественные постройки, скот, мелкую сельскохозяйственную технику, запасы семенного зерна. В другом районе пошли еще дальше и стали делить даже то, что, казалось бы, и разделить невозможно. Например, разбирали по частям тракторы. А с тачками, скажем, поступали так: колесо забирал один крестьянин, а кузов — другой. Большой резонанс получил случай в провинции Шаньдун, где крестьяне, получив разрешение перейти на семейный подряд, ворвались в сельский клуб, забрали столы и стулья, разрушили само здание, а кирпичи и камни разнесли по дворам.

Отчуждение глубоко проникает в социально-классовые отношения, отгораживая друг от друга многочисленные сословия, слои и группы. Отчужденные отношения в Китае сложились между крестьянством и рабочим классом, между беднейшими слоями и остальными жителями деревни, между работниками городских предприятий разных форм собственности и т. д. Порой такое противостояние выливалось в прямую враждебность. В конце 70-х годов в провинции Хунань, например, были часты случаи массовых нападений крестьян на шахтеров и рабочих местных промышленных предприятий. Нередко при столкновениях применялось оружие, были жертвы.

Наиболее изолированным стал слой ганьбу — кадровых работников партийно-государственного аппарата. По их численности — а она превышает 20 миллионов человек — Китай прочно удерживает одно из первых мест в мире. Слой этот весьма неоднороден. Многие его представители — честные, преданные делу социализма люди. Они жестоко пострадали в годы «культурной революции», и именно в их среде вызрела идея общественной перестройки. Но, оказавшись в силу объективных условий главными носителями методов «командной экономики», ганьбу все в большей степени самоизолировались. Среди них неизбежно росло число людей, неспособных соразмерить возможности предоставленной им политической власти с личными амбициями.

[1] См. «Коммунист», 1983, № 12, с. 66—67.

На этой почве родились злоупотребление властью, взяточничество, вымогательство и другие негативные явления, вызвавшие рост недовольства в стране. Наряду с «большим» культом личности возникли малые культы и культики, распространившиеся по всей стране. Их разоблачение широко проводилось в конце 70-х годов. Выяснилось, например, что один из секретарей парткома провинции Аньхой построил для своих личных целей тюрьму, в которой годами содержались и подвергались пыткам неугодные ему люди. Одна из бывших узниц — а всего в тюрьме томилось около девятисот человек — показала, что ее подвешивали за руки к потолку камеры и били палками. В ходе разбирательства этот бывший руководитель был обвинен во взяточничестве, изнасилованиях, издевательстве над человеческим достоинством. По свидетельству обслуживающего персонала, он заставлял подчиненных «снимать ему носки, мыть ноги и выносить за ним ночной горшок».

Самое печальное, что от таких явлений невозможно быстро избавиться. Вот уже совсем свежий пример. В апреле прошлого года население провинции Юньнань было потрясено происшедшим в одном из уездов случаем. Крестьянин, отгоняя от своих дверей дерущихся собак, нечаянно убил одну из них палкой. К его несчастью, эта собака принадлежала одному из местных начальников — секретарю парткома уездного винзавода. Его семья отказалась от предложенных в качестве компенсации денег и потребовала от крестьянина, чтобы тот в буквальном смысле заменил им собаку: ходил на четвереньках, сидел рядом с обеденным столом и грыз бросаемые ему кости, сторожил дом и спал под дверью. Хозяева убитой собаки потребовали также, чтобы крестьянин совершил траурный обряд над ее могилой. В течение трех дней представители уездного парткома пытались уговорить зарвавшегося руководителя отказаться от своих требований. Но он отвечал: у моей семьи много денег, вся она состоит из ганьбу и членов партии, мы работаем в руководящих органах, поэтому компенсация нам не нужна, мы лишь хотим проучить убийцу собаки и утолить тем самым свой гнев. На четвертый день беднягу-крестьянина заставили-таки облачиться в траурные белые одежды, зажечь благовония и пройтись на четвереньках по улице. Конец у этой истории благополучный, времена в Китае сейчас уже другие. За оскорбление человеческого достоинства семья ганьбу была арестована.

Подобного рода случаи из китайской жизни вряд ли так уж сильно удивят советского читателя. За последние годы из публикаций прессы мы узнали о таких злоупотреблениях, особенно в среднеазиатских и закавказских республиках, что поразить нас уже трудно. Главное, на что хотелось бы обратить внимание: все эти явления — одного порядка. Они — следствие не просто случайного появления плохих руководителей, а объективных общественных отношений — внеэкономических отношений господства и подчинения, когда страдающая сторона не имеет достаточных средств защиты, поскольку находится в состоянии личной зависимости. Как можно было заставить китайского крестьянина производить продукцию, нужную ему самому, но которую у него насильственно изымали? Только старым, докапиталистическим способом, то есть «намертво» прикрепив его к земле. Поэтому с 1958 года сельские жители КНР потеряли право свободного выбора места жительства, работы и учебы. Так они оказались в личной зависимости от государства или своего кооператива, «народной коммуны» и т. д. Точно так же в городах рабочие оказались прикрепленными к предприятиям. Не имея возможности сами поменять место работы, они были обязаны к тому же привести на свой завод детей по достижении ими трудоспособного возраста.

Без ликвидации всех существующих форм личной зависимости, без преодоления в целом отношений господства и подчинения нельзя избавиться от злоупотреблений властью как общественного явления. Можно ужесточить наказания, можно устроить кадровую карусель, а злоупотребления останутся. При всем том, что в процессе перестройки создается нетерпимое отношение ко всяческим проявлениям превышения власти, до тех пор пока внеэкономическое принуждение не перестает господствовать, единственное, чего удается добиться,— это не оставлять такие факты безнаказанными. Только за первые пять месяцев 1987 года органы прокуратуры КНР рассмотрели почти пятнадцать тысяч дел о должностных злоупотреблениях, вызванных бюрократизмом и стремлением к личной наживе. Более пятисот из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Изучение противоречий современного китайского общества подтверждает справедливость критики советским философом А. П. Бутенко одной из глубоко укоренившихся догм политэкономии социализма, в соответствии с которой социалистические производственные отношения «дают простор» для развития производительных сил[1]. Этот ошибочный тезис, смешивающий формальную и фактическую стороны производственных отношений, сыграл на практике крайне негативную роль. Руководствуясь им, можно было не обращать внимания на необходимость совершенствования общественных отношений. В результате реальное развитие последних имело стихийный характер, а за новой формой продолжало сохраняться старое содержание.

На то, что создание новых социальных институтов сводилось порой к простой «смене вывески» при сохранении старых клановых, кровнородственных отношений, обращалось внимание в Китае еще в период создания советских районов в 20—30-е годы. Мао Цзэдун в одном из своих докладов, датированных 1928 годом, признавал: «В основе общественного устройства повсюду лежит родовая организация, которая состоит из людей одной фамилии. Зачастую оказывается, что в сельских партийных организациях, созданных по территориальному признаку, все члены ячейки носят одну фамилию, а собрание ячейки является попросту собранием людей из одного ро-

[1] См. «ЭКО», 1987, № 4, с. 135.

«Разведчик». *Рисунок из журнала «Хэйлунцзян хуабао»*.
(Надпись на указателе: «Перестройка».)

да. В этих условиях создавать «боевую большевистскую партию» действительно очень трудно» [1].

Самые, казалось бы, «революционные» формы общественной организации в Китае на практике стали идеальной «нишей», в которой выжили многочисленные средневековые пережитки. Так, в ходе обследования «народных коммун» уезда Дэнсянь провинции Хэнань, проведенного в начале 80-х годов, было установлено, что в ряде наиболее неблагополучных хозяйств плохое положение дел вызвано фактическим вытеснением «коммунной» организации родовыми отношениями. Представители разных кланов, забросив свои производственные обязанности, принялись сводить друг с другом счеты на почве каких-то старых разногласий. Начались ссоры, стычки, переходившие порой в массовые потасовки, в которых участвовали целыми деревнями.

Клановые отношения, скрывающиеся за «социалистической» оболочкой,— лишь одно из поверхностных проявлений остатков традиционной общественной культуры. В основе этой культуры лежат представления, которые американский исследователь Дж. Скотт в середине 70-х годов назвал «морально-экономическими». Их суть сводится к тому, что в условиях непрекращающейся борьбы с голодом из всех возможных вариантов экономических решений общество избирает не тот, который обеспечивает наивысшую эффективность производства, а тот, что содержит наименьшую степень риска, поскольку цена этого риска — человеческая жизнь. Принцип «кто не рискует — тот не снимает сливки» в таком обществе неприемлем. Ведь ошибка может привести к голодной смерти тысяч, а порой и миллионов людей.

Основные принципы и признаки «моральной экономики» имеют на первый взгляд немало общего с социализмом. Они основаны на примате целей социальных над экономическими. Большое значение имеют традиции коллективного труда, который предполагает предварительное согласование, «планирование» совместной деятельности. На сходстве этом часто «ловятся» исследователи, принимая элементы старых отношений за ростки новых. На самом же деле происходит деформация социализма, при которой самое смелое на вид «забегание вперед» оборачивается возвратом к дремучему средневековью.

Вот, например, что происходит с осуществлением принципа социальной справедливости. «Морально-экономическая» его трактовка предполагает систему социального обеспечения для бедствующих семей и ограничение роста доходов наиболее имущих слоев, что поддерживает относительное единство общества. Такой подход при строительстве социализма означает не что иное, как реализацию принципа уравниловки. Традиционное сознание подавляющего большинства членов общества просто не приемлет положение, при котором кто-то может иметь доходы, значительно превышающие средний уровень.

Когда в китайской деревне в процессе современной перестройки стали появляться зажиточные дворы, это вызвало, да и продолжает вызывать немалые социальные коллизии. Средства массовой информации КНР сообщают о многочисленных случаях притеснений, запугиваний зажиточных крестьян, физических расправ с ними, погромов и т. п. В январе 1985 года сообщалось, например, о крестьянине-садоводе из Синьцзяна, который не вынес преследований односельчан и покончил с собой. Казалось бы, сейчас, когда официальная линия партии осуждает уравниловку и поощряет материальное стимулирование, те, кто в соответствии со своим трудовым вкладом получает высокие доходы, должны открыто высказывать возмущение такими случаями. Но нет. Большинство из них еще не могут перешагнуть через традиционные представления. Запуганные угрозами типа: «скоро мы обрубим тебе хвост», «когда свинья жиреет, ее режут», «твой доход больше, чем у прежних помещиков, скоро тебе достанется», они готовы скорее отдать часть заработанного, чем выступить против неофициального общественного мнения, которым умело манипулирует определенная часть руководящих работников. Достигшие материального достатка вынуждены одаривать своих родственников и соседей дорогими подарками, устраивать пиршества, делать добровольные (без кавычек!) пожертвования на «нужды общества».

Еще одна характерная черта «моральной экономики» — неприятие технических и хозяйственных нововведений. Известно, что орудия труда китайских крестьян по своей конструкции не менялись тысячелетиями. Понятия «научно-технический прогресс» просто не существовало. Сохранилась эта черта и после революции. Например, в 50—60-х годах крестьяне юга Китая попросту бойкотировали внедрение новых моделей плугов, повышающих производительность труда в земледелии. В конце 70-х годов в провинции Цинхай вспыхнули волнения из-за того, что руководство провинции попыталось заменить традиционно выращиваемый голозерный ячмень на другие, более ценные сорта зерновых. В несколько преображенном виде «морально-экономические» принципы действуют и в промышленности, существенно тормозя развитие производства.

[1] Мао Цзэдун. Избранные произведения. т. 1. Пекин, 1967, с. 110—111.

3

Напридумали реформ — больше ганьбу
на прокорм,
Переводят на подряд — ганьбу тащат
все подряд.
Ганьбу пирует, рабочий потеет,
А управленец стал богатеем.

Современная китайская частушка

Итак, мы выяснили, что наиболее острые противоречия современного китайского общества коренятся в отношениях внеэкономического принуждения. Скачок в развитии производительных сил, происшедший в последние годы, создал определенные предпосылки для изменения этих отношений, ибо позволил решить извечную проблему Китая — накормить народ. Теперь у командных методов появилась альтернатива. Реализовать ее можно по-разному, в том числе и так, как описано в этой язвительной частушке. Что же произошло на самом деле? Перестройка в КНР началась с отношений в сельском хозяйстве. Путь был выбран, можно сказать, классический для социалистической страны, найденный еще В. И. Лениным. В работе «Великий почин» он описал типичную ситуацию, весьма схожую с кризисным положением, в котором оказался Китай в результате «культурной революции». «Мы все хорошо знаем,— отмечал он,— основное условие падения производительности труда, которое наблюдается не в одной России, а во всем свете: разорение и обнищание, озлобление и усталость, вызванные империалистической войной (в Китае — «культурной революцией».— *В. З.*), болезни и недоедание. Последнее по важности занимает первое место. Голод — вот причина. А чтобы устранить голод, нужно повышение производительности труда и в земледелии, и в транспорте, и в промышленности. Получается, следовательно, какой-то порочный круг: чтобы поднять производительность труда, надо спастись от голода, а чтобы спастись от голода, надо поднять производительность труда» [1].

Выход В. И. Ленин видел в «немедленных и серьезных мерах», способных в кратчайшие сроки поднять производительные силы крестьянского хозяйства. Реализовать эти меры он предлагал невзирая на неизбежный рост капиталистических элементов. «Не того надо бояться, — говорил В. И. Ленин на X съезде РКП(б),— что мелкая буржуазия и мелкий капитал вырастет. Надо бояться того, что слишком долго продолжается состояние крайнего голода, нужды, недостатка продуктов, из которого вытекает уже полное обессиление пролетариата, невозможность для него противостоять стихии мелкобуржуазных колебаний и отчаяния. Это страшнее» [2].

Н. И. Бухарин, одним из первых поддержавший тогда ленинский призыв к нэпу, тоже указывал на «порочный круг» и делал вывод: «Отсюда ясно: для поднятия крупной промышленности нужно увеличить количество продуктов во что бы то ни стало и какими угодно средствами.

Во что бы то ни стало! Потому что иначе у нас не будет элементарнейших предпосылок для этого подъема. На призывах к трудовому энтузиазму без сырья, без продовольствия и т. д. далеко не уедешь, как показал опыт предыдущего» [1].

Применительно к деревне речь могла идти о непосредственном материальном стимулировании трудовой активности крестьян. Отличие крестьян от рабочего класса в том, в частности, и состоит, что их не всколыхнуть «геройской инициативой отдельных групп» (Ленин), им необходимо дать возможность напрямую, без посредников соединиться со средствами производства, с землей. «Заинтересовать надо крестьянина,— подчеркивал В. И. Ленин.— Иначе не выйдет. Я дрова пилю из-под палки. Сельское хозяйство из-под палки вести нельзя» [2].

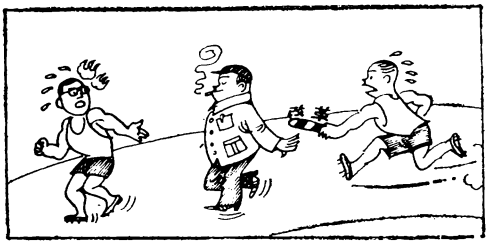
В Китае эта истина давно известна. Причем наряду с собственным опытом этому немало способствовало и знакомство с политикой большевиков в России. Выдвигая свой знаменитый лозунг «Каждому пахарю — поле», Сунь Ятсен, идеи которого до сих пор чрезвычайно высоко ценятся в КНР, в одном из своих выступлений говорил: «Сейчас, после аграрных преобразований, крупные помещики в России ликвидированы и вся земля распределена между крестьянами так, что каждый пахарь имеет свое поле. Получив землю, пахарь платит налог только государству и не знает никакой арендной платы помещикам — это и есть самый справедливый метод разрешения земельного вопроса. Осуществляя революцию, мы должны воспринять этот справедливый русский метод и сделать так, чтобы каждый пахарь получил свое поле. Только в этом случае революцию можно будет считать завершенной» [3].

Первым крупным шагом современной перестройки в Китае стал повсеместный переход на семейный (подворный) подряд. Эта мера была понятна и получила поддержку всех без исключения, даже самых забитых и неграмотных крестьян. Она укладывалась в традиционные представления и отвечала тысячелетним чаяниям народа. С точки зрения политической экономии семейный подряд привел к непосредственному соединению производителя со средствами производства.

Результат оказался ошеломляющим. Необходимость в принуждении крестьян практически отпала. Они начали работать на полях по 12 — 14 часов в сутки, отказывая себе во всем ради того, чтобы получить как можно больше продукции. Ненужными оказались призывы «упорно трудиться, не бояться голода, не бояться смерти». Это проявилось во всем. Отпала, например, необходимость в наглядной агитации. При посещении кооперативов и «коммун» в различных сельских районах Китая мне бросилась в глаза одна деталь: повсюду продолжали висеть лозунги вре-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 20—21.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 84.

[1] Н. Бухарин. Новый курс экономической политики. Петроград, 1921, с. 3.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 384.
[3] Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985, с. 686.



Задержка в эстафете. *Рисунок из журнала «Хэйлунцзян хуабао».*

(Надпись над эстафетной палочкой: «Перестройка».)

мен «культурной революции», которые, казалось, диссонировали с происходящими изменениями в жизни деревни. На самом деле все было очень просто: эти лозунги просто перестали замечать. Не снимали их по элементарной причине — из-за полного безразличия.

Производственные результаты перехода на семейный подряд известны — решение продовольственной проблемы. После этого необходимость агитировать за перестройку китайское население отпала сама собой.

Первый шаг был сделан. И — при том, что ждать его пришлось тысячелетия, — он оказался самым легким. Семейный подряд поставил в деревне много новых вопросов, решать которые надо было безотлагательно: где крестьянам получить первоначальный капитал, у кого купить необходимые средства производства, как сбывать продукцию. Одно преобразование повлекло за собой необходимость других, те в свою очередь — третьих и т. д. Перестройка стала диктовать свою волю. Причем действовать приходилось в жестком цейтноте, ибо каждое промедление оборачивалось новыми, зачастую очень неприятными проблемами, постоянно грозя срывом всего начатого дела.

Опыт работы китайских крестьян на условиях семейного подряда показал, что эта форма организации производства способна дать лишь кратковременный эффект. Мобилизуя все имеющиеся факторы производства в первые три года, от силы пять лет, она дает значительный прирост продукции. Но после того как сливки сняты, оказывается, что без кардинальных изменений в условиях производства дальнейшее развитие невозможно. Необходимы удобрения, техника, то есть то, что само крестьянское хозяйство дать не способно. В наиболее развитых районах семейный подряд, недостаточно стимулируя крестьян к использованию интенсивных технологий, становится даже тормозом развития.

Семейный подряд, таким образом, не явился панацеей от всех бед китайской деревни. Но он поставил крестьянское хозяйство в условия, при которых оно может двигаться дальше в соответствии с объективными экономическими законами. Политическому руководству осталось лишь делать выбор из разумных альтернатив. Стихийно в сельских районах страны обозначились два хорошо известных пути. Первый — фермерское хозяйство, второй — повторное, теперь уже добровольное (в отличие от «народных коммун») кооперирование.

Что такое фермерское хозяйство в условиях Китая? Это крестьянские дворы, которые откололись от старого коллективного хозяйства «народных коммун» либо после перехода на семейный подряд, либо в результате занятий индивидуально-трудовой деятельностью. Представляют они, можно сказать, цвет сегодняшней деревни, наиболее образованную, квалифицированную, трудолюбивую часть крестьянства, а также демобилизованных из армии и ганьбу. Разумеется, это и самая зажиточная часть сельского населения, доходы ее порой в несколько раз превышают средний уровень.

Современные владельцы фермерских хозяйств в Китае — это, по сути дела, первые в стране крестьяне в нашем, европейском, понимании. Их главная забота — не избежать голодной смерти, а произвести столько продукции, чтобы ее хватило и себе на прокорм, и немного на продажу. Интересы их, как и писал В. И. Ленин, — двойственны: они и трудовые, и мелкобуржуазные.

Фермерские хозяйства специализируются на выпуске определенного вида продукции (поэтому в Китае их называют «специализированные дворы») с целью ее продажи на рынке. Поэтому их развитие определяют законы рынка. Углубление специализации вызывает потребность в концентрации производства, которая, как известно, может происходить двумя способами: либо за счет поглощения слабых хозяйств более сильными, либо на основе кооперации. И тот и другой можно увидеть в китайской деревне.

Примером того, как происходит развитие сильных дворов за счет слабых, может служить «червячный бум», случившийся в 1983—1984 годах в уезде Вэньань провинции Хэбэй. Вначале один крестьянин занялся разведением земляных червей (используемых как корм для домашней птицы) и стал получать высокие доходы. Всего за несколько месяцев его начинание подхватили еще 545 дворов. В это предприятие крестьяне вложили в общей сложности миллион юаней. Результатом «червячного бума» стало прямо-таки сказочное обогащение 22 дворов, получивших доход в четверть миллиона юаней,— и разорение всех остальных семей.

Процесс кооперирования китайской деревни в условиях современной перестройки происходит, если можно так выразиться, «по Чаянову». Реабилитированный у нас в стране в прошлом году выдающийся ученый-аграрник А. В. Чаянов разработал в 20-е годы оригинальную теорию сельскохозяйственной кооперации. Одним из ее основных положений был вывод о том, что концентрация производства в рамках одного хозяйства выше определенного уровня становится экономически невыгодной, так как ведет к снижению эффективности производства. «Если расчленить организационный план хозяйства на отдельные отрасли, то для каждой отрасли можно бу-

дет определить свой, ей только присущий уровень оптимальных размеров,— писал он.— Для луговой продукции мы будем иметь свой оптимум, для полеводства — свой, и притом для зерновых культур — один, для пропашных — другой, для семенной продукции — третий, для разных форм переработки — различный для каждой и, как правило, весьма высокий и т. п.» [1]. Опыт КНР в точности подтверждает это. Обследования, проведенные в сельских районах Китая в последние годы, выявили такие оптимумы для разных хозяйств (например, при выращивании риса семейными хозяйствами северного Китая размер земельного участка не должен превышать 0,7 га, поголовье коров в семье — не более восьми и т. д.). Установлено, что, скажем, в растениеводстве урожайность крупных хозяйств в полтора раза меньше, чем «оптимальных» по площади, а рентабельность в 3,4 раза ниже.

Китайский опыт перестройки подтверждает также мнение Чаянова о том, что для развертывания кооперации крестьянское хозяйство должно достичь определенного уровня развития. «Новые хозяйственные объединения», как стали называть в Китае кооперативы новой волны, создаются почти исключительно зажиточными дворами, в то время как основная масса семей, остающихся пока еще в натуральном производстве, просто не испытывает потребности в объединении. «Не доросшие» до кооперации крестьяне, как это наглядно проявилось в годы «большого скачка», способны на создание организаций только типа «народных коммун», которые ведут деревню не вперед к социализму, а назад — в средневековье.

Наконец, в китайской деревне сейчас подтверждается та очевидная истина, что кооперирование, если оно осуществляется добровольно, распространяется сначала в до- и послепроизводственной сферах. Наиболее быстро развиваются снабженческо-сбытовые и кредитные кооперативы. Производственное кооперирование происходит в последнюю очередь. Причем не во всех отраслях оно себя экономически оправдывает, в результате чего долгое время сохраняются виды деятельности с абсолютным преобладанием индивидуально-семейных форм.

Анализируя особенности сельскохозяйственных кооперативов, Чаянов делал вывод, что «кооператив будет весьма полезен, если он даже вовсе не будет приносить никакой чистой прибыли как предприятие, но зато увеличит доходы своих членов»[2]. И наоборот, крестьяне откажутся от кооператива, если он не приносит каждому его члену ожидаемого дохода. Поэтому тяга крестьянских хозяйств к объединению чрезвычайно неустойчива. По мере развития производства она то усиливается, то падает. За последние годы в Китае наблюдалось по крайней мере три такие «волны», которые в разное время прокатывались по разным районам. Вначале крестьяне объединялись для того, чтобы поставить свои семейные хозяйства на ноги, поскольку в одиночку они не могли справиться с нехваткой средств. После того как так называемое первоначальное накопление было обеспечено, хозяйственные объединения стали распадаться. Затем при переходе от ручного труда к «полумеханизации» (то есть использованию простейшей техники) коллективистские начала вновь усилились. Наконец, когда некоторые крестьяне разбогатели настолько, что у них появилась возможность покупать в складчину трактора и другие сложные сельскохозяйственные машины, поднялась третья волна кооперирования.

Китайские ученые заметили, что перестройка общественных отношений в деревне, бурно протекавшая в первые годы после начала реформ, к середине 80-х годов стала замедляться. Развитие хозяйств фермерского типа и кооперативных объединений все чаще наталкивалось на препятствия, связанные с отставанием перестройки городской экономики. Ведь преобразования коснулись лишь отношений внутри самой деревни, а связи между деревней и городом оставались такими же неравноправными, как и были. Кроме того, снижение роли командных методов и использование государством экономических рычагов в отношениях с крестьянством потребовало более глубоких изменений на уровне всего народного хозяйства — ломки старой системы планирования, кредитно-финансового механизма, организационных структур. Одним словом, логика перестройки подминала под себя все новые и новые сферы хозяйствования.

4

У завода есть права — а не используешь,
В казне есть деньги — а не потратишь,
На складах есть товары — а не продашь.

Современная китайская частушка

Китайская экономика предстает перед нами в двух составных. Одна (основа ее — сельское хозяйство) до недавнего времени была чисто традиционной. К ней были неприменимы понятия, которые мы используем, когда говорим об экономике развитых государств. Вторая часть (ее сердцевина — крупная городская промышленность) уже более близка нам. Закономерности, которые в ней действуют, имеют немало общего со всеми социалистическими странами.

Промышленное развитие Китая сейчас вышло приблизительно на уровень Советского Союза 60-х годов, когда мы предприняли очень серьезную попытку вырваться из тисков «командной экономики». Возникает соблазн посмотреть, есть ли что-либо общее между нашей реформой 1965 года и современной реформой в городской экономике Китая.

Оказывается, есть, и немало. В последнее время многие советские экономисты отмечают, что реформа 1965 года не принесла ожидавшихся результатов. Может быть, действительно, многие ожидания не оправдались. Но вольно или невольно осу-

[1] А. В. Чаянов. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М., 1927, с. 51.

[2] Там же, с. 52.

ществленные преобразования способствовали качественным изменениям реальных отношений собственности, как того и требовал возросший уровень производительных сил. Только изучены эти изменения пока слабо. По выражению советских ученых П. О. Авена и В. М. Широнина, на смену модели «командной экономики», с ее отсутствием диалога между «верхом» и «низом» и жесткими наказаниями за невыполнение приказов, в 60-е годы пришла «экономика согласований» или «торга». Эта новая модель представляет собой уже не «улицу с односторонним движением», а скорее игру двух партнеров, при которой одному известно то, что неизвестно другому, и наоборот. «Ресурсами (аргументами) вышестоящих в этом «торге»,— замечают авторы, — являются материально-технические средства, деньги, нормативы, различные способы поощрения руководителей и т. п.; ресурсами нижестоящих — выполнение производственных заданий (или обещания этого выполнения), участие в периодических кампаниях (особенно в сельском хозяйстве) и т. д.» [1].

Так же как и наше народное хозяйство на рубеже 60—70-х годов, городская экономика Китая в результате проведенной перестройки перешла в иное качество. «Командная модель» как бы размылась, уступив место «торгу». Меры, при этом принятые, достаточно типичны для всех социалистических стран. Это — уменьшение сферы директивно-приказного планирования (из 120 регламентируемых центром основных видов продукции осталось 60), ограничение фондирования ресурсов (из 256 основных видов ресурсов центр теперь устанавливает лимиты лишь на 26), некоторые послабления в зарегламентированной донельзя системе ценообразования (в 1978 году государством устанавливалось 97 процентов всех цен, сейчас — 47). Немного расширились права «низов». Переведенные на хозрасчет предприятия — а их более половины общего числа — получили возможность (по крайней мере формальную) самостоятельно использовать до 40 процентов прибыли, устанавливать между собой прямые связи и т. д.

Важным направлением перестройки явилось развитие различных форм кооперативной собственности и индивидуально-трудовой деятельности. Это направление реформы не потребовало никаких дополнительных средств и дало в то же время неплохие результаты. Так, несколько десятков тысяч убыточных государственных предприятий было сдано в аренду коллективам и частным лицам. Большинство из них в короткий срок поправило свое финансовое положение. В Харбине, например, после передачи одного из заводов в аренду его коллективу на следующий же год вместо прежних 280 тысяч юаней понесенных убытков было отчислено государству 250 тысяч юаней прибыли, и это не считая тех средств, которые предприятие оставило себе. Любопытно, что директор на заводе остался прежний,— это наглядно показало: дело чаще всего не в плохих руководителях, а в негодной экономической системе.

Опыт Китая подтверждает общую для социалистических стран закономерность: в отраслях, где можно получать достаточно высокую прибыль (добывающая промышленность и ряд отраслей тяжелой индустрии — не в счет), предприятия государственной собственности в ее нынешнем виде не способны работать так же эффективно, как кооперативные предприятия. В первой половине 80-х годов затраты на каждый юань произведенной государственными заводами продукции были в четыре раза выше, чем в кооперативном секторе.

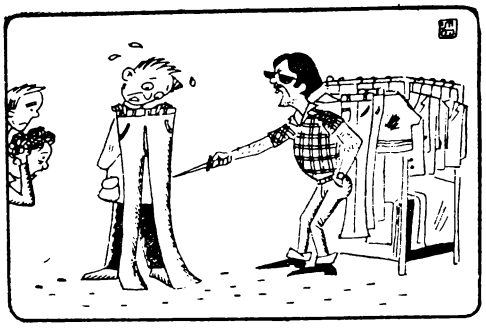
Как и в начале нашей реформы 60-х годов, преобразования в городской экономике КНР способствовали заметному оживлению производства. Значительно возросли масштабы капитального строительства. Объем введенных за период с 1979 по 1986 год основных фондов в полтора раза превысил их общую стоимость на конец 1978 года. Темпы роста китайской промышленности не увеличились по сравнению со средним уровнем 50—70-х годов, но это «сохранение формы» (11 процентов в год!) на фоне общего замедления темпов в мире выглядит уникальным для страны с такой большой территорией.

Однако из-за того, что отношения господства и подчинения лишь поменяли форму, не изменившись по существу, это оживление приобрело нездоровый оттенок. После того как командные методы управления были «разбавлены» (а не заменены) экономическими, у предприятий появились собственные интересы, существенно отличающиеся как от интересов государства, так и от интересов потребителей. Сразу распространились типичные для такой системы отношений негативные явления. Среди них можно назвать разбухание внебюджетного капитального строительства с характерными для него долгостроем и дублированием сооружаемых объектов, безудержный рост сверхнормативных запасов сырья и материалов, выпуск в погоне за «валом» не пользующейся спросом продукции, снижение ее качества и т. д.

Проведенные за последнее время в Китае обследования показали, что до 10 процентов исправного оборудования промышленными предприятиями никак не используется. Во все возрастающих масштабах растет затоваривание продукции. К середине 1987 года складские запасы сталепродуктов достигли 30 миллионов тонн, что составляет более половины годового производства КНР. И это при жесточайшем дефиците стали в стране, заставляющем ежегодно импортировать до 20 миллионов тонн.

Действие формул «рост ради роста», «производство ради производства» в последние годы предстало как бы в обнаженном виде. Выборочная проверка промышленных предприятий ключевых отраслей выявила, что только за один 1986 год удельный вес заводов, выпускающих продукцию, пользующуюся повышенным спросом, снизился с 48 до 28 процентов, а «работающих на склад» — возрос с 11 до

[1] «Известия Сибирского отделения АН СССР». Серия «Экономика и прикладная социология». Вып. 3, № 13, 1987, с. 34.



— Кто сказал, что это вам не подходит? *Рисунок из газеты «Цзинцзи жибао».*

20 процентов. Неудивительно, что каждое пятое государственное предприятие в Китае убыточно, а объем убытков достигает 4—5 миллиардов юаней в год.

Налицо характерный для «экономики согласований» разрыв между спросом и предложением во всех секторах народного хозяйства. Общество, задыхаясь от нехватки буквально всего, производит продукцию, которая ему не нужна. Но поскольку не потреблять эту ненужную продукцию оно не может (другой-то просто нет!), то потребление носит ярко выраженный вынужденный характер.

«Экономика согласований» на поверку выступает очередным циклом «экономики дефицита», подробно описанной в 70—80-е годы венгерским ученым Я. Корнаи.

Работы Я. Корнаи представляют собой по сути дела попытку выявить реальные закономерности развития социалистической экономики, или, как говорит М. Жванецкий, являются лишь «поисками логики». Если непредвзято взглянуть на экономические законы, представленные в учебниках политэкономии социализма, то нетрудно видеть, что многие из них не действуют в реальной жизни или же действуют не так, как предполагается. Прежде всего, это относится к закону планомерного и пропорционального развития. Как в Китае, так и в Советском Союзе до сих пор не было ни одной пятилетки, в ходе которой народное хозяйство развивалось бы так, как это предусмотрено планом.

Дело здесь даже не в том, что те или иные важнейшие показатели не выполнялись либо перекрывались, порой вдвое и более. Главное — это несоблюдение основных экономических пропорций. Структура народного хозяйства формируется, по существу, стихийно, по своим внутренним законам. Создается своеобразный механизм хронической несбалансированности, в котором наиболее важное звено составляет несоответствие между спросом и предложением, проявляющееся как дефицит. Механизм этот обладает, видимо, саморегулирующей способностью, благодаря чему рост диспропорций происходит не непрерывно, а как бы волнами или циклами.

Предположение о наличии такой закономерности было высказано еще в 20-е годы, но впоследствии оказалось основательно забытым. В 1928 году Н. И. Бухарин, выражая достаточно распространенные в то время взгляды, писал, что «рост нашей экономики и несомненнейший рост социализма сопровождается своеобразными «кризисами», которые, при всем решающем отличии закономерностей нашего развития от капиталистического, как будто «повторяют», но в вогнутом зеркале, кризисы капитализма: и тут и там диспропорция между производством и потреблением, но у нас это соотношение взято «навыворот» (там — перепроизводство, здесь — товарный голод; там спрос со стороны масс гораздо меньше предложения, здесь этот спрос больше предложения)...» [1] Проанализировав данные о степени удовлетворения спроса основных секторов народного хозяйства, Бухарин пришел к выводу: «Таким образом, дефицит (дефицит!) быстро возрастает (возрастает!) по всем решительно категориям потребителей»[2].

«Экономика согласований» представляет собой высший и, будем надеяться, последний этап развития «экономики дефицита». На первом этапе, в период ускоренной индустриализации, достигаемой ценой господства командных методов управления, дефицит настолько всеобъемлющ, что в нем растворяются все общественные отношения. В результате он становится почти невидимым. Товарный голод настолько велик, что потребители — будь то промышленные предприятия или население — заглатывают все, что им предлагают производители, не обращая внимания на качество продукции. По мере роста масштаба и объемов производства, повышения — пусть незначительного — уровня жизни товарный голод перестает быть абсолютным. Потребитель получает возможность немного подумать о том, что же ему предлагается. И конечно, обнаруживает, что это ему не подходит. Тогда впервые он начинает предъявлять претензии. Так зарождается «экономика торга».

Перестройка в промышленности Китая, так же как наша реформа 60-х годов, обнажила экономические противоречия социализма. Они выявились во всех сферах народного хозяйства, но наиболее заметными для широких масс стали в сфере потребления. Раньше городское население КНР значительную часть продуктов получало по карточкам. Имея мизерный денежный доход, оно предъявляло минимальные требования к торговле и сфере обслуживания и как должное принимало полупустые полки магазинов. К тому же государство принуждало часть денег класть на сберкнижку (эту практику можно сравнить с займами 50-х годов в нашей стране).

Когда же началась перестройка и были пущены в ход методы материального стимулирования, доходы горожан стали быстро расти. В результате разрыв между спросом и предложением в Китае стал очевидным. Если в середине 70-х годов

[1] Н. Бухарин. Заметки экономиста. «Правда», 30 сентября 1928 г.
[2] Там же.

покупательная способность населения КНР удовлетворялась на 90 процентов, то сейчас — не больше чем на 75. Объем отложенного спроса в масштабах страны вырос с 1978 года более чем в пять раз и превзошел отметку в 250 миллиардов юаней, из которых 170 миллиардов — в сберкассах и более 80 миллиардов — «в чулках». Эта сумма составляет две трети от годового розничного товарооборота Китая.

Накопление у населения больших денежных средств, которые не могут быть превращены в потребительские товары, является основой спекуляций, взяточничества и других преступлений, классифицируемых в Китае как экономические. Только за пять первых месяцев прошлого года органы прокурорского надзора КНР возбудили около 23 тысяч уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями.

Деформировалось сознание значительной части общества. У многих китайцев стал вырабатываться стереотип «равняться во всем на звонкую монету». В августе прошлого года по стране прокатилась волна возмущения после публикации в печати статей, рассказавших о трагическом случае в г. Чэнду. Там на глазах у толпы в полсотни человек тонула в озере четырнадцатилетняя школьница. Пытавшиеся ее спасти одноклассницы обратились к стоявшим рядом взрослым за помощью. В ответ они услышали: «А кто заплатит мне, если я ее спасу?» Одни требовали уплатить им 200—300 юаней, другие — тысячу. Кто-то стал разглагольствовать о перенаселенности Китая, для которого высокая смертность даже полезна. Пока шли препирательства, девочка утонула. Когда стали искать труп, двое мужчин вызвались за деньги выловить его и только после того, как получили 80 юаней, полезли в воду.

Опыт перестройки в Китае свидетельствует, что в рамках «экономики дефицита» самые прогрессивные преобразования, способствующие замене командных методов управления на экономические, не дают желаемого результата, одновременно принося с собой новые серьезные проблемы. Обследования, прошедшие в 1986 году в г. Шанхае, показали, что из переведенных на хозрасчет предприятий лишь 3 процента могут реализовывать его полностью. В то же время 43 процента из них не имеют возможности воспользоваться своими правами и наполовину, а 4 процента фактически не получили никаких новых прав.

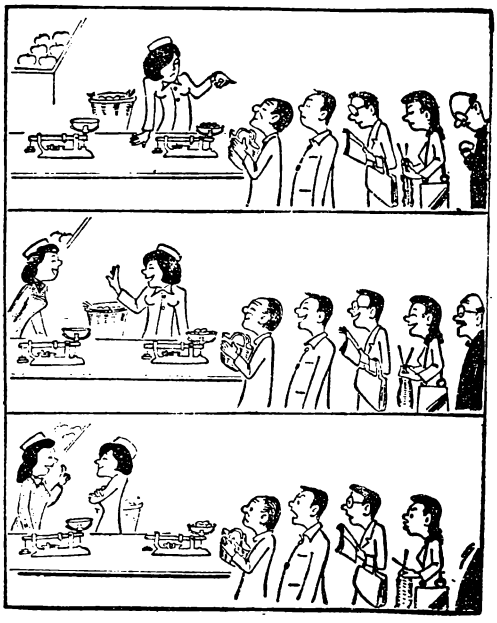
Случается и такое: предприятие использует самостоятельность, а она в результате оказывается не на пользу, а во вред обществу. За первое полугодие 1987 года из-за различных финансовых нарушений, допущенных предприятиями, государственный бюджет недополучил 4 миллиарда юаней. Производители, пользуясь предоставленным им правом самостоятельно реализовывать часть продукции, стали спекулировать дефицитным сырьем и готовыми изделиями. Резко увеличилось число «подпольных» предприятий. Только в 1985 году их было официально выявлено 27 тысяч.

Переход от «командной экономики» к «экономике согласований» в Китае, явившись качественным скачком, не разрешил тем не менее самого острого противоречия, связанного с отношениями господства и подчинения. Отчуждение непосредственных производителей от средств производства и процесса управления сохранилось.

Но на нынешнем этапе перестройки это противоречие и не могло быть решено. Роль осуществленных преобразований состоит в другом. Они показали, по какому пути надо идти дальше. На третьем пленуме ЦК КПК 12-го созыва в 1984 году было подчеркнуто, что частичные изменения в хозяйственном механизме не помогут: нужно перестроить его целиком, комплексно. И главным звеном, как заявил тогда нынешний Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян, должна стать реформа системы финансов и цен. Только сделав единой и твердой денежную единицу, только приведя всю систему цен в соответствие с общественно необходимыми затратами и величиной спроса, можно подорвать основы «экономики дефицита». Мало этого. Хозяйственный механизм представляет собой лишь поверхностный слой производственных отношений. Сейчас в Китае говорят о том, что перестройка должна распространяться вглубь и дойти непосредственно до отношений собственности.

Но и этого тоже мало. Перестройка в экономике даст сбой, если она не будет дополнена политической реформой. Сложившиеся сейчас в Китае экономические отношения «торга» со свойственной им лукавой игрой между «верхами» и «низами» начинают заполнять все поры общественного организма. Это значит, что реальной становится опасность еще большего разрастания всеобщего приворства, пока-

Сфера медвежьих услуг. *Рисунок из газеты «Цзинцзи цанькао».*



зухи, разрыва между словом и делом, так знакомых нам по периоду застоя.

Опасность эта особенно велика для Китая, где отношения между людьми традиционно строились как бы по заранее распределенным ролям. Избавление от такой системы отношений современное руководство КПК видит только в последовательной демократизации жизни общества.

5

Развертывание и углубление перестройки экономической системы все более настоятельно требует перестройки политической системы. Процесс развития социалистического товарного хозяйства должен сопровождаться процессом создания социалистической демократии. Без реформы политической системы реформа экономической системы не может быть до конца успешной.

Чжао Цзыян. Вперед по пути социализма с китайской спецификой (доклад на XIII съезде КПК)

Состоявшийся осенью прошлого года XIII съезд Коммунистической партии Китая принял два решения, важность которых трудно переоценить. Это, во-первых, решение об ускорении и углублении экономической реформы. Углубление реформы, согласно установкам съезда, означает разделение прав собственности, владения и распоряжения средствами производства между государством, предприятием и работниками; большее разнообразие в формах собственности — как государственной (например, создание акционерных предприятий), так и кооперативной и индивидуально-трудовой; преобладание экономических методов управления; строгое соблюдение принципа оплаты по труду. Ускорение реформы предполагает прежде всего создание в стране единого рынка, который позволил бы в полной мере использовать закон стоимости, а также комплексную реформу цен.

Во-вторых, съезд принял решение о перестройке политической системы Китая, демократизации общественной жизни. Объявлена беспощадная борьба «трехглавому дракону»: авторитаризму, бюрократизму и остаткам феодализма. Борьба эта велась и раньше, но без особого успеха. Например, в начале 80-х годов была проведена организационная перестройка административных органов. Подводя ее итоги, китайская печать отмечала, что временное улучшение наступило, но вскоре все вернулось на круги своя. Во многих районах положение даже ухудшилось: вместо уменьшения числа административных органов произошло его увеличение, вместо сокращения штатов — двух-трехкратное разбухание. Такие явления знакомы всем социалистическим странам.

Принципиальное отличие нынешней политической реформы в Китае от разнообразных «мер по совершенствованию» в прошлом состоит в том, что она, подобно реформе экономической, носит комплексный характер. Это не «улучшение» отдельных сторон деятельности партийно-административного аппарата, зачастую оборачивающееся усугублением его недостатков, а коренная ломка. Перестраивается все: организационная структура, функциональные обязанности партийных и государственных органов, система принятия решений, система подбора и выдвижения кадров, институты демократического управления, законодательство. Главным звеном перестройки является строгое разделение функций партийных и государственных органов.

Сейчас даже трудно себе представить, каким станет Китай, если проект политической реформы будет воплощен в жизнь. Страна, практически не имеющая в своей истории демократических традиций, логикой социалистического строительства подведена к осознанию невозможности дальнейшего развития без перестройки политической системы.

Безусловно, от мер по демократизации общественной жизни в КНР ждать быстрых результатов наивно. На XIII съезде КПК было подчеркнуто, что преобразование политической надстройки — это «процесс постепенного движения вперед по мере накопления опыта». В его ходе одинаково опасны и необоснованные задержки, и забегание вперед. Обе крайности, несмотря на свою противоположность, играют одну и ту же роль: тормозят перестройку.

На начальном этапе реформ в Китае (конец 70-х — начало 80-х годов) наибольший вред приносил первый уклон. Но по мере того как успехи становились все более очевидными, число скептиков неуклонно уменьшалось. По данным китайских социологов сейчас не более 2—3 процентов населения страны считают перестройку преждевременной и негативно повлиявшей на их жизнь. К середине 80-х годов большую силу приобрели настроения другого рода — авангардистские. Опрос жителей 17 крупных городов КНР, проведенный в 1986 году, показал, что 46 процентов из них оценивают реформы как «недостаточно быстрые».

Авангардизм в условиях перестройки — явление сложное и многоликое, характерное не только для Китая. Его корни уходят в первые годы строительства социализма. Именно стремление «подхлестнуть» историю, охватив широчайшие слои общества с неразвитой политической культурой, создало предпосылки для отказа партийного руководства ряда социалистических стран от первоначальных экономических программ, которые учитывали объективные закономерности. Так были пересмотрены решения XV съезда ВКП(б) в Советском Союзе и VIII съезда КПК в Китае. В обоих случаях взамен научно обоснованных планов протащили нереальные планы «скачков», реализация которых привела к возникновению острейших и ставших затем хроническими диспропорций, снижению уровня жизни городского населения, голоду в деревне и т. д. (в КНР по самым скромным подсчетам «большой скачок» унес 10 миллионов человеческих жизней).

Носителей авангардистских настроений в сегодняшнем Китае можно разделить на три основные группы. Первая, самая мас-

совая, генетически связана со старым авангардизмом. Испытывая справедливое недовольство существующим экономическим и политическим положением в стране, многие ратуют за то, чтобы разом, одним ударом решить все проблемы. А поскольку самый быстрый результат дают насильственные методы, авангардисты к ним и призывают, разумеется, из самых лучших побуждений и в самых благородных целях. Если в экономических вопросах предлагаемые ими решения оказываются на первых порах достаточно эффективными (здесь можно провести аналогию с введением госприемки в нашей стране), то, когда назревает необходимость в перестройке политической системы, несовместимость декретирования и демократии становится очевидной.

Ко второй группе, представленной преимущественно интеллигенцией, относятся те люди, которые раньше и глубже, чем большинство населения и руководящих работников, осознали всю остроту общественных противоречий в стране. Но, не обладая достаточным политическим опытом, они стали выступать с оценками и требованиями, быть может, по сути верными, но преждевременными, не соответствующими реальным условиям данного момента (вспомним: дважды два пока шесть, а не четыре). Трагизм положения этих людей в том, что, будучи гонимыми за свои взгляды в прошлом, они и сейчас, когда многие их чаяния сбываются, оказываются на обочине истории. Средоточием расхождений этой группы с официальной линией стала дискуссия по проблемам отчуждения и гуманизма в социалистическом обществе. В 1983 году, когда страна решала куда более прозаические задачи, несколько крупных ученых и общественных деятелей КНР подняли вопрос о гуманном отношении к человеческой личности и, что называется, «нарвались» на политические обвинения.

Наконец, третья группа, деятельная часть которой едва ли составляет доли процента взрослого населения Китая, — это люди, разочаровавшиеся в социализме как общественном строе. Они считают, что капиталистические отношения создадут более благоприятные условия для развития страны. С этих позиций они рассматривают программу политической реформы как половинчатую, якобы не ведущую к созданию в стране «подлинных свобод». В 1986—1987 годах против этих лиц в КНР развернулась кампания борьбы с «буржуазной либерализацией».

В числе «авангардистов», таким образом, оказываются люди с самыми разными взглядами на вопросы социалистического строительства. За исключением сравнительно небольшого числа антисоциалистических элементов, все они, равно как и их антиподы — сторонники медленных темпов преобразований,— вовсе не убежденные враги перестройки. В периоды столь крутых перемен неизбежно возникает множество мнений или, как говорил на XIII съезде КПК Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян, «отклонений гносеологического порядка». И одним из важнейших признаков демократизации социалистического общества является учет интересов многих социальных групп, терпимое, без «наклеивания ярлыков» отношение к различным точкам зрения. «Нельзя считать,— подчеркнул Чжао Цзыян на съезде, — закостенелыми взгляды тех, кто временно не поспевает за ходом реформ; так же как нельзя называть буржуазной либерализацией взгляды тех, кто далековато зашел в раскрепощении сознания».

В одной из услышанных мною в Китае частушек были такие слова: «В пятидесятые годы люди помогали друг другу, в шестидесятые — упорядочивали друг друга, в семидесятые — сводили счеты друг с другом, в восьмидесятые — поднялась суматоха, а что будет в девяностые — неясно».

«Суматоха» последнего десятилетия всколыхнула Китай. Глубочайшие изменения проникли во все сферы жизни общества. Перестройка вошла в каждый дом, сдвинула веками не менявшиеся установки общественного сознания. Возможно, не все преобразования оказались одинаково удачными. Не обошлось и без ошибок. Но революционное обновление началось. Китай прочно встал на путь социального прогресса, которым идут сейчас страны мирового социализма, начавшие общественную перестройку.

◆

Критика

Сопоставляя точки зрения

КЭРОЛ и ДЖОН ГАРРАРД

ТОРЖЕСТВО ТРАДИЦИИ

Американская литература факта и русская художественная литература[1]

I. Отметая сомнения

Европейский роман как литературная форма возник pari passu[2] с определенными мировоззренческими сомнениями, порожденными распространением светского гуманизма, и начал вытеснять более ранние повествовательные формы, такие как жития святых и рыцарские романы. Роман коренится в открытии сомнения, в осознании утраты прежних ценностей и необходимости как-то жить с этим чувством неуверенности. Ближе к концу XIX века сомнение, углубляясь, превратилось в то, что Мэтью Арнолд в стихотворении «Берег Довера» назвал «вечным знаком печали», оставленным отступающим Морем Веры: «И вот мы здесь как бы во мраке поля брани /Сметенные неясным шумом битвы и борьбы/ В которой ничего не ведающие войска с лязгом ударяются о ночь». При всем своем отчаянии Арнолд имел основания быть уверенным, что читатели поймут его мысли и язык, которым они изложены.

Точно так же и авторы романов в XIX веке, особенно в России, признали роль случайности в человеческом существовании, то есть принцип «бытия как присутствия»; их протагонистами были уже не герои прошлых времен, а противоречивые персонажи. Мир, в котором действовали герои романа, не только был прочно связан с миром, в котором жили его читатели, но в нем существовали и те же самые проблемы, какие были важны для читателя. Читатели открывали роман, возлагая на него, как литературный жанр, одинаковые надежды. Например, сосредоточенность русского романа на «проклятых вопросах» бытия, и жизни в условиях царского режима в частности, являлась пунктом неписаного договора, который авторы как бы заключали с читателями.

В десятилетия, составившие середину века, незыблемость этого договора была подорвана, и условия его решительно изменились.

Современный социолог Херберт Дж. Гэнс жалуется, что мы больше не можем полагаться на роман высокой культуры, как он его называет,— мы назовем его для краткости высоким романом — по части «анализа социальной действительности». Причина в том, что поле американского романа было захвачено критиками и писателями-постмодернистами, которые «утратили веру в способность языка соответствовать неязыковым формам жизни». Вместо того чтобы попытаться проникнуть в самые недра языка в поисках более глубокого смысла, они просто затуманивают его, причем не так, как это сделал бы поэт в стремлении сотворить красоту из звуков и ритма, а как бы создавая средства-

[1] Мы сосредоточиваем внимание на русском советском романе, оставляя в стороне русские романы, написанные или опубликованные за пределами Советского Союза, а также романы, написанные в СССР, но на языках других советских народов. Однако мы вполне отдаем себе отчет в том, что многие из этих произведений, хоть они и не попали в поле нашего зрения, могут оказывать весьма существенное влияние на развитие русского советского романа. *(Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев; прим. авторов статьи.)*

[2] В ногу, одновременно *(лат.)*.

ми языка перегородку, отделяющую читателя от реальности. Язык как таковой рассматривается в качестве единственной реальности, достойной внимания. Постмодернистская американская литература стала по большей части солипсистской, в результате чего «сюжет» многих романов сводится почти целиком к повествованию от первого лица о том, как писатель пишет или пытается писать роман. Это «созерцание пупка» повествования романистами, представляющими высокую культуру, отчасти происходит из их желания отмежеваться от тупой интеллектуальной пошлости весьма значительной сферы американской массовой культуры (например, телевидения, «мыльной оперы»), а отчасти из-за сомнений в том, сохраняет ли хоть какой-то смысл «рассказывание историй» в мире, где господствуют наука и технология, и особенно электронные средства коммуникации — видеофильмы и телевидение.

Подобный же кризис несколько раньше в нашем столетии поразил и русский роман, особенно в период сталинизма, и даже на какое-то время после 1953 года. Многие романисты в Советском Союзе тоже перестали писать об обществе, каковым оно б ы л о, считая своим долгом вместо этого описывать действительность «в ее революционном развитии», как то предписывалось канонами социалистического реализма. С его сосредоточенностью на «положительном герое» и непреложным требованием оптимизма, с его утверждением, что писатель обязан занимать нравоучительную, целесообразную позицию, социалистический реализм отрицал всякое сомнение и приказывал новому Морю Веры катить свои волны вспять, на советский берег. В сталинский период место покровителя искусств занял социальный заказ, и писатели были обязаны производить рекламные рукописи, которые с таким же успехом можно было бы квалифицировать и как разновидность «капиталистического реализма». Их задачей было представить советскую действительность в наилучшем свете, а не выразить свое собственное, независимое отношение к ней.

Не знающая сомнений, бодрая уверенность социалистического реализма и его многочисленные предписания чрезвычайно осложнили работу романистов. Потому что, если все в обществе известно, все решено, тогда писатель не может критиковать его или вершить над ним моральный суд. Отвергнув независимую авторскую позицию великих русских писателей XIX века, искусство советского романа в сталинскую эпоху стало приходить в упадок, особенно это сказалось непосредственно в послевоенные годы. Этот упадок и его причины были открыто осмыслены в советской печати в последние годы, равно как и пагубное влияние постмодернизма было осуждено в прессе американской.

Еще в 1972—1975 годах «Вопросы литературы» затеяли дискуссию о социалистическом реализме, в ходе которой некоторые критики, в частности Д. Ф. Марков, предложили рассматривать его как «открытый» метод, восприимчивый к переменам моды и веяниям времени. Похоже, что такой подход получил значительную поддержку. В апреле 1987 года «Литературная газета» возобновила дискуссию, опубликовав взвешенную критическую статью о соцреализме Валентина Лукьянина под вызывающим названием «Устаревшие формулы и незыблемость». Редакция приглашала высказываться на эту тему, учитывая, что положения, провозглашенные более 50 лет назад, ныне проходят тщательную проверку: «Бесспорно лишь одно, что теория социалистического реализма... далеко не всегда помогает осмыслить сложные, неоднозначные явления современной литературы».

Американские романисты не испытывали давления извне, обязывающего их отражать действительность в благоприятном свете, но со времени второй мировой войны все большее число их выбирало свой собственный, иной способ обретения уверенности — это уверенность, идущая от невозмутимой самоуглубленности. Многие романисты — представители высокой культуры — предпочитают рассуждениям о «бытии как присутствии» гносеологическое положение о том, что человек никогда ничего ни о чем достоверно знать не может.

Подобные положения как социалистического реализма, так и американского постмодернизма создают особую проблему для романа, который традиционно существует между двумя полюсами сомнения: положительным и отрицательным; и исключительно позитивная определенность романов сталинских времен, и абсолютный негативизм, определяющий большую часть серьезной американской литературы, гасят романную искру.

Причины здесь разные, но результат один. И американские, и русские романисты утрачивали интерес к социальным и этическим проблемам, которые всегда придавали силу этому жанру и делали его краеугольным камнем любой национальной литературы.

Не проводя излишне развернутых параллелей, можно все же отметить сходство между советскими романистами, пользующимися официальным покровительством, и американскими «писателями, проживающими по месту службы», в университетах, где они преподают писательское мастерство. В обоих случаях они со всей очевидностью заинтересованы в создании романов по заранее определенной формуле, и им нет нужды принимать во внимание обычного читателя или книжный рынок, чтобы обеспечить себе средства к существованию. Советские авторы, пишущие то, чего требует ортодоксальная критика, публикуются огромными тиражами, при этом на вкусы публики и читательский спрос часто большого внимания не обращают. Такой кровосмесительный подход не только лишает читателя надежды на то, что его взгляды будут как-то учтены, но не имеет и особого экономического смысла.

Многие авторы высоких романов в Америке в своем высокомерном отношении к широкой читающей публике воодушевляются «сенсационным утверждением, что **чтение** невозможно», как сформулировал это недавно обозреватель «Нью-Йорк Таймс бук ревью» Кристофер Рикс. Рикс остроумно подметил, что такая легко завоеван-

ная уверенность позволяет уклоняться от трудных вопросов: «Все это нужно затем, чтобы определить (асболютно окончательно, абсолютно непреложно) чтение как нечто такое, чем оно никогда и не думало быть. И — гопля! — вы уже пополнили ассортимент невозможного — а это всегда очень радостно, ибо с тем, что невозможно, гораздо легче жить, чем с проблемами, которые надо решать».

Такая методика, так же как и методика социалистического реализма, игнорирует вековые, в муках обретенные позиции европейской мысли и культуры.

Со своей стороны, читатели в обеих странах отказываются сдавать позиции и продолжают читать именно то, что приходится им по вкусу. Более того, они кучно держатся в стороне от высокого романа в Соединенных Штатах и романов социалистического реализма в Советском Союзе. Советская издательская статистика вводит в заблуждение, ибо сообщает данные не о количестве проданных, а о количестве напечатанных книг. Несмотря ни на что, советский читатель все же «выжил», и в печати ясно высказываются сейчас предположения, что комплиментарная мишура будет сорвана наконец с так называемых «бестселлеров». Поскольку в Соединенных Штатах культура в значительной степени есть коммерческое предприятие, наилучшим доказательством того, что американцы отвергают солипсистские романы, является их отсутствие в списках бестселлеров.

Существует важное различие между литературными ситуациями двух стран. Плюрализм американского общества гарантирует читателю постоянное наличие большого выбора книг — некоторые считают даже, что разнообразие это чрезмерно и есть в нем некоторая неразборчивость[3]. Напротив, в Советском Союзе для целого поколения читателей (а то и больше) выбор чтения был строго ограничен. Сегодняшняя ситуация — хоть она и значительно исправилась — все еще оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют публикуемые в советских газетах и журналах многочисленные письма читателей.

В Америке прозаик, пишущий высокие романы, сам пришел к выводу, что человек ничего достоверно знать не может; в Советском Союзе ему было сказано, что все уже известно. В обоих случаях писатель переставал владеть материалом, не будучи в состоянии судить о нем с нравственных позиций,— а это ведет к этическому релятивизму, или даже аморальности в постмодернистском романе и к нравственной слепоте в прозе социалистического реализма. Решением проблемы в обоих случаях могло бы стать возвращение к национальным традициям и возрождение договора между читателями и писателем, возобновление диалога, необходимого для обогащения литературы, и создание условий для того, чтобы она стала одновременно и вместилищем и катализатором национального сознания.

II. Американская литература факта: преступление и наказание

Как для многих новых явлений, было очень трудно найти для этого рода литературы название, которое удовлетворяло бы всех. Мы пользуемся термином «литература факта»[4], потому что этот словесный гибрид удачно сочетает понятие «литературы» и указание на фактографичность жанра, то есть как бы напоминает о его «родителях» — журналистике и романе. В литературе факта есть много тематических пластов. Например, роман «Армии ночи» Нормана Мейлера (в заголовке есть скрытый намек на «Берег Довера») повествует об участии автора в марше на Пентагон в разгар движения против войны во Вьетнаме. Мы, однако, сосредоточимся на книгах о реально совершенных, доподлинных убийствах. Причина такого выбора одновременно и прозаична и философична. Во-первых, этот пласт наиболее популярен у читателей, о чем свидетельствует нижеследующий короткий список бестселлеров: «Обыкновенное убийство» — продано более 5 миллионов экземпляров; «Бостонский душитель» — более 2,3 миллиона; «Шурум-Бурум» — 6,7 миллиона; «Песнь палача» — 1 миллион; «Роковое видение» — 3 миллиона. Но важнее другое: произведения о доподлинных убийствах обходят философскую дилемму, которая истерзала высокий американский роман. Как увидим, авторов таких книг не тревожит вопрос о том, может ли человек знать что бы то ни было наверняка. Чтобы вынести обвинительный приговор «без каких-либо разумных сомнений», достаточно, чтобы судья убедил суд присяжных.

Литературу факта, повествующую о доподлинных убийствах, следует отличать от «документального романа» типа «Бесов» Достоевского или «Красного и черного» Стендаля, в котором тоже может быть зафиксирован подлинный случай. Границы между ними четко обозначил Мейер Левин в авторском предисловии к роману «Принуждение» (1956), сюжет которого был основан на сенсационном убийстве, совершенном Леопольдом и Лоубом[5].

«Если я воспроизвел подлинные события, значит ли это, что и персонажи книги — реальные люди? Я бы не стал, как это принято у современных романистов, отрицать это, тем более что в такое отрицание никто не верит, по крайней мере до конца. Да, я придерживаюсь известных

[3] Сколь разнообразным бывает такой выбор, можно судить по прилавкам любого книжного магазина или даже книжного отдела супермаркета. Ежегодник «Писательский рынок» предоставляет честолюбивым авторам не менее тридцати разных «рынков художественной литературы». Здесь и приключения, фантастика, и половые извращения, и ужасы, и детективы, и любовные истории... Другой список, документальных жанров, еще длиннее, но литературы факта как самостоятельного жанра в нем нет.

[4] По-английски «faction», то есть «fact»+«fiction».

[5] Речь идет об убийстве, совершенном студентами Н. Леопольдом и Р. Лоубом в июле 1924 года в Чикаго. Увлекшись идеями Ницше, они решили самоутвердиться таким образом в качестве «сверхлюдей». Был убит приятель младшего брата одного из них. Убийство носило полуритуальный характер. Убийцы были приговорены к 99 годам лишения свободы каждый.

событий. Однако некоторые эпизоды у меня полностью вымышлены, а у некоторых персонажей нет никаких реальных прототипов в описываемой жизненной ситуации. Хотя действие взято из жизни, необходимо помнить, что мыслями и чувствами персонажей наделяет автор соответственно тому, как он их себе представляет».

Этот пассаж дает ясное представление о том, как художественная литература описывает подлинное преступление в форме романа, а именно: автор частично или полностью воссоздает события, имевшие место в действительности, но оставляет за собой право созидать характеры и наделять их мыслями и индивидуальными чертами на основе собственного воображения. Словом, хоть автор и не мог бы начать свою книгу с традиционного для художественной литературы предуведомления: «Любое сходство персонажей с какими бы то ни было реальными лицами, ныне здравствующими или умершими, случайно», документальный роман Мейера Левина все же числится в каталоге Библиотеки конгресса по разделу «Художественная литература». После «Принуждения» уже не было больше сколько-нибудь значительного художественного романа о доподлинном преступлении. Следующая книга, имевшая дело с реальным преступлением,— «Обыкновенное убийство» (1965) Трумена Капоте[6] — положила начало новому жанру, литературе факта (хотя в каталоге библиотеки конгресса она может значиться в разделе «Документальная проза» по теме «Социальная патология», включающей истории об убийствах). Этот подраздел литературы факта — романы о доподлинных убийствах — детище двух соответствующих подразделов художественной литературы и журналистики: детектива с убийством и репортажа.

Мы обратимся в этой статье к трем произведениям литературы факта, пользующимся наибольшим успехом сегодня. В «Обыкновенном убийстве» рассказывается об убийстве в Канзасе с целью ограбления фермера и его семьи двумя вооруженными бандитами. Книга глубоко взволновала американских читателей, которых в 60-е годы поразил страх перед насилием, случайной жертвой которого мог стать каждый. Об этом же свидетельствует и тогдашняя популярность фильма «Бонни и Клайд».

«Роковое видение» (1983) Джо Макгинниса — книга об убийстве Джеффри Макдоналдом, врачом из подразделения «зеленых беретов», своей беременной жены и двух малолетних дочерей. В рассказе об этом преступлении, весьма характерном для Америки 70-х годов, так называемом «домашнем» насилии, надругательстве над женой и детьми, подчеркнут еще один важный мотив — слабохарактерность самого Джеффри Макдоналда, его нарциссизм. По выражению Кристофера Лэша, «культурный нарциссизм» стал в 70-е годы величайшей угрозой для развития американского общества.

[6] Опубликован в «ИЛ», 1966, № 2—4.

«Последняя жатва. Американская трагедия» (1986) Эндрю Х. Малколма рассказывает о замышлявшемся фермером из Миннесоты и совершенном его сыном убийстве банкира, согнавшего их с земли, скупив все их долговые обязательства. Книга должна была показать в миниатюре национальную трагедию — разорение семейных ферм в самом сердце Америки.

Знаменитая английская писательница, автор детективных романов П. Д. Джеймс в интервью по поводу демонстрации телесериала, поставленного по ее роману «Закрой ей лицо», утверждала недавно, что читатели детективов с убийствами — это в основном серьезные, законопослушные граждане, обеспокоенные проблемами морали и находящие удовольствие в замысловатых построениях, пищу которым дает детективная история с убийством»[7].

Похоже, что и у литературы факта читательская аудитория — это серьезные, законопослушные граждане, которым нравится верить, что закон обеспечивает справедливость и что здравый смысл все еще является путеводным ориентиром для всего, что составляет нашу «действительность». Читатель ожидает, что рассказчиком в произведении литературы факта выступит кто-то, обычно журналист, имеющий привилегию получать информацию из источников, читателю недоступных,— от жертвы, если она еще жива, или от близких и друзей жертвы. Голос рассказчика здесь — это не голос всезнающего автора романа XIX века, способного проникать не только в мысли, но и в подсознание своих персонажей. Рассказчик в произведении литературы факта должен опираться на источники. Каждый раз, когда на страницах книги воспроизводятся мысли какого-то действующего лица, должен быть указан источник, из которого эти мысли почерпнуты, будь то интервью, найденный дневник или, скажем, письма.

Читатель ожидает, что авторский комментарий, чего бы он ни касался, всегда будет ненавязчивым. Читатель ожидает также, что автор всегда будет верно излагать историю: из хаотического нагромождения событий и фактов, окутывающих преступление, он должен отобрать то, что составит логически связное повествование о сути дела. И хоть он спрессовывает события и время, он все же обязан воссоздать происшествие во всех деталях. Таким образом произведение литературы факта, основанное на доподлинном убийстве, сводится к чему-то вроде сказочной морали — то есть некоему «истинно сказано» (vere dictum).

В отличие от традиционного детектива, который кончается раскрытием преступления, литература факта должна провес-

[7] Формулировка П. Д. Джеймс может помочь понять невероятный успех романа Умберто Эко «Имя розы», который был задуман как исследование с целью решения некоторых сложных вопросов семиологии. В целом публика, не обращая внимания на слишком сложную цель Эко (и ученые толкования академической критики), читала роман как детектив об убийстве, совершенном в средние века,— любопытная иллюстрация «преднамеренного заблуждения» и лишнее подтверждение наших аргументов.

ти читателя через весь судебный процесс, а иногда и через долгий процесс обжалования приговора, столь характерный для американской судебной практики. Кульминация книг о доподлинных убийствах, как правило, соответствует не моменту разоблачения преступника, а моменту признания его виновным и вынесения приговора. Это важное различие дает основание предположить, что жажда справедливости — одна из причин популярности подобных книг.

Процесс выработки решения в совещательной комнате — процесс рациональный, требующий разумного рассуждения. Здравый смысл позволяет присяжным правильно оценить противоречивые показания. И, опираясь на представленные им доказательства, присяжные выносят приговор. «Верное изложение событий» должно быть обеспечено даже в самых сложных делах, и действия каждого персонажа должны быть мотивированы. Книги о доподлинных убийствах не просто рассказывают об убийстве, расследовании и суде. Они рассказывают о системе, существующей для того, чтобы отделять ложь от правды, добродетель — от порока. Американский закон есть отрицание карамазовского (Ивана Карамазова) «все дозволено». В зале судебных заседаний, здесь, на земле, всему должен быть непременно вынесен приговор.

Таким образом, как видим, авторы рассмотренных книг избегают гносеологического тупика, куда зашла сейчас высокая литература,— то есть необходимости принять тезис о невозможности абсолютного знания. В совещательной комнате присяжных ведь такой ответ не дашь; равным образом не дашь его и в свидетельских показаниях. Как ни парадоксально, но именно книги о доподлинных убийствах возрождают позиции традиционной художественной прозы, утверждая, что человеческое существование полно непредвиденного, неожиданного, оно относительно, и чтобы судить о чем-то и что-то оценивать, абсолюты не требуются. Если присяжные могут вынести приговор, может это сделать и читатель.

Словом, именно литература факта возвращает повествованию нравственный смысл. В «Роковом видении» выразителями нравственной позиции выступают несколько персонажей. Один из них — молодой армейский юрист, который добровольно продолжает судебное расследование, даже после того как военные власти отказались от выдвинутых было обвинений, потому что «для него осудить Джеффри Макдоналда было не просто профессиональной обязанностью, но и непреодолимым моральным императивом». В заключительной речи прокурора, обращенной к суду присяжных, у Макгинниса ясно слышен мотив нравственного долга: «И присяжным заседателям, и всем присутствовавшим в зале было очевидно, сколь мучительной была для Джима Блэкборна необходимость говорить о таких ужасных и трагических событиях; но было также очевидно, что его вело глубокое чувство долга — морального, равно как и профессионального, он считал себя обязанным разобраться во всем, что связано с этими убийствами, ибо «только так можно добиться справедливости, хоть в какой-то мере». Не случайно тот, кто вершит нравственный суд в литературе факта, всегда обращается к истокам преступления — это позволяет изучить и осмыслить суть многих явлений современной американской действительности.

В последние годы русские романисты заполнили некоторые «белые пятна» прошлого, в частности начали воссоздавать в литературе трагедию коллективизации. Американские прозаики продолжают игнорировать тяжелое положение фермера. Резким контрастом отсутствию такого интереса прозвучали в свое время «Гроздья гнева» Стейнбека — роман, основанный на событиях 30-х годов, когда пыльные бури и засуха поразили сельские районы Оклахомы и вынудили тысячи оклахомцев податься в сезонные рабочие. На долю нынешних авторов литературы факта выпало честно и откровенно представить новую трагедию американского фермерства. И вот «Последняя жатва» замыкает круг, намеченный американским романом еще в 20-е годы; мы вернулись к драйзеровским проблемам — прозрачный намек на это содержится в подзаголовке книги: «Американская трагедия».

Но хоть мы и вернулись к драйзеровскому кругу проблем, мы не вернулись ни к роману, ни к репортажу. Журналистские вопросы: кто, что, когда, где — были вытеснены иными, и отвечают на них нынче по-другому. Не так, как это делалось в романах, ибо литература факта, повествующая о доподлинных убийствах, не создает образов и вымышленных сюжетов; сюжет, так сказать, задан заранее, равно как и персонажи. В литературе факта автор не столько творец рассказа, сколько м а с т е р, как предпочитал называть себя Чосер.

Журналистика традиционно оказывала очень сильное воздействие на мышление и восприятие американцев. Со времен Томаса Джефферсона, недвусмысленно утверждавшего, что свободная пресса есть единственный действительно важный гарант свободного общества, журналист выступал в роли выразителя «иной точки зрения». В 1906 году президент Теодор Рузвельт назвал дотошных репортеров «разгребателями грязи», воспользовавшись упоминанием о «человеке с граблями для навоза» в книге Джона Беньяна «Путешествие пилигрима». Первые «разгребатели грязи» разоблачали коррупцию в политике и коммерции, сегодняшняя журналистика вышла далеко за пределы таких репортажей. Черпая там, куда романисты прежних лет, такие как Теодор Драйзер, Синклер Льюис, Эптон Синклер, проникать не решались, журналисты сумели нащупать истоки проблем дня.

Литература факта признает утрату уверенности, но только как некую реально существующую трудность, а не как неизбежность.

III. Советская художественная литература: назначение памяти

В течение первой половины XX века, особенно в более чем сорокалетний период с 1914 по 1953 год, русский народ (и все советские народы) пострадал больше, чем какой бы то ни было другой народ в истории: две мировые войны, гражданская война, неоднократно разражавшийся голод и внутренние репрессии невероятных масштабов. Умерло столько людей, что специалисты могут лишь приблизительно назвать цифры с амплитудой колебаний точности в несколько миллионов, ибо почерпнуты они из разных источников: разрозненных докладов, подсчетов выживших свидетелей, демографической статистики. И большую часть этого-то периода, а отчасти и позднее, русская литература представляла собой картину оптимизма и процветания, согласно панглоссовой формуле «все хорошо в этом лучшем из миров». Критики, следовавшие в русле социалистического реализма, утверждали, что писатели созидают новый мир, но этот мир имел столь же малое отношение к советской действительности, сколь неоклассицистская «la belle nature»[8] имела ко французской действительности при тогдашнем режиме.

В романе социалистического реализма, так же как и в американском высоком романе, налицо нежелание обращаться к социальной действительности. Но эффект такого отказа для Советского Союза был гораздо более печальным, так как литература, особенно роман, традиционно играли в России центральную роль в культурной и интеллектуальной жизни, а также и потому, что не существовало иных доступных источников информации, особенно в сталинскую эпоху.

Плюрализм американского общества гарантирует, что история, даже неблаговидные события недавнего прошлого, такие как война во Вьетнаме, будут открыты для изучения разве что со временными, хотя и немаловажными исключениями, как, например, положение женщин и чернокожих — проблемы, недостаточная открытость которых восполняется сейчас, не скроем, с запозданием. Авторы высокой литературы редко отваживаются вторгнуться в сферу американской истории (Гор Видал — исключение); авторы «романтических романов» от Маргарет Митчелл до Джона Джейкса, вместе с историками и журналистами, а в последнее время еще и с помощью телевидения и кино, более чем удовлетворяли потребности публики в создании пестрой картины национального прошлого

В Советском Союзе, напротив, прошлое — частый гость в серьезной литературе, поскольку профессиональные историки до сих пор выборочно занимались лишь отдельными ее периодами (этот серьезный недостаток сегодня, в ходе борьбы за гласность и перестройку, осмысливается в советской печати).

На плечи писателей ложилась ответственность за то, чтобы поддерживать какое-то равновесие, помогать все большему числу читателей открывать для себя трагическую историю своей страны и осознавать ее. Смелые шаги в этом направлении были сделаны в 50-е годы: кампания против «культа личности Сталина», публикация воспоминаний Ильи Эренбурга, задавшегося целью «открыть прошлое» для поколения молодых, которое, как он обнаружил, поразительно мало знает не только о западной культуре XX века, но и о своей собственной. отечественной.

Часто говорят, что в первой половине XIX века русские пытались ответить на вопрос «кто виноват?», а во второй — на вопрос «что делать?». Несколько видоизменив два этих давних вопроса, мы постараемся понять, что происходило с русской литературой во второй половине двадцатого века. Русские задают теперь эти вопросы так — «что делалось?» и «кто виноват?».

На традиционные вопросы и ответы были традиционными. Русские писатели послесталинских времен пытались отвечать на них в привычной романной форме, призывая к нравственному суду (порой основывались они при этом на христианской морали). Было это нелегко. Время неделимо, и чем ближе писатель подходит к историческому рубежу 1917 года, тем деликатнее становится тема и тем больше вероятности, что вместе с ней встанет вопрос об исторической правде. Трактовка фактов писателями, художниками — не историками — неизбежно субъективна. Соединение субъективности и неоднозначного, отнюдь не радужного представления о прошлом непременно должно породить сомнения. Процесс «задавания вопросов», вопросов, которые не задавало целое поколение а то и больше, поднимает массу проблем, связанных с прошлым. Для серьезных русских писателей дело было не только в том, что Сталин искажал большую часть фактов, для них был важен вопрос об ответственности и совести.

Настойчиво возвращаясь к памяти и достоверным свидетельствам, русская литература стремится к тому, чтобы осмысление прошлого стало необходимым первым шагом на пути формирования национального сознания. Индивидуальное знание не может быть абсолютно объективным. И как показал американский философ Михаил Поляный, знание и ответственность взаимосвязаны самой природой процесса познания. Прозаики и критики обязаны подчеркивать значение истории и важность памяти для общества, нацеленного в будущее; в таком обществе существует соблазн рассматривать прошлое лишь как прелюдию к не знающему границ восторгу настоящего и будущего или как наводящий инструмент для разработки внутренней и внешней политики. Именно писатели, а не профессиональные историки и психологи, поняли, что опыт времени — одна из наиболее важных составных частей человеческого сознания. По сути дела в понимании категории времени рус-

[8] Прекрасная природа *(франц.)*.

ские писатели пришли к выводам, сходным с теми, которые сделали и американские исследователи.

«Если в свое представление о времени вы не включаете ощущение прошлого, вам грозит опасность оторваться от собственных корней; а это делает общество неустойчивым. Семейная общность цементируется общей памятью, приверженностью старым обычаям, общим прошлым» (доктор Филлип Зимбардо из Стэнфордского университета).

В Советском Союзе именно писатели, скорее, чем психологи, предупреждают соотечественников, что человек, не осознавший своего прошлого, утрачивает полноту человечности. Например, Сергей Залыгин, ставший в 1986 году главным редактором «Нового мира», писал в первой части романа «После бури» (1982) — исторического повествования о 20-х годах: «Понимаете ли вы, что существо жизни — ее прошлое, что, если у человека есть что-нибудь за душой, так опять-таки только прошлое? Что слово «было» — самое могущественное и всечеловеческое слово, потому что слово «есть» еще ни о чем не говорит, оно еще нечто, а вовсе не что-нибудь».

А умерший в 1981 году в возрасте 55 лет прозаик Юрий Трифонов, пожалуй, больше, чем какой бы то ни было другой современный ему писатель, сконцентрировал внимание на жизненной важности памяти: «...он спрашивал в своих книгах: «Надо ли вспоминать?» И отвечал: «Бог ты мой, так же глупо, как «надо ли жить?» Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, неуничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет»[9].

Более объективный взгляд даже только на литературное прошлое помогает выйти из состояния исторической амнезии и бездумного утопизма. Известный академик Д. С. Лихачев подчеркивал в 1977 году, как важно представлять себе текущую литературу в более широком историческом контексте: «Надо всегда иметь перед глазами тысячелетнюю перспективу русской литературы. Это важно для современности и для проникновения в будущее... По достоинству оценить современность можно только на фоне веков».

В самом деле, возвращение литературного прошлого, быть может, было для возрождения русского романа в послесталинский период даже более важно, чем возвращение прошлого исторического. Как мы уже говорили, начало этому было положено публикацией ряда воспоминаний, написанных представителями старшего поколения, такими как Илья Эренбург и Корней Чуковский, которым удалось представить читателям несколько более полную, чем прежде, картину литературной жизни предреволюционного периода и 20-х годов. Эренбургу принадлежит и другая жизненно важная заслуга перед русскими читателями: он помог им восполнить пробелы в знании западного культурного и интеллектуального наследия, образовавшиеся после того, как целое поколение было вынуждено жить в условиях культурного и интеллектуального изоляционизма.

Но возвращения литературного прошлого было недостаточно. Пришла пора создавать новые литературные произведения, ориентирующиеся на классические образцы в смысле выбора эстетической позиции, нравственных принципов и понимания того, что нельзя загонять жизненный материал литературы в идеологические матрицы. Точно так же возвращение исторических фактов («что делалось?») было лишь прелюдией к выяснению вопроса об ответственности («кто виноват?»). И в обоих случаях второе оказалось гораздо более трудным, чем первое. Стремясь к решению этой задачи, писатели использовали широкий спектр повествовательных приемов и «гибридных форм», поскольку ощущали, видимо, что роман как жанр был захвачен и скомпрометирован в сталинскую эпоху авторами, писавшими в традициях ортодоксального социалистического реализма.

«Деревенская проза» хорошо показывает как ограниченный успех, так и сложности послесталинской литературы в возвращении к прошлому и поиске адекватных повествовательных форм.

Пожалуй, никакая другая группа или класс советского общества не страдали так жестоко как крестьяне, но главной причиной, почему писатели обратились именно к ужасающим условиям жизни деревни, было то, что в этом случае интересы писателей и политика правительства совпадали. В конце концов движение за пересмотр советского (точнее, сталинского) прошлого было санкционировано Никитой Хрущевым в его «закрытой речи» на XX съезде КПСС в феврале 1956 года. И именно Хрущев — следует отдать ему должное — обратил внимание народа на положение крестьянства, призвав к реформе сталинской политики коллективизации.

Другой причиной взлета «деревенской прозы» можно считать тот факт, что большинство представителей городской элиты послесталинского периода были детьми или внуками крестьян, если сами не родились в деревне. А помимо этих личных мотивов был и момент общенациональный: в крестьянском образе жизни хранились старые русские традиции. Во многих своих произведениях «деревенщики» возвращались к корням, описывали эпизоды своего детства. Эти писатели пытались таким образом воскресить и историю собственной семьи, и чувство национальной гордости. Психологически, как мы уже говорили, это совершенно естественное и здоровое желание.

Как правило, первые авторы-«деревенщики» в 50-е и 60-е годы избегали романной формы не только потому, что она вызывала недавние злополучные ассоциации, но и потому, что романная широта потребовала бы углубления в слишком многие спорные вопросы общественной жизни; они совершенно очевидно хотели сосредоточиться на личных и семейных отношениях. Они предпочитали короткие формы (рассказы, очерки, повести), объединяя их

[9] См. «Огонек» № 52 (декабрь 1986 г.), с. 20.

иногда в сборники наподобие написанных за сто лет до того тургеневских «Записок охотника». Укорененные в деревне и, следовательно, не нуждающиеся в «идеологическом жаргоне», сюжеты этих книг давали писателям дополнительное преимущество — пользоваться живым и сочным языком русских крестьян.

Хоть роль «деревенской прозы» в обретении заново лучших традиций русской литературы трудно переоценить, все же она была явлением временным — как в смысле художественной формы, так и в смысле тематики. «Деревенская проза» не могла выйти за ограниченные пределы крестьянской жизни, а порой грешила и просто этнографическим подходом. Она несла в себе также семена крайнего русского национализма и тяготела к упрощенному решению вопросов — в каком-то смысле смыкаясь в этом с социалистическим реализмом[10]. «Деревенская проза» демонстрирует сложность процесса оздоровления литературы, вбирающего в себя порой противоречивые течения: наряду с состраданием к обездоленным — шовинизм и стремление недифференцированно идеализировать прошлое России. В этом последнем «деревенская проза» порой опасно сближается с «Домостроем».

Более плодотворным представляется движение от самосознания к пробуждению совести и поиск адекватных повествовательных форм за пределами «деревенской прозы» в литературе, создававшейся самыми разными писателями, иные произведения которых впервые были опубликованы на Западе. Мы, однако, будем иметь дело только с произведениями, напечатанными в Советском Союзе, за исключением «Доктора Живаго» Б. Пастернака, поскольку он тоже появился уже в советском издании и поскольку, несмотря ни на что, на родине этот роман многие все же читали. Другой крупный писатель сталинской эпохи, которого должно назвать в этом контексте, конечно же, Михаил Булгаков. И он и Пастернак писали книги, в которых главной их заботой было не просто установить факты, но и поставить вопрос об ответственности за прошлое. И оба в борьбе с вульгарным материализмом обращались к духовным, особенно христианским моральным ценностям.

Написанный в 30-е годы роман «Мастер и Маргарита» — по сути послесталинская книга, ибо до конца 1966 года в печати не появлялся, а появившись, читался, подобно «Доктору Живаго», как роман о прошлом, имеющий, однако, несомненное отношение к настоящему. Четыре главы, в которых рассказывается о страстях Христовых в Иерусалиме,— пример того, как можно обогатить художественное повествование о советской действительности. Конечно же, весьма показателен тот факт, что традиционные суждения, основанные на христианских добродетелях, возвращаются сейчас в русскую литературу. Не имея сколько-нибудь значительного классицистского наследия, русские традиционно обращались к христианству не столько как к догме, сколько как к духовному образцу, эстетической и моральной системе. Очень важно понять эту существенную особенность: писатели могут использовать историю Христа, вовсе не обязательно веруя при этом в догматы христианства, так же как кто-то может обращаться к греческим мифам, не принимая их за факты истории. Вольность, с которой Булгаков обращается с библейским сюжетом, становится художественным достоинством книги — то же можно сказать и о блестящей, парадоксальной трактовке Евгением Замятиным христианских верований в романе «Мы» (это произведение печатается в журнале «Знамя»).

Существенны и различия между романами Булгакова и Пастернака. Сатирический гротеск Булгакова стоит особняком. «Мастер и Маргарита» не только roman à clé[11], но и воплощение собственных фантазий Булгакова: когда он переносил их на бумагу, перо его превращалось в волшебную палочку, обрушивавшую месть на головы его гонителей. Мы знаем, что роман Булгакова произвел в известном смысле «подрывной эффект», отчасти потому, что он возбуждал вопрос об утопическом характере ряда аспектов сталинского социалистического реализма, а отчасти потому, что начисто опрокидывал юношеский оптимизм нового поколения прозаиков 60-х годов. Более того, «Мастер и Маргарита» породил целую прозаическую школу «дьявольской фантастики», из произведений которой наиболее известна написанная в середине 70-х годов книга Владимира Орлова «Альтист Данилов» (она недавно вышла в переводе на английский).

Влияние Пастернака не столь очевидно, но для наших рассуждений прямое влияние и не существенно. Существенно другое — то, что всех серьезных русских писателей сегодняшнего дня, так же как их предшественников — Булгакова и Пастернака, влечет к одним и тем же источникам: классической литературе XIX и начала XX века. Влияние Достоевского ощущается наиболее сильно, но русское литературное наследие богато и разнообразно. Поразительное литературное изобилие, созданное творчеством Пастернака, Булгакова, других писателей, включая не публиковавшихся пока в Советском Союзе,— признак того, что возможны неодинаковые способы художественного освоения советского прошлого (и настоящего), в том числе смесь гоголевской сатиры и гротеска с духовными исканиями Достоевского. Русский роман может выполнять свое традиционное предназначение, черпая из сокровищницы классической русской литературы — у Гоголя и Тургенева, Достоевского и Толстого, Чехова и Лескова, Салтыкова-Щедрина и Белого, Бунина и Замятина,—

[10] Шовинистические черты мышления некоторых «деревенщиков» проявились гораздо резче позднее, когда они обратились к городской тематике. Например, в романе «Все впереди», опубликованном в 1986 году, Василий Белов, и прежде известный своими русско-националистическими взглядами, высказывается о современной западной культуре и моде в гротескно-недоброжелательном тоне, обвиняя их чуть ли не во всех российских бедах, а заодно и в общечеловеческих.

[11] Роман с намеками *(франц.)*.

в ней было созвездие талантов, каким вряд ли может похвастаться какая-нибудь другая литература.

Действительно, русские писатели опробовали множество художественных методов, в том числе и таких, что соединяют разнородные элементы, включая даже фактические материалы, документы и цитаты из газет и журналов. Подобные книги не укладываются ни в какую ячейку общепринятых схем, но иногда их можно соотнести с той разновидностью литературы факта, в которой выступает Норман Мейлер: рассказчик здесь одновременно и участник событий и наблюдатель. Подходящим названием для литературы такого рода было бы «анатомическая» — слово было пущено лет тридцать назад Нортропом Фраем. В советском литературном обиходе ее, очевидно, относят к «документальной прозе», включающей и некоторые, весьма ортодоксальные работы, но также и недавние литературные «бомбы», такие как «Печальный детектив» (1986) Виктора Астафьева. Нынешняя мода на «документальную прозу» (а также на «биографическую прозу»), распространенная среди русских авторов, несомненно, происходит из желания больше насытить фактическим материалом и реальным психологизмом изображение событий и людей — желания, весьма сходного с побуждениями американских писателей литературы факта, о чем говорилось в предыдущем разделе.

Лев Аннинский в книге «Тридцатые — семидесятые» (1978) выделяет в этой пестрой массе произведений одно центральное течение — от внешнего к внутреннему, от общественного к личному. «Анализ проблем,—пишет он,— превращается в анализ души». Он прослеживает это движение к «анализу души» на примере произведений таких писателей, как Овечкин, Тендряков, Астафьев, Распутин и Андрей Битов. Список верен, однако мы добавили бы к нему еще одно имя, весьма существенное для процесса, точно очерченного Аннинским,— Юрия Трифонова.

Трифонов заостряет внимание на ответственности за историческое прошлое, вновь и вновь включая в свои повествования эпизоды из прошлого собственного и возвращаясь к судьбе отца, старого большевика и видного военного деятеля, одного из основателей Красной Армии, который был арестован и расстрелян в 1937 году без официального следствия, как и многие другие высшие военные чины. Трифонов персонифицирует историю, и эта художественная трансформация заставляет читателя пропустить через себя чудовищную трагедию прошлого. В конце концов человек способен в определенный момент переживать лишь одну трагедию, а не миллионы одновременно.

Типичный протагонист зрелого Трифонова — преуспевающий человек средних лет, которого тревожат размышления о прошлом и который не совсем даже отдает себе отчет в том, что именно вызывает его беспокойство. Читатель постепенно узнает, что в былые годы этот человек вел себя недостойно и на его совести трагические последствия, которые имело его поведение для бывшего друга или коллеги. Иными словами, герой Трифонова зачастую — именно тот, «кто виноват». Мы видим художественную повествовательную форму, которой нет в американской литературе факта.

Повести и романы зрелого Трифонова являют образец воплощения темы «возвращения», которая стала центральной для стольких книг послесталинской эпохи. Прошлое ходит по пятам и протагониста и повествователя большинства серьезных произведений послесталинской русской литературы — своего рода советский вариант библейского Лазаря. Например, политический заключенный, освобожденный из исправительного трудового лагеря в хрущевский период, возвращается и встречается с теми, кто оставался на свободе, и напоминает им об их деяниях и словах, о которых они предпочли бы навсегда забыть (роман Виктора Некрасова «Кира Георгиевна» — быть может, лучшее из написанного на эту тему). Или менее драматическая ситуация: протагонист или повествователь вспоминает прошлое, задавая самому себе вопрос: как и почему могло случиться то, что случилось. Подобного рода воспоминания — очень характерный для прозы Трифонова прием — могут быть спровоцированы неожиданной встречей: например, Вадим Глебов встречает друга детства Льва Шулепникова в «Доме на набережной»; или получением письма из прошлого, как в «Старике». Мучительная рефлексия может быть и беспричинной, как в романе «Время и место», в котором герой, Саша Антипов, ставший знаменитым писателем, вспоминает детские годы.

Литературная биография Трифонова помогает понять, как шел литературный процесс в Советском Союзе после смерти Сталина, и символизирует собой два важнейших достижения: разрушение мифа о непогрешимости социалистического реализма и возобновление диалога, или договора между читателем и писателем. Молодым человеком, еще в Литературном институте, Трифонов написал роман «Студенты», типичный для социалистического реализма, за который получил в 1951 году Сталинскую премию. Затем, после романа о строительстве канала в пустыне и ряда рассказов, действие которых происходит в Средней Азии, Трифонов пришел к полному отрицанию социалистического реализма в более поздних повестях и рассказах, так называемых «московских». Работы зрелого Трифонова посвящены восстановлению памяти и попыткам вместе с читателем взять на себя — хотя бы частично — ответственность за то, «что делалось» в сталинский период. По-своему Трифонов как бы пытался загладить вину за «Студентов», переписав роман, переделав его в «Дом на набережной» и показав в нем заблуждающегося студента[12].

[12] По поводу этих двух романов Трифонова в содержательной (если бы она не была местами столь недружелюбной) статье написал Вадим Кожинов, см. «Проблема автора и путь писателя». Контекст 1977, М., Наука, 1978, с. 23—47.

IV. Корни

Американский роман все еще переживает кризис, и трудно в настоящее время сказать, как и когда он будет преодолен. Произведения литературы факта, с их сильными характерами и драматической структурой, предлагают один из выходов, но роман заменить собой они не могут. Может быть, литература факта, показав, что она может удовлетворять потребности читателя в беллетризованных размышлениях о важных социальных и нравственных проблемах дня, вдохновит писателей на создание новых романов в старых американских традициях? В Соединенных Штатах столько всевозможных способов развлечения публики, что становится страшно за само существование высокого романа. В последнее время к тому же наблюдался очевидный спад интереса к чтению вообще, в связи с чем трудно предсказать, как будет развиваться далее в частности литература факта. Существует вероятность того, что литература факта вскоре «проскочит» стадию печати и превратится в телевизионную «докудраму»[13]. Один из последних примеров в этом роде — «Посвящение в убийство», мини-телесериал, основанный на реальной истории убийств священником-лютеранином и его любовницей своих респектабельных супругов. В сериале были диалоги, явно придуманные сценаристом. Это означает возврат к авторскому вымыслу, о котором Мейер Левин писал в цитировавшемся уже предисловии к «Принуждению», но на сей раз через посредство телевидения.

Кроме того, огромный успех литературы факта вызвал у некоторых людей беспокойство, что описаниям убийств уделяется слишком много внимания — в этом есть, мол, что-то нездоровое. Другие обвиняют авторов литературы факта в том, что, стремясь собрать как можно больше материалов и проинтервьюировать каждого, имеющего хоть малейшее отношение к преступлению, они занимаются «журналистикой чековой книжки», то есть платят за информацию. Этот аспект вызывает особую тревогу, когда деньги платят мужчинам и женщинам, виновным в тяжких преступлениях, а порой и осужденным преступникам, что породило в ряде штатов половодье новых законов «о компенсации ущерба жертвам преступлений», призванных предотвратить извлечение преступниками финансовой выгоды из своих злодейств.

Сходные опасения, хотя по совершенно иным поводам, высказывались в Советском Союзе в связи с тем, что в последних русских романах чрезмерно много места занимают мрачные стороны жизни и явное предпочтение отдается персонажам, мягко выражаясь, несовершенным, чтобы не сказать сомнительным. Вспомним неудачников, населяющих прозу Валентина Распутина и Анатолия Кима, или жуликов, которые играют столь важную роль в романах Виктора Астафьева.

Однако подобные опасения, разумеется, неуместны. Как утверждал известный литературовед Бруно Беттельхейм в наводящей на размышления книге «О пользе магии», традиционные волшебные сказки играют психологически чрезвычайно важную роль, показывая детям, что зло действительно существует и люди могут быть дурными. В своей «волшебной сказке для взрослых», в «Мастере и Маргарите», Михаил Булгаков приводит в сущности тот же аргумент. В самом деле, роман этот имел решающее значение для доказательства того, как важны тайна, воображение и фантазия в освоении литературой социальной действительности. Кроме того, Булгаков вернул русский роман к традиционному для него нравственному поиску, к «проклятым вопросам» бытия. Булгаковское неоспоримое философское и эстетическое доказательство того, что зло есть вечное свойство человеческой души, сделало с тех пор невозможным для сколько-нибудь серьезного русского писателя слепо изображать советское общество в утопическом свете, а для читателей — всерьез принимать «положительных героев» сталинского соцреализма.

В некоторых критических статьях последнего времени подчеркивается необходимость перешагнуть через бытовавшее в недавнем прошлом понятие «положительного героя», чтобы достичь более естественного равновесия между персонажами, чтобы автору не приходилось выбирать «сторону баррикады»,— здесь мы снова сталкиваемся с существеннейшим вопросом об авторской позиции. В советской прессе сейчас много пишут о растущей популярности «биографической прозы» и необходимости улучшить ее качество. То, как высмеяны в «Литературной газете» (17 декабря 1986 г.) старые образцы биографий исторических лиц, свидетельствует и о том, что проблема действительно существует, и о неизмеримо возросшей искушенности сегодняшних читателей, они просто не примут больше односторонних, марионеточных персонажей в современной прозе, в том числе и исторической. «...Все мы помним перекочевавших с легкой руки «биопрозаиков» на страницы школьных учебников ходульных персонажей ушедшей моды: с одной стороны, прогрессивные поэты со свитками в руках и гордым, гневно-правдивым взором, с другой — море тупых, ограниченных генералов, царских прихвостней, не умеющих связать двух слов (кинематограф очень помог в создании таких типажей)».

Вадим Кожинов, несомненно, прав, считая, что «главная проблема, стоящая перед «молодой» прозой,— проблема героя (в высоком и многозначном смысле этого слова)», еще точнее, это проблема создания «героя нашего времени». Фазиль Искандер разделяет это мнение, он, как и Кожинов, озабочен тем бескрылым, прозаическим подходом, который демонстрируют и писатели и критики в попытке создать такого современного героя. Как подчеркивал Искандер в блестящем эссе, опубликованном «Литературной газетой» в рамках интереснейшей дискуссии «Судьбы романа — судьбы реализма?», проблема вовсе не в том, чтобы положительного героя заменить антигероем или добавить положительному герою несколько отрицательных черточек: «Наши

[13] То есть «документальную драму».

современные споры о романе нередко отдают схоластикой. Например, должен ли положительный герой иметь недостатки и если должен — какое приблизительно количество?»

Искандер доказывает, что проблема даже и не в том, чтобы сохранить баланс между положительными и отрицательными персонажами любого данного художественного произведения; в конце концов, замечает он, Толстой дал нам почти нескончаемую цепь «положительных» персонажей в «Войне и мире», в то время как у Гоголя в «Мертвых душах» ни одного положительного героя нет. Нужно нечто иное: «Живое равновесие, гармония внутри романа, определяющаяся только верностью художника внутренней задаче».

Здесь Фазиль Искандер указывает на самое существо дела. У автора должна быть эстетическая свобода обращения с материалом; никакие предписания и теории не могут сами по себе рождать великие произведения искусства. Вот то главное, о чем хотели мы сказать в этой статье. Мы не утверждаем, что хорошие романы могут быть созданы только в классической манере прошлых веков. Хотя ратуем за возвращение роману традиционной авторской позиции, ясного взгляда на социальные и этические проблемы общества, что всегда было свойственно жанру.

Что совершенно очевидно, так это то, что и в Америке, и в Советском Союзе писатели — авторы высокого романа — заняли в середине нынешнего века позицию, которая читателям не нравилась и не нравится. Хоть «возлагать надежды», быть может, и слишком громкое выражение для того, чтобы передать, что ощущают читатели, беря в руки роман, однако, похоже, свои требования к роману у них все же есть. Ни чрезмерный солипсизм американского постмодернизма, ни ограниченный, порой агрессивный оптимизм сталинского социалистического реализма не удовлетворяют серьезного читателя. Писатели этих направлений отказались признать возможность познания р е а л ь н ы х закономерностей человеческого существования, описывать социальную действительность так, чтобы это было понятно и трогало читателей, исследовать острейшие проблемы общественной жизни и нравственности, создавать героев, страдающих от утраты идеалов и стремящихся обрести новые.

Предсказывать будущее русской советской литературе было бы делом неблагодарным, а со стороны иностранцев и вовсе проявлением самонадеянности, даже если ими руководят любовь и уважение к русской литературе. И все же.

Быть может, потому, что социалистический реализм вышел на сцену раньше, чем постмодернизм, а еще более потому, что романная традиция в России сильнее, чем в Америке, думается, что русский роман скорее оправится после болезни. За более чем 20 лет, минувшие со времени выхода в свет «Мастера и Маргариты», русский роман добился огромных успехов. Достаточно назвать имена Распутина, Тендрякова, Искандера, Айтматова, Астафьева, есть и многие другие. А за последние несколько лет мы наблюдаем настоящий взрыв в литературе, в результате которого появились произведения, по-новому показывающие прошлое: роман в двух частях Сергея Залыгина «После бури» и «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова вместе с глубокими, новаторскими работами Юрия Трифонова, о которых говорилось выше, и публикация романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», пожалуй, наиболее замечательные примеры.

И разумеется, интереснейшие произведения появились в драматургии и кинематографе. Возможно, когда прошлое перестанет так сильно занимать воображение писателя и читателя, материалом для романов в манере «критических реалистов» XIX века снова станет современность. Эстетическая позиция авторов таких романов восходит к Достоевскому, показавшему своими произведениями, что она должна быть нравственной и сострадательной и что писатель должен позаботиться о ясности формы, чтобы идея произведения стала для читателя столь же понятной, сколь и для самого автора. По Достоевскому, великая литература должна быть сюжетна, укоренена во времени и в обществе, но писатель при этом обязан быть независимым и от того и от другого, исходя единственно из своего творческого воображения.

Если писатели будут исследовать окружающую их социальную действительность, руководствуясь эстетическими принципами Достоевского, возникнет реальная вероятность того, что высокий роман снова станет питательной средой и катализатором национального самосознания как в России, так и в Америке.

P. S. Мы хотели бы публично выразить благодарность нашему коллеге Алексу де Йонгу за чтение наброска этой статьи и полезнейшие советы. Мы также благодарим за содействие А Й Р Е К С [14] (Принстон, штат Нью-Джерси) и «Ирхарт фаундейшн» (Анн-Арбор, штат Мичиган). Пользуемся случаем, чтобы выразить признательность коллегам из Института мировой литературы за сердечное гостеприимство, оказанное нам во время визита в Москву.

Авторизованный перевод с английского
И. ДОРОНИНОЙ

Л. ТЕРАКОПЯН

ОТ МОНОЛОГОВ К ДИАЛОГУ

Итак, примем эту статью американских критиков как соучастие в наших сегодняшних заботах, как соразмышление о них. Соразмышление пусть не бесспорное, но уважительное, доброжелательное, корректное. Подкупает уже сама интонация работы. Никакой безапелляционности, никакого мен-

[14] IREX (International Research Exchange) — Совет по содействию международному научному обмену. *(Прим. ред.)*

торства. Честное признание неполноты анализа (остался в стороне феномен многонациональности) и совершенно отчетливое понимание, что речь идет о великой литературе с богатейшими художественными традициями и столь же богатым потенциалом.

Оговорюсь сразу, я не специалист по американской прозе и не берусь судить, сколь точно нарисована картина ее развития. Замечу, однако, что к некоторым выводам, некоторым наблюдениям небесполезно присмотреться.

Кризис чтения, «спад интереса к чтению»? Пожалуй, раньше я бы сказал, что это «их проблемы», следствие бездуховности потребительского общества. А у нас, мол, все иначе: книжный бум, массовые тиражи, очереди у прилавков. Теперь я не хочу быть столь категоричным. И вот почему.

В естественном, неизбежном соревновании со средствами массовой информации наша романистика имела до сих пор изрядную фору. Как ни парадоксально, она практически не испытывала и не испытала пока по-настоящему острой конкуренции. В силу разных причин советская проза нередко была более смелой, чем журналистика, более откровенной, чем историческая наука или социология, более раскованной, чем телевидение.

Сохранится ли такое положение впредь? Не уверен. Судя по всему, должно измениться. И прежде всего под воздействием всеобъемлющей гласности.

Ведь уже сегодня множество сложных, первостепенных для общества проблем приходит к нам через газетную и журнальную публицистику.

Ведь уже сегодня начинается оживление нашей исторической науки. Еще робкое, неуверенное, осторожное, но все-таки очевидное. А это значит, что писательская (пусть относительная) монополия на исследование всякого рода «белых пятен» прошлого приближается к концу.

Ведь уже сегодня, буквально на глазах, преображается отечественное телевидение. И в плане проблемно-информационном, и в плане развлекательном. Конечно, еще не все отлажено, еще случаются холостые обороты, мелькают унылые фильмы и спектакли, раздаются пресные проповеди, но важна тенденция. И если она наберет полную силу, если все видеоканалы заработают с истинным профессионализмом, то значительная часть нынешней читательской аудитории может превратиться в зрительскую.

Так ли это будет или не так, покажет время. Как говорится, поживем — увидим. Все же можно предположить, что соперничество муз будет усиливаться. Историография, социология, публицистика вполне способны переложить на свои плечи многие из тех обязанностей, которые пока привычно выполняет наша проза. И тогда... Тогда, может быть, мы лучше почувствуем трудности американских романистов. Тогда едва ли принесет успех ставка на оперативность, на беллетризацию событий и документов минувшего. Хочешь не хочешь, а придется активнее экспериментировать, искать иную художественную пластику.

«В Соединенных Штатах, — пишут К. и Дж. Гаррард, — столько всевозможных способов развлечения публики, что становится страшно за само существование высокого романа». Я бы не стал высокомерно отмахиваться от этого печального заключения. Как знать, не таит ли оно предостережения и для нас?

Таков один пласт размышлений, навеянных статьей американских авторов.

Но есть и другой.

Я думаю, что привлекательна уже сама идея сравнительного анализа наших литератур. Идея вдвойне актуальная, если мы хотим — а такое время как раз настало — понять человечество как целое, осмыслить ситуацию личности в нашем разделенном и тем не менее едином мире, уловить сходство и особенности писательских интересов. Разумеется, сложности на этом пути неизбежны. Хотя бы в силу различия идеологий, социальных и политических обстоятельств. Однако без диалога мы обречены на глухое отчуждение и обособление.

Причем я имею в виду диалог не только советско-американский.

Литература наша многонациональна по своему характеру, по своей внутренней структуре; она вбирала и вбирает в себя традиции самых разных культур Востока и Запада. Иные связи унаследованы от веков истории, иные сложились и окрепли сегодня. И мы должны яснее представлять масштаб и меняющийся контекст взаимодействия. Ведь познавая других, познаешь и самих себя, свои обретения и свои проблемы.

К. и Дж. Гаррард правы, утверждая, что «у автора должна быть эстетическая свобода обращения с материалом; никакие предписания и теории не могут сами по себе рождать великие произведения искусства». Мне близка их забота об активных взаимоотношениях читателя и писателя, о возвращении роману «традиционной авторской позиции, ясного взгляда на социальные и этические проблемы общества». В русле тех же размышлений развивается и современная советская критика.

Иное дело — сама методология сопоставлений.

На мой взгляд, рассуждения американских критиков достаточно механистичны. Они построены на зеркальной симметрии, на линейной оппозиции понятий и явлений.

Дескать, там, в Соединенных Штатах, засилье постмодернизма, уводящего от реальной действительности, здесь — догмы социалистического реализма, мешавшие «писать об обществе, каковым оно было».

Там приспособление художников ко вкусам и запросам элитарной академической профессуры, здесь — равнение на взгляды «ортодоксальных критиков, стражей социалистического реализма».

Там господство скепсиса, «абсолютный негативизм», захлестнувший искусство высокого романа, здесь — заведомый оптимизм, «исключительно позитивная направленность» литературы.

Симметрия столь же броская, пожалуй, сколь и схематическая. А схема, увы, непременно содержит элемент упрощения.

Бесспорно, теория социалистического реализма вступила сейчас в штормовую полосу критической перепроверки и переоценки. Дискуссии то ненадолго затихают, то разгораются вновь. Единодушия во мнениях нет, и амплитуда расхождений очень велика. От благоговейного пиетета до язвительной иронии.

Пожалуй, подводить итоги, даже предварительные, еще рано. Аргументы сторон далеко не исчерпаны. Но так или иначе полемика закономерна, за ней и реакция на казенщину, на былые извращения, и жажда свежего слова, потребность в обновлении.

За последние годы теория не столько вела литературный процесс, сколько следовала за ним, не столько освещала и расчищала подступы к художественным открытиям, сколько констатировала и регистрировала факты, увязала в терминологической схоластике. По сути дела она уткнулась в те же преграды, что и наша обществоведческая наука: неразработанность, непроясненность самой природы противоречий при социализме, характера современного конфликта, запретительные знаки перед объективным исследованием прошлого, в том числе и литературного.

Тем не менее было бы неправомерно подходить к нынешней концепции социалистического реализма с архаичными мерками тридцатых—сороковых годов, когда всячески насаждалась иллюстративность, культивировалось наигранное бодрячество, когда выдвигались нелепые лозунги типа «Прекрасное — это наша советская жизнь», когда любые попытки сколько-нибудь трезвого осмысления действительности ставились под сомнение или — хуже того — объявлялись идеологическими диверсиями. Было все это, было, из песни слова не выкинешь. И не просто было, но продолжилось — пусть в редуцированном, ослабленном виде — и впоследствии. Как в шестидесятые годы, так и в семидесятые. У каждого из нас на памяти периодические вспышки инерционной подозрительности, застарелых страхов перед откровенностью, рецидивы обвинений в очернительстве. Это нападки на Абрамова и Залыгина, Трифонова и Быкова, Тендрякова и Семина.

Однако расширяла сферу идейно-эстетической самостоятельности советская проза, расширяла ее и критика. И опять-таки в борьбе за талантливые книги, в защите их от компрометации, в столкновении с ревнителями единообразия и парадности. По крайней мере теоретически давно уже развенчаны представления о социалистическом реализме как о некой сумме правил и регламентаций, как о едином стилевом течении, сводящемся к изображению жизни в формах самой жизни.

Столь же неотвратимо искусство высокого (подлинно высокого) романа уходило от упрощений и заданности, от прекраснодушия и радужных упований, от наивной веры в автоматическое и всенепременное торжество добра над злом. Какое бы раздражение ни вызывала в официальных кругах неприкрашенная правда жизни, эта правда брала свое. Слишком трагичны коллизии и конфликты двадцатого века. Слишком велико бремя политических, моральных, психологических потрясений, выпавших на человеческую душу. Слишком противоречивы уроки далекого и недавнего прошлого. И разве приложимы упреки в идеализации, безоблачном оптимизме, прямолинейности к произведениям Айтматова и Астафьева, Трифонова и Рыбакова, Авижюса и Куусберга, Мележа и Матевосяна (сознательно выхожу за пределы русской советской прозы)?

Видят ли подобное несоответствие американские авторы? Видят. Но истолковывают на свой лад. Как отход от социалистического реализма, как разрыв с ним. Наверное, такие псевдотеоретики сороковых годов, как В. Ермилов, тоже узрели бы крамолу, выпады против сталинско-ждановской нормативности. Но надо ли консервировать вышедшие в тираж ложные постулаты, использовать их как эталон? Почему нужно вести отсчет от приснопамятного «Кавалера Золотой Звезды», а не от «Тихого Дона» или «Жизни Клима Самгина»? Рушится удобная для обличений, для развенчания схема? Так и бог с ней. Ведь совершенно ясно, что с движением искусства происходит и закономерное обновление эстетики, кризис морально изношенных критериев и становление новых, учитывающих диалектику общественного сознания и творческого опыта. Так обстоит дело и в советской, и в любой литературе.

К. и Дж. Гаррард верно отмечают, что «значительную поддержку» получила у нас концепция Д. Ф. Маркова, рассматривающая социалистический реализм как исторически открытую систему правдивого изображения жизни. Здесь, в этой трактовке, одинаково важны оба акцента — и на открытости, то есть на способности к совершенствованию, и на правдивости.

Действительно, стилевая палитра современной советской прозы стала гораздо красочнее, чем прежде: соседство лирических, романтических, условных форм, традиционной эпики и внутреннего монолога, документальности и гротеска. Причем динамика течений весьма прихотлива, изменчива: одни идут на спад, другие — на подъем, третьи только зарождаются. И как всегда, возмутителем спокойствия, катализатором брожения выступает та или иная крупная, самобытная художественная индивидуальность. В этом смысле можно говорить об эффекте Булгакова, Платонова, Пастернака и с тем же правом об эффекте Шолохова, Леонова, Айтматова, Бондарева, Распутина и других. Вполне понятно, что я не касаюсь тут долговременного воздействия классики (Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский, Чехов и Горький), не касаюсь и резонанса зарубежных литератур (подчеркну лишь устойчивое внимание к работам Фолкнера и Гарсиа Маркеса, Карпентьера и Бёлля, Ленца и Канта, Радичкова и Вежинова). К чести теории социалистического реализма, она за последнее двадцатилетие энергично под-

держивала процессы взаимоузнавания и взаимодействия.

На мой взгляд, движущая сила романистики шестидесятых — восьмидесятых годов — постижение и углубление правды. Правды настоящего и правды истории. Не буду утверждать, что восхождение к истине было массовым и что совершалось оно в условиях наибольшего благоприятствования. Сплошь и рядом писательский поиск шел (будем надеяться, что это уже вчерашний день) сквозь тернии перестраховки и запретительства. Сплошь и рядом стремление нарушить бюрократические табу оборачивалось суровыми проработками. Консерватизм упрямо цеплялся за каждую свою догму, затушевывая преступления Сталина и политику массовых репрессий, сглаживая драматизм коллективизации и первого периода войны, заглушая победными фанфарами экономические и социальные неурядицы брежневской поры. Но Мележ упрямо продолжал свою «Полесскую хронику», воскрешавшую неприкрашенную судьбу крестьянства, но Белов писал свои «Кануны», споривших с официальными, помпезными версиями «Великого перелома», но Быков и Адамович все проницательнее раскрывали трагедию оккупации и героику всенародного отпора фашизму, но Бакланов и Слуцкис зорко присматривались к сомнениям, шатаниям, душевным травмам внешне благополучной городской интеллигенции.

Да, были и откаты, и топтания на месте, и очередные всплески конъюнктурного усердия. И все же литература с каждым подлинно талантливым произведением завоевывала и закрепляла за собой новые рубежи. Усиление критического начала? Несомненно. Однако логика дозировки позитивного и негативного в социалистическом реализме сама по себе несостоятельна. Ибо искусство ответственно перед правдой, какой бы она ни была, ответственно перед человеком, перед гуманизмом.

Думается, сопоставление двух влиятельнейших литератур нынешнего мира предполагает непременную многоплановость, многоаспектность. И с точки зрения жанра, и с точки зрения проблемной, тематической, философской. Иначе неизбежна избирательность, неполнота. В той же предложенной нам американской панораме мне, например, не хватает таких имен, как Хемингуэй и Фолкнер, Стейнбек и Чивер, Стайрон и Хеллер, Воннегут и Апдайк, Сэлинджер и Уайлдер. Возможно, обращение к ним дало бы изрядную коррекцию зеркальной симметрии и разговор вышел бы далеко за пределы «книг о реально совершенных, доподлинных убийствах».

Точно так же в несколько усеченном, урезанном виде предстает и советская литература. К. и Дж. Гаррард заслуженно высоко оценивают феномен «деревенской прозы», высветившей нравственные устои труженика, наполненной его мыслями и чувствами, надеждами и страданиями, создавшей, пусть не исчерпывающую, но впечатляющую летопись испытаний. Но рядом с ней крепла, поднимаясь к общечеловеческим проблемам долга и совести, добра и зла, наша литература о войне. Но рядом с ней осваивала язык психологической атомистики, тончайших лабораторных экспериментов, нащупывала разветвленные связи между непривычными, внутренне противоречивыми чертами урбанистической цивилизации и сознанием личности так называемая городская повесть. А историческая, историко-революционная романистика? Разве не дала она за последние десятилетия целый ряд этапных, событийных свершений, углубивших взгляды на перипетии национальной судьбы, на диалектику отношений человека и времени, традиций прошлого и ценностей настоящего (книги Залыгина и Авижюса, Кросса и Чиладзе, Давыдова и Балашова)?

Разом, вместе, в совокупности... Ибо все это разные, порой оппонирующие друг другу направления широкого духовного поиска литературы. Поиска, где нет заранее подготовленных ответов, где каждый шаг — разведка, где многое — а теперь в особенности — надо пересматривать заново. Те же, например, времена нэпа, условия предвоенных или первых послевоенных лет, те же обстоятельства семидесятых годов.

Будем откровенны, иллюстративность поразительно живуча, она легко приспосабливается к чему угодно — к воспеванию или отрицанию, к установке на положительного героя или к моде на разоблачительство. Но иллюстративность, в какие бы одежды она ни рядилась, — это все же удел беллетристики поверхностной, спекулятивной, имитационной. Примеров такого рода предостаточно и у нас, и в Соединенных Штатах.

А серьезная литература — тут К. и Дж. Гаррард правы — всегда открытие, постановка диагноза, ломка стереотипов. И критика, как мне кажется, должна быть бережной к усилиям настоящих творцов, к их наблюдениям и предупреждениям, и уж, во всяком случае, избегать скоропалительных приговоров. Увы, следы торопливой размашистости видны и в статье американских авторов. «Хотя роль «деревенской прозы» в обретении заново лучших традиций русской литературы трудно переоценить,— пишут они,— все же она была явлением временным как в смысле художественной формы, так и в смысле тематики. «Деревенская проза» не могла выйти за ограниченные пределы деревенской жизни, а порой и грешила этнографическим подходом. Она несла в себе также семена крайнего русского национализма и тяготела к упрощенному решению вопросов...»

«Временное явление»? Но может ли быть преходящим, временным интерес к природе, к человеку на земле и его заботам, к повседневному бытию народа? Другое дело, что у каждого направления бывают подъемы и спады, чередования активности и стагнации, что начало восьмидесятых годов не принесло сколько-нибудь существенных приращений к сделанному ранее. Но рискну предположить, что остановка в пути была временной, что нынешняя пора гласности приведет в действие скрытые резервы, будет стимулировать новые художественные решения, новое качество познания.

Сошлюсь хотя бы на только что опубликованный роман Антонова «Овраги».

Национализм? Да еще крайний? О ком это — об Абрамове, Дороше, Крутилине, Распутине, Шукшине? Боюсь, что огульный упрек попросту не достигает цели. Ведь чуткость к национальной основе, национальному характеру вовсе не означает кичливости, чванства, высокомерия. Ведь мы уже дорого, слишком дорого заплатили за равнодушие к родным корням и будем платить еще, если не спохватимся, не опомнимся. Я, как и авторы статьи, тоже не поклонник недавнего романа Белова «Все впереди». Романа, по-моему, психологически неровного, подчас эпатирующего, срывающегося то в фельетон, то в лобовое обличительство. Однако при чем же здесь шовинизм? Скорее уж раздраженная реакция на эгоистическое хищничество, на воинствующее потребительство, на пренебрежение нормами народной этики. Что же касается спекуляций националистического толка, то их истоки не в «деревенской прозе» как таковой, а в темных политических амбициях, в паразитировании на наших вольных или невольных ошибках.

«Не могла выйти за ограниченные пределы»? Ну, во-первых, не такие уж они ограниченные (как-никак перед нами широчайшие слои народа), а во-вторых... Только ли о сибирской деревушке, уходящей под воду Ангары, писал в «Прощании с Матёрой» Распутин? Не обо всей ли нашей сегодняшней цивилизации, страдающей от неуправляемого научно-технического прогресса, от рискованных экспериментов над природой, от преобразовательского зуда и погони за сиюминутной выгодой, которая способна завтра обернуться невосполнимыми потерями?

Вот и армянский писатель Матевосян выносит настоящее на суд вечности. В его повестях и рассказах день нынешний словно бы держит отчет перед тысячелетиями, перед поколениями тружеников. Скудеющая земля, заброшенные пашни, пустеющие села... Но бесхозяйственность лишь оболочка конфликта, а ядро — политические катаклизмы, слом традиций, рубка корней, разобщенность, отчуждение. Локальные это проблемы или всеобщие? Ностальгия по патриархальности или мечта о гармонии? Укор настоящему или предупреждение об опасностях, подстерегающих его?

Память историческая.

Память социальная.

Память нравственная.

«Деревенская проза» взошла на этих темах. И она же усилила их звучание во всей современной литературе. Прошлое многогранно, оно вбирает в себя героику и драматизм, обретения и ошибки, подвиг и преступления. Отсюда и разнообразие трактовок, ракурсов анализа. Разнообразие, которое возрастает и будет возрастать с годами, ибо на наших глазах рушатся барьеры умолчаний, предубеждений, подтасовок. Советское общество переживает сейчас время встряски, мучительный этап нового самоосознания. Все переплелось: горечь и гордость, вина и беда, очищающая самокритика и укрепление идеалов. Да, «кто виноват?», да, «что делалось?», но и «что делать?» — тоже. Что делать ради лучшего завтра.

В искусстве, как и в жизни, все взаимосвязано. Движение в одной сфере вызывает отклик в сопредельных. От размышлений о земле, чистоте рек и озер, о хозяйском чувстве труженика тянутся нити к размышлениям обо всей нашей планете, об экологической среде, о сохранении духовного здоровья человечества, подорванного жестокостью, вседозволенностью, политической слепотой или бесконтрольностью научно-технического прогресса. Возьмите такие заметные произведения последних лет, как «Плаха» Айтматова или «После бури» Залыгина. Другие, чем в «деревенской прозе», коллизии, другие страсти, другой масштаб обобщений, но та же генетика, те же тревоги. Тревоги, от которых не отмахнуться ни в нашей стране, ни за ее рубежами.

Я вижу в статье К. и Дж. Гаррард знамение времени, прорыв от монологов к диалогу, от параллельного рассмотрения художественных миров к перекрестному. Задача столь же трудная, сколь и заманчивая, многообещающая. Понятно, что методология сравнений еще «хромает». Но кто-то должен начинать, пусть даже с долей риска.

На мой взгляд, следовало бы исходить не из симметричной графики, а из концепции человека. Концепции движущейся, трансформирующейся, обретающей на каждом этапе свои контуры, свою специфику. И тогда мы смогли бы теснее, органичнее соединить движение романа с проблематикой действительности, эволюцию искусства с эволюцией общества. И тогда рельефнее проступили бы внутренние закономерности тенденций, особенности писательских позиций и манер.

Иногда нынешние различия в подходах кажутся пугающе непреодолимыми. Настолько контрастны обстоятельства жизни и преобладающие художественные принципы.

Терзания героев Хеллера («Что-то случилось») и героев Слуцкиса («На исходе дня») возникают на совершенно различной социально-исторической, нравственной почве, хотя и те и другие принадлежат к сегодняшней интеллектуальной элите.

Бездуховное бытие представителей среднего класса у Чивера и алчные вожделения трифоновского Кандаурова (роман «Старик») опять-таки мало поддаются унификации.

Но и там и здесь — тревога за человека. Но и там и здесь — протест против измельчания личности, против эрозии ценностей.

В конце концов, мы вместе на одном космическом корабле, именуемом земной цивилизацией, вместе — хотя и каждый по-своему — ищем ответы и решения.

Американские авторы обоснованно говорят о кризисе постмодернизма, о потере контакта между «солипсистской» литературой и читающей публикой. В иные времена можно было бы легко обратить эти признания к нашей выгоде и, потолковав, кстати без малейших натяжек, о тупиках, о безысходности, провозгласить здравицу

очередной «приливной волне». В иные, но не теперь... Ибо авторитет теории социалистического реализма тоже пошатнулся. И вот уже Б. Бялик обеспокоенно констатирует в «Вопросах литературы» (№ 1, 1988), что, по его наблюдениям, «не только отдельные художники слова, но и критика и литературоведы избегают в последнее время употреблять понятие «социалистический реализм», боясь, очевидно, обвинений в «догматизме». Они не отвергают открыто это понятие, но и не употребляют его — так спокойнее...» Что же, наблюдение, не лишенное резона, достаточно точно фиксирующее ситуацию. Этакая выжидательная пауза, ни за, ни против.

Действительно, само понятие «социалистический реализм» стало сейчас как бы синонимичным понятию «советская литература». Избавившись от привкуса нормативности, от поверхностного отождествления с доминирующей стилевой манерой, оно обрело некоторую расплывчатость, безразмерность. От М. Булгакова до П. Проскурина, от Ф. Панферова до А. Кима.

Повторю, я не берусь предрекать исход дискуссий. Скажу только, что они естественны в условиях революционного обновления, чистки авгиевых конюшен догматизма. И, как мне кажется, авторитет теории — а она играла и играет существенную роль в мировом литературном процессе — будет тесно связан с ее действенностью, практической необходимостью, способностью откликнуться на вызов времени, с восстановлением и укреплением социалистического идеала. Она должна служить инструментом смелого познания жизни, быть побудителем творческой инициативы, стимулирующим, раскрепощающим фактором.

К. и Дж. Гаррард видят перспективу американского романа в возвращении к социальной действительности, в исследовании «острейших проблем общественной жизни и нравственности». Применительно к роману советскому я говорил бы о новом витке постижения правды. О новом осмыслении не только прошлого, но и настоящего, открывающего целый спектр еще не изученных тенденций. Именно на этой основе и возможно самое широкое взаимодействие наших литератур. В интересах человека и во имя гуманизации будущего.

◆

Антирубрика

ПОЛЬСКАЯ САТИРА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Перевод с польского ВАДИМА КЛИМОВСКОГО

Первого сентября 1939 года гитлеровские бомбы уже с утра падали на польские города, так что, когда третьего сентября в Лодзи был отпечатан тридцать первый номер «Шпилек», никому и в голову не пришло пустить его в продажу, и ни одного экземпляра этого номера не сохранилось. Вскоре легальная пресса была запрещена. Но нашлись люди, которые с риском для жизни организовали издание подпольной прессы. В ней публиковались сатирические тексты, карикатуры. Сатира высмеивала оккупантов и одновременно будила надежду на лучшие времена.

Распространялось множество карикатур, выполненных от руки, вырезанных на дереве или линолеуме, отпечатанных с цинковых клише либо на гектографах. Эти картинки, расклеенные на стенах и столбах, вызывали у немцев бешенство, а у населения — радость и улыбку.

Уже в июне 1940 года в Варшаве появился первый номер нелегального сатирического журнала «Белый конь» под редакцией С. Чосновского. Следующим сатирическим изданием была «Липа», которую редактировал А. Кобылецкий. В декабре 1940 года она слилась со «Шпильками».

В 1943 году начала выходить газета «Демократ». Последняя страничка в ней была отведена сатире. Вскоре «Демократ» объединился с сатирическим еженедельником «Москит», и с этого времени там помещалось много карикатур.

В Кракове группа молодежи основала в 1943 году сатирический еженедельник «На ушко». Вышло двадцать номеров этого издания, отпечатанного на гектографе, украденном в немецком банке. Но гестапо напало на след группы, начались аресты, и редактор Е. Шевчик, художник Е. Вирт и несколько сотрудников двадцать седьмого мая 1944 года были расстреляны.

Как удалось установить, в годы оккупации в Польше выходило девятнадцать нелегальных сатирических изданий. Рядом с карикатурами помещались тексты. Это были фрашки, стихи, песенки, сатирическая проза, а также шутки и анекдоты, которые быстро расходились по стране.

Многие авторы остались анонимными и поныне, многие поплатились жизнью.

Логика

Один гражданин заполняет анкету:
— Ваша фамилия?
— Шульц.
— Имя?
— Генрих.
— Где вы родились?
— В Берлине.
— Вы немец?
— Нет, я поляк.
— Где родился ваш отец?
— В Берлине.
— А мать?
— В Берлине.
— Ну, так вы безусловно немец.
— Боже мой!— закричал, потеряв терпение. Шульц.— Если курица снесет яйцо в хлеве, значит, из него обязательно вылупится свинья?

В немецкой школе

В городке, присоединенном к рейху, учитель в классе спрашивает учеников, чьи портреты висят у них дома.
— Мюллер, отвечай.

© Krajowa Agencja Wydawnicza w Białymstoku, 1984

— У нас висит портрет маршала Геринга.

— А почему?

— Господин Геринг — великий ловчий, а мой отец — охотник, так что...

— Понятно, садись. А у тебя, Шульц?

— У нас висит портрет господина Геббельса.

— Почему?

— Мой папа журналист.

— Хорошо. А у тебя, Грубер?

— У нас висит фюрер, потому что мой папа служит в СС.

— Садись. А ты, Ковальский, что скажешь?

— У нас никто не висит, пан профессор.

— Это почему же?

— Мой папа в Дахау. Но он сказал, что, когда вернется, так сразу всех троих повесит.

Так немцы шли на войны, а так они будут возвращаться.
Рисунок неизвестного автора.

Дискуссия

Когда еще шли бои за Сталинград, англичанин, американец и русский поспорили — какой город самый большой в мире.

— Лондон — в нем семь миллионов жителей.

— Нью-Йорк — в нем десять миллионов.

— Сталинград,— возражает русский,— потому что от его окраины до центра пришлось идти больше ста дней.

Ответ

— Почему мы не получаем по карточкам свинину?

— Потому что последняя свинья записалась в фольксдойчи [1].

[1] Поляки немецкого происхождения, записанные в фольксдойчи, во время оккупации получали некоторые привилегии.

В трамвае

В трамвае девятого маршрута пассажирка обращается к кондуктору:

— Далеко еще до Независимости? (Название улицы в Мокотове).

— Да еще с годик,— отвечает кондуктор.

В давке

Давка в трамвае. В проходе немец наступил поляку на мозоль. Тот, не раздумывая, отваливает швабу пощечину. Пассажир, стоящий рядом, бьет немца с другой стороны. Поднимается суматоха.

На остановке обоих поляков арестовывают и ведут в комиссариат.

— За что вы ударили немца?— спрашивают первого.

— Он наступил мне на больную мозоль — в такие моменты я за себя не отвечаю...

— А вы?— спрашивают другого.

— А я ничего, я просто думал, что уже началось...

На что живете?

— Как дела?

— Служу.

— Ну, а жена?

— Тоже работает.

— А дочь?

— И дочь сидит в конторе.

— Так на что же вы живете?

— Слава богу, сын безработный.

Волга. Кавказ. Дон. Смоленск. Днепр. Крым. Украина. Граница Польши. Буг. Висла. Берлин.
Рисунок Генрика Хмелевского.

Увы

После неудачного воздушного нападения на Англию взбешенный Гитлер велит привести раввина и просит совета — как преодолеть Ла-Манш.

— Здесь может помочь только жезл Моисея,— отвечает ребе.

— А ты не знаешь случайно, где его найти?

— Он находится в музее.

— В каком музее?

— В Британском музее в Лондоне.

Убил невинного

Эсэсовец получил приказ «навести порядок» в доме престарелых, где находится шестьдесят человек. Он должен застрелить тридцать. Эсэсовец с воплем вбегает в спальню и стреляет в каждую вторую кровать. Один нервный старичок шевельнулся и поднял голову с подушки. Эсэсовец стреляет в его сторону и звонит по телефону в похоронное бюро, чтобы пришли убрать трупы и составить поименный список убитых. Подписывая лист, он ужаснулся:

— Здесь тридцать одна фамилия, а мне приказано пристрелить тридцать!

— Может, вы пересчитаете трупы?

Эсэсовец считает: айн, цвай, драй... нойнундцванциг, драйсиг, айнундрайсиг — и хватается за голову:

— О-о-о, бог мой, я убил невинного человека!

Милосердное око

Бедный еврей, обремененный семьей, тайком выбирается из гетто, чтобы раздобыть для детей немного картошки. Его хватают и хотят расстрелять.

— У меня пятеро детей, они умирают с голоду. Смилуйся, пан жандарм.

Жандарм неумолим.

— У тебя, наверно, тоже есть дети. Пойми, я не мог смотреть, как они умирают...

— Хорошо,— говорит стражник,— я тебя отпущу, если ты угадаешь, какой у меня глаз искусственный.

У солдата и правда был протез, но так хорошо сделанный, что никто не мог отличить его от живого глаза.

Еврей в испуге отвечает:

— Левый.

Жандарм хватает его за ворот и кричит:

— Говори, как ты отличил этот глаз?

— Ой, пан жандарм, он на меня так по-человечески посмотрел.

Игра стоит свеч

В Берлинский банк пришла женщина и хочет положить на счет десять тысяч марок. Ссылаясь на шаткие военные времена, она спрашивает, какие гарантии может дать банк.

— Но, простите, особа Гитлера — это лучшая гарантия.

— Все мы смертны,— отвечает осторожная дама.

— Но у нас есть еще Геринг...

— Он постоянно летает на самолетах — с ним еще скорее что-нибудь случится.

— Остается еще партия.

— Но партия может быть распущена...

— Господи!— восклицает чиновник.— Да разве за это не стоит отдать десять тысяч?

«С нами бог».
Рисунок Анджея Вилла.

Гитлер.
Рисунок Станислава Томашевского.

Готт зай данк (Слава богу)

Молодой немец встречается с пожилой немкой и справляется о ее здоровье. Немка отвечает:

— Слава богу, здорова.

Гитлеровец на это замечает, что следует говорить не «слава богу», а «слава Гитлеру».

— Ну хорошо, это пока Гитлер жив, а когда он умрет — как мы будем говорить?

— Слава богу.

Послушный

Один немецкий гражданин, выпущенный из концлагеря, рассказывает:

— Утром у нас была зарядка, потом спортивные игры, чтение, питание хорошее — совсем как в пансионате.

— Удивительно,— говорит его собеседник.— А Ганс рассказывал совсем другое. Самые ужасные вещи.

— Возможно. Вот поэтому он и сидит там опять.

◆

ДЖОРДЖ С. КАУФМАН

СПОКОЙНАЯ ТРЕВОГА

Перевод с английского ЮЛИИ РЕЙДЕЛЬ

Существенное замечание: необходимо, чтобы пьеса исполнялась спокойно, а персонажи вели себя учтиво, в манере английской салонной комедии. Ни один актер не повышает голоса; каждая фраза должна звучать как приглашение на чашку чая. Если этими указаниями пренебречь, пьеса потеряет смысл.

Место действия — гостиничный номер. В центральной стене два окна, между ними — кровать. По одну сторону кровати — столик с телефоном, по другую — комод с зеркалом. Справа дверь в коридор, возле нее — стул. Слева дверь в другую комнату, рядом — небольшой стол с двумя стульями.

На сцене Эд и Боб. Когда поднимается занавес, Эд надевает пальто. Оба стоят перед дверью в коридор.

Эд. Ну что же, Боб, рад был снова тебя повидать.

Боб. И я очень рад.

Эд. Ты так редко сюда приезжаешь, у меня практически не бывает возможности...

Боб. Но ты ведь знаешь, как обычно проходят командировки: они всегда так утомительны.

Эд. В следующий приезд тебе надо будет обязательно нас навестить.

Боб. Мне бы и самому хотелось. Но в этот раз я просто вынужден торчать все время в гостинице.

Эд. Понимаю. Мои наилучшие пожелания Эдит.

Боб *(вспомнив что-то)*. Послушай, Эд, подожди-ка минутку.

Эд. Что случилось?

Боб. Совершенно забыл тебе показать *(Идет к столу, достает из ящика рулон чертежей.)* Ты знаешь, что я собираюсь начать строительство?

Эд *(идет к столу)*. Чего? Дома?

Боб. Уж будь уверен, домик будет что надо! *(Стук в дверь из коридора.)* Войдите! *(Разворачивает чертежи.)* Мне только вчера их дали.

Эд *(садится)*. Ну что же, чудесно! *(Стук повторяется, но громче. Теперь внимание обоих мужчин обращено к двери.)*

Боб. Войдите! Входите!

Коридорный *(входит)*. Мистер Барклай?

Боб. Да?

Коридорный. Я от дежурного администратора, сэр. Он велел сообщить лично мистеру Барклаю...

Боб *(подходит к мальчику)*. Я мистер Барклай. В чем дело?

Коридорный. В гостинице пожар, сэр.

Эд. В этой гостинице?

Коридорный. Да, сэр.

Боб. И что — сильный?

Коридорный. Похоже на то, сэр.

Эд. Ты хочешь сказать, что гостиница совсем сгорит?

Коридорный. Мы думаем, да, сэр.

Боб *(тихонько присвистнув от удивления)*. Ну и ну! Нам, пожалуй, лучше уйти?

Коридорный. Да, сэр.

Боб. Сгорит, подумать только!

Коридорный. Да, сэр. Извольте подойти к окну, сами увидите.

Боб идет к окну.

Боб. Да, хорошо горит. Н-да... *(Эду)*. Иди сюда, на это стоит посмотреть...

Эд *(подходит к окну, выглядывает)*. Этаж под нами уже в огне.

Коридорный. Да, сэр. Нижняя часть гостиницы вот-вот рухнет, сэр.

Боб *(все еще выглядывая из окна, смотрит вверх)*. Впрочем, наверху все в порядке. *(Поворачивается к мальчику.)* Они поставили в известность пожарную службу?

Коридорный. Откуда мне знать, сэр? Я ведь только посыльный.

Боб. Очевидно, это и надо сделать! *(Кивает каждому из своих собеседников с таким*

видом, словно сказал нечто гениальное.) Поставить в известность пожарную службу! Позвонить, назвать гостиницу...

Эд. Погоди минутку. Тут я могу быть тебе кое-чем полезен. *(Мальчику.)* Набери номер начальника пожарной службы и скажи, что звонишь по поручению Эда Джамисона. *(Бобу.)* Представляешь, мы в одной школе учились!

Боб. Это замечательно. *(Мальчику.)* Ну иди, звони. Только не забудь сказать начальнику, что выполняешь просьбу мистера Джамисона.

Эд. Эда Джамисона.

Боб. Да, да, Эда Джамисона.

Коридорный. Слушаюсь, сэр *(Поворачивается, чтобы выйти.)*

Боб. Эй, бой! *(Вытаскивает пригоршню мелочи, выбирает монетку.)* Вот, возьми.

Коридорный. Спасибо, сэр.

Коридорный уходит. Эд садится за стол, закуривает, бросает спичку на ковер, потом гасит ее ногой. Минутная пауза.

Боб. Н-да. *(Подходит к окну и выглядывает.)* Послушай, кажется, нам довольно скоро придется отсюда убираться.

Эд. Ну как там обстановка — не лучше?

Боб. Пожалуй, даже хуже. Похоже, через несколько минут огонь дойдет до нашего этажа.

Эд. А мы, собственно говоря, на каком?

Боб. На одиннадцатом.

Эд. Одиннадцатом... Значит, спрыгнуть нельзя.

Боб. Да ты, насколько мне помнится, никогда и не умел прыгать. *(Идет от окна к комоду.)* Надо бы вещички сложить. *(Вытаскивает чемодан.)*

Эд *(разглаживая чертежи)*. Кто тебе их делал?

Боб. Да есть один парень — Ролинз. *(Вертит в руках рубашку.)* Теперь придется звонить в какую-нибудь другую гостиницу насчет номера.

Эд. Ну, это не проблема.

Боб. Гостиницы битком набиты. *(Трогает свою подошву, тщательно осматривает ее.)* Слушай, пол нагревается.

Эд. Я уже почувствовал. И что-то душно становится. Ну и ну! *(Оглядывает комнату, идет к телефону.)* Алло! Воду со льдом в номер одиннадцать восемнадцать. *(Направляется к столу.)*

Боб *(у кровати)*. О, это вещь! Вода со льдом, в жару... *(Складывает чемодан.)* Послушай, если я переезжу в другую гостиницу, как же я буду получать почту? Ведь всем известно, что я здесь остановился.

Эд *(изучая чертежи)*. А знаешь, неплохо...

Боб *(с живостью)*. Тебе нравится? *(Возвращается к прерванному разговору.)* Вот представь себе, переезжаю я в другую гостиницу, а там тоже пожар!

Эд. Какой-то риск всегда есть.

Боб. Конечно. Но сейчас я просто уверен, что так и будет *(Звонит телефон.)* Подойди, Эд, будь любезен *(Снует от кровати к комоду.)*

Эд *(идет к телефону)*. Конечно. *(Берет трубку.)* Алло! Очень хорошо. Замечательно. Что? Понимаю. Минутку, пожалуйста. *(Бобу.)* Там внизу пожарные. Несколько человек. Хотят подняться сюда.

Боб. О чем разговор? Скажи, чтобы заходили.

Эд *(в трубку)*. Хорошо. Поднимайтесь. *(Вешает трубку, идет к столу, садится.)* Ну вот, теперь дело пойдет на лад.

Боб *(смотрит в окно)*. Слушай, там на улице столько народу собралось.

Эд *(рассеянно, склонясь над чертежами)*. Может, какое-нибудь происшествие...

Боб *(вглядываясь в окно, с чемоданом в руке)*. Скорее всего узнали о пожаре в нашей гостинице. *(Стук в дверь.)* Войдите.

Коридорный *(входит)*. Прошу прощения, мистер Барклай, прибыли пожарные.

Боб. Пригласи их войти. *(Направляется к двери.)*

Дверь открывается. На пороге появляются двое пожарных при всех регалиях. Первый пожарный держит брандспойт, через руку у него перекинута огнезащитная роба; в руках второго пожарного — скрипичный футляр.

Первый пожарный *(очень извиняющимся тоном)*. Мистер Барклай?

Боб. Я мистер Барклай.

Первый пожарный. Мы пожарные, мистер Барклай. *(Они снимают каски.)*

Боб. Здравствуйте!

Эд. Здравствуйте!

Боб. Очень приятно познакомиться, уверяю вас. Должен извиниться за некоторый беспорядок в комнате, но...

Первый пожарный. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Дома всегда так...

Боб. Разрешите представить вам моего друга, мистера Эда Джамисона.

Первый пожарный. Очень рад.

Эд. Все в порядке, мальчики? *(Второй пожарный кивает.)* А я знаю вашего шефа!

Первый пожарный. В самом деле? Ты подумай, он знает старину шефа!

Второй пожарный хихикает.

Боб *(в замешательстве)*. Вы, мальчики, наверно, хотели бы приступить к работе, а?

Первый пожарный. Да, если не возражаете. Мы бы хотели тут у вас слегка побрызгать.

Боб. Разрешите вам помочь?

Первый пожарный. Да, окажите любезность...

Боб помогает ему натянуть робу. В это время второй пожарный, не говоря ни слова, кладет скрипичный футляр на кровать, открывает его, вынимает скрипку и начинает ее настраивать.

Боб *(наблюдая за ним)*. Кажется, я не совсем понимаю...

Первый пожарный. Дело в том, видите ли, что Сиду редко удается порепетировать дома. Иногда на пожаре, пока мы ждем, когда стена рухнет или еще что-нибудь в этом роде, ну, в общем, когда особых дел у нас нет, мне лично доставляет большое удовольствие слушать, как он совершенствует свое мастерство. Надеюсь, вы ничего не имеете против? Или, может быть, вы не любите музыку?

Боб. Нет, нет, ну что вы... *(Боб и Эд понимающе кивают. Второй пожарный канифолит смычок.)*

Первый пожарный. Прошу меня извинить... *(Решительно поворачивается к окну. Чувствуется, что он вот-вот приступит к делу.)*

Боб. Какие обаятельные ребята!

Эд. *(подходит к окну вслед за пожарным).* Ну, как там пожар?

Первый пожарный. В данный момент весьма сильный. *(Трогает стену.)* Эта стена довольно скоро рухнет, но она упадет во-о-он туда, так что все в порядке. *(Всматривается в окно.)* Соседняя комната — вот откуда надо начинать бороться с огнем. *(Идет к двери налево.)*

Эд тоже отходит от окна. Боб показывает ему свои галстуки.

Эд *(заметив галстуки).* Действительно превосходные!

Первый пожарный *(Бобу).* У вас есть ключ от той комнаты?

Боб. Нет, конечно. Я не имею никакого отношения к той комнате. Я живу в этой. *(Разговаривая, складывает рубашку.)*

Эд. Она вполне уютная.

Первый пожарный. Очень плохо. У меня есть кое-какие соображения... Если бы я только смог попасть туда. Позвольте воспользоваться вашим телефоном?

Боб. Сделайте одолжение!

Первый пожарный *(Эду).* Вас не затруднит подержать? *(Указывает на шланг.)*

Эд. Как?

Первый пожарный. А вы под него подползите. *(Эд выполняет.)* Спасибо. *(В трубку.)* Алло! Соедините меня, пожалуйста, с дежурным администратором. *(Второму пожарному.)* Исполни нам ту вещицу, что ты играл, помнишь, ночью, когда горело здание актерского профсоюза. *(Опять в трубку.)* Вы слушаете? Это говорит пожарный. Ах, да, вы уже знаете. Я нахожусь в номере — э-э-э.., *(Смотрит на Боба.)*

Боб. Одиннадцать восемнадцать.

Первый пожарный. Одиннадцать восемнадцать. И я бы хотел, с вашего позволения, попасть в соседнюю комнату... Чудненько. Вы пошлете кого-нибудь наверх с ключом? В ней никого нет? Отлично! Да, сразу. *(Вешает трубку.)*

Боб. Прекрасно. *(Пожарному.)* Вы не присядете?

Первый пожарный. Благодарю вас.

Эд. Сигару?

Первый пожарный *(берет сигару).* Премного благодарен.

Боб. Прикурить?

Первый пожарный. Будьте так добры.

Эд *(не находя спичек).* Боб, у тебя спички есть?

Боб *(идет к столу).* Мне казалось, где-то были. *(Шарит в карманах.)*

Первый пожарный. О, не беспокойтесь!

Идет к окну, высовывается наружу и появляется с дымящейся сигарой. Боб идет к комоду, задвигает ящик. Второй пожарный легонько постукивает смычком по скрипке.

Первый пожарный. Мистер Барклай, он, кажется, уже приготовился играть.

Боб. Прошу прощения.

Все садятся. Второй пожарный занимает центр сцены с видом концертирующего скрипача. Он начинает играть мелодию песни «Пусть не гаснет огонь в очаге». Боб, Эд и первый пожарный вытирают лоб. Под финальные восемь тактов тусклый красный свет заливает сцену.

◆

Наша почта

Из ответов на анкету «ИЛ»*

Уважаемые товарищи!

Я регулярно читаю ваш журнал уже почти 10 лет. А «пристрастился» к нему во время службы в армии, прочитав «Барьер» П. Вежинова и «Я в замке король» Сьюзен Хилл — это были открытия на всю жизнь. С 1980 года выписываю журнал, выписывал семь лет, но вот на будущий, 1988 год, подписываться не стал. Могу объяснить почему буквально в нескольких словах: на фоне того, что выходит в последнее время в других «толстых» журналах — в «Знамени», «Новом мире», — «Иностранка» выглядела бледной тенью. Создается даже впечатление, что она твердо осталась стоять на «доперестроечных» позициях. Самое обидное, что и переводная, иностранная литература в «Знамени» и «Новом мире» куда лучше, чем в «Иностранке». Ведь не «Иностранка» напечатала Кена Кизи и Марио Пьюзо!..

Возникает один — главный — вопрос: кто определяет политику публикации зарубежной литературы? Кто определяет, что переводить, а что нет, что печатать, а что не печатать? И почему этот процесс совершается втайне, скрыто от читателей (и почитателей!) иностранной литературы? Вы сможете ответить на этот вопрос?

В зарубежной художественной литературе еще очень и очень много «белых пятен» — имен и книг, совершенно неизвестных советскому читателю. Кто и когда начертал границы этих «белых пятен»? Не знаю, как вам, а лично мне за такое положение стыдно. И ведь если бы речь шла только о современных или недавно умерших зарубежных авторах (тут действительно, согласен, бывает еще сложно разобраться — кто достоин нашего внимания, а кто нет). Так нет же — и в литературе прошлых веков остались так и не открытые имена.

Думается, напрасно «Иностранка» игнорирует западные бестселлеры — пусть это даже будет поваренная книга. Ничто не бесполезно — дайте хотя бы в отрывках, дайте фрагмент. А если автор, на ваш взгляд, негодяй — пожалуйста, докажите это, покажите, а не критикуйте то, что нам неизвестно.

Теперь частности. Уже не раз хотелось мне написать вам о давней моей мечте — чтобы в «Иностранке» появлялись сказки. Сказочная литература — и для детей, и для взрослых — ведь имеет на Западе, особенно в англоязычных странах, богатейшие традиции и представлена огромным количеством произведений и имен, среди которых всемирно известные Кэрролл, Толкиен, Милн и т. д. и т. п. Хорош Волков но оригинал, должно быть, ничуть не хуже. Пусть будет «детский» отдел в журнале, честное слово, давно пора!

Не знаю, как другие читатели, но я уже устал от этих бесконечных «потоков сознания», непрерывно разоблачающих дегуманизацию, расизм и тому подобное. В последние годы публикации вашего журнала напоминают один большой сплошной «Сон Бруно» (роман неплохой, но не лучший. К тому же большой по объему — а ведь места в журнале не так много. Не достаточно ли было бы фрагментов?). А ведь так хочется просто отдохнуть, порадоваться авторской фантазии и находчивости, получить заряд оптимизма... Но так мало было подобных «зарядов» на протяжении последних лет: «Дневник Адриана Моула...», несколько фантастических и спортивных рассказов, ну — с натяжкой — Ладлэм и Стивен Кинг. Вот и все. Мало! Зато серятины наподобие «У-2» или «Акробата» хоть отбавляй. Именно: пора отбавлять.

Публицистика в «Иностранке» на высоте. Но публицистика сейчас везде на высоте. К тому же у вас ее все ж таки много. А когда чего-то слишком много, получается «неровно», как говорил Сэм Уэллер-старший из «Пиквикского клуба». Непропорционально мало фантастики и детективов. А сбереженное за их счет место опять же отдается серым и длинным романам или произведениям, давно отжившим свой короткий век, вроде «Волчьего капкана» Веркора.

Мало в журнале литературоведения и искусствоведения. Когда-то были интересные рассказы о художниках с иллюстрациями на обложке, теперь же на обложке в основном кондовые реалисты, а настоящего искусства раз-два и обчелся. Хочется необычного, нового. А его все нет и нет.

Постепенно «уплыла» из журнала и современная буржуазная философия, уплыл и западный театр. Кризис? Так напишите растолкуйте, докажите!

Хочу также представить свой личный список произведений-бестселлеров, опубликованных в «Иностранке» в последние годы. Джеймс Джонс «Только позови». П. Устинов «Крамнэгел». Стивен Кинг «Мертвая зона». У. Стайрон «Софи делает выбор». Р. Ладлэм «Бумага Мэтлока». Э. Руссо «Логово горностаев». П. Бенчли «Челюсти». О. Сориано «На зимних квартирах», «Ни горя, ни забвения». Г. Гарсиа Маркес «Хроника объявленной смерти».

Были еще «Человек с Лабрадора» «Конторские будни», «Море истекает кровью» «Тайный дневник»... А вот поэтических открытий не было.

Не было хороших обзорных статей, не

* Продолжение. См. «ИЛ», 1988, № 3—4.

было живых, интересных интервью. Сказок, наконец, не было...

Буду счастлив, если эти мои пожелания редакция учтет — подпишусь на журнал хоть на пятилетку вперед (кстати — почему бы и нет?)

О себе: 30 лет, журналист, женат, детей.

И большая просьба: в случае, если это письмо будет использовано для публикации в журнале, не правьте меня слишком беспощадно, оставьте хотя бы суть.

С уважением Сергей Смирнов
г. Томск

Уважаемая редакция!

1. За два прошедших года мне понравились произведения художественной прозы: «Флаг на заре», «1876», «Акробат», «Женатый мужчина», «Вошедшие в ковчег», «Ни горя, ни забвенья...», «Десятый», «Сила и слава», «Конец игры», «Волчий капкан», «И сошлись старики», «Дева и цыган», «Сон Бруно», «Победителю достанется все».

Очень понравились: «Камень на камень», «Комната на втором этаже», «Футурологический конгресс». Я хохотал до слез над романом «Дальний умысел».

Не смог заставить себя даже начать читать повесть Вольф «Кассандра» и роман Козака «Адам и Ева»...

2. О ваших поэтических публикациях могу сказать только плохое, хотя в поэзии ничего не смыслю. Я отношу себя к простым читателям, на коих и рассчитан ваш журнал. И вот этому простому читателю за два года понравились два перевода В. Набокова и «Сад песней» Р. Тагора. Прекрасные стихи. Но ваш журнал в основном печатает столбцы фраз без намека на рифму, и я совершенно не понимаю, почему эти столбцы называют стихами, а не рассказом или повестью. Может, это белый стих или плохой перевод, но я, простой читатель, не понимаю и поэтому не принимаю такие «поэтические» публикации.

Я хотел бы встретиться на страницах журнала с творчеством В. Набокова, Р. Тагора и советских зарубежных поэтов, которые в недалеком прошлом бежали от сталинизма и брежневизма и которых с удовольствием печатают на Западе. Все они стали иностранными поэтами.

3. В разделах публицистики и документальной прозы мне понравились следующие публикации: Питера — «Еще раз о принципе Питера», Кемпинского и Киляра — «Кто есть кто в Польше — иначе», Шнайдера — «Золотой треугольник», Капусцинского — «Император», Вальрафа — «На самом дне», Покровского — «Пойдем со мной», Грина — «Мое знакомство с генералом».

4. Литературную критику читаю редко. Прочитал критические заметки в адрес романа «Камень на камень» и согласен полностью с автором, что этот роман — шедевр в мировой литературе.

5. Меня устраивают традиционные рубрики журнала и расположение материала.

Замечания и пожелания

Когда я прочитал роман Э. Брейтуэйта «Учителю — с любовью», то страстно захотел в письме отблагодарить автора. Но я не знал, жив ли автор. Ведь вы чуть-чуть не опоздали с публикацией романа. 27 лет он шел до советского читателя. Убедительно прошу порыться в архивах, покопаться в старых бумагах, может быть, откопаете подобное произведение.

На страницах журнала я хотел бы чаще встречаться во всех разделах ваших публикаций с людьми труда, с такими героями, как в романе «Камень на камень», как в публикации Кемпинского и Киляра, о мокром от плевков бригадире или о героях дна Вальрафа.

Воробьев
36 лет, инженер-строитель
г. Тула

В журнал
«Иностранная литература»

Так как я являюсь читателем журнала «Иностранная литература» с 1965 года, а постоянным подписчиком с 1974 года, поэтому решила вам написать.

Так дальше дело не пойдет! Надо с этим покончить! Бóльшая половина журнала напечатана мелким и мельчайшим шрифтом, читать которые вечером невозможно.

Задача журнала — знакомить читателя с мировой иностранной литературой не тенденциозно, считаясь с конъюнктурой данного момента, а исходя из нравственности, не вытаскивая на свет божий снова кафок, набоковых, джойсов, пропагандирующих порнографию, упадничество, переворачивающих мир вверх ногами.

Мы прикованы к журналу «Иностранная литература» книжным дефицитом, иначе бы он действительно потерял многих подписчиков, которым надоели очередные японские «ящики», латиноамериканские перевороты с их жестокостью, благодаря таким произведениям можно потерять чувство интернационализма, приходя к мысли, что негры, метисы, мулаты, большинство латиноамериканцев ленивы, жестоки, похотливы, лживы, нечистоплотны, окружены сонмищем крыс и насекомых. Но ведь, например, в произведениях Джека Лондона, хотя бы в одном из них, «Мексиканце», нам показали стойкого человека, стремящегося к свободе, почти что жертвующего жизнью ради своего народа. Вот ведь какая разница между мировой прогрессивной литературой и подделками под нее.

Не заставляйте нас переоценивать ценности.

Ваш постоянный подписчик

З. Ослопова,
г. Омск

Уважаемая редакция!

Я не филолог, не литературовед; просто человек, любящий литературу как занимательное и поучительное времяпрепровождение. Потому буду, конечно, субъективен и предвзято подойду к вашим пуб-

ликациям. Заодно прошу простить за отступление от пунктов анкеты.

Во-первых, жанровая бедность, кстати, характерная не только для наших журналов, но и вообще для советских наших издательств. Представьте себе, что в музыке мы оставили лишь симфонии как высокочувственную, содержательную, серьезную и т. д. музыку, а отказались от жанра оперетты, эстрады, балета и т. д. Мы обокрали бы себя, свой духовный мир. Искусство прекрасно тем, что многогранно, и бессмысленно отдавать предпочтение тому или иному жанру — они должны постоянно и равноправно сосуществовать, и только в этом случае будут рады искусству люди.

В литературе, наряду с глубокими психологическими произведениями Достоевского и т. п., необходимы и братья Вайнеры и Стругацкие. Только в этом случае откроется перед читателем огромный, заставляющий задуматься и смеяться, мечтать и стремиться сделать что-то самому многогранный мир литературы. Пренебрежение любым жанром делает литературу слабее, и лишь все жанры вместе составляют ее могущество.

Во-вторых, явная политико-социальная направленность печатаемых произведений. Нет неклассовой и аполитичной литературы, но плохо, когда читателю прямо пальцем указывают, что́ плохо, что́ хорошо. Это ведет к примитивизму и искусственности. Неужели наш образованнейший читатель нуждается в разжевывании нашего социального быта на уровне американских комиксов?

Я люблю Золя. Но он нигде не выделяет особо социалистов и профсоюзы — он умеет показать в романах ту часть жизни человека и общества, что САМ читатель начинает вспоминать сущность коммунистической морали, сам начинает видеть все преимущества строя, в котором мы живем, и ужасается тому, что было, что так без искусственности, но так классово показал Золя.

Мне бы хотелось, чтоб критика, публикуемая в журнале, была не вообще, а наоборот, после публикуемого произведения давались бы критические анализы этого произведения с обобщением на этом конкретном примере и на всю современную направленность в зарубежной литературе.

Может, все изложенное мной,— подобие известного «Письма к ученому соседу», но меня несколько успокаивает мое дилетанство.

Просто рабочий-шахтер.

Желаю успехов в вашей нужной работе.

Минаков И., 37 лет
Подземный электрослесарь.

Увы, из стихов зарубежных поэтов самое большое впечатление осталось от Лонгфелло. Эти и другие недостатки от малоосведомленности отношу за счет небывалой упаднической ситуации в нашей книгоиздательской и книготорговой деятельности. Практически все чтение только в журналах. Книг нет ни в магазинах, ни в библиотеках. Министерство культуры, видно, не очень волнует книжная отрасль. Как же воспитывать молодежь с широким кругозором? А Горький говорил, что всем хорошим в себе он обязан именно книгам. Я целиком его поддерживаю.

Уважаемые товарищи!

Читаю «ИЛ» с самого первого номера и считаю его СВОИМ журналом. На правах читателя с более чем 32-летним стажем хочу вновь высказать некоторые пожелания, замечания и задать вопросы.

Ответы на анкету

1. К сожалению, должен согласиться с мнением читателей, что журнал стал менее интересен. И не могу согласиться с мнением т. Николаевской А., что «круг интересов переместился в другую область». По-моему, он значительно расширился. Читают не только то, что «лежало под сукном», но и новые переводы зарубежной литературы. Хочу спросить — почему «Новый мир» печатает У. Стайрона, Г. Бёлля, «Звезда» и «Сибирские огни» — И. Шоу, «Звезда Востока» и «Аврора» — Ж. Сименона и т. д., а не «ИЛ»? Поддерживаю список авторов, предложенных т. Козак. Его, конечно, можно расширить. На страницах «ИЛ» ни разу не публиковался Р. П. Уоррен, исключая подборку стихотворений. Не было и Уоллера, автора «Банкира». Две книги из трилогии М. Дрюона, начатой «Сильными мира сего». Б. Травен, о котором пишут, но не печатают.

Мне кажется, что любой зарубежный автор должен впервые появляться на страницах «ИЛ» — это должно быть монопольное право журнала. Публикуется статья о В. Набокове (№ 5, 1987), а его произведения печатают другие журналы. Вывод напрашивается один: объем журнала слишком мал, чтобы печатать всех авторов. Должны преобладать значительные произведения, и предпочтение должно быть отдано выдающимся мастерам прозы.

2. Пожалуйста, печатайте! И больше лирики.

3. Ответ однозначен — с публицистикой в журнале все в порядке. Но почему бы регулярно не помещать публицистику о нас, печатающуюся за рубежом? Это же взгляд на себя со стороны. Одну попытку журнал сделал (№ 11, 1987). Но ведь это прошлая пятилетка — книга 83 года. А что пишут сегодня? Посмотрите, что мы читаем сегодня прежде всего в толстых журналах — публицистику! — острую, вызывающую размышления и споры. В ней то, что нас сегодня волнует. Вот и «ИЛ» надо публиковать не только материалы о «них», но и «их» публицистику о «нас». Безусловно, интересную и талантливую. Рубрику можно назвать «ЧТО ПИШУТ О НАС».

4. У меня за много лет сложилось мнение, что критика в «ИЛ» слишком академична. Журнал иногда печатает критику на произведения, у нас не опубликованные. Не возражая против этого, хотелось бы прочесть критику на опубликованные произведения, которой в «ИЛ» иногда не найти. Иногда, желая соотнести свое вос-

приятие книги с мнением критика, остаешься в одиночестве.

5. «ИЛ» меня устраивает со всеми рубриками и расположением материала. Традиционная форма журнала складывалась много лет. К этому привыкаешь. Я не консерватор, но зачем перекраивать «знакомые черты любимого лица»? «ИЛ» — ТАКОЙ журнал, ни на какой другой не похож — явление исключительное, и это надо беречь, и дорожить им. В плане новаций можно рассматривать только появление новых рубрик, если они действительно интересны и обогатят журнал.

Предложения

1. «Наша почта» — редкая рубрика на страницах журнала. Ее появление в 1977 году позволило заработать «обратной связи». Но вскоре она стала исчезать, иногда на годы. Мое предложение таково: рубрика должна быть в каждом номере. Хотя бы одна страница самого мелкого шрифта. Тогда почта журнала будет более полно отражать мнение большого числа читателей. Редколлегия начала хорошее дело, но ведет его робко.

2. Часто публикации сопровождаются пометкой — «журнальный вариант». Ни в одном энциклопедическом и справочном издании такого понятия нет. Что же оно есть? Полагаю, что желание вместить в журнал больше произведений за счет их сокращения не служит на пользу литературе. Лучше меньше, но полностью! Хотелось бы, чтобы на страницах «ИЛ» было объяснено, что же такое «журнальный вариант». И проиллюстрировать несколькими примерами извлечений из подлинного произведения и его усеченный вариант.

3. В своем письме 1983 года я сетовал, что журнал злоупотребляет мелким шрифтом. С точки зрения вместимости, может быть, и хорошо. Но что делать читателям после пятидесяти, у которых уже не столь острое зрение? На мой взгляд, большие произведения (более 30 страниц) печатать мелким шрифтом недопустимо. Берегите глаза своих читателей!

4. В каждом номере желательно печатать план следующего номера, и не обязательно на обложке. Такая предупредительность к своим читателям будет принята с благодарностью.

5. Иногда делались робкие попытки печатать карикатуры. Нельзя ли выделить страницу для наиболее интересных карикатуристов мира, представляя в номере одного-двух авторов или страну? Конечно, литературной тематики.

6. Нельзя ли ввести рубрику «Книжные новинки в СССР» — перечень книг зарубежных авторов, изданных у нас в стране? Можно делать пометку, что тот или иной автор или произведение впервые напечатано в «ИЛ».

Вопросы

1. Цена журнала возросла чудовищно, а объем сократился до 16 печатных листов. Как это соотнести одно с другим? Время, конечно, уже стерло остроту повышения цены, но вопрос у меня остался. Если же повысили цену так, что «ИЛ» стал САМЫМ дорогим «толстым» журналом в СССР, то он должен быть л у ч ш и м!

2. В 58—59 годах журнал выходил двояко — в мягком и твердом переплетах по желанию подписчика. Нельзя ли это возобновить? Хорошо читаемые журналы рассыпаются. Многие оценили бы это по достоинству.

3. В 1977 году вышел «Указатель содержания журнала 1955 — 1974 гг.». Мне повезло — он мне попался случайно на глаза в книжном магазине. Пять лет назад спрашивал «ИЛ», не планируется ли издание нового Указателя. Не ответили. В 1985 году «Книготорговый бюллетень» проанонсировал, что издательство «Известия» в III—IV квартале 1985 года выпустит Указатель «ИЛ» — 75—84 гг. Я заказал его. Но заканчивается 1987, а Указателя все нет. И журнал об издании Указателя не напечатал ни слова. А ведь он нужен только читателям «ИЛ». Просьба — опубликуйте на страницах журнала о выходе Указателя. Это тоже элемент предупредительности к своим читателям.

Понимая, что мое мнение не бесспорно, я надеюсь, что редколлегия отнесется к нему с пониманием.

Хочу видеть СВОЙ журнал в самом ближайшем будущем более интересным по набору публикуемых произведений.

Коротко о себе. САКОВ Геннадий Аркадьевич. 53 года. Инженер-строитель.

С уважением
Г. А. Саков

Отклики на диалог «Возвращение к Человеку» [1]

Д. С. Лихачева и Н. Г. Самвеляна

Нахожусь под большим впечатлением диалога: «Вовращение к Человеку», напечатанного в вашем журнале!

Мне казалось, что участники диалога беседуют со мной, высказывают вслух и мои сокровенные мысли.

Сейчас, в век, когда вырабатывается новое мышление, нам необходимы те простые и вечные истины, о которых говорят авторы «Диалога».

Я уверена в том, что люди Земли сумеют сохранить культуру, сумеют найти такие точки взаимопонимания, которые защитят мир и создадут такие условия, в которых разовьется высокая духовность, откроются все таланты людей, и человек вернется к Человеку.

Янина Борисовна Светлова,
преподаватель (г. Львов).

Друзья!

«Возвращение к Человеку» — правильно. В этих двух словах очень большая мудрость. Надо вернуться к человеку, который более не хочет быть винтиком в механизме.

[1] Опубликован в «ИЛ», 1988, № 1.

«Незаменимых нет!» Да все мы незаменимы! Величайшее преступление, что обезличили людей. От этого и идет воровство, взяточничество, всякая гадость. Очень жаль, что в «Возвращении к Человеку» не затронут вопрос о Сталине. Это самый больной вопрос сегодняшнего дня. Пока что никакие книги не дают нам понимания того, что тогда произошло. Я очень хотел бы лично обратиться к авторам «Человека», сказать об их отношении к Сталину и К°, что необходимо услышать.

А о единстве человеческой культуры все равно сказано мало. Тут надо было еще подробнее, чтобы народ не путал с космополитизмом, которым нас всех запугивали. Тут надо полезную ясность внести. Редакция не учитывает, что народу столько лет дурили головы, что многое надо снова объяснять, как детям в школе. Ничего обидного ни для кого в том нет.

Сто раз скажут, что ты свинья, начнешь хрюкать, а книжку, вместо того чтобы читать, в борще сваришь. Надо снова учить людей думать, чтобы люди вернулись к Человеку. За это название редакции премию надо дать. Оно прямо как лозунг: «Люди! Вернитесь к Человеку!»

Очень одобряю то, что начал журнал. Вы становитесь лучше. Желаю Вам дальнейших успехов!

С уважением
Клебанов Р. (г. Москва)

Дорогая редакция!

Находясь в командировке в Москве, прочитал журнал с «Возвращением к Человеку». Полностью поддерживаю, ничего не оспариваю. Тем более что каждый из авторов имеет право на любое мнение. Поэтому не в качестве поправок, критики и т. д., а в качестве пожелания хочу высказать ряд соображений.

Такой разговор нужен. Слов нет. Он свидетельствует о том, что журнал поворачивается к читателю лицом. Безусловно, переводы публиковать нужно. Но это и в книгах можно. Дело журнала, на мой взгляд, осмысливать и делиться с читателем раздумьями, наблюдениями за всемирным литературным и культурным процессом, помогать читателю.

Вместе с тем хотелось бы, чтобы такого рода диалоги захватывали и национальные культуры. Достаточно было бы коснуться вопроса о судьбе заброшенных исторических памятников Армении, разрушенного взрывными работами храма Всеспасителя в окрестностях села Гарни (недействующего, но очень популярного в народе), коснуться судьбы озера Севан, усилиями гидростроителей и мелиораторов медленно, но верно превращающегося из «самого большого из высокогорных и самого высокогорного из больших озер» в обыкновенное болото, чтобы «Возвращение» стало напрямик адресовано армянскому читателю.

Возвращение к Человеку как к главной ценности мира сейчас идет повсеместно. Уверен, что и движение такое возникнет. На эту тему надо писать много и смело, чтобы люди поверили, что они не лишние на Земле, не тупиковая ветвь эволюции. В свете последнего авторам «Возвращения» надо было бы коснуться еще одной темы. Темы роботизации и места человека в роботизированном мире будущего (уже недалекого).

Поймите, пожалуйста, правильно. Я далек от паники перед бунтом «разумных машин». Сам имею к ним непосредственное отношение. Однако заводы-роботы уже реальность в Японии и Америке, а значит, скоро станут реальностью и везде.

Когда заводы-роботы объединятся в тресты-роботы, самоконтролирующиеся, самовоспроизводящиеся, самоусовершенствующиеся, сфера производственной деятельности человека окажется очень ограничена. Для обслуживания такой высокоорганизованной системы потребуется очень мало людей. Ведь человеку нужно будет определять лишь стратегию развития производства. Тактику и технику машины обеспечат сами.

В обществе естественно создается принципиально новая ситуация. Масса людей (я бы сказал — большинство) окажется вне производственной сферы. Чем они займутся? Хотелось бы услышать мнение авторов «Возвращения».

Прогнозируется ли такая ситуация сегодня? Как мы к ней готовимся? Не кажется ли авторам, что технический прогресс Человечества обогнал прогресс социальный? И видятся ли пути гармонизации развития общества?

Очень хочется получить ответы на эти и многие другие вопросы. Задать все сразу просто невозможно.

Еще к вам большая просьба: печатайте, пожалуйста, свой адрес на второй странице обложки, и крупнее, чтобы легче было найти.

Извините, пожалуйста, за некоторую сумбурность изложения. Не было времени привести мысли в порядок.

С уважением
Белый Е. Б., инженер-электроник (г. Ереван)

P. S. Хоть диалоги — это процесс, и о его окончании говорить не хочется, но все-таки: можно ли где-нибудь прочитать полный текст «Диалогов»? Из врезки это совершенно неясно.

Уважаемая редакция!

Эту самодельную книжку, которую вам посылаю, я купил на улице. Значит, людям нужно, раз они это перепечатывают и даже продают!..

Почему бы не выпустить это «Возвращение к Человеку» отдельной брошюрой, ведь есть же типография при вашем журнале? Желательно, чтобы к этому «Возвращению» прибавились и другие «Диалоги»...

В «Правде» пишем, что необходимо выпускать книги диалогов, а сами задерживаем. Это называется демократизация? Это называется гласность?

Дайте нам «Возвращение к Человеку»!

А книжку мне прошу вернуть с автографами авторов. Сделайте это, пожалуйста.

Студент I курса
Московского автомобильно-дорожного института
Сергей Бочковой

Уважаемый главный редактор!

Что означает опубликованный Вами в журнале очерк: «Возвращение к Человеку»? О чем там идет речь в действительности? Мало нам «Плахи». Так теперь нам популярно объясняют, что пора назад, к христианству. А знаете ли Вы, что очерк ксерокопируется и распространяется в Ленинграде?

Не очень понятна позиция журнала по этому вопросу.

Соколова И. В. (г. Ленинград)

Глубокоуважаемый главный редактор!

Могу считать себя не вполне рядовым читателем. По профессии я адвокат, участник войны, сейчас на пенсии. Автор многих очерков на нравственные темы.

В 1987 г. в «Молодой гвардии» вышла в свет моя книга «Приговор». Следовательно, в какой-то мере я ваш коллега.

Не будучи склонным к чувственным излияниям и громким эпитетам, прошу редакцию передать благодарность за статью «Возвращение к Человеку» академику Д. Лихачеву и писателю Н. Самвеляну за их большой и серьезный гражданский поступок.

Взял журнал, чтобы прочитать Кафку, натолкнулся на статью, о которой нахожу нужным сказать несколько слов.

Кто-то должен был найти смелость произнести все то, что произнесено, кто-то должен был начать.

Не откажите в любезности сообщить, где и когда выходит в свет полный текст, а не фрагменты «Возвращения к Человеку». Дело в том, что читать это надо всем. Журнал передаем из рук в руки.

С уважением
А. Плоткин (г. Ковров)

Уважаемая редакция!

Хотелось бы сразу поблагодарить вас за публикацию диалога Д. С. Лихачева и Н. Г. Самвеляна «Возвращение к Человеку». Не скрою, что был его особо заинтересованным читателем, поскольку работая прежде в еженедельнике «Литературная Россия», имел некоторое отношение к первым публикациям этого большого, важного, многоохватного разговора и жалел о том, что его продолжение и развитие может не дойти до читателя. Будучи лично знаком с Николаем Григорьевичем Самвеляном, я уже имел возможность подробно высказать ему свои впечатления, но одно из соображений, видимо, стоит обратить к собеседникам официально, как к авторам вашего журнала.

Занимаясь в XX веке историей литературы — сначала XIX века (в прошлом году у меня вышла повесть о Пушкине), а теперь XVIII века (работаю над историческим романом о Я. Б. Княжнине),— я волей-неволей размышлял над вопросами исторических и современных путей обогащения национальных культур. Сейчас, кажется, особенно резко и массово эти вопросы сфокусированы на музыке. Споры о роке не сходят с газетных и журнальных полос. Можно попытаться найти аналоги в истории. Ведь покоряла Европу, к примеру, венская классическая гармония, несли певческую культуру итальянцы. Но то была гармония, то была культура. И Россия, как великая река, слева и справа вбирая в себя животворные притоки, не меняла, а лишь ширила русло свое. Не вторых и третьих Лафонтенов, Метастазио и Шиллеров — рождала Сумароковых, Княжниных, Жуковских, Тютчевых. Не вторых и третьих Моцартов, Сарти и Гайднов — Фоминых, Бортнянских, Глинок. И всегда умела отторгать все чуждое, бездарное, мертвое. Жили в ней неприметные, но мощные лейкоциты. Истощились? Видоизменились? В веке русского Просвещения полезны были и прямые заимствования (даже картошка не сразу стала привычным русским блюдом). А сейчас?

Может быть, стоит именно в подобных диалогах с академиком Лихачевым порассуждать о современных и перспективных путях обогащения отечественной культуры, что подчас сводят лишь к сохранению наследия. Впрочем, конечно, если журнал намерен продолжить диалоги.

С уважением
А. Бархатов,
консультант секретариата
правления СП СССР
(г. Москва)

Уважаемый Главный редактор!

Выражаю особую благодарность за публикацию в журнале диалога «Возвращение к Человеку» между академиком Д. С. Лихачевым и писателем Н. Г. Самвеляном.

Тема диалога очень важная и затрагивает сердца человеческие, ибо в нем призыв: больше добра и любви всему живому творению Божию, и в том числе Человеку.

Читателей-христиан, в том числе и нас, евангельских христиан-баптистов, очень интересует проблема большего вовлечения церквей в социальную жизнь общества. Опубликованный диалог показывает реальные пути в утверждении, что церковь и народ едины.

Еще раз спасибо! Желаем творческих успехов.

Генеральный секретарь
Союза евангельских христиан-баптистов
СССР, член Советского комитета
защиты мира
А. М. Бычков

Дорогая «Иностранка»!

Вы очень порадовали «Возвращением к Человеку». Надо опубликовать много статей о возвращении нормального взгляда на жизнь, чтобы воспитывать ими людей. Сейчас это не менее важно, чем то, что делает «Огонек». Разоблачать надо. Но что дальше, за разоблачением — самоубийство?

«Возвращение к Человеку» убедило, что жив Человек и о самоубийстве человечества думать рано. Надо бы достойно пожить. Еще есть время у Человека для жизни, но помудреть ему надо обязательно.

С уважением
Уварова М. И.
г. Москва

◆

Из месяца в месяц

Болгария

ПАМЯТИ ПАВЛА ВЕЖИНОВА

За последние два десятилетия своей жизни Павел Вежинов (1914—1983) создал произведения, которые ныне по праву считаются классикой современной болгарской прозы. «Книга о Павле Вежинове», недавно увидевшая свет в столичном издательстве «Болгарский писатель»,— дань уважения безвременно ушедшему замечательному писателю. Издание, подготовленное его друзьями, представляет обширный комментарий к его творчеству и в то же время воссоздает образ человека, непримиримого к фальши.

«Книга о Павле Вежинове» состоит из двух частей, емко названных составителем Атанасом Свиленовым «Его слово» и «Другие о нем». Первый раздел вводит в творческий мир писателя: здесь собраны его интервью и статьи, отдельные высказывания о литературе, ответы на различные анкеты. К сожалению, отмечает составитель, среди этих анкет нет ни одной достаточно подробной, дающей полное представление о литературных пристрастиях Павла Вежинова, он был застенчив и к тому же не очень серьезно относился к анкетированию.

Второй раздел объединил воспоминания собратьев Вежинова по литературному цеху, начиная с членов литературного кружка «Христо Смирненский» и кончая теми, с кем он общался в последние дни. Иван Цветков отмечает на страницах газеты «Литературен фронт», что подобные книги просто необходимы болгарскому читателю. «Почему бы не посвятить их и таким крупным мастерам слова, как Димитр Димов, Димитр Талев?»—восклицает он. «Издание этой книги было нашим долгом перед Павлом Вежиновым,— пишет И. Цветков,— и я надеюсь, что все почитатели его замечательного таланта прочли эту книгу с подлинным удовлетворением».

Бельгия

КНИГИ О СУДЬБЕ ГОТФРИДА БЕННА

Премию «Медичи» — одну из самых престижных во Франции — получила в минувшем году книга Пьера Мертенса «Ослепления» (издательство «Сёй»). Ее автор, рассказывает журнал «Магазин литтерер»,— бельгийский юрист, которого и в сугубо профессиональной, и в литературной деятельности прежде всего интересует проблема «преступления против гуманности», в частности — язва нацизма.

С этой позиции Мертенс обращается в своем романе к вехам жизненного пути известного поэта XX века Готфрида Бенна (1886—1956), яркого представителя немецкого экспрессионизма, позже — властителя дум западногерманских поэтов 50—60-х годов, отмечает в обстоятельной рецензии на страницах парижского журнала «Кензен литтерер» обозревательница Мирей Ганзель. Жанр произведения образно определил сам автор — это «фантазии, интуитивные догадки и гипотезы на основе судьбы поэта». Почему же именно фигура Г. Бенна привлекла внимание Мертенса, почему, по свидетельству западной прессы, «роман о счастье и несчастье того, кто остался в живых», заинтриговал тысячи читателей? Вероятно, потому, полагает М. Ганзель, что Готфрид Бенн был единственным из крупных поэтов своего поколения, на протяжении более чем полувека видевшим воочию ужасы и первой мировой войны, и чудовищного всплеска «коричневой чумы», и глобальной бойни, развязанной Гитлером... Бенн — герой П. Мертенса — не в силах забыть никого: ни миллионов солдат, погибших на фронтах обеих войн, ни «дорогих сердцу призраков» друзей. «Куда ушли люди моего поколения? — горько восклицает в романе поэт.— Где Тракль, Гейм, Штадлер, Штрамм, Верфель, Эльза Ласкер-Шюлер?.. Счастлив тот, кто живет среди сверстников и собратьев по духу. Счастлив — и несчастен — тот, кто их пережил».

Судьба Готфрида Бенна воссоздана бельгийским прозаиком во всей ее сложности, противоречивости, продолжает М. Ганзель. Перед нами проходит вереница броских, запоминающихся образов (столичные студенты, соученики Бенна, будущего врача-венеролога, по медицинскому факультету; девица легкого поведения, которой юный Готфрид в порыве отчаяния открывает свою душу; завсегдатаи берлинских кафе 10—20-х годов), цепь «поворотных ситуаций» и важнейших событий в жизни героя (смерть Рильке в новогоднюю ночь 1926 года, бесчинства кликушествующих нацистов, постыдная необходимость оформить свидетельство об «арийском происхождении», гибель «прежнего, любимого» Берлина «в развалинах истории»). Язык Мертенса, замечает рецензент, метафоричностью и «обнаженностью» весьма напоминает стиль раннего экспрессионизма. «Нужно быть человеком поистине одержимым, чтобы так проникнуться духом, образами, атмосферой «эпохи катаклизмов», как это сделал Пьер Мертенс», — подчеркивает Мирей Ганзель. Закрывая его книгу, читатель задает себе вопрос: чем прежде всего привлекает «причудливая биография» Бенна? По мнению обозревательницы, лучший ответ дает сам Мертенс: «Главное в биографии знаменитого человека— это итог его жизненного опыта в свете истории».

Великобритания

ЖИЗНЬ КЭТРИН МЭНСФИЛД

Имя Кэтрин Мэнсфилд, ее произведения известны широкому кругу читателей, но о роли Чехова в писательском становлении К. Мэнсфилд знают лишь немногие. Этот и другие интересные факты из жизни писательницы нашли отражение в новой биографической книге Клэр

Кэтрин Мэнсфилд. Фотография 1913 года.

(Еженедельник «Обсервер»)

Томален «Кэтрин Мэнсфилд. Жизнь, неведомая публике», сообщает еженедельник «Обсервер».

Как отмечает рецензент, «при создании произведений биографического жанра сложность заключается в документальном обосновании материалов». Доказать достоверность всех событий, описанных в книге К. Томален, теперь уже невозможно, но автор берет на себя смелость обосновать сделанные выводы. И прежде всего это касается вывода о своеобразном «открытии» английской писательницей К. Мэнсфилд А. П. Чехова, которое помог ей совершить близкий друг, профессиональный переводчик Флориан Собеновски — знаток английской, американской, немецкой литературы, в совершенстве владевший и русским языком.

К. Томален предполагает, что именно он познакомил будущую писательницу с произведениями Чехова, которые в то время были почти неизвестны в западноевропейских странах: на английский язык в начале XX века, отмечает «Обсервер», не была переведена ни одна из его пьес, вышли только два небольших сборника рассказов, не привлекшие, однако, особого внимания.

Первое опубликованное в Англии произведение К. Мэнсфилд — рассказ «Уставший ребенок» (1910) — это, по существу, свободное переложение рассказа Чехова «Спать хочется». Критики отметили это сходство, охарактеризовав рассказ «Уставший ребенок» как «адаптированный вариант» или даже «переложение». Тем не менее «вольный перевод» без ссылки на источник был включен в первый сборник рассказов Мэнсфилд, вышедший в 1911 году. Как считает журнал «Лиснер», эта и другие новеллы К. Мэнсфилд не были простым копированием, по его мнению, это — «самостоятельные художественные произведения подлинно талантливого автора».

Прослеживая дальнейший жизненный путь Кэтрин Мэнсфилд, К. Томален цитирует письма, рассказывающие о ее личных переживаниях, творческих планах, передающие ее живой интерес к литературе, в частности к поэзии Уолта Уитмена, а также к творчеству Д. Г. Лоуренса — писательница была дружна с ним и его женой Фридой. Однако, напоминает «Обсервер», многим замыслам К. Мэнсфилд не суждено было осуществиться из-за тяжелой, рано развившейся болезни.

Встречи и разлуки, радости и несчастья, успехи и неудачи, надежды и обреченность в судьбе Кэтрин Мэнсфилд — обо всем этом, пишет рецензент еженедельника «Обсервер», с увлечением поведала К. Томален в книге «Жизнь, неведомая публике».

Венгрия

«IN BLUE»

Так озаглавлена одна из рецензий на спектакль «Три девушки в голубом», показанный будапештским театром имени Йожефа Катоны. Постановка известной пьесы Людмилы Петрушевской на будапештской сцене вызвала широкий отклик в венгерской печати.

Многие театральные критики отмечают, что Петрушевская следует чеховской традиции, но ее «три сестры» не столь лиричны, как чеховские, — лиричность в них убита обыденностью. «Императив «надо жить, надо работать» звучит у Петрушевской не возвышенно и благородно, а скорее заземленно и будничнo», — пишет Юдит Чаки на страницах «Уй тюкёр». А Тамаш Тарьян (журнал «Критика») считает, что комедия Петрушевской лишь отдаленно напоминает классические образцы драматургии. По его мнению, это — произведение неонатурализма, но в более эмоциональном, славянском варианте, где грубость жизни смягчена «голубизной» метафор, туманом недомолвок, недосказанности.

Известный театральный критик Андраш Пайи (журнал «Синхаз») усматривает в спорах, развернувшихся вокруг пьесы Петрушевской в советской прессе, конфронтацию «новой волны» с традиционным театром, подчеркивает, что Петрушевская хорошо знает «золотые правила» чеховской драматургии, но при этом не является его эпигоном. Петрушевская в самом деле, отмечает критик, приводит зрителя в шоковое состояние. Смелость ее в том, что приемы чеховской драматургии она сочетает с репортажным освещением действительности. Режиссер театра имени Йожефа Катоны, постановщик спектакля Тамаш Ашер, инсценировавший в прошлом году «Трех сестер» в том же театре и почти с теми же актерами, пишет А. Пайи, по-своему прочел пьесу Петрушевской. Перед нами во всей его подлинности предстает русский «маленький человек», но видим мы его «по-будапештски», «сквозь призму наших собственных проблем и воззрений».

«Три девушки в голубом», считает критик, относятся к тем редким спектаклям, где все органично и все взаимосвязано. Успеху спектакля безусловно

Доротти Удварош (Ира) и Ласло Шинко (Николай Иванович) в спектакле «Три девушки в голубом».

(Журнал «Синхаз»)

способствует и блестящая игра актеров — Мари Тёрёчик (Федоровна), Доротти Удварош (Ира), Юлии Баштн (Светлана), Агнеш Сиртеш (Татьяна).

ГДР

ПО РОМАНУ ХАНСА ВЕБЕРА

Телевидение Германской Демократической Республики показало шестисерийный фильм «Вступление в рай». Фильм создан по одноименному роману известного писателя Ханса Вебера, скончавшегося летом прошлого года в возрасте 50 лет (см. о нем «ИЛ», 1973, № 6; 1980, № 6; 1985, № 2).

...Пять семей вселяются в новый дом. Он кажется им раем после общих квартир, в которых они жили много лет. По неизвестной причине строители не сделали перегородки между балконами, о чем сейчас же узнает десятилетняя девочка Кат. Она становится «связующим звеном» между новоселами, помогает им познакомиться друг с другом. Среди героев (у многих из них сложные судьбы и характеры) — педагог, режиссер, шофер, крупный чиновник, одинокая женщина, добрая и отзывчивая бабушка маленькой Кат. Каждый по-своему вступает в новую жизнь, и всем она достается не так легко...

Еженедельник «Зоннтаг» отмечает, что «режиссерам Ахиму и Вольфгангу Хюбнерам удалось прекрасно передать атмосферу романа Ханса Вебера».

«В фильме так же, как в романе, показаны конфликты нашей повседневной жизни, за каждой даерью— удивительная история одного или нескольких людей»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

Газета «Нойес Дойчланд» поместила несколько статей Петера Хоффа, посвященных шести сериям этого телевизионного фильма, в котором, как считает критик, «очень правдиво и поэтично рассказывается о людях и проблемах нашего времени».

«Вступление в рай» — один из самых значительных фильмов последнего времени», — пишет Петер Хофф в заключение. В немалой степени этому способствовала слаженная работа всего творческого коллектива.

Актеры Вальфрида Шмитт и Курт Бёве в телевизионном фильме «Вступление в рай».

(Еженедельник «Зоннтаг»)

Индия

«РАЗГОВАРИВАЙТЕ НА САНСКРИТЕ»

Министерство развития людских ресурсов Индии, Национальный институт санскрита и Центральный университет торжественно отметили в Дели День санскрита, сообщает индийская пресса. Выступавшие на церемонии отмечали, что санскрит сыграл выдающуюся роль в развитии культуры человечества, обогатив литературу не только Индии, но и многих других стран Азии и Европы непреходящими художественными ценностями. Священный долг каждого индийца — как можно глубже изучать богатейшее культурное наследие, существующее на санскрите — языке, который в течение тысячелетий служил делу укрепления духовного единства народов Индии.

На церемонии присутствовали представители многих организаций, поставивших своей целью дальнейшее развитие санскрита, создание художественной и научной литературы на «одном из классических языков древности». В библиотеке Санскритского университета в Аллахабаде собрано уже более 50 тысяч древних санскритских рукописей, бесценных манускриптов, прежде находившихся в частных коллекциях. Два бомбейских издательства целиком заняты изданием и переизданием древних санскритских трактатов. Многие издательства публикуют произведения современных авторов, написанные на санскрите. Среди лауреатов премии, ежегодно присуждаемой Литературной академией Индии,— имена авторов, создающих свои произведения на санскрите.

В Дели состоялась пресс-конференция, которую провел на санскрите 30-летний Кришна Шастри, рассматривающий древний язык как средство национальной интеграции. «Я пользуюсь санскритом всюду, где только могу: в автобусе, на улицах, на базарах — и при этом не испытываю никаких трудностей в общении с простыми людьми», — заявил он корреспондентам. К. Шастри сообщил, что в Институте санскрита, который он представляет, постоянно работают 1400 кружков, в них за последние пять лет разговорным санскритом овладели свыше 70 тысяч человек. Воодушевленный таким успехом, институт готовится провести массовую кампанию под лозунгом «Разговаривайте на санскрите».

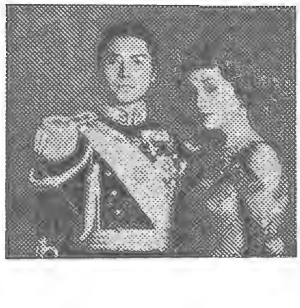
Италия

«КИТАЙСКИЙ» ФИЛЬМ БЕРТОЛУЧЧИ

В своей «исторической мелодраме» «Последний император» известный режиссер Бернардо Бертолуччи вновь обратился к излюбленной теме: «индивид и история». «Мне представилось интересным, — рассказал Бертолуччи в интервью корреспонденту еженедельника «Панорама» Ульрике Коль, — проследить судьбу человека, почти всю жизнь в силу своего происхождения и исторических обстоятельств менявшего один вид несвободы на другой». Этот человек — последний император Китая Пу И из маньчжурской династии Цин, который унаследовал престол в 1908 году двухлетним ребенком, через четыре года был свергнут буржуазной революцией, но до 1924-го года продолжал жить со своей свитой в бывшей императорской резиденции без права выхода за ее пределы, затем перебрался на территорию японской концессии в Тяньцзинь, а в 1931 году, после захвата японской военщиной северо-восточной части Китая, был переправлен в эту часть страны и в 1934-м объявлен императором марионеточного государства Маньчжоу-го. В августе 1945 года после разгрома японской Квантунской армии Пу И был взят в плен советскими войсками и в 1950-м передан властям КНР. После девяти лет пребывания в исправительной колонии он получил свободу и до конца жизни (он умер в 1964 году) работал садовником в Пекинском ботаническом саду. В основу фильма легла его автобиография под названием «От императора до простого гражданина».

Кадр из фильма Б. Бертолуччи «Последний император».

(Журнал «Ревю дю синема»)



Кадр из фильма Б. Бертолуччи «Последний император».

(Журнал «Ревю дю синема»)

Жизненный путь Пу И — «восточного Питера Пэна, плывущего по течению истории»,— Бертолуччи определяет как путь от детства к взрослости, растянувшийся, несмотря на сложные перипетии судьбы и вопреки им, на несколько десятилетий. Обозреватель газеты «Коррьере делла сера» Джованни Граццини считает, что, истолковывая тонко нюансированную психологию своего героя, режиссер «попытался совместить фрейдизм с таоизмом». Сам Бертолуччи признается: работая над фильмом на протяжении двух лет, он старался отрешиться от западных категорий мышления, максимально «впитать» в себя китайскую культуру, усвоить «восточное» видение мира. Склонность режиссера к контаминациям культур проявилась, по его словам, и в том, что на роли большинства герсев он пригласил американцев китайского происхождения.

И все-таки «европейский» или «китайский» фильм сделал Бертолуччи? Мнения критиков расходятся. «Предстающий перед нами в этой картине с типично европейским, неторопливым развитием действия Китай столь же реален, сколь и страна, которая придумана европейцем, очарованным мифом об упадке империи», — замечает во французском журнале «Ревю дю синема» Макс Тессье. «Возникает странное ощущение, будто смотришь хороший китайский фильм», — пишет в газете «Унита» Джорджо Мантичи. Своеобразным «мостиком» между западной и китайской культурами служит в этой картине, по мнению Джованни Граццини, «чарующий звуковой ряд»: музыка Дэвида Бирна, Рюити Сакамото, Конг Су и шумовые эффекты. «Бертолуччи, — пишет Д. Граццини, — один из немногих итальянских режиссеров, которые владеют искусством съемки «панорамных» картин, умеют управлять толпами людей с мастерством хореографа, безошибочно выбирать актеров, мобилизовывать зрительскую фантазию. Оставаясь верным поэтике фильма-колосса, исключающей глубину, Бертолуччи поднимается, однако, до высот эпоса и мифа».

Монголия

ЮБИЛЕЙ «ПЕВЦА РЕВОЛЮЦИИ»

Исполнилось 85 лет со дня рождения видного культурного и общественного деятеля, одного из зачинателей современной монгольской литературы — Сономбалжирына Буяннэмэха (1902—1937). М. Лувсанвандан, автор обзорной статьи о творчестве писателя, помещенной в газете «Утга зохиол урлаг», назвал его «вещим певцом революции».

Еще в 1920 году С. Буяннэмэх вступил в тайный революционный кружок, из которого выросла позже Монгольская народно-революционная партия; под его руководством в 1921 году в Монголии свершилась народная революция. Тогда же С. Буяннэмэх был командирован в Иркутск, где работал вместе с Сухэ-Батором, представителями Коминтерна, русскими большевиками, издавал газету «Монгольская правда». Он принадлежал к числу тех немногих представителей монгольской интеллигенции, которые сразу же безоговорочно приняли революцию. Буяннэмэх — автор нового монгольского государственного гимна.

С. Буяннэмэх.

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

Сономбалжирын Буяннэмэх первым в монгольской литературе воссоздал образ Ильича. В очерке «Ленин» лаконично и ярко охарактеризованы основные события биографии вождя мирового пролетариата, его великие идеи. Читая рассказ о Ленине «Удивительная встреча», пишет М. Лувсанвандан, отмечаешь, что С. Буяннэмэх — наблюдательный художник, тонкий портретист.

Новый монгольский революционный театр тоже начинался с творчества С. Буяннэмэха. Спектакль, поставленный по его пьесе «Темная власть», получил первую премию на Международном фестивале революционных театров в Москве (1933). Написанная спустя два года героическая драма о Дамдины Сухэ-Баторе «Повелитель драгоценного соёмбо» была новаторской и по своему содержанию, и по художественному решению темы, подчеркивает М. Лувсанвандан. Образным языком, близким к фольклору, С. Буяннэмэх рассказал зрителям о значении свершившейся в стране революции, провозгласил ее главный лозунг: «Революция — это творчество самого народа».

Польша

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОМБРОВИЧА

Краковское «Выдавництво литерацке» выпустило первое в ПНР собрание сочинений выдающегося польского писателя Витольда Гомбровича (1904—1969). Первое собрание его сочинений было издано на польском языке в Париже в начале 70-х годов. Пять томов нового девятитомника отведены прозе — новеллам под общим авторским названием «Бакакай» (из сборника 1933 года «Дневник периода возмужания» и периодики), роману «Фердидурке» (1937), «Транс-Атлантик» (1953), «Порнография» (1960), «Космос» (1965). Шестой том составили пьесы «Ивонна, принцесса Бургундская» (1935), «Венчание» (1945), «Оперетка» (1965). Заверша-

Витольд Гомбрович. Рисунок М. Бетелу.
(Из книги «Танго Гомбровича»)

ют издание три тома дневников (1953—1966). Еженедельник «Аргументы» параллельно опубликовал считавшийся до недавнего времени утраченным финал «готического» романа Гомбровича «Одержимые» (в 1939 году он печатался с продолжением в одной из польских вечерних газет).

Гомбрович, мастер трагикомического гротеска и сатирико-философской притчи, вошел в историю польской литературы как художник многоплановый и парадоксальный, чье творчество не укладывается в упрощенные формулы и схемы, отмечает польская пресса. Его имя широко известно на родине и во всем мире, у него немало последователей и подражателей, ему посвящено множество научных статей и монографий. В то же время саркастическое направление его ума, стремление обнажить противоречия сказалось на восприятии произведений Гомбровича в Польше.

Редактор нового собрания сочинений Ян Блонский в предисловии к первому тому подчеркивает, что главный и весьма удобный внешний повод для враждебных выпадов против Гомбровича — факт его многолетнего пребывания за пределами Польши. Однако писатель, оказавшийся за границей еще до начала второй мировой войны, четверть века прожил в Аргентине, вдали от центров польской эмиграции, и только в конце жизни перебрался в Европу. При этом он оставался чуждым эмигрантской среде и с течением времени все больше расходился с ней во взглядах. В конце 50-х годов Гомбрович активно сотрудничал с польскими издательствами, но впоследствии был вынужден прервать с ними связи, так как, пишет Я. Блонский, «его вовлекли в надуманный конфликт с некоторыми польскими журналистами, чему безо всяких на то оснований была придана политическая окраска». По сути, продолжает Блонский, писатель был «программно далек» от всякой политики, в его произведениях «невозможно найти политические манифесты, да и нет смысла искать их».

Отклики печати ПНР свидетельствуют о том, что общественность страны приветствует издание сочинений В. Гомбровича как реальный шаг на пути демократизации социалистической культуры. Собрание сочинений издано практически без купюр: как отмечено в предисловии, «в связи с действующим законодательством исключено лишь 17 строк». По мнению еженедельника «Политика», благодаря этому событию Гомбрович обрел наконец заслуженный «статус классика», получил «постоянную легальную прописку», соответствующую его действительной роли в отечественной литературе. Газета «Культура» расценивает издание как крупный успех новой, «открытой» культурной политики, выбивающий почву из-под ног у тех, кто пытался присвоить наследие большого художника, превратить его в объект политических махинаций. По мнению обозревателя газеты, знание творчества Витольда Гомбровича необходимо сегодня самой широкой читательской аудитории; он также считает, что при переиздании следует значительно увеличить тираж собрания сочинений, составляющий пока лишь 20 тысяч экземпляров.

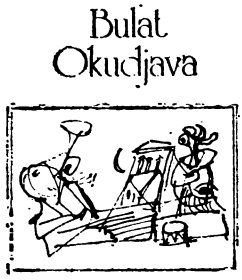
Румыния

«ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА»

Широкий отклик в печати получила книга избранных стихов Булата Окуджавы «Главная песенка», вышедшая в свет в бухарестском издательстве «Универс» (переводы Пассионарии Стойческу и Думитру Балана, предисловие и комментарии Думитру Балана).

Бухарестский еженедельник «Флакэра», перепечатывая полностью стихотворение, давшее название румынскому сборнику, отмечает, что голос Булата Окуджавы — «один из самых интересных в современной советской лирике».

В еженедельнике «Кроника» (Яссы) поэт и литературный критик Николае Турторяну (его рецензия озаглавлена «Сын века») пишет, что Окуджава является «разносторонне одаренным представителем советской литературы и искусства» и что его стихи, песни и проза



Обложка книги Б. Окуджавы «Главная песенка» (издательство «Универс»).

свидетельствуют о поистине «благородном таланте». Перед переводчиками стояла трудная задача, которую они успешно решили, считает Н. Турторяну, предложив адекватные поэтические варианты на румынском языке.

«После знакомства с романом «Путешествие дилетантов», вышедшим в румынском переводе в 1985 году, читателям могло показаться, — замечает Грете Тартлер в еженедельнике «Ромыния литерарэ», — что перед ними лирика в стиле «ретро». Это книга профессионала, — продолжает она, — которая заставляет нас почувствовать подлинную магию стихов Окуджавы. Истоки его эстетики следует искать не в романтизме и даже не в европейском модернизме, а еще «дальше» — в средневековом Востоке». Стихи, переведенные Пассионарией Стойческу и Думитру Баланом, считает критик, представляют нам «поэта-менестреля», который, подобно древним поэтам, исполняет свои «главные песенки», аккомпанируя себе на музыкальном инструменте.

США

«СКОРОСТНЫЕ ТРАССЫ»

Издательство «Фабер» выпустило второй сборник рассказов американской писательницы Джейн Энн Филлипс «Скоростные трассы», сообщает газета «Таймс литерари сапплмент». Рецензент Марианна Уигинз отмечает, что название очень точно отражает характер сборника: все происходящее в новеллах автор как бы видит в зеркальце движущегося автомобиля. В центре большинства историй — женщины самых разных возрастов, от девочек-подростков до старух. Они рас-

сказывают о себе, о своем окружении, о простом и сложном, обыденном и страшном, что происходит в их жизни. Они тоскуют. влюбляются, сходят с ума под действием лекарств... Причем, продолжает автор рецензии, Джейн Энн Филлипс не навязывает читателям своего мнения, отстраненно описывает все события.

Марианна Уигинз обращает внимание на превосходную технику повествования. «Все задуманное Джейн Энн Филлипс исполняет спокойно и быстро. Ее плавный, ровный стиль подобен скользящей далеко на горизонте яхте. Героини наблюдают за собой, она — за ними, а результат сообщает нам, читателям».

«Таймс литерари саппл мент» напоминает, что первый сборник рассказов «Черные билетики» и роман «Механические сны» (см. о нем «ИЛ», 1985, № 5) продемонстрировали высокое писательское мастерство Джейн Энн Филлипс. Особенно ей удается изображение ускользающего, «недавнего» прошлого, жизни в США лет пятнадцать — двадцать назад, отблеска войны во Вьетнаме, повествование о «высоких скоростях жизни» в Америке, о бродягах и наркотиках. Однако в «Скоростных трассах», по мнению М. Уигинз, писательница «пала жертвой собственного стиля»: ситуации, отношения между людьми в рассказах «похожи на вчерашние новости — это уже прошлое, правда еще не совсем прошедшее».

«Подобно людям, о которых она пишет, и стране, в которой она живет, — считает «Таймс литерари саппл мент», — Джейн Энн Филлипс после резкого старта, похоже, промчалась мимо собственной «литературной биографии» ради одной только головокружительной быстроты».

Франция

БИОГРАФИЯ ЛУИ ФЕРДИНАНА СЕЛИНА

«Создание биографии писателя — дело нелегкое, подчас весьма щекотливое, — признает рецензент журнала «Нувель обсерватёр» Филипп Мюре. — Но задача биографа еще более осложняется, если рассказывать приходится о том, кого звали Селином. И тем не менее почти сразу становится ясно, что Фредерик Виту справился с этой задачей блестяще».

В шестисотстраничной «Жизни Селина» (см. о нем «ИЛ», 1986, № 11), выпущенной в свет издательством «Грассе», литературовед Фредерик Виту повествует о «путешествии Луи Фердинана во времени и пространстве», приводя новые свидетельства его родственников и знакомых, публикуя неизвестные ранее документы и письма. По мнению Ф. Мюре, автору жизнеописания Селина удалось достоверно воссоздать атмосферу быта и бытия писателя, «гул и грохот истории», перерезавшей его судьбу лезвиями двух мировых войн. «Громкая слава вкупе с вящим бесчестием», которое заслужил у потомков писатель-коллаборационист (печально известен его афоризм: «Искусство — это лишь Раса и Отечество!»), ставили в тупик уже не одно поколение литературоведов. Однако, полагает рецензент журнала «Нувель обсерватёр», хотя между самим Селином и героями его романов, написанных от первого лица, лежит и не пропасть, то все же — дистанция значительная. Поэтому зачеркивать его опыт и замалчивать его роль в развитии французской прозы XX века было бы неправильно, вслед за Фредериком Виту отмечает Ф. Мюре.

Одновременно с выходом в свет книги Ф. Виту, сообщает журнал «Магазин литтерер», издательство «Дю Леро» совместно с «Обществом по изучению творчества Селина» подготовило к печати материалы очередного коллоквиума по проблемам наследия писателя. Доклады участников международной встречи, проходившей летом 1986 года в Париже, посвящены особенностям его языка, стиля, идейных воззрений, а также некоторым аспектам биографии (в годы 1929—1932, еще до публикации «Путешествия на край ночи») и отношениям с американским исследователем Милтоном Хиндусом.

Чехословакия

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»

Издательство «Чехословенски списователь» выпустило антологию «Благая весть», куда вошли стихи, рассказы, репортажи и публицистические статьи, отразившие впечатления чешских писателей и деятелей культуры от поездок в СССР в 20—30-х годах, сообщает газета «Руде право». Составителям сборника К. Благинковой и М. Благинке удалось воссоздать картину жизни довоенного Советского Союза, атмосферу первых пятилеток и показать, какой предстала страна Советов перед читателями буржуазной Чехословакии. Своеобразными «окнами» в СССР стали для чешского читателя 20—30-х годов работы Ю. Фучика, И. Ольбрахта, П. Илемницкого, М. Майеровой, В. Ванчуры, В. Незвала, М. Пуймановой. И. Тауфера, Я. Вериха и многих других мастеров слова — людей, которые ехали в СССР «с открытыми глазами и открытым сердцем», стремясь познать и осмыслить действительность первого в мире государства рабочих и крестьян. Новый сборник, объединивший произведения разных лет, продолжает газета, дает возможность увидеть социалистические преобразования в СССР в их развитии; антология напоминает и о негативных тенденциях тех времен, подмеченных чешскими авторами.

«Ценность «Благой вести» для современного читателя заключается как в абсолютной честности, искренности представленных в ней писательских свидетельств, так и в ярком отражении энтузиазма строителей нового общества, в рассказе о самой трудной борьбе — борьбе за нового человека, новый труд, новую мораль. Антология, вернувшая нас к истории, оказалась чрезвычайно актуальной для сегодняшнего дня», — подчеркивает на страницах «Руде право» рецензент Л. Вацина.

Югославия

«НУШИЧ ПРОТИВ ФАШИЗМА»

Под таким заголовком газета «Борба» поместила заметку Александра Пейовича о малоизвестной сегодня статье Бранислава Нушича (1864—1938) «Литература и защита культуры». Она была написана для молодежного антифашистского еженедельника «1936 год», однако не дошла до широкого читателя — почти весь тираж номера был конфискован. Статья представляет интерес не только как часть литературного наследия прославленного сербского драматурга и прозаика, но и как выражение гражданской позиции писателя. Б. Нушич, в то время уже пожилой и тяжело больной человек, не мог молчать, видя, что миру угрожает фашизм — «сила, которая отрицает основы духовности». Он пишет о несовместимости идеологии фашизма с идеями гуманизма, которые несет искусство: «Поскольку литература — выражение духа народа, ее дело — бороться за свободу этого духа; поскольку литература — выражение возвышенного в человеческом духе, она не может создаваться под чьим-то нажимом».

В статье нашли отражение и антивоенные настроения писателя. «Сторонники войны уверены, что война есть некое неизменное «состояние» человечества, а мир, напротив, — зыбкое, временное, ужасы войны они видят лишь в потерях людских, материальных ресурсов и денег, но не задумываются об утратах ценностей цивилизации», — пишет Бранислав Нушич. Это предостережение от легкомысленного отношения к войне, которая отрицает человеческую жизнь как высшую ценность, очень важно и сегодня, справедливо полагает А. Пейович.

Авторы этого номера

ФЭЙ УЭЛДОН (FAY WELDON; род. в 1933 г.) — английская писательница. Окончила университет в городе Сент-Андрус (Шотландия). Автор романов «Шутка толстухи» («The Fat Woman's Joke», 1967), «Между нами, девушками» («Down Among the Women», 1970), «Праксис» («Praxis», 1979), «Гриб-дождевик» («Puffball», 1980), «Дитя президента» («The President's Child», 1982), двенадцати пьес для телевидения и др. произведений. На русский язык переведены ее роман «Подруги» (М., 1985) и несколько рассказов.
Повесть «Поларис» опубликована в Англии в одноименном сборнике повестей и рассказов в 1985 г. (Fay Weldon. Polaris and Other Stories, London, Hodder and Stoughton, 1985).

БИНДЕМАН ЛЮДМИЛА МАРКОВНА — советский переводчик с английского. В ее переводе публиковались повести и рассказы Э. Сетон-Томпсона «Жизнь и повадки диких животных», «Прерии Арктики», повести и рассказы Марка Твена «Три тысячи лет среди микробов» («ИЛ», 1985, № 11), «Школьная горка» и др., пьеса Б. Шоу «Деревенское сватовство» («ИЛ», 1981, № 4), повести-сказки А. Тутуолы и др.

ШАГАЛ МАРК ЗАХАРОВИЧ (1887—1985) — выдающийся живописец и график. К столетию со дня рождения Марка Шагала в «Иностранной литературе» напечатаны цветные репродукции его картин и статья Н. Апчинской «Искусство Марка Шагала» (1987, № 12).
Публикуемые стихи М. Шагала взяты из американских изданий, выходивших на языке идиш, «Форвэртс» (1937) и «Цукунфт» (1938), из израильского журнала «Голдэнэ кейт» (1962) и сопровождаются его рисунками.
В русском переводе стихи Шагала печатались в «Литературной России» (1987, ноябрь), фрагменты из автобиографической книги «Моя жизнь» — в журнале «Юность» (1987, № 12).

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт и переводчик. В его переводе публиковались стихи румынских поэтов З. Станку, Н. Стэнеску, М. Сореску, В. Теодореску, испаноязычных поэтов А. Мачадо, П. Неруды, Э. Ромеро и др.

СЛАВОМИР МРОЖЕК (SŁAWOMIR MROŻEK; род. в 1930 г.) — польский прозаик, драматург, эссеист, график. Окончил архитектурный факультет Ягеллонского университета. Начал печататься в 1950 году. Автор сборников рассказов «Слон» («Słoń», 1957), «Свадьба в Атомицах» («Wesele w Atomicach», 1959), «Дождь» («Deszcz», 1962), «Два письма» («Dwa listy», 1974), сборников пьес «Пешком» («Pieszo», 1983), «Танго. Вода» («Tango. Woda», 1984), сборника эссе и статей «Короткие письма» («Małe listy», 1982). На русский язык переведен ряд его пьес, в «Иностранной литературе» печатались рассказы из сборника «Слон» (1964, № 5). Повесть «Мониза Клавье» и рассказы «Люлю», «Путь гражданина» печатаются по изданию Sławomir Mrożek. Wybór dramatów i opowiadań. Kraków Wydawnictwo literackie, 1975. Рассказ «Артель «Одинокий» — по изданию: Kraków, Opowiadania. Wydawnictwo literackie, 1964. Пьесы «Лис-философ» и «Лис-претендент» — по изданию: Kraków, Amor, 1979. «Короткие письма» — по изданию Kraków, Wydawnictwo literackie, 1982.

Стихи поэтов КНДР — **ЛИ СЕНЫРА, ПЕНА ХОНЕНА, КУ ХИЧЕРА, ЛИ ДЕНСЕБА, ТЕНА МУНХЯНА** взяты из книги «Моя страна Алмазных гор» (Пхеньян, издательство «Литература и искусство», 1982).

ЛЕТУЧИЙ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ (род. в 1943 г.) — советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи немецких поэтов И. К. Ф. Гёльдерлина, Р. М. Рильке, современных поэтов ГДР и ФРГ в антологиях «Современная поэзия ГДР» (М., 1984),

«Современная политическая поэзия ФРГ и Западного Берлина» (М., 1985).

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ (EDGAR LAWRENCE DOCTOROW; род. в 1931 г.) — американский писатель. Автор романов «Вступление в тяжелую пору» («Welcome to Hard Times», 1960), «Книга Даниэла» («The Book of Daniel», 1971), «Рэгтайм» (рус. пер. опубликован в «ИЛ», 1978, № 9, 10), «Гагачье озеро» («Loon Lake», 1980), «Всемирная выставка» («World's Fair», 1985).
Повесть «Жизнь поэтов» вышла в 1984 году. Публикуется по изданию «Lives of the Poets». London, Michael Joseph, 1985.

ВОРОНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1931 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах выходили романы Чинуа Ачебе (Нигерия) «Стрела бога», М. Р. Ананда (Индия) «Неприкасаемый», книга Дж. Гарднера (США) «Жизнь и время Чосера»; в «Иностранной литературе» печатались фрагменты книг Ф. Моуэта «Лодка, не желавшая плавать» (1972, № 5), Дж. С. Магрудера «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту» (1977, № 1), пьесы Т. Уильямса, Ю. О'Нила, Дж. Пристли и др.

ВИШНУ САКАРАМ КХАНДЕКАР (1898—1976) — индийский прозаик, писавший на языке маратхи. Его перу принадлежат романы «Золотая лань» (1931), «Улька» (1934), «Два полюса» и «Белые облака» (1939), «Убийство певчей птицы» (1942; с посвящением Эрнсту Толлеру и Стефану Цвейгу). Роман «Король Яяти» вышел в 1959 году. Писатель был удостоен за этот роман Национальной премии в 1960 г. и позднее крупнейшей литературной премии Индии «Гьянпитх».

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА — советский литературный критик-индолог, переводчик. Автор многих статей по проблемам литератур Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш, в том числе повести Ананты Мурти «Самскара» («ИЛ», 1984, № 12), Бапси Сиддхва «Огнепоклонники» (Пакистан) и др.

ДЮЛА ФЕКЕТА (FEKETE CYULA; род. в 1922 г.) — венгерский писатель, лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Дебютировал как поэт в 1953 г. Автор романа «Деревенская красавица» («A falu szépe», 1961), повестей «Тысяча первый год» («Ezeregyedik esztendő», 1965), «Мальчик и солдаты» («A fiú meg a katonák», 1972) и др. В «Иностранной литературе» напечатана повесть «Старый доктор» (1965, № 9). Сборник его повестей в русском переводе, куда вошли «Медовый месяц», «Не вернулся мужчина», «Верная жена и непутевая женщина», «Смерть врача», вышел в 1986 г.

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.)— советский литературовед, критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор книги «Современная венгерская литература в контексте литератур социалистических стран Европы. Динамика художественного конфликта» (1987). В его переводе изданы романы Пала Сабо «Пядь земли», Ласло Немета «Вина», Магды Сабо «Старомодная история» и др.

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1957 г.) — советский китаевед, кандидат экономических наук. Автор ряда статей по проблемам современной китайской экономики, опубликованных в научных изданиях.

КЭРОЛ ГАРРАРД (CAROL GARRARD) — американский литературовед, педагог; преподавала английскую и американскую литературу в университете штата Вирджиния. В настоящее время — координатор по изучению научных предложений гуманитарных факультетов университета штата Аризона. В соавторстве с мужем — Джоном Гаррардом написала ряд статей по проблемам русской советской литературы и книжного рынка СССР.

ДЖОН ГАРРАРД (JOHN GARRARD) — американский литературовед. Окончил Оксфордский университет в Англии, защитил диссертацию по русской литературе в Колумбийском университете (Нью-Йорк). Автор книг о Лермонтове, Тендрякове, русской литературе XVIII века, русском романе (от Пушкина до Пастернака) и множества статей, в том числе о Карамзине, Гоголе, русском романтизме, о Солженицыне. В настоящее время — профессор, руководитель отделения славянских языков Аризонского университета, директор Института Советского Союза и стран Восточной Европы.
Публикуемая статья предназначена авторами для «Иностранной литературы».

ТЕРАКОПЯН ЛЕОНИД АРАМОВИЧ (род. в 1935 г.) — советский литературный критик. Автор книг «Миколас Слуцкис» (1976), «Пафос преобразований» (1978), «Параллели и пересечения» (1984) и ряда статей по многонациональной советской литературе.

◆

В следующем номере:

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария). «Правосудие». Роман, изобличающий буржуазную юстицию. В центре его — крупный промышленник и политик, совершающий убийство.

ЭРНЕСТО САБАТО (Аргентина). «Туннель». Повесть о драматической судьбе художника, оказавшегося в «туннеле» отчуждения и духовного кризиса. Автор — крупнейший современный аргентинский писатель. Ранее в Советском Союзе не печатался.

«Арфа царя Давида»: у истоков древнейшей лирической традиции. Вступление и перевод Сергея Аверинцева.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.02.88. Подписано в печать 01.04.88. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., уч.-изд. л. 26,25.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 685

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Кровавые слезы

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394